

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

3 / 2017

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Журнал рецензий № 3(12)/2017

Дата подписания в печать 30.10.2017

Учредитель

ООО «Нестор-История»
197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 7
Тел. (812)235-15-86, e-mail: nestor_historia@list.ru, www.nestorbook.ru

Редакционная коллегия

Научный руководитель – ЭРЛИХ Сергей Ефроимович, д.ист.наук, генеральный директор издательства Нестор-История (Москва)
Ответственный редактор – СТЫКАЛИН Александр Сергеевич, к.ист.наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)
Зам. ответственного редактора – ВЕДЕРНИКОВ Владимир Викторович, к.ист.наук, доцент кафедры Истории отечества, науки и культуры Санкт-Петербургского технологического института (Технический университет) (Санкт-Петербург)
Ответственный секретарь – КАЧАНОВА Елена Федоровна, издательство «Нестор-История» (Санкт-Петербург)
Член редколлегии – ЛЕОНТЬЕВА Ольга Борисовна, д.ист.наук, профессор кафедры международных отношений Самарского государственного университета (Самара)
Член редколлегии – КОРЧИНСКИЙ Анатолий Викторович, к. фил.наук, доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ (Москва)
Член редколлегии – ТРОИЦКИЙ Юрий Львович, к. ист. наук, доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ, заместитель директора ИФИ РГГУ по методической работе и историческому образованию (Москва)

Редакционный совет

ГЛУШКОВСКИЙ Пётр, к.ист.наук, зам. директора Института русистики Варшавского университета (Польша)
ГОЛУБЕВ Алексей Валерьевич - к.ист.наук, преподаватель (assistant professor), Хьюстонский университет (США)
КАСЬЯНОВ Георгий Владимирович - д.ист.наук, проф., зав. отделом Института истории НАНУ (Украина)
КАРАВАШКИН Андрей Витальевич, д.филол.наук, профессор кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ (Москва)
КИЯНСКАЯ Оксана Ивановна, д.ист.наук, профессор кафедры литературной критики Института Массмедиа РГГУ (Москва)
НЕМЦЕВ Михаил Юрьевич, к.филос.наук, доцент Новосибирского государственного университет экономики и управления (НГУЭУ-«НИНХ»), сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) (Новосибирск, Москва)
ПАНАРИН Сергей Алексеевич, к.ист.наук, руководитель Центра исследований общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН (Москва)
ТЕСЛЯ Андрей Александрович, к.филос.наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта (Калининград)
УСПЕНСКИЙ Федор Борисович, член-корр. РАН, зам.директора Института славяноведения РАН (Москва)
УШАКИН Сергей Александрович – PhD, профессор антропологии и славистики Принстонского университета (США)
ФЕЛЬДМАН Давид Маркович, член-корр. РАН, профессор кафедры литературной критики Института Массмедиа РГГУ (Москва)
ХАВАНОВА Ольга Владимировна, д.ист.наук, зам. директора Института славяноведения РАН (Москва)

Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала

Издается с 2014 г. Выходит 4 раза в год
ISSN 2409-6105

Издатель

ООО «Нестор-История»
197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 7
Тел. (812)235-15-86, e-mail: nestor_historia@list.ru, www.istorex.ru

Типография

ООО «Нестор-История»
191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 15
Тел. (812)622-01-23
Тираж 300 экз.
Заказ № 1137

В НОМЕРЕ:

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ**Глобальная память**

- 9 С. Е. ЭРЛИХ *«Можем повторить» или «Никогда больше»? Рец.: Полян П. М. Историомор, или Трепанация памяти. М.: АСТ, 2016. 624 с.*
- 15 А. Э. ГУРЬЯНОВ *О попытке российских ведомств оправдать Катынь*

Национальная память**Дискуссия по поводу доклада «Какое прошлое нужно будущему России?»**

- 27 Г. Б. ЮДИН *Вопрос доклада и Доклад как вопрос (Вводная заметка)*
- Статьи**
- 31 С. Е. ЭРЛИХ *«Методологический национализм», «вторая память» и «цена прогресса»*
- 49 В. В. ВЕДЕРНИКОВ *Диагноз ошибочен?*
- 58 А. В. ГОЛУБЕВ *Прокрустово ложе бинарных оппозиций*
- 65 Н. Э. КУЛЬБАКА *Выйти за пределы традиционной исторической науки*
- 68 Я. В. ШИМОВ *Реабилитация Сталина включает противопоставление сталинского «жесткого, но честного» порядка нынешнему ущербному и вороватому авторитаризму*
- 72 Д. О. ХЛЕВНЮК *Отзыв на дискуссию вокруг отчета по исследованию в рамках доклада «Какое прошлое нужно будущему России?»*
- 76 А. С. МАКСИМОВА *«Вторая память» в малых городах: типы краеведческой нейтральности и развитие локальной истории*
- 81 М. Г. МАЦКЕВИЧ *Выступления на круглом столе «Какое прошлое нужно будущему России?» на конференции «Пути России – 2017» (МВШСЭН, 25 марта 2017 г.)*

86 В. Е. МОРОЗОВ

93 К. Н. МОРОЗОВ

96 М. Я. РОЖАНСКИЙ

98 Н. П. СОКОЛОВ

101 А. А. ТЕСЛЯ

Локальная память

104

Мильчик М. И. Интервью

112 И. Д. САБЛИН

Растратившему имя (неюбилейные заметки)

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Обобщающие исследования

120 В. В. ДОБЫШЕВ

Рец.: Клейн Л. С. История российской археологии: учения, школы и личности. Том 1. Общий обзор и до-революционное время. Том 2. Археологи советской эпохи. СПб.: Евразия, 2014

128 А. М. ДРОНОВ

Междисциплинарная практика изучения границ и пограничий

Мир

144 Н. С. ГУСЕВ

Рец.: Езерник Б. Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников. М.: Лингвистика, 2017. 358 с.

149 В. В. МАКСАКОВ

Рец.: На войне под наполеоновским орлом. Дневник (1812–1814) и мемуары (1828–1829) вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера. М.: НЛО, 2017. 472 с.

156 А. С. СТЫКАЛИН

Рец.: Земляной С. Н. Георг Лукач и западный марксизм / сост. и автор предисловия В. А. Подорога. М.: Канон+, 2017. 336 с.

Российская империя

162 А. А. ТЕСЛЯ

Иван Аксаков как издатель «Руси». Рец.: Бадалян Д. А. «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х – первой половины 1880-х годов. СПб.: ООО «Издательство «Росток»», 2016. 360 с.: илл.

169 В. А. КИТАЕВ

Рец.: Либерализм: pro et contra. Русская либеральная традиция глазами сторонников и противников: антология / сост., вступ. статья, коммент. В. А. Гурторова, сост., послесловие Р. В. Светлова. СПб.: РХГА, 2016. 981 с. (Русский Путь)

- 177 **М. В. МОИСЕЕВ** *Золотая орда после золотой орды? Рец.: Рахимзянов Б. Р. Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV–XVI вв. СПб.: Евразия, 2016. 396 с.*

- 187 **М. А. ДАВЫДОВ** *По поводу рецензии М. И. Роднова (письмо в редакцию)*

СССР

- 200 **Ю. В. АКСЮТИН** *Советский студент: такой же «внутренний враг», как и дореволюционный? Рец.: Герасимова О. Г. «Оттепель», «заморозки» и студенты Московского университета. М.: АИРО-XXI, 2015. 608 с.*

История современности

- 209 **И. В. АЛАДЫШКИН** *Arctica casus: исторические исследования в социогуманитарном дискурсе русского севера XXI в.*

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ

- 222 **А. И. АВРУС**, **Т. Н. ЖУКОВСКАЯ** *Размышления о состоянии и перспективах российских классических университетов*

ЭКСПЕРТЫ О РАБОТЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

- 249 **П. Ю. УВАРОВ** *Страна Советов*

- 253 **И. К. КИРЬЯНОВ**

- 255 **А. В. ЧЕРНЕЦОВ**

- 260 **И. А. ХОРМАЧ**

ИСТОРИЯ В УЧЕБНИКАХ

- 262 **О. В. БОДРОВ** *Новый профессорский курс по истории России. Рец.: Ермолаев И. П. Полный университетский курс лекций по истории России. Том 1. Русь до воцарения Романовых (с древнейших времен до 1613г.). СПб.: Издательство Олега Абышко, 2017. 704 с.*

АРХИВНОЕ ДЕЛО

- 276 **К. В. РОГАНОВ** *Об информационной сущности архивов*

ВРЕМЯ ИСТОРИКА

- 291 *«Тех, кто высоко оценивает Сталина, гораздо больше, чем тех, кто желал бы своим детям жить при Сталине». Интервью с О. В. Хлевнюком*
- 303 *«Я получила возможность изучать русский язык благодаря запуску советского спутника». Интервью с Кэтлин Е. Смит*
- 313 *«Память о насилии, которое имело место в прошлом, висит над обществом как дисциплинарный механизм». Интервью с Кевином М. Ф. Платтом*
- 323 *«Историю я полюбил одновременно...» Интервью с М. А. Давыдовым*
- 344 **ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ**

IN THE ISSUE:

HISTORICAL MEMORY

Global Memory

- 9 S. E. EHRLICH *“Can we repeat” or “Never again”? Rev. : Polyak P.M. Istorikom, ili Trepanaciya pamyati. Moskva: AST, 2016. 624 s.*
- 15 A. E. GUR'YANOV *About the attempt by Russian authorities to justify Katyn*

National memory

Discussion on the report “Which Past Does Russian Future Need?”

- 27 B. G. YUDIN *The question of the report and the report as a question (introductory note)*

Articles

- 31 S. E. EHRLICH *“Methodological nationalism”, “The Second Memory” and “Price of the Progress”*
- 49 V. V. VEDERNIKOV *Is the diagnosis incorrect?*
- 58 A. V. GOLUBEV *The Procrustean bed of binary oppositions*
- 65 N. E. KULBAKA *To go beyond the traditional historical science*
- 68 J. V. ŠIMOV *The rehabilitation of Stalin includes the juxtaposition of Stalin’s «tough but fair» order to the current flawed and cleptocratic authoritarianism*
- 72 D. O. KHLEVNIUK *Response to the debate around the report “Which Past Does Russian Future Need?”*
- 76 A. S. MAXIMOVA *«The Second Memory» in Small Towns: types of local historians’ neutrality and development of local history*
- Comments at the roundtable «Which Past does Russian Future need?» at the conference «Ways of Russia – 2017» (MSSES, March 25, 2017)*

- 81 M. G. MATSKEVICH
- 86 V. E. MOROZOV
- 93 K. N. MOROZOV
- 96 M. YA. ROZHANSKY
- 98 N. P. SOKOLOV
- 101 A. A. TESLYA

Local memory

- 104
112 I. D. SABLIN
- Milchik Mikhail I. Interview*
A wasted name (Non-jubilee notes)
-

REVIEWS

Generalizing studies

- 120 V. V. DOBYSHEV
- Rev.: Klein L.S. Istoriya Rossijskoi arheologii: ucheniya, shkoly i lichnosti. Tom 1. Obshii obzor i dorevolucionnoe vremya. Tom 2. Arheologi sovetskoi epohi. SPb., «Evrasiya», 2014*
- 128 A. M. DRONOV
- Interdisciplinary practice of studying borders and boundaries*

The world

- 144 N. S. GUSEV
- Rev.: Ezernik B. Dikaya Evropa. Balkany glazami zapadnyh puteshestvennikov. M.: Lingvistika, 2017. 358 s.*
- 149 V. V. MAKSAKOV
- Rev.: Na voine pod Napoleonovskim orlom. Dnevnik (1812–1814) i memuary (1828–1829) vyurtembergskogo ober-leitenanta Genriha fon Fosslera. M., NLO, 2017. 472 s.*
- 156 A. S. STYKALIN
- Rev.: Zemlyanoi S.N. Georg Lukach i zapadnyi marksizm / Sostavitel' i avtor predisloviya V. A. Podoroga. M., Kanon+, 2017. 336 s.*

The Russian Empire

- 162 A. A. TESLYA
- Ivan Aksakov as the publisher of "Rus". Rev.: Badalyan D.A. "Kolokol prizyvnyi": Ivan Aksakov v russkoi zhurnalistike konca 1870-h – pervoi poloviny 1880-h godov. SPb.: OOO "Izdatel'stvo "Rostok", 2016. 360 s.: ill.*
- 169 V. A. KITAEV
- Rev.: Liberalizm: pro et contra. Russkaya liberal'naya tradiciya glazami storonnikov i protivnikov: antologiya / Sost., vstup. stat'ya, komment. V. A. Gutorova, sost., posleslovie R. V. Svetlova. SPb.: RHGA, 2016. 981 s. (Russkii Put')*
- 177 M. V. MOISEEV
- Golden Horde after the Golden Horde? Rev.: Rahimzyanov B. R. Moskva i tatarskii mir: sotrudnichestvo i protivostoyanie v epohu peremen, XV–XVI vv. SPb.: Evraziya, 2016. 396 s.*
- 187 M. A. DAVYDOV
- About the review by M. I. Rodnov (letter to the editor)*

USSR

- 200 **Y. V. AKSYUTIN** *Soviet student: the same “internal enemy”, as the pre-revolutionary one? Rev.: Gerasimova O. G. «Ottepel'», «zamorozki» i studenty Moskovskogo universiteta. M.: AIRO-XXI, 2015. 608 s.*

The history of modernity

- 209 **I. V. ALADYSHKIN** *Arctica casus: historical studies in socio-humanitarian discourse of the Russian North of the 21th century*
-

SOCIAL PROBLEMS OF HUMANITIES

- 222 **A. I. AVRUS, T. N. ZHUKOVSKAYA** *Reflections on the status and prospects of Russian classical universities*

Experts on the work of the Higher attestation Commission

- 249 **P. Y. UVAROV** *The Land Of The Soviets*
253 **I. K. KIRYANOV**
255 **A. V. CHERNETSOV**
260 **I. A. KHORMACH**
-

HISTORY IN TEXTBOOKS

- 262 **O. V. BODROV** *New Professor's course on the history of Russia. Rev.: Ermolaev I. P. Polnyi universitetskii kurs lektsii po istorii Rossii. Tom 1. Rus' do vocareniya Romanovyh (s drevneishih vremen do 1613 g.). SPb.: «Izdatel'stvo Olega Abyshko», 2017. 704 s.*
-

ARCHIVES

- 276 **V. K. ROGANOV** *On the information substance of the archives*
-

HISTORIAN'S TIME

- 291 *“Those who appreciate Stalin, much more numerous than those who wish their children to live under Stalin”. Interview with O. V. Khlevniuk*
303 *“I got the opportunity to study Russian language thanks to the launch of the Soviet sputnik”. Interview with Kathleen E. Smith*
313 *“The memory of the violence in the past, is hanging over society as a disciplinary mechanism”. Interview with Kevin M. F. Platt*

In the issue

323

*"I fell in love with history instantly..." Interview with
M. A. Davidov*

344

REQUIREMENTS FOR PUBLICATION
OF ARTICLES AND DOCUMENTS

С. Е. Эрлих

«МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ» ИЛИ «НИКОГДА БОЛЬШЕ»?

Рец.: Полян П. М. *Историомор, или Трепанация памяти*. М.: АСТ, 2016. 624 с.

Павел Полян — географ и историк, соединивший пространство и время в исследовании насильственных миграций середины XX в. Многие из его публикаций посвящены ГУЛАГу, Холокосту, этническим депортациям, советским и немецким военнопленным, оstarбайтерам, мобилизованным нацистами для работы в Германии во время войны, и «вестарбайтерам» — немцам, прежде всего из Румынии, направленным в СССР для послевоенного восстановления народного хозяйства. В ходе этих насильственных миграций миллионы людей были уничтожены. Миллионы претерпели ужасные страдания. Они не окончились вместе с физическими пытками и мучениями. Выжившие до конца жизни терзались кошмарами прошлого. Даже их дети часто вовлекались в переживание родительской травмы.

Передаваемая по наследству травматическая память (невротический страх повторения) может быть исцелена только созданием режима коллективной памяти, в котором все жертвы и страдания будут засвидетельствованы, а палачи подвергнуты вечному нравственному осуждению. В интересах человечества должна утвердиться глобальная память с императивом ненасилия. Такая цель вступает в противоречие с интересами «аппаратов насилия» — государств. Левиафаны и левиафанчики эпохи информационной цивилизации все дальше расходятся с устремлениями современных обществ, чьи конфигурации все больше не совпадают с государственными границами. Политики памяти, проводимые подавляющим большинством государств, внушают на «исторических примерах», что насильственные средства приемлемы в достижении благих целей. Поэтому мы постоянно встречаемся с попытками власти стереть из памяти исторические преступления «своих» государств и заменить их

© Эрлих С. Е., 2017

Эрлих Сергей Ефремович — доктор исторических наук, директор издательства «Нестор-История» (Москва — Санкт-Петербург); ehrlich@mail.ru

благородными образами героического мифа.

«Историомор» исследует борьбу за память общества и государства, в которой «Никогда больше» противостоит «Можем повторить». Рецензируемое издание затрагивает почти весь спектр насильственных миграций середины прошлого века и состоит из четырех разделов: «Память о ГУЛАГе и депортациях» — посвящен советским преступлениям; «Память о войне» — преступлениям нацистов; «Рыцари памяти» — людям, сохранившим, часто под угрозой смерти, документальные свидетельства о преступлениях против человечности; «Агенты беспамятства» — «отрицанию и отрицателям Холокоста как одной из самых распространенных форм Историомора» (с. 11). Книга основана на прежних публикациях автора: «В ряде случаев эмпирика актуализирована, а в некоторых в текст добавлены “постскриптумы” — специальные авторские пояснения как бы из сегодняшнего дня» (с. 12).

Историомором Полян именуется «торжество политики и антиисторизма» (с. 21) над исторической наукой: «Историомор — универсальный феномен неравной борьбы истории с политикой, когда политика рвется оседлать, стреножить, инструментализировать историю, придав ей доверительный статус продажной, но понятливой куртизанки» (с. 592). Политика давит на историю по «трем линиям»: «табуизирования тем и источников», «фальсификация и мифологизация эмпирики», «отрицания или релятивизации установленной

фактографии» (с. 21). В советское время политический менеджмент истории возлагался на аппарат ЦК КПСС и ГЛАВПУР. В ситуации во многих случаях условной демократии, установившейся на востоке Европы в начале 1990-х, в Польше, Словакии, Украине были созданы «оруэлловские Министерства правды» (с. 22) под наименованием Институты национальной памяти. В еще более условно демократической России роль такого института взял на себя нынешний «директор прачечной», человек-оркестр Мединский: «Функционал нынешнего Министерства культуры более всего напоминает Министерство пропаганды. А в тандеме с РВИО — это еще и сегодняшний ГЛАВПУР» (с. 590).

В центре внимания автора оказывается критика советской и российской политики памяти. Полян показывает, что современная память о войне покоится на сталинском фундаменте: «Память о победе без памяти о цене победы не может быть не просталинской» (с. 52).

Такие категории советских граждан, как военнопленные, оstarбайтеры и лица, оказавшиеся на оккупированной нацистами территории, находились под подозрением все советское время. При Сталине они были первыми кандидатами на арест. При ниспровергателе вождя и при ниспровергателях его ниспровергателя их служебная карьера была затруднена. Но и в новой России им не воздали должное: «Их и сегодня дискриминируют в бюрократической и ветеранской среде, преподнося в ореоле

занафталиненных стереотипов типа — “военнопленные-предатели” и “остарбайтеры-пособники”» (с. 193). Лишь в 1995 г. военнопленных признали участниками и ветеранами войны (с. 219). Но никаких компенсаций они от родного государства не получили. Кроме того, родина не приложила должных стараний для того, чтобы Германия выплатила им компенсации за рабский труд в невыносимых условиях.

Полян не считает возможным подводить под общее определение так называемых «власовцев»: «Вывод, к которому я пришел, довольно неутешителен для власовского движения: в целом оно было не столько военной силой, сколько пропагандистской игрушкой в немецких руках. Но это не делает огульное обвинение всех из почти миллиона военных коллаборантов корректным — рассматривать надо каждое индивидуальное дело по отдельности, учитывая все подлежащие учету обстоятельства» (с. 233).

Депортированные народы в большинстве также являются жертвами военного времени. В СССР эта тема была закрыта для обсуждения. Да и сейчас память о депортациях остается «делом рук самих депортированных» (с. 65).

Евреи — еще одна категория жертв войны — не вписывались в сталинский миф о победе. Хотя на территорию СССР приходится примерно половина жертв Холокоста, в советское время «старались не подчеркивать», что замученные нацистами, как писали на памятниках той поры, «мирные советские люди»

были замучены только за то, что были евреями (с. 113). Глубокой тайной оставался горестный факт, что «окончательное решение еврейского вопроса» в значительной мере осуществлялось руками местного населения. Нацисты берегли нервы чувствительных граждан Западной Европы и поэтому для уничтожения вывозили евреев из оккупированных стран в лагеря смерти на территории Польши. На востоке Европы к таким условностям прибегать не требовалось. Местные евреи были уничтожены на месте в значительной мере руками своих соседей без использования газовых камер и крематориев. И сегодня ситуация Историомора в отношении Холокоста сохраняется. Бывшие советские республики: Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия — пожалуй, последние из стран Европы, продолжающие скрывать свое участие в Холокосте. В России тоже считают, что это «не наша тема», хотя нацисты истребили десятки тысяч евреев на нынешней территории РФ. Тем не менее российские власти в последнее время стали упоминать Холокост в качестве инструмента разоблачения «бандеровцев» и прочих «неофашистов» (с. 282).

Полян отходит от спрямляющего, «американизированного» взгляда на Холокост. Анализируемые им документальные свидетельства Тamarы и Виктора Лазерсонов, Маши Рольникайте и Григория Шура показывают, что евреи были не только жертвами, но и в ряде случаев пособниками собственных палачей. Еврейская полиция в гетто грабила соплеменников (с. 305) и даже (!)

участвовала в расстрелах (с. 323). Юденраты торговали местами в очереди на транспорты смерти. Коллаборационизм обреченных рождает сравнение с шаламовскими лагерными рассказами: «Оставшиеся <...> смогут еще некоторое время “спокойно пожить”. <...> И чем, в сущности, это отличается от универсального блатного закона: “Умри ты сегодня, а я завтра?”» (с. 311). Многие молодые евреи убежали из гетто и создавали партизанские отряды. Но и такое решение было отягощено нравственными проблемами. Каждый акт партизанской мести отзывался расстрелами оставшихся в гетто (с. 324). При таком взгляде на трагедию Холокоста она представляется еще ужасней. Автор задается вопросами, на которые простых ответов не существует: «Желание выжить совершенно понятно, а вот “выжить как задача”? Какая внутренняя политика для этого эффективнее — политика большинства юденратов, готовых откупаться все новыми и новыми евреями, или политика партизан-сопротивленцев, предпочитающих “смерти на коленях” — “гибель стоя”? С высоты сегодняшнего знания ревизии подвергается центральный вопрос еврейской политики выживания в людоедских условиях немецкой оккупации — он же и центральный вопрос историографии еврейского сопротивления: играть или не играть в шахматы с дьяволом? Или: что стратегически правильнее, — боясь смерти, терпеть, унижаться и выторговывать каждую еврейскую жизнь за счет еврейской смерти — или, не боясь смерти, бороться за каждую жизнь с риском погибнуть в бою?» (с. 323–324).

Полян подчеркивает, что Историомор — «не только российское явление» (с. 23). Это «универсальный феномен» (с. 592). На опыте публикации перевода собственной книги в Японии ему довелось убедиться, что в этой стране, «сдавшей на одни пятерки чуть ли не все американские курсы демократии, разговор о японских военных преступлениях все еще <...> не комильфо» (с. 23). Украинской политике памяти, тяготеющей к таким «историческим скрепам», как «геноцид украинцев» — голодомор и славные героибандеровцы, посвящена глава «Пусть помнят» (с. 104–116). В главе «Жертвы нескольких демократий» рассказывается, как правительство Германии, вроде бы искренне раскаявшейся в преступлениях нацизма, до самых последних пор старалось уклониться от компенсаций советским оstarбайтерам и военнопленным: «Десятилетиями не только немецкие промышленники, но и немецкое государство — и даже отдельные немецкие ученые-историки! — держали круговую оборону против реальных и предполагаемых притязаний тех принудительных рабочих из Восточной Европы, чей труд нацисты так хорошо эксплуатировали в годы войны» (с. 262). Польша, справедливо добивавшаяся признания российскими властями правды о польских военнопленных, которые были расстреляны в Катыни, остается глухой к страданиям русских, погибших в польском плену: «Недавно в Кракове попытались установить памятник российским военнопленным периода русско-польской войны 1919–1920 гг., — но Польша запретила (что, конечно, и в самом деле форменные безо-

бразие и глупость)» (с. 291). В главе «Интернационал антисемитов» характеризуется политика отрицания и релятивизации Холокоста, проводимая Исламской Республикой Иран, которая сменила почивший в бозе СССР на ниве государственного антисемитизма (с. 551). По поводу инструментализации памяти государством, легитимность которого во многом основана на трагедии Холокоста, Полян высказался уклончиво: «Израиль долго предпочитал не высказываться относительно геноцида армян в 1915 году» (с. 593). К сожалению, Израиль до сих пор «предпочитает не высказываться» по этому вопросу, чтобы не ссориться с Турцией. Попытки вынести на обсуждение Кнессета резолюцию о признании геноцида армян каждый раз отклонялись. Как выразилась официальный представитель МИД Израиля: «Для существования нашего государства мы решаем ряд стратегических задач и официально не признаем <...> геноцид армян»¹.

Я выписал из «Историомора» примеры инструментального подхода к истории, который широко используется в политике памяти, в том числе и самых образцовых демократий современности, с целью показать, что подход Поляна отличается от черно-белого «манихейства», свойственного многим из «русских патриотов» и «российских либералов». Такой взгляд, при котором Россия не является ни исчадием ада, ни тем более лучом

света, помогает понять, что устранение «универсального феномена» историомора в отдельно взятой стране невозможно. «Аппаратам насилия» не требуется правда о насилиях. В их интересах воспитывать в «низах» готовность погибать за интересы власть имущих. Только «исторический интернационал» ученых в союзе с деятелями искусства и представителями СМИ может остановить, как образно выразился Полян, «выкручивание у Клио крыльев» (с. 108).

Автор предлагает создать Международный исторический арбитраж, способный оказывать воздействие на политику памяти. Он мог бы выполнять функции «наподобие тех юридических судов-арбитражей, которые существуют в настоящее время в Гааге и Страсбурге» (с. 584). Полян подчеркивает, что этот институт должен иметь международный состав, «ни одна национальная историография не должна иметь монополии» (с. 585). В этом арбитраже могли бы оспариваться государственные решения в области памяти. Например, недавняя глорификация ООН и УПА, вызвавшая протесты многих западных историков. Автор заметил по этому поводу: «Я с трудом могу представить независимого, в том числе украинского, историка, с чьей колокольни Бандера был бы героем. Но политики утверждают: и герой, и символ, — и переименовывают Московский проспект в Киеве в проспект Степана Бандеры. А вот предлагаемый арбитраж — не Дума и не Рада, не Майдан и не Болотная, а место встречи авторитетных историков и корпуса эмпирических источников» (с. 586).

¹ [Электронный ресурс]. URL: <https://armenpress.am/rus/news/766534/ya-ne-znayu-evreya-kotoriyiy-ne-priznaval-biy-genocida-armyan.html>.

Только глобальное объединение историков позволит противостоять государственным левиафанам и бегемотам, которые сохраняют способность причинять людям страдания, но стремительно утрачивают функцию общественного блага. На мой взгляд, путь к учреждению Международного арбитража должен начинаться с создания Всемирной ассоциации историков, работающих вне рамок по определению пристрастной и легко поступающей истиной национальной историографии. История, загнанная даже в самые демократические национальные рамки, всегда коррумпирована политикой памяти и обречена на историомор. Еще Морис Хальбвакс писал, что преодоление групповых пристрастий приведет к глобальному взгляду на прошлое, в котором память станет тождественной истории. Такие шаги уже делаются. Следует упомянуть проект «Историки без границ»² и Ас-

социацию исследований памяти³. Будем надеяться, что мы общими усилиями придем к учреждению глобальных исторических институтов, способных влиять на решения архаичных «аппаратов насилия». Не могу согласиться с пессимистичным выводом: «И очень жаль, что никаким “историческим арбитражем” и не пахнет» (с. 588). По щучьему велению это не произойдет. У нас нет другого выхода, как следовать совету восточных мудрецов: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Перефразируя авторов афоризма: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории», — нам необходимо воззвать друг к другу: «Историки всех стран, объединяйтесь!» Полян справляется с минутным унынием и завершает заключительную главу с дерзким названием «Прогибаться не будем» парафразом большевистских лозунгов: «Вся власть истории! Свободу архивам! Мир историкам!» (с. 594).

«CAN WE REPEAT» OR «NEVER AGAIN»?

Rev.: Polian P. M. Istoriomor, ili Trepanatsiia pamiati. Moscow: AST, 2016. 624 p.

Ehrlich Sergey E. — doctor of sciences (history), director of the Publishing House «Nestor-Historia» (Moscow — St.-Petersburg)

² [Официальный сайт]. URL: <http://www.historian-withoutborders.fi>.

³ [Официальный сайт]. URL: <http://www.memoirstudiesassociation.org>.

А. Э. Гурьянов

О ПОПЫТКЕ РОССИЙСКИХ ВЕДОМСТВ ОПРАВДАТЬ КАТЫНЬ

В апреле 2017 г. на территории мемориального комплекса в Катынском лесу близ Смоленска, накануне приезда польской государственной делегации и представителей польской общественности на ежегодную траурную церемонию памяти польских военнопленных, расстрелянных органами НКВД СССР в апреле и мае 1940 г., были установлены два стенда с материалами выставки «Советско-польская война 1919–1921 гг. Судьба красноармейцев в польском плену», подготовленной Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Мемориальным комплексом (МК) «Катынь». Объявлено, что выставка — это анонс одного из отделов нового музейного центра, строящегося на территории комплекса¹.

Очевидно, выставка устроена с ведома или по распоряжению Министерства культуры РФ, чей руководитель — министр Владимир Мединский — еще и председатель РВИО. МК «Катынь», будучи отделом Государственного центрального музея современной истории

России (бывш. Музея революции в Москве), также подчиняется Министерству культуры.

Министерство иностранных дел Польши и польский Институт национальной памяти сразу выступили с заявлениями, возражая против помещения на стендах недостоверных сведений о намеренно жестоким обращении с красноармейцами в польском плену как причине их смертности, а также против завышения числа умерших, называя это фальсификацией истории и расценивая выставку как профанацию катынского кладбища².

О СОДЕРЖАНИИ ВЫСТАВКИ

Вопреки названию, на стендах не сказано практически ничего о ходе войны, если не считать фотоснимка, на котором видно прохождение польских войск по центральной улице Киева — Крещатику — в мае 1920 г., а также двух фотографий красноармейцев, отправляющихся на польский фронт

© Гурьянов А. Э. , 2017

Гурьянов Александр Эдмундович — руководитель польской программы НИИЦ «Мемориал» (Москва); guryanov2009@yandex.ru

¹ URL: memorial-katyn.ru/ru/novosti/134-2017-04-11.html.

² URL: www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/oswiadczenie_msz_w_sprawie_tablic_zamieszczonych_na_cmentarzu_w_katyniu; ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/39600,Oswiadczenie-IPN-w-sprawie-profanacji-cmentarza-w-Katyniu.html.

из Смоленска и Вязьмы, и репродукций двух агитационных плакатов (польского и советского). Про отступление поляков из Киева, наступление Красной армии, которая в августе 1920 г. едва не взяла Варшаву, контрнаступление польских войск, отбросивших Красную армию и выигравших сражение на Немане, после чего в октябре 1920 г. было заключено перемирие и война закончилась, — нет ни слова.

Упомянут Рижский мирный договор, заключенный 18 марта 1921 г. (на стенде ошибка — указана дата 19 марта 1921 г.) и закрепивший польско-советскую границу. Весьма упрощенно и с фактическими ошибками упомянута политика польских властей в 1921–1939 гг. по отношению к украинскому и белорусскому населению на территориях, отошедших к Польше по Рижскому мирному договору. Разбирать здесь эти ошибки смысла нет, поскольку помещенный на стенде пассаж про внутреннюю политику польских властей в период вплоть до 1939 г. никакого отношения к главной теме выставки — судьбе пленных красноармейцев — не имеет, так как обмен военнопленными по советско-польскому соглашению от 24 февраля 1921 г. был в основном завершен к концу октября 1921 г.

Большая же часть экспозиции отведена для фотографий пленных красноармейцев и лагерей (и одного госпиталя), в которых они содержались, а также для различных документов (отчетов Красного Креста, зарубежных общественных организаций, различных ведомственных донесений и нот), свиде-

тельствующих о причинах высокой смертности в плену: недоедании, холоде, нехватке обуви и одежды, обморожениях, эпидемических болезнях и недостатке медицинской помощи.

Приведены численные данные современного российского историка Геннадия Матвеева: 157 тысяч красноармейцев, оказавшихся в польском плену за 20 месяцев войны, из них около 14% освобождены или бежали еще во время военных действий, около 19% вступили в русские и украинские антисоветские формирования на территории Польши, около 48% (более 75 тысяч человек) после войны вернулись на родину по репатриации, менее 1% (около одной тысячи человек) отказались возвращаться и до 18% (25–28 тысяч человек) умерли в плену.

ПРАВДИВО ЛИ РАСКРЫТА ТЕМА ВЫСТАВКИ?

Скажем сразу, что нет оснований сомневаться в достоверности документов, подтверждающих трагические условия содержания пленных красноармейцев в польских лагерях. Несомненно, ответственность за эти условия и высокую смертность пленных несут тогдашние польские власти — не только лагерная администрация, но и министерство военных дел и военное командование, которым подчинялись лагерь.

Вместе с тем нет никаких указаний на то, что произвол и жестокость лагерных администраций, голод, холод и болезни в лагерях были



СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1919-1921 гг.

СУДЬБА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ В ПОЛЬСКОМ ПЛЕНУ

После окончания Первой мировой войны была восстановлена независимость Польского государства. Судьба Катини (Вилна, Брест, Варшава) представляла историческую проблему Польши с учетом национальных и религиозных настроений католической Украины и белорусов во "Восточной Европе".

Одним из результатов 20-летней борьбы польского народа за независимость, а также за восстановление Польши в границах Речи Посполитой 1772 г., провозглашенной "от моря до моря" — от Балтики до Черного моря.

"Мы на штыках месили этот несчастный свободный беззастенчивую свободу"

15 марта 1921 г. был заключен мирный договор, завершивший За Польши, Западной Белоруссии и Западной Украины, на территории которой проживало большинство польского населения на территории белорусские и украинские земли захваченных, были захвачены почти все территории: Западная Белоруссия, Украина, Литва и Курляндия.

Полное наименование: "Восточная Белоруссия".

В 1919-1920 гг. в Западную Белоруссию, Украину, Литву и Курляндию переместились около 5000 коммунистических "бандеров" и польских коммунистов, которые провозгласили "Восточную Белоруссию".

Заключенные в плен красноармейцы направлялись в стalinские лагеря во внутренних районах Польши — Сташаво, Домбе, Туково, Демблин, Брест, Литовск, Вавонце.

УБИЙСТВО С ПАНСКИМИ РАДАНКАМИ С ПОЛЬСКИМИ ТРАГОВИТИ НАРОДНИ

"Ложью при обмане стилизована для Катини — это был последний день жизни. Мысль об ответственности не работала, нечего рассчитывать, что человек останется свободным, а только ожидая расстрелять, и только ожидая расстрелять, и только ожидая расстрелять..."

Из ноты народного комиссара иностранных дел РСФСР Г.В. Червинина чрезвычайному посланнику и полномочному поверенному в делах Польской Республики Т. Филюхову.

В лагере находилось 14 000 пленных. Непопулярно из них в лагере находилось 14 000 пленных. Непопулярно из них в лагере находилось 14 000 пленных.

Каждому из пленных выдавали по 100 граммов хлеба в день.

В лагере находилось 14 000 пленных. Непопулярно из них в лагере находилось 14 000 пленных.

157000

Всего за 20 месяцев войны в польском плену оказалось около 157 000 красноармейцев. На Родину после войны вернулось всего 75 000.

специально устроены по решению польских властей с целью массового умерщвления пленных, как это на протяжении многих лет пытаются представить в некоторых российских СМИ. К счастью, такого утверждения — об умышленном массовом уничтожении пленных красноармейцев путем создания невыносимых условий содержания — нет и на стендах, установленных в Катынском лесу.

Что же касается оценки числа красноармейцев, умерших в польском плену, опубликованной Г. Ф. Матвеевым еще в 2011 г., — 25–28 тысяч (Матвеев, Матвеева 2011: 104, 159), то она заметно больше не только оценки польских историков — 16–18 тысяч (Karpius 1997: 64), но и его собственной более ранней оценки в 18–20 тысяч, опубликованной в российско-польском сборнике документов «Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг.», изданном Федеральным архивным агентством России, тремя российскими государственными архивами и Генеральной дирекцией государственных архивов Республики Польша (Матвеев 2004: 14). Хорошо хотя бы то, что на стендах не повторены значительно большие и, очевидно, ложные оценки из некоторых российских публикаций — 60 тысяч или даже более 80 тысяч погибших в плену красноармейцев, — полученные путем заведомо неаккуратных подсчетов³.

Расхождение между оценками ученых значительное, однако приве-

³ См., например: (Иванов 2014: 93; Фильмишин 2001: 46).

денное на стендах число красноармейцев, умерших в плену, отличается от польских оценок менее чем в два раза (а не в несколько раз, как говорится в заявлении польского МИДа). Вряд ли есть основания усматривать причину расхождения в намеренной фальсификации. Принципиальная причина — фрагментарность дошедших до наших дней архивных источников (на что в своих публикациях указывает и Г. Ф. Матвеев). Однако если бы устроители выставки придерживались научной добросовестности, им следовало бы упомянуть оценки не только Г. Ф. Матвеева, но и польских историков.

Таким образом, выставку можно упрекнуть в некоторой ущербности и однобокости представления сведений о советско-польской войне и о смертности красноармейцев в польском плену, но не в откровенной фальсификации изложения фактов и численных данных.

И ВСЕ ЖЕ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ УСТРОИТЕЛЯМИ ВЫСТАВКИ СОВЕРШЕНА

Только заключается она не в огрехах изложения, а в факте установки стендов не на Поклонной горе в Москве или в Центральном музее вооруженных сил РФ, а именно в Катынском лесу, на территории мемориального комплекса, включающего два кладбища, на которых захоронены жертвы сталинского террора — на одном кладбище расстрелянные наши соотечественники — граждане СССР, на другом — расстрелянные польские военнопленные.

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1919-1921гг. СУДЬБА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ В ПОЛЬСКОМ ПЛЕНУ

Группа красноармейцев в Польше под Рава-Руской, август 1919 г.
The group of Red Army soldiers during their stay in Poland, August 1919.

Здание бывшего лагеря военнопленных и интернированных в Катыни (Польша) в начале 1940 г.
The former camp for prisoners of war and internees at Dabki near the village of Katyn, 1940.

«Современные дебаты о советско-польской войне и об обращении Советским правительством в период начальной фашизации и при поддержке Сталина с нами или в пользу Сталина и в пользу Советского правительства. Вспомогите или воздержитесь. Крайне важно, особенно в свете того, что мы делаем сейчас».

«Земельный вопрос в Польше является предметом не только польской, но и польско-русской дискуссии. Мы должны не только решить этот вопрос, но и решить его в пользу польской стороны».

«Еще в лагере я хотел быть независимым, чтобы работать. Я хотел бы работать на фабрике, чтобы заработать себе на жизнь. Если бы мне позволили работать на фабрике, я бы работал. Если бы мне позволили работать на фабрике, я бы работал».

Категория	Процент
репатриированы	48%
перешли на сторону врага	19%
умерли в плену	18%
освобождены, бежали и т.д.	14%
1% не вернулся в Россию	1%

Современный российский историк Г.Ф. Матаев считает, что в польском плену погибло 25 000-28 000 человек, что составляет около 18% от 157 000 пленных в плен.

75 699 красноармейцев вернулись в Советскую Россию по репатриации.

«Судьба остальных сложилась по-разному: часть бежала, другая в 200 тысяч человек, бежала в Восточную Польшу, третья часть осталась в плену, четвертая часть осталась в плену, пятая часть осталась в плену...»

«Судьба остальных сложилась по-разному: часть бежала, другая в 200 тысяч человек, бежала в Восточную Польшу, третья часть осталась в плену, четвертая часть осталась в плену...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«Красноармейцы, попавшие в плен, оказались в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»

«В лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше, в лагере в Восточной Польше...»



Пусть в текстах на стендах об этом нет ни слова, однако цель устройства этой выставки в Катыни очевидна — увязать трагедию 1919–1921 гг. с катынским преступлением и снизить его тяжесть в глазах посетителей мемориала, подведя их к мысли, что бессудная казнь польских военнопленных в 1940 г. была вовсе не вопиющим злодеянием советского режима, а всего лишь справедливым возмездием за гибель красноармейцев в польском плену двадцатью годами раньше. Фальсификация здесь состоит в подмене настоящего мотива расстрела польских военнопленных и узников тюрем, который на самом деле был осуществлен по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. *«исходя из того, что все они являются закоренелыми, несправедливыми врагами советской власти»*. Именно такое обоснование дано в письме наркома внутренних дел Берии в ЦК ВКП(б) Сталину, ставшем формальной основой для решения Политбюро (Катынь 1999: 384–392). Ни в этом письме, ни в самом решении, ни в каком-либо другом документе, относящемся к катынскому расстрелу, нет ни малейшей ссылки на события 1919–1921 гг., их увязка с расстрелом 1940 г. является чисто пропагандистской, антинаучной манипуляцией⁴.

У нее есть и более общий аспект — фактически внедряется мысль о до-

⁴ Таковую увязку, «изобретенную» еще в 1990 г. по указанию президента СССР Михаила Горбачева и в очередной раз изложенную 7 апреля 2010 г. на пресс-конференции в Смоленске тогдашним премьер-министром РФ Владимиром Путиным, отверг и проф. Г.Ф. Матвеев (URL: lenta.ru/articles/2015/03/02/poland/).

пустимости размена гибели одних людей на гибель других людей. Подобный «взаимозачет» трудно расценить иначе, чем оскорбление памяти и одних и других жертв.

ЕЩЕ ОДНА МАНИПУЛЯЦИЯ СОВЕРШЕНА СО ССЫЛКОЙ НА РОССИЙСКИЙ МИД

На выставке в Катынском лесу среди материалов о красноармейцах в польском плену в 1919–1921 гг. и фотографий кладбищ в Польше, на которых похоронены умершие красноармейцы, вдруг появляется портрет нынешнего министра иностранных дел Сергея Лаврова и цитата из его выступления в апреле 2016 г., в котором он называет Польшу лидером среди европейских стран в деле сноса монументов благодарности Красной армии⁵. Выставку завершает заключение о том, что в нарушение российско-польского межправительственного соглашения от 22 февраля 1994 г. о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий польскими властями инициирована кампания по сносу памятников советским воинам, освобождавшим Польшу в годы Второй мировой войны.

Ряд памятников, установленных в Польше после 1944–1945 гг. в честь Красной армии, действительно сносятся по решению польских властей, которые утверждают, что, по сути, эти памятники пропагандируют коммунизм и символизируют поражение Польши Советским Союзом. Польская сторона считает, что

⁵ URL: ria.ru/world/20160405/1402844089.html.



№ 3 2017

демонтаж этих памятников не нарушает соглашение, так как оно относится только к захоронениям, а не к монументам, установленным в местах, где захоронений нет. При переносе же могил павших в боях с германской армией красноармейцев с городских площадей на специально отведенные участки загородных кладбищ польской стороной соблюдаются общепринятые меры уважения к памяти погибших и их останкам, а также предусмотренная соглашением процедура уведомления и присутствия представителей российской стороны.

Российская же сторона настаивает, что соглашение относится ко всем памятникам — как связанным с захоронениями, так и не связанным с ними, и поэтому снос любого монумента, воздвигнутого в честь Красной армии, нарушает соглашение.

Кто прав в этом споре? Можно усомниться как в том, хорошо ли сносить памятники Красной армии, так и в том, является ли их снос нарушением российско-польского соглашения. Однако совершенно очевидно, что этот сюжет, венчающий выставку, не имеет никакого отношения ни к ее заявленной теме — судьбе красноармейцев в польском плену в 1919–1921 гг., ни к памяти людей, казненных советскими органами и похороненных в Катынском лесу. Это еще одна манипуляция — с целью отвлечь внимание посетителей катынского мемориала от его главного назначения: увековечения памяти жертв сталинского террора, навязать образ Польши как неизменно враждебной нам страны

и этим подтолкнуть к оправданию расстрела польских военнопленных.

Возникает вопрос: а может быть, выставка в МК «Катынь» вообще устроена по заказу МИДа — в отместку за снос монументов Красной армии в Польше?

Итог: под эгидой Министерства культуры РФ и Министерства иностранных дел РФ совершены два подлога ради создания мнимых «противовесов» катынскому злодеянию, ни один из которых не имеет отношения к бессудному расстрелу польских военнопленных в 1940 г. Фактически оба российских министерства проявляют чисто инструментальное отношение и полное равнодушие к памяти всех жертв — и красноармейцев, умерших в польском плену в 1919–1921 гг., и советских воинов, павших в боях с гитлеровцами на территории Польши, и польских военнопленных, казненных и захороненных в 1940 г. в Катынском лесу.

Любые ведомственные манипуляции, имеющие отношение к катынскому расстрелу, заставляют вспомнить о циничной фальсификации, которую СССР навязывал всему миру и от которой отказался всего 27 лет тому назад.

ЖИВА ЛИ «КАТЫНСКАЯ ЛОЖЬ»?

Советская пропаганда десятки лет утверждала, что польских пленников расстреляли гитлеровцы в 1941 г. Эту фальшивую версию заявили сразу после германского радиосооб-

щения 13 апреля 1943 г. об обнаружении в Катынском лесу захоронений пленных польских офицеров, расстрелянных советскими органами в 1940 г. В последующие десятилетия версию расстрела польских офицеров немцами в 1941 г. руководство СССР упорно внедряло за рубежом и внутри страны. Для этой практики уже давно укоренилось емкое название «катынская ложь». Она была официально оформлена в январе 1944 г. в виде «Сообщения Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров» (Сообщение 1944).

«Сообщение...» комиссии, которую возглавил академик Николай Бурденко, утверждало, что в июле 1941 г. польские военнопленные содержались в трех лагерях особого назначения НКВД в 25–45 км западнее Смоленска, при наступлении германской армии их не удалось эвакуировать, они были захвачены немцами и вскоре ими расстреляны, а в 1943 г. немцы сначала использовали русских военнопленных числом до 500 человек для вскрытия катынских могил, изъятия из одежды убитых польских офицеров всех документов, датированных позднее апреля 1940 г., и подкладывания в карманы трупов других бумаг, а также для закладывания в захоронения трупов, привезенных из других мест. Затем, как говорится в «Сообщении...», немцы увели русских военнопленных из Катынского леса в неизвестном направлении на расстояние 3–4 ча-

сов пешего хода и там расстреляли. Согласно «Сообщению...», лишь после описанной выше «подготовки» катынских могил немцы объявили в апреле 1943 г. об их обнаружении и организовали их посещение жителями Смоленска, а также иностранными делегациями.

Свою вину за расстрел польских военнопленных Советский Союз признал только в 1990 г. (Катынь 2001: 580–581). Тогда же было возбуждено уголовное дело и начато расследование катынского преступления (*Яжборовская и др.* 2009: 320, 321). Следствие советской, а затем российской Главной военной прокуратуры (ГВП) сумело найти и допросить некоторых участников и организаторов операции НКВД СССР по ликвидации польских граждан, установило, что никаких лагерей для военнопленных в 1941 г. в Смоленской области не существовало, что легшие в основу «Сообщения...» комиссии Бурденко свидетельские показания были ложными, а письменные доказательства сфальсифицированы, что лжесвидетельства были получены путем запугивания свидетелей сотрудниками НКВД-НКГБ СССР из специальной группы, командированной в Смоленск сразу после его освобождения от германской оккупации, а письменные документы с датами 1941 г., найденные в январе 1944-го при трупах польских военнопленных в ходе вторичной эксгумации под эгидой комиссии Бурденко, заранее подложены чекистами из той же группы (Там же: 353–363).

Так следствие ГВП разоблечило «катынскую ложь».

Правда, за рубежом ей и раньше верили немногие. В частности, иностранные свидетели и польские участники эксгумации катынских могил, проведенной весной 1943 г. германскими властями при участии Технической комиссии Польского Красного Креста, решительно отвергали возможность того, что могилы раскапывались до начала официальной эксгумации, и приводили убедительные доводы, доказывающие, что на их глазах захоронения вскрывались впервые (*Skarżyński* 1989: 23, 48; *Mackiewicz* 2009: 231; *Mord w Lesie Katyńskim* 2017: 199–201, 434–435, 451).

К раскопкам весной 1943 г. привлекались русские жители окрестных деревень, а также советские военнопленные из немецкого лагеря в Смоленске. Однако помимо сфальсифицированного «Сообщения...» комиссии Бурденко нет ни одного свидетельства о том, что какие-либо советские военнопленные, якобы использованные немцами для предварительной «подготовки» катынских могил, были затем расстреляны. Да и в самом «Сообщении...» комиссии Бурденко приведено только одно такое «свидетельство» — пересказ местной жительницей рассказа якобы бежавшего из-под расстрела и укрывшегося у нее на один день русского военнопленного, который уже на следующий день был немцами схвачен.

Оплошности текста этого «свидетельства» сами по себе выдавали, что оно сфабриковано. В частности, свидетельница сообщила, что, когда в марте 1943 г. она наткнулась на скрывавшегося в ее сарае русско-

го военнопленного, тот рассказал ей, что в начале апреля 1943 г. все намеченные немцами работы (по «подготовке» катынских могил) были закончены и ночью всех военнопленных подняли, куда-то повели в неизвестном направлении и, пригнав через 3–4 часа на лесную поляну с ямой, стали расстреливать (Сообщение 1944: 34–36) — т.е. этот человек в марте рассказал свидетельнице о том, что якобы случилось в апреле!

Однако, несмотря на разоблачение лживого «Сообщения...» комиссии Бурденко, на территории МК «Катынь» до сих пор лежит гранитная плита, утверждающая, что «Здесь в мае 1943 года гитлеровцы уничтожили более 500 советских военнопленных». Ее установили по постановлению от 20 мая 1988 г. бюро Смоленского обкома КПСС, выполнявшего постановление Политбюро ЦК КПСС от 5 мая 1988 г. «О мерах по обустройству места захоронения польских офицеров в Катыни (Смоленская область) и расширению доступа граждан ПНР и других стран» (Катынь 2001: 572–574). Один из пунктов утвержденного в обкоме плана мероприятий гласил: «Установить рядом с захоронением польских офицеров мемориальный знак советским военнопленным, участвовавшим в работах по эксгумации и уничтоженным гитлеровцами на этой же территории в мае 1943 года».

Так на излете эры «катынской лжи» одному ее осколку продлили жизнь до наших дней. Упорное сохранение на территории подчиненного Министерству культуры МК «Ка-

тын» памятной плиты, посвященной расстрелу более 500 советских военнопленных, которого на самом деле не было, — это еще одна фальсификация истории. Вероятно, ради того, чтобы также и этим мнимым расстрелом немцами наших военнопленных хоть немного «уравновесить» массовое убийство советской властью пленных польских офицеров. И чтобы спасти хоть что-нибудь из комфортного советского нарратива, согласно которому злодеяния совершались кем угодно, но только не нашей страной.

УВАЖЕНИЕ К ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТРЕБУЕТ УВЕКОВЕЧИТЬ ИХ ИМЕНА

Дефицит уважения к памяти жертв сталинского террора явственно виден при сравнении двух кладбищ, входящих в состав МК «Катынь», открытых в 2000 г. в урочище «Козьи горы». Контраст между ними разителен. Польша позаботилась о поименном увековечении памяти всех более 4400 расстрелянных и захороненных здесь в 1940 г. польских военнопленных — их фамилии и имена начертаны на персональных памятных чугунных плитках, составляющих окаймляющую кладбище стену, и повторены на центральной алтарной стене с подземным колоколом.

На соседнем же кладбище наших соотечественников, казненных советской властью, нет ни одного имени. Поименные списки почти 8 тысяч советских граждан, расстрелянных в Смоленске в годы сталинского террора, основанные на архивных

документах областного УФСБ, уже давно имеются в комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Смоленской области. Однако памятные плиты с именами жертв сталинского террора на мемориальном кладбище в Катынском лесу до сих пор не установлены. Как будто специально ради того, чтобы у посетителей катынского мемориального комплекса осталось лишь смутное представление о безликой массе анонимных жертв. Как будто в расчете на то, что если жертвы безымянны, то и злодеяние покажется людям отвлеченной абстракцией, не требующей осуждения советского режима и признания его преступным.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Иванов 2014 — *Иванов Ю. В.* Очерки истории российско(советско)-польских отношений в документах. 1914–1945. М., 2014.

Катынь 1999 — Катынь. Пленники необъявленной войны: Документы и материалы / сост. Н. С. Лебедева, Н. А. Петросова, Б. Воцинский, В. Матерский. М., 1999.

Катынь 2001 — Катынь. Март 1940 г. — сентябрь 2000 г.: Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы / отв. сост. Н. С. Лебедева. М., 2001.

Матвеев 2004 — *Матвеев Г. Ф.* Предисловие российской стороны // Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг. Сборник документов и материалов / сост. З. Карпус, В. Резмер, Г. Матвеев, М.; СПб., 2004.

Матвеев, Матвеева 2011 — *Матвеев Г. Ф., Матвеева В. С.* Польский плен. Военнослужащие Красной армии в плену у поляков в 1919–1921 годах. М., 2011.

Сообщение 1944 — Сообщение Специальной комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. М.: ОГИЗ Государственное издательство политической литературы, 1944. 55 с.

Филимошин 2001 — Филимошин М. В. «Десятками стрелял людей за то, что... выглядели как большевики» // Военно-исторический журнал. 2001. № 2.

Яжборовская и др. 2009 — Яжборовская И. С., Яблоков А. Ю., Парсаданова В. С. Катынский синдром в советско-польских

и российско-польских отношениях. М., 2009.

Karpus 1997 — Karpus Z. Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-1924. Toruń, 1997.

Mackiewicz 2009 — Mackiewicz J. Sprawa mordu katyńskiego. Ta książka była pierwsza. Londyn, 2009.

Mord w Lesie Katyńskim 2017 — Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952 / oprac. W. Wasilewski. Warszawa, 2017.

Skarżyński 1989 — Skarżyński K. Katyń. Raport Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa, 1989.

ABOUT THE ATTEMPT BY RUSSIAN AUTHORITIES TO JUSTIFY KATYN

Guryanov Alexander E. — head of the Polish program of “MEMORIAL” (Moscow)

REFERENCES

Filimoshin M. V. "Desiatkami strelial liudei za to, chto... vygliadeli kak bol'sheviki". Voennno-istoricheskii zhurnal. 2001. No. 2.

Iazhborovskaia I. S., Iablokov A. Iu., Parsadanova V. S. *Katynskii sindrom v sovetsko-pol'skikh i rossiisko-pol'skikh otnosheniakh*. Moscow, 2009.

Ivanov Iu. V. *Ocherki istorii rossiisko(sovetsko)-pol'skikh otnoshenii v dokumentakh. 1914–1945*. Moscow, 2014.

Karpus Z. *Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924*. Toruń, 1997.

Katyn'. Mart 1940 g. – sentiabr' 2000 g.: Rasstrel. Sud'by zhivyykh. Ekho Katyni. Dokumenty / otv. sost. N. S. Lebedeva. Moscow, 2001.

Katyn'. Plenniki neob'iavlennoi voiny: Dokumenty i materialy / sost. N. S. Lebedeva, N. A. Petrosova, B. Voshchinskii, V. Mater-skii. Moscow, 1999.

Mackiewicz J. *Sprawa mordu katyńskiego. Ta książka była pierwsza*. Londyn, 2009.

Matveev G. F., Matveeva V. S. *Pol'skii plen. Voennosluzhashchie Krasnoi armii v plenu u poliakov v 1919–1921 godakh*. Moscow, 2011.

Matveev G. F. *Predislovie rossiiskoi storony. Krasnoarmeitsy v pol'skom plenu v 1919–1922 gg. Sbornik dokumentov i materialov / sost. Z. Karpus, V. Rezmer, G. Matveev*. Moscow; St. Petersburg, 2004.

Mord w Lesie Katyńskim. Przesłuchania przed amerykańską komisją Maddena w latach 1951–1952 / oprac. W. Wasilewski. Warszawa, 2017.

Skarżyński K. *Katyń. Raport Polskiego Czerwonego Krzyża*. Warszawa, 1989.

Soobshchenie Spetsial'noi komissii po ustanovleniiu i rassledovaniiu obstoiatel'stv rasstrela nemetsko-fashistskimi zakhvatnikami v Katynskom lesu voennoplennykh pol'skikh ofitserov. Moscow: OGIZ Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1944. 55 p.

Дискуссия по поводу доклада «Какое прошлое нужно будущему России?»»

Г. Б. Юдин

ВОПРОС ДОКЛАДА И ДОКЛАД КАК ВОПРОС (Вводная заметка)

Ключевые слова: историческая память, исторический язык, образ будущего

Эта вводная заметка указывает на задачи, которые ставил перед собой доклад «Какое прошлое нужно будущему России?» Ключевая задача состояла в том, чтобы развернуть общественную дискуссию по вопросу, который вынесен в заголовок доклада. Это подчеркнуто нормативный вопрос, и для того, чтобы ответить на него, необходимо сочетать элементы научного исследования и публичной полемики.

Какое прошлое нужно будущему России? Давайте представим себе это проектируемое будущее, в котором мы хотели бы оказаться. Нет нужды, чтобы это желаемое будущее было у всех одинаковым, но его образ у нас должен быть — ведь если у нас нет никаких предпочтений,

наше будущее будут определять другие. Как выглядит наше прошлое в этом будущем? В некоторых языках (например, во французском) существует временной модус *futur antérieur* — то, что в будущем мы будем считать прошлым. Как говорит Джорджо Агамбен, именно это время и является временем работы историка (или «археолога») (Agamben 2009: 32), именно он способен давать обществу понимание того, что оно свободно выбирать между разными прошлыми.

© Юдин Г. Б., 2017

Юдин Григорий Борисович — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики (Москва); greg.yudin@hse.ru

Как будет выглядеть наше прошлое в будущем? Как будет устроена историческая память? О чем и, самое главное, *как* мы будем помнить — а что забудем? Что станет сакральным, а что будет предано забвению? О чем будут вестись споры, а что станет предметом безусловного согласия? Кто будет производить это прошлое и кто станет его носителем? Каким будет место исторической науки в этом создании прошлого? Что возьмется определять в прошлом государство и будут ли у него конкуренты? В каких формах прошлое будет существовать? Какие способы работы с прошлым будут использоваться?

До недавнего времени эти вопросы задавались редко; редко историки поднимали их в публичных дискуссиях. Много изменилось, когда несколько лет назад в течение короткого времени история превратилась в основной язык российской политики. Сегодня политические высказывания сплошь и рядом произносятся на историческом языке, а отсылка к историческим событиям стала наиболее эффективным инструментом политической борьбы. Оказалось, что в спор об образе будущего придется включить образ прошлого: картина будущего без представления о нашем будущем прошлом не может быть убедительной.

Возникшая в России необходимость обсуждать прошлое в перспективном модусе совпала с бурным развитием философии истории, происходящим в мире в последние годы. Работа с исторической памятью, подходы к этой работе

и критерии их успешности активно разрабатываются рядом оригинальных мыслителей и, как справедливо указывает С. Эрлих, становятся фундаментом для исторической политики. Многие из этих работ, к счастью, уже доступны на русском языке. Российская ситуация отнюдь не уникальна, пусть и специфична, и в сегодняшних международных спорах о принципах работы с прошлым Россия и российские ученые должны занять важное место.

Поэтому ключевая задача, которую ставил перед собой доклад «Какое прошлое нужно будущему России?», состояла в том, чтобы развернуть общественную дискуссию по вопросу, который вынесен в его заглавие. Уже сейчас, спустя полгода после его появления, можно заключить, что эта задача решена — идеи доклада продолжают обсуждаться в самых разных форматах, от статей до презентаций и круглых столов. Зачастую это обсуждение развивается дальше, чем могли предположить авторы, и превосходит их возможности откликаться на него напрямую. Серия рассуждений и реплик, которая публикуется в этом номере, дает представление о том, насколько широк круг возникших вопросов — от исторической травмы и контуров будущего политического субъекта до функций исторической науки и эвристичности отдельных понятий. Мы рады всем откликам, которые позволяют продвинуться в решении основного вопроса.

Доклад в полном и кратком виде, а также презентации к нему можно найти на сайте Комитета гражданских инициатив, который поддер-

жал эту работу¹. Этот доклад появился по инициативе Вольного исторического общества. Многие российские историки столкнулись в последнее время с тем, как резко возросла политическая конфликтность исторических исследований и нормальной исторической работы. Новые обстоятельства вынудили внимательнее присмотреться к социальным условиям производства исторической памяти. Доклад призван предоставить материал, на основании которого можно было бы выработать тактику действий, как коллективных, так и индивидуальных. Этот материал нужен для того, чтобы разговор о беспокоящей многих сегодня проблеме организации исторического сознания стал более предметным и информированным. Для этого в докладе, как верно отметил В. Морозов, звучит не один, а одновременно много голосов — без полифонии не бывает дискуссии. Доклад состоит из двух частей — аналитической, которая выполнена в форме клинического разбора идеологии, и социологической, которая опирается на специально собранный эмпирический материал. Эти части находятся между собой в диалоге — одни и те же темы поднимаются в них с разных сторон, чтобы насытить доклад как фактическим, так и полемическим содержанием.

Доклад сочетает в себе элементы научного исследования и общественной дискуссии. Конечно, у авторов доклада есть собственные взгляды и предпочтения, у каждого свои, и мы не собираемся их скры-

вать. Нельзя не согласиться с А. Голубевым, что находиться в поле исторической политики и претендовать на очищенную от идеологии позицию не только невозможно, но и бессмысленно — иначе зачем вообще начинать общественную дискуссию? Интеллектуальная честность состоит в том, чтобы не прятать свою собственную позицию, а заявлять ее прямо и ясно, чтобы читатель мог сам оценить, насколько эта позиция предопределила отбор и интерпретацию фактов. То же требование действует и в отношении самого читателя, и в отношении любого участника обсуждения.

В докладе есть место и для фактов, и для оценок, и их имеет смысл различать. Так, развитие «второй памяти» — это факт, который удалось зафиксировать с помощью нашего инструментария. Точно так же фактом является то, что агенты второй памяти заявляют о своей идеологической нейтральности. Приветствуем ли мы это? Верим ли мы в их нейтральность? С точки зрения фактов все это не имеет значения — социолог не может спорить со своим респондентом, потому что он находится на другом уровне наблюдения. С нормативных позиций это спорный вопрос — деидеологизация и деполитизация вовсе не обязательно являются благом. Однако сегодня, как показало наше исследование, именно историографы, зараженные еще в перестроечное время делом восстановления исторической истины, оживляют память о тех судьбах, которые не ложатся в нарратив государства-тумфатора, — о национальных меньшинствах, о жертвах репрессий и гражданских конфликтов.

¹ URL: komitetgi.ru/analytics/3076/.

Как выражаются наши респонденты, нужно сохранять «и хорошее, и плохое», а «люди не идиоты и сами разберутся». Прежде чем критиковать этих историков за их методологическую наивность, имеет смысл оценить, насколько действенным оказывается их труд в непростых условиях, как с минимальными ресурсами они становятся влиятельными агентами исторической памяти в своих городах и областях.

Вторая память не хороша и не плоха сама по себе. Да, сегодня она работает на гражданское примирение, на возвращение множеству разных субъектов права на собственную историю. Хорошо ли это? Необязательно, если вы, к примеру, полагаете, что история должна быть только одна, а множественность интерпретаций создает в головах опасный хаос. Может ли вторая, локальная память быть использована сепаратистами? Да, вероятнее всего. Плохо ли это? Необязательно, если вы ставите пра-

во народов на самоопределение выше принципа целостности государства, а федерализм вам ближе, чем централизованное государство.

Вторая память, как и текущая государственная историческая политика, как и другие описанные в докладе явления, — это просто стартовые условия, исходный материал для проективного действия. Каким должно быть это действие, определит дискуссия, в которую этот доклад, надемся, внес посильный вклад. Как точно замечает К. Морозов, любой академический ученый естественным образом чувствует себя комфортно в созерцательной установке. Однако для того, чтобы действие состоялось, такой установки недостаточно. Необходимо ответить себе, каким мы *желаем* видеть наше будущее прошлое.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Agamben 2009 — Agamben G. *The Signature of All Things*. New York: Zone Books, 2009.

THE QUESTION OF THE REPORT AND THE REPORT AS A QUESTION (INTRODUCTORY NOTE)

Yudin Grigory B. — candidate of philosophical sciences, senior researcher of Laboratory for studies in economic sociology, HSE (Moscow)

Key words: historical memory, historical language, image of the future

This short introductory note explains the tasks of the report “Whither Past for the Russian Future”. Its key objective consisted in initiating public discussion on the question that signifies its title. This is a distinctly normative question, and answering it requires a productive tension between scientific research and public polemic.

REFERENCES

Agamben G. *The Signature of All Things*. New York: Zone Books, 2009.

С. Е. Эрлих

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ», «ВТОРАЯ ПАМЯТЬ» И «ЦЕНА ПРОГРЕССА»

Ключевые слова: глобальная память, национальная память, семейная память, коллективная травма, героический миф, «шорт-термизм»

Автор с точки зрения глобальной памяти формирующейся информационной цивилизации критикует следующие положения доклада «Какое прошлое нужно будущему России»: 1) представление о том, что героический миф и «шорт-термизм» являются не общими вызовами для всей христианской цивилизации, а спецификой путинской политики памяти; 2) противопоставление «плохой» национальной памяти, контролируемой государством, «хорошим» локальной и семейной формам памяти; 3) сведение травматического опыта русского народа к сталинским репрессиям и отказ рассматривать коллективную травму 1990-х годов.

Текст, озаглавленный на сайте Комитета гражданских инициатив как «Доклад Вольного исторического общества», состоит из двух частей. Первая – собственно доклад «Какое прошлое нужно будущему России» (далее – Доклад), вторая – «Аналитический отчет по социологическому исследованию в рамках доклада Вольного исторического общества» (далее – Отчет)¹. В первой части

рассматривается образ прошлого, «навязываемый государством» (Доклад, с. 15). Вторая часть посвящена исследованию общественных представлений, которые обозначаются авторами как «вторая память» (Отчет, с. 101).

Значение Доклада и Отчета состоит в том, что впервые предпринята попытка представить панораму современного состояния памяти. Можно не соглашаться с теми или иными выводами авторов. Но нельзя отрицать, что эти тексты стали точкой

© Эрлих С. Е., 2017

Эрлих Сергей Ефреимович – доктор исторических наук, директор издательства «Нестор-История» (Москва – Санкт-Петербург); ehrllich@mail.ru

¹ Публикуем доклад Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России» // Комитет гражданских

инициатив. 2017. 23 января. URL: komitetgi.ru/analytics/3076/.

отсчета. Конструктивная критика поможет лучше понять проблему, решение которой имеет не только академическое, но и важное практическое значение.

Среди достоинств Доклада я бы выделил его название. Действительно, память отличается от истории тем, что не изучает прошлое, а использует его в настоящем с целью создания лучшего будущего. Нам необходимо задуматься, какой образ прошлого снабдит общество образцами поведения, которые соответствуют реалиям формирующейся информационной цивилизации.

Буду рад, если мои замечания помогут внести коррективы в будущие обзоры национальной памяти, которые обязательно должны стать регулярными. Остановлюсь на трех моментах. Прежде всего, на «изолирующем» подходе Доклада, из-за чего общие проблемы памяти современных национальных государств воспринимаются авторами как российская специфика. Второй сюжет связан с попыткой авторов Отчета противопоставить «плохой» государственной памяти «хорошие» семейные и локальные идентичности. Третий вопрос относится к общей для Доклада и Отчета установке, согласно которой в проработке сегодня нуждается только одна-единственная травма нашего прошлого — травма сталинизма.

А) ОБЩЕЕ КАК ОСОБЕННОСТЬ

Отказ от осмысления будущего и героический миф («историко-патриотические мифологемы» — Доклад,

с. 8), образующий основу национальной памяти, рассматриваются в Докладе как русская специфика. В действительности эти феномены являются общими для народов европейской цивилизации.

В Докладе указывается, что в советское время образ коммунистического будущего был важной составляющей картины мира. Сегодня, напротив, «удельный вес превознесения и толкования выдающегося прошлого превышает все остальное, включая практически отсутствующие в идеологическом дискурсе образы будущего» (Доклад, с. 5). Избранный в качестве символа Доклада памятник Покорителям космоса свидетельствует, что советский «футуризм» является тем наследием, от которого не следует отказываться. Бесспорно, что без «проработанного» образа будущего у нашей страны не может быть обнадеживающих перспектив. Неоспоримо и то, что повальный презентизм, нагруженный пассаизмом, — это общая проблема европейской цивилизации. Катастрофы двух мировых войн и ужас, порождаемый ядерной, экологической и демографической угрозами, привели к тому, что на Западе время остановилось в 1970-х гг. В СССР идея прогресса дожила до начала 1990-х. Страх будущего приводит к отказу от долгосрочных социальных и экономических проектов. Это явление столь распространено, что уже получило наименование «шортермизма» (Guldi, Armitage 2014: 13). Существует обширная литература о том, что нынешний бум памяти компенсирует утрату «инстинкта

будущего»². Одержимость прошлым — это не российская специфика. Эта опасность может быть преодолена только совместными усилиями представителей всех европейских, в культурном смысле, стран.

В Докладе много и справедливо критикуется «усиленная милитаризация истории», основанная на героическом мифе. Культ Победы вытесняет из памяти остальные события прошлого: «Нет ничего важнее в этой истории, чем Великая Война, и победил в ней Сталин» (Доклад, с. 5). Следует согласиться, что «история походов, войн, вторжений, завоеваний и присоединений не должна исчерпывать памяти о прошлом». «Военизированная история» действительно приводит к «милитаризации сознания» (Доклад, с. 28). Достаточно вспомнить, как патриотическое перевозбуждение европейских народов сказалось при развязывании Первой мировой войны. Этот пример доказывает, что героический миф и связанные с ним деформации памяти не могут считаться нашей национальной особенностью. Даже в самых демократических странах история грубо попирается в угоду патриотическим соображениям.

Опрос, проведенный накануне 70-летия победы над нацизмом, показывает: 55 % американцев убеждены, что решающий вклад в эту победу внесли США, 11 % посчитали, что приоритет принадлежит СССР, и 7 % — что это сделала Ве-

ликобритания (Jordan 2015). Трудно сомневаться, что такая память была сформирована под влиянием американских пропагандистов героического мифа. Это не единственное очевидное расхождение между историей Второй мировой войны и памятью о ней в США. В большинстве американских учебников написано, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были актом гуманизма, который позволил сэкономить жизни американских парней и заодно японских милитаристов (Crawford 2003: 108–117). О том, что американские политики не менее ревниво, чем их российские коллеги, относятся к попыткам пересмотра «героического прошлого», свидетельствует скандальное закрытие выставки в Смитсоновском музее, организаторы которой решили напомнить о последствиях ядерных ударов по японским городам. Маленькая «американская трагедия» была разыграна по знакомому нам сценарию. Первыми «переписыванием истории» возмутились журналисты-патриоты. За ними последовали ветераны, которых поддержали сенаторы. Выставка была закрыта. Директор музея подал в отставку (Controversy 2016). Примечательно, что попытка музейщиков осуществить «фальсификацию истории в ущерб интересам Америки» была пресечена патриотической общественностью в союзе с государственными мужами не в разгар холодной войны, а в 1995 (!) г.

Поэтому чаемое нами изменение политического режима в России само по себе не приведет к принципиальным переменам в режиме памяти. Героический миф — это

² В недавно переведенной на русский язык книге содержатся ссылки на основные публикации по теме: (Асман 2017).

становой хребет идентичности современных государств-наций. Ни один «аппарат насилия» не может отказаться от глорификации насилия в благородных целях защиты «отечества», «демократии» и т.д. Угрозы, которые несет милитаризация памяти, в эпоху ядерного оружия становятся смертельными для всего человечества. Они не могут быть преодолены в национальных рамках. Искажение перспективы памяти, в которой общая проблема рассматривается в качестве российской специфики, должно быть устранено в последующих докладах. Российская память должна быть адекватно вписана в международный контекст.

Авторы Отчета пытались обратить внимание авторов Доклада на недопустимость «методологического национализма», выражающегося в изолированном рассмотрении российской памяти: «Мы не считаем, что изменения и специфика ландшафта коллективной памяти — результат исключительно внутренних, российских факторов. Мы считаем, что общемировые изменения в культуре памяти тем или иным способом влияют на российский ландшафт памяти» (Отчет, с. 108). К сожалению, авторы Доклада не прислушались к мнению коллег.

Б) СКОЛЬКО ПАМЯТЕЙ У РОССИИ?

Отчет основан на 41 интервью. «Объектом исследования» стали профессионалы памяти из больших и малых городов: учителя, музейные работники, архивисты, журналисты и т.д. (Отчет, с. 36). По долгу

службы они «близки народу». Поэтому глубинные интервью с ними позволяют реконструировать массовые представления о прошлом. Опора на «живое творчество масс» приводит авторов Отчета к любопытным заключениям.

Интересны их наблюдения о соотношении общенационального и локального уровней памяти в зависимости от места региона в политической иерархии страны. Для москвичей характерно «абсолютное преобладание национального дискурса». Петербуржцев отличает стремление перетянуть одеяло исторической памяти на себя. События местной истории рассматриваются ими «как события национального значения». Это любопытный пример питерского ressentimentа ко всему московскому. Третий тип — стремление «подверстать» местную историю к национальной повестке памяти — свойствен большинству регионов, находящихся в финансовой зависимости от политического центра. Но унижение паче гордости. Подспудно во многих регионах формируется «фигура обособления и формирования местной идентичности». Есть и четвертый тип — локальный нарратив, который «никак не соотносится с национальным, федеральным уровнем» (Отчет, с. 42).

Эти наблюдения показывают, сколько многообразна память Российской Федерации и как сложно ее унифицировать. Это соответствует утверждению основоположника исследований коллективной памяти Мориса Хальбвакса, который писал, что память является основой групповой идентичности, и поэтому число

коллективных памятей равно числу групп.

По этой причине невозможно согласиться с итоговым выводом Отчета, сводящим «мемориальное» разнообразие нашей страны к двум типам: «первой памяти», которая «определяется государством “сверху вниз”», и низовой «второй памяти», наделяемой перечнем общих свойств. В их числе: «дистанция от идеологии», работа «на примирение», опора «на работу историков, на обнаружение фактов и документов, на архивные изыскания» (Отчет, с. 101). За групповой памятью, в том числе в ее семейной и различных локальных формах, всегда стоят групповые интересы и пристрастия. Следовательно, авторы выдают желаемое за действительность. Замечательные свойства, приписанные «второй памяти», на самом деле относятся к идеальному и, увы, пока далекому от воплощения образу исторической науки.

Чтобы убедиться, в какой степени многие «субгосударственные» феномены памяти наполнены идеологией и чреваты насилием, достаточно обратиться к опыту этнических субъектов федерации. Сегодня в них создаются нарративы, которые в ряде случаев конфликтуют с общероссийской памятью. Так, в автономиях Северного Кавказа после 1991 г. были возведены мемориалы жертв Кавказской войны XIX в., т.е. жертв колониальной политики Российской империи. Памятники событиям полуторавековой давности становятся центрами официальных ритуалов поминовения и влияют на режим памяти се-

верокавказских обществ. Этнолог из Кабардино-Балкарии Дмитрий Прасолов отмечает, что с помощью подобных ритуалов «травма Кавказской войны не столько прорабатывается, сколько вновь переживается и политически инструментализируется». Скорбь о «своих» жертвах становится «еще одним поводом для публичной репрезентации памяти о человеческих, территориальных и культурных потерях, <...> возможностью манифестации комплекса постколониальных претензий» (Прасолов 2017: 67–82). Закрытые группы социальных сетей лелеют «исторически» мотивированную недоброжелательность к потомкам русских колонизаторов. Религиовед, специалист по Кавказу Наима Нефляшева приводит один из лозунгов, набирающих популярность в черкесском Интернете: «Эльбрус – наш Сион, Сочи – наш Иерусалим» (Нефляшева 2013: 118–119). Опыт «межэтнических конфликтов» конца горбачевской перестройки свидетельствует, как легко глубинные месторождения памяти начинают фонтанировать кровью наших современников и как непросто это кровопролитие остановить. Можно ли считать подобные мемориальные феномены примерами «дистанции от идеологии», работающими «на примирение»? Исследователь истории Дагестана Патимат Тахнаева полагает, что задача укрепления доверия между народами Кавказа и русскими должна решаться в других, более подходящих для этого местах памяти (Тахнаева 2017: 72–95).

Региональная память становится источником не только этниче-

ского сепаратизма. В начале 90-х возникали проекты Балтийской (Калининград), Дальневосточной, Сибирской, Уральской и других республик, под которые также подводилось «историческое» обоснование. В частности, сибиряки апеллировали к идеям «областничества» XIX в., на Дальнем Востоке вспоминали ДВР и т.д.³ Можно ли характеризовать такую память как ориентированную «на работу историков, на обнаружение фактов и документов, на архивные изыскания»? Если историки и принимали участие в подобных проектах, то не в качестве ученых, а как идеологически заряженные конструкторы памяти.

При определенном стечении обстоятельств региональная память оформляется вокруг агрессивной идеологии героического мифа и вступает в конфликт с национальной памятью. Практически любая региональная память содержит потенциал «самоопределения вплоть до отделения», и поэтому инженеры исторической политики государства стараются искоренять центробежные тенденции.

Многие из феноменов региональной идентичности не вписываются в предложенные авторами Отчета определения «первой» и «второй» памяти. Тот факт, что чреватая героическим мифом региональная память проскользнула сквозь концептуальную сеть Отчета, оставив лишь неотчетливый след: «Федеральная повестка может иметь слабое или не иметь никакого значе-

³ См. обзор проповедника «регионализации»: (*Штмена*).

ния для процессов активной трансформации исторической памяти, происходящих в отдельных городах и регионах (Отчет, с. 42), — свидетельствует о необходимости усовершенствовать методологию исследования.

Это была плохая новость.

Хорошая новость состоит в том, что память, которая не зависит от государства, которой свойственны дистанция от идеологии, стремление к примирению и научный подход к прошлому, действительно существует, точнее, формируется на наших глазах. В интервью с профессионалами памяти из больших и малых городов ростки этой памяти были зафиксированы, но неверно интерпретированы. Авторы Отчета напрасно связали обнаруженные ими феномены с регионом, городом, селом, семьей, т.е. с идентичностями более раннего, чем модерное государство-нация, происхождения. Названные идентичности формировались в период от начала палеолита до конца Средних веков. Они резко ограничивают число людей, к которым следует относиться как к «своим», и, следовательно, расширяют круг «чужих», в отношении которых «все дозволено». Если допустить, что хищные вещи каменного века «автономизируются» от государственного нарратива и станут самодостаточными, это приведет не к расцвету гуманного отношения к ближним и дальним, а, напротив, к войне всех против всех. Антропологические исследования показывают, что в догосударственных обществах уровень насилия «на душу населения», как это ни по-

кажется удивительным, после двух мировых войн, ГУЛАГа и Холокоста намного выше, чем в государствах-нациях (Pinker 2011).

Преодоление агрессии, питаемой национальной памятью, возможно путем не сужения коллективной идентичности, а, напротив, ее радикального расширения и включения в число «своих» всех жителей Земли. Феномены глобальной памяти (Memoгу 2010) и глобальной идентичности (Albrow 1996) уже осмысливаются. В тот момент, когда исчезает деление на «своих» и «чужих», память, по мнению Мориса Хальбвакса, становится тождественной исторической науке. История – это всеобщая память человечества. Именно эта память «за счет своей идеологической нейтральности работает на примирение» (Отчет, с. 101). Глобальной памяти присущи сочувствие жертвам всех репрессий и геноцидов, внимание к каждой жизни, к людям всех времен и народов, в независимости от религии, расы, этноса, класса и прочих социальных характеристик. Перефразируя авторов Отчета (они говорят о национальной памяти): «Глобальная память возникает за счет возможности для каждого человека найти себя и своих предков в исторически значимых для человечества процессах и событиях» (Отчет, с. 101). Решение этой задачи по силам только международному сообществу исследователей и конструкторов памяти. Историки должны сыграть в этом деле важную роль. Нам надо набраться смелости и стать теми реалистами, которые требуют невозможного.

В) ТРАВМА ИЛИ ЦЕНА ПРОГРЕССА?

Изучение исторических травм – незаживающих душевных ран, нанесенных трагическими событиями прошлого, которые часто передаются по наследству, является одним из важных направлений в исследованиях памяти. В данном случае историки выступают как психотерапевты, исцеляющие нацию от страданий путем проработки прошлого.

В Докладе (с. 40) и Отчете (с. 13) говорится о травме сталинских репрессий. В Отчете также упоминается о чувствах «проигравших» в ходе «либеральных реформ», о ностальгии по СССР, испытываемой, согласно опросам, большинством сограждан. В заключающем этот пассаж предложении говорится о невозможности «справиться с травмами и “горем”» (Отчет, с. 28). Поскольку травма здесь упоминается со ссылкой на книгу Александра Эткинда, посвященную памяти о сталинских репрессиях, мы можем только гадать, хотели ли авторы Отчета намекнуть, что «транзит» от коммунизма к демократии имел травматический характер, или в данном случае речь снова идет о травме сталинизма. Если отказаться от гаданий на гуще обтекаемых высказываний, то можно считать, что и авторы Доклада, и авторы Отчета придерживаются концепции «единственной травмы».

И в этом они не оригинальны. Российское общество солидарно в том, что для современной памяти актуальна одна-единственная травма. Мнения расходятся в том, какое из событий нашей истории следует

считать травматическим. Для тех, кто ностальгирует по СССР, роль кошмарного воспоминания играют времена «перестройки» и «реформ». Тем, кто в 1991 г. приветствовал падение «железного занавеса», свойственно мучительно переживать память о сталинских репрессиях. Расходясь во времени, оппоненты прибегают к единой стратегии обоснования «своей» и отвержения «чужой» травмы, которая и одними, и другими рассматривается как необходимая «цена прогресса».

Для сталинистов прогресс заключается в ускоренной модернизации, ставшей залогом победы в войне с германскими нацистами. Насильственную коллективизацию и небывалый голод, жертвами которого стали миллионы, они объясняют необходимостью получить средства на индустриализацию. Большой террор оправдывают массовым шпионажем и диверсиями, этнические депортации — коллективным предательством.

Аргументы необходимости массовых репрессий в целях борьбы со шпионами, диверсантами и «народами-предателями» рассыпаются в прах при соприкосновении с документами того времени. Вопрос, где можно было изыскать средства на закупку промышленного оборудования без разорения крестьян, — сложнее, потому что требует предварительного ответа на вопрос, а мог ли СССР обеспечить свою безопасность без ускоренной индустриализации? Не уверен, что у науки существует убедительный ответ на него. Скорее всего, историкам

необходимо продолжать изыскания.

Вообразим, на радость сталинистам, в духе истории, не знающей сослагательного наклонения, что альтернативы «второму закреплению» и, следовательно, зверским методам сталинской модернизации не было. Изменится ли нравственная оценка этого трагического периода нашего прошлого? У тех, кто осуждает сталинские репрессии с точки зрения памяти, оценка не поменяется. Мы осуждаем сталинскую модернизацию не потому, что результаты ее были ничтожны. Очевидно, что созданная в 1930-е гг. военная промышленность доказала свою эффективность в годы войны, когда потеря летом 1941-го тысяч танков и самолетов была в кратчайшие сроки возмещена сторицей. Мы осуждаем сталинскую модернизацию, потому что человеческая цена ее была неприемлемо высока. В отличие от истории, *изучающей* прошлое, предназначение памяти состоит в том, чтобы *использовать* опыт прошлого в будущем. Историческая аналогия является политической технологией (Андрей Чернов). Тот, кто утверждает, что тогда без репрессий «было нельзя», подразумевает, что сейчас их «можно повторить». Есть основания усомниться в психическом здоровье тех, кто не по долгу службы делает подобные утверждения. Какой вменяемый человек согласится с применением самых эффективных технологий, если они связаны с перманентным насилием и массовыми убийствами? Даже мазохисты, которым не жаль себя, должны пожалеть своих детей.

Сталинисты любят характеризовать прогрессивное значение сталинской модернизации афоризмом, который они бесосновательно приписывают Черчиллю: «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». Эта фраза, противопоставляющая орудие труда орудию убийства, обнажает бесчеловечную суть сталинского прогресса, который был ограничен военной промышленностью. Все остальные сферы: наука, образование, транспорт, связь — развивались только в той мере, в какой это было необходимо «оборонке». Власть рассматривала подданных ей «граждан» в качестве приложения к военной машине, которая то и дело перековывала орала на мечи.

Поговорим об ельцинском прогрессе и его цене.

Отрицать положительные явления, произошедшие в нашей жизни после 1991 г., так же нелепо, как не замечать успехи милитаристской сталинской модернизации. В результате падения коммунистического режима у людей появились свобода слова и свобода передвижения, право заниматься предпринимательством и право распоряжаться недвижимостью, «возможности выбора (продуктов, политиков, образа жизни)» (Доклад, с. 19).

Надо оговориться, что свобода и демократия становятся ценностями для большинства населения только в ситуации успешного экономического развития. Общество, переживающее экономический коллапс, вспомним Веймарскую республику, легко отказывается и от свободы

слова, и от права выбирать власть. С крахом СССР советские люди попали в ситуацию, сходную с той, в которой оказалась Германия во время мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.

Наши граждане заплатили высокую цену за переход к рынку и демократии. Считается, что демонтаж СССР был необходимым условием, без которого реформы были бы невозможны: «Водораздел “Мы” и “не Мы” прошел между союзным центром (который олицетворяла КПСС) и республиками во главе с Российским парламентом. Первые были за сохранение СССР, вторые (при ряде исключений) — за реформы. Проводить их без демонтажа СССР становилось невозможно» (Парламентаризм и многопартийность 2000: 212). Эта аксиома либерального сознания для меня столь же непостижима, как и убежденность сталинистов в неизбежности репрессий. Почему для успешного развития рыночной экономики было необходимо уменьшить емкость рынка в два раза? Съезживание границ сопровождалось, говоря языком авторов Доклада, нарастанием «хаоса и трудностей» (Доклад, с. 19). Я бы хотел напомнить, что скрывается за обтекаемым словом «трудности», которым так любят пользоваться сталинисты, когда описывают эпоху своего кумира. За этим эвфемизмом в применении к 90-м гг. обнаруживаются этнические погромы в южных республиках, гражданские войны в Таджикистане, Карабахе, Чечне, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, в которых погибло многим более 100 тысяч человек, миллионы беженцев и вынужденных переселенцев, разрыв

экономических связей, в результате которого миллионы потеряли работу, а размеры уничтоженного промышленного оборудования не поддаются оценке. Достаточно ли этих «великих потрясений», чтобы рассматривать крах СССР как травму?

Для тех, кому этого недостаточно, добавлю, что это еще не вся цена, заплаченная в 90-е гг. Напомню уничтожение инфляцией многолетних накоплений, которые советские люди доверчиво хранили в сберкассах. А еще были ваучерная приватизация и многолетний лохотрон «инвестиционных фондов», обеспеченный массивированной рекламой на основных телевизионных «кнопках». Про прелести дефолта 1998 г. я бы тоже не забывал. Если еще добавить к этому травматическое, вне зависимости от того, кто был прав в том конфликте, зрелище танковой стрельбы по парламенту в 1993 г. и «выборы» Ельцина в 1996 г., то мы получим краткий перечень трагических событий «славного десятилетия», интегральным выражением которых стала радикальная смена демографических вех. За период 1981–1990 гг. население России (без учета миграций) выросло на 6 715 368. За период 1991–2000 гг. оно (также без учета миграций) уменьшилось на 6 726 454. Депопуляция была вызвана не только обвальным падением рождаемости, но и резким ростом смертности. В 80-е гг. на территории РФ родилось 23 311 535, в 90-е – 13 862 580, т.е. на 9 448 955 меньше. В 80-е умерло 15 707 021, в 90-е – 20 589 034, т.е. на 4 882 013 больше. Продолжительность жизни мужчин, которые менее устойчивы к ударам судьбы, снизилась с 64,83

в 1987 до 57,37 в 1994 г., т.е. уменьшилась на 7,46 лет, откатившись вплотную к сталинским временам, к уровню 1954 г. Лишь в 2013 г. (65,13) советский рекорд продолжительности жизни удалось превзойти⁴.

На мой взгляд, эти «большие числа» вопиют о трагедии, выпавшей на долю наших сограждан. К сожалению, социальная оптика ряда коллег управляется видекартой «двойных стандартов», которая позволяет уменьшить пресловутое бревно до размеров незначительной соринки. Они, не моргнув, считают, что приведенная динамика рождений, смертей и продолжительности жизни не является свидетельством катастрофы. По мнению этих сторонников социал-дарвинизма, причины возникновения «демографической ямы» не имеют отношения к политике «реформ». Чтобы верно судить даже о тех демографических проблемах, которые получили столь шокирующее числовое выражение, надо быть, считают они, профессионалом.

Приведу мнение профессионала, специалиста по потерям населения, научного сотрудника Центра русских и евразийских исследований Гарвардского университета Александра Бабенышева (литературный псевдоним Сергей Максудов): «Огромные потери ельцинского перио-

⁴ Подсчеты сделаны на основе следующих источников: 1) Рождаемость, смертность и естественный прирост населения // Госкомстат России. URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/vital_bd.htm; 2) Демографический ежегодник России // Госкомстат России. URL: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137674209312.

да, исчезновение миллионов людей буквально на наших глазах остались практически незамеченным. <...> Убийцы спокойно, а порой и с почетом уходят на пенсию, а затем — и в мир иной. Идет бурное обсуждение преступлений Сталина, о которых абсолютное большинство участников дискуссии знает лишь из прочитанных книжек. А случившееся сейчас, здесь, при нас, а то и с нашим непосредственным участием остается не просто незамеченным, а как бы вовсе не существующим». Исследователь считает, что демографические потери России в 90-е гг. составили порядка 4 млн, а бывшего СССР — порядка 8 млн. Это больше, чем в голод 1932–1933 гг. Важно отметить, что в восточно-европейских «странах народной демократии» транзит не привел к заметным потерям. В 90-е гг. продолжительность жизни в них медленно, но росла. А в прибалтийских республиках потери были в 2–3 раза меньше, чем в остальных постсоветских государствах. Это сравнение показывает, что реформы не обязательно было проводить людоедскими методами (Максудов 2012: 24–39). Автор — не только признанный профессионал, но и диссидент со стажем, можно сказать, человек с активной антисоветской позицией. Поэтому его оценки периода становления рыночной экономики, который он приближал как мог в 60-е и 70-е гг., особенно значимы. Надеюсь, ни у кого из комсомольских активистов и членов КПСС язык не повернется объявить его идеологическим вертухом?

Отмеченное Максудовым стремление беречь старую рану и не заме-

чать преступлений нашего времени оправдывают тем, что две травмы несоизмеримы. При Сталине власть подвергла население массовому террору. При Ельцине она «всего лишь» бросила народ на произвол судьбы. Действительно, остается неясным, почему люди, предоставленные себе, стали стремительно вымирать? В чем причина их повышенной «хрупкости» в ситуации, не сопоставимой по жестокости со сталинскими репрессиями? Эта проблема требует серьезного исследования. Но чтобы исследовать, ее необходимо поставить.

Можно выдвинуть две гипотезы.

У крестьян, которые тяжело трудятся с утра до вечера, чтобы обеспечить пропитание своей ячейки традиционного общества, не остается времени на рефлексию по поводу смысла жизни. Если их не уничтожать в прямом смысле слова, как это происходило во время коллективизации и депортаций, они в самых тяжелых условиях выживают и производят потомство. Модернизация сыграла злую шутку с советскими людьми. У горожан, которые к концу советского периода составляли три четверти населения России, появилось время, чтобы задуматься о своем предназначении. Сегодня нам кажутся наивными споры «физиков» и «лириков», объединенных верой в гуманный прогресс, в созидание общества, где звериным нравам ГУЛАГа и Аушвица не удастся торжествовать «никогда больше». Достаточно вспомнить «теорию конвергенции» академика Сахарова, направленную на «аккумуляцию» плюсов социализма и капитализма

и преодоление пороков двух систем. Прекраснодушные позднесоветские люди в большинстве своем верили, что мир благ, и не были готовы расталкивать конкурентов в борьбе за место под солнцем. В новых социал-дарвинистских условиях их жизненный опыт и социальный капитал «обнулились». Уход в алкоголь долголетию не способствовал. Как точно выразился один из коллег, большинство покинувших наш дивный новый мир в те годы умерли от огорчения.

Другая гипотеза связана с традициями воспитания, заложенными в ГУЛАГе и сохранившимися до конца СССР. Советский человек постоянно получал от государства сигналы о том, что инициатива наказуема. Люди, проявлявшие независимость, первыми становились жертвами террора. Несколько поколений усвоили эти уроки и привыкли возлагать все надежды на государство. Можно полагать, что травма 90-х в значительной мере порождена семью предшествующими десятилетиями нашей истории. Но нельзя обвинять наших сограждан в том, что в условиях, когда одни предприятия закрылись, а на других месяцами не платили зарплату, большинство отличников советской воспитательной системы не смогли проявить инициативу, которую до 1991 г. им строго запрещалось проявлять.

Как так вышло, что интеллигенты, ринувшиеся строить демократию под руководством члена ЦК КПСС, вдруг позабыли один из главных паролей своей корпорации: «Мы в ответе за тех, кого приручили»?

Одному из наиболее ненавистных в народе проходимцев во власть приписывают слова: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок». На допросе с пристрастием в телевизионном эфире обвиняемый отрицал, что говорил что-либо подобное⁵. Вполне возможно, что эта циничная фраза была выдумана недоброжелателями, чтобы сделать биографию нашему рыжему. Тем не менее у многих из тех, кто боролся за выживание в годы рыночных реформ, складывалось впечатление, что власть в своих действиях руководствуется именно этим постулатом. Они так привыкли верить в высший разум государства, что не допускали мысли о возможности осуществления чего-либо несанкционированного руководителями страны. Череда бедствий в условиях мирного времени воспринималась как доказательство того, что власть в стране захвачена Врагом рода человеческого.

Одна из гримас истории состоит в том, что трагические для большинства годы становятся временем ускоренной вертикальной мобильности для отдельных лиц и определенных социальных групп. Вспомним, как в результате Большого террора молодые инженеры в одночасье становились директорами заводов. Для них сталинская эпоха была пиком самореализации. Но можем ли мы смотреть на нее глазами тех счастливыхчиков?

⁵ Познер 8.12.2008 — Анатолий Чубайс. URL: www.youtube.com/watch?v=3MIE5ZnK7A0.

Гуманитарная интеллигенция — это одна из немногих групп, которая в 90-е получила «бонусы», прежде всего свободу слова и свободу передвижения по миру. Для нас открылись невиданные в советское время возможности читать, что хочешь, и писать, что думаешь. Ряду коллег посчастливилось участвовать в конференциях, преподавать либо учиться в лучших западных университетах. Они на практике выяснили, что можно увидеть Париж и не умереть. Некоторые смогли сделать успешную карьеру в СМИ, где на короткий период возникла потребность не в «партийной журналистике», а в журналистском таланте. Наиболее удачливые даже осуществили «хождение во власть». Понимая все это, не стоит забывать, что «внеклассовая, внесловесная интеллигенция» — это «орган сознания общественного организма» (Р.В. Иванов-Разумник). Поэтому мы, в силу своей групповой специфики, не должны переносить тогдашнюю эйфорию мозга нации на состояние «ломки» всего организма. Иначе прав окажется Ленин, как-то написавший в сердцах, что мы не мозг, а полное дерьмо.

Так можем ли мы говорить о травме 90-х?

Авторов Доклада удивляет, что значительная группа участников соц-опроса 2016 г. оценила победу над путчистами ГКЧП в августе 1991 г. как «трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа» (Доклад, с. 20). Коллеги не отрицают «хаос и трудности периода транзита» девяностых, но считают, что они «абсолютно

тизируются» (Доклад, с. 19). Риторическая фигура «преувеличения трудностей» постоянно эксплуатируется сталинистами. Не так давно Путин заявил, что не надо «излишне демонизировать» Сталина⁶. Между «излишней демонизацией» и «абсолютизацией» не пролегает дистанция огромного размера. Исходя из концепции «преувеличения трудностей», авторы, на мой взгляд, тенденциозно утверждают, что негативная память о «периоде транзита» основана не столько на реальности, данной в ощущении современникам событий, сколько на «децибелах истерики в исторической политике» Кремля (Доклад, с. 19). Тот факт, что путинскому режиму выгодна «черная» мифологема «лихих девяностых», не означает, что груз народной памяти о своих тогдашних страданиях является ложной беременностью.

Указывая на кремлевскую стратегию «контраста» правлений Ельцина и Путина: «Было плохо — стало хорошо, был хаос — наступил порядок, был безответственный лидер — появился ответственный» (Доклад, с. 19), — авторы не замечают, что попадают в ее ловушку, когда начинают отстаивать противоположность этих эпох в категориях «демократического и авторитарного развития России» (Доклад, с. 20). Подразумевая, что «хаос и трудности» девяностых являются честной ценой внедрения «демократической и либеральной традиции» (Доклад, с. 20), они вместе с единомышленниками фактически

⁶ Путин рассказал о своем отношении к Сталину // РИА Новости. 2017. 16 июня. URL: ria.ru/politics/20170616/1496623625.html.

подыгрывают путинской пропаганде. Для ее успеха «пропагандонам» полезно иметь под рукой «отщепенцев», которые считают лихую годину страдания народного временем своего жизненного триумфа.

Авторы Доклада упоминают «опыт шестидесятничества», «подготовивший эпоху» ельцинских реформ (Доклад, с. 20). Надо добавить, что их собственное противопоставление Ельцина Путину тоже подготовлено базовой мифологемой «шестидесятничества» о палаче Сталине, уничтожившем ленинскую гвардию «комиссаров в пыльных шлемах» (Кашин 2017: 11). Сегодня мы не в состоянии понять, каким образом позднесоветским «либералам» удавалось сочетать ненависть к «кремлевскому горцу» с верой в доброго дедушку Ленина. С нашей точки зрения, Сталин — достойный преемник Ленина в деле истребления собственного народа. Косметические различия не могут скрыть единую природу двух вампиров.

Попробуем отказаться от обветшалой матрицы «шестидесятничества» о добром и злом следователях и взглянуть на режимы Ельцина и Путина из перспективы преемственности. Это сделать тем проще, что первый президент РФ публично объявил Путина своим преемником. При таком ракурсе легко заметить, что главные язвы нашего времени: коррупция, фальсификация выборов, военные авантюры — прочно укоренены в первом десятилетии истории новой России. Достаточно напомнить о «Семье», «Семибанкирщине», о сверхъестественной победе Ельцина на президентских

выборах 1996 г., о развязывании войны в Чечне. В этом смысле Путин достойно продолжает дело своего предшественника. В интересах дела он из тактических соображений постепенно заменил ельцинские слова о демократии квасной патриотической риторикой. Сходный процесс корректировки вербального дизайна мы наблюдаем и у первого ленинского ученика. Для Ленина слово «патриотизм» было ругательством. Сталину же пришлось отказаться от космополитической мечты о «Всемирной революции» и выдвинуть патриотический лозунг «построения социализма в одной стране».

Многие либеральные коллеги рассматривают такую постановку проблемы как предательство ценностей свободы и капитуляцию перед авторитарным режимом. Это мне напоминает поклонников Ленина, которые прощают ему все злодеяния за то, что «вождь трудящихся» в 1917 г. провозгласил лозунги социальной справедливости. Их не смущает, что под лозунгами справедливости в стране творилась величайшая несправедливость. Далеко не юные «ленинцы» убеждены, что если бы Ленин еще несколько лет остался у руля, то справедливость точно бы восторжествовала. К сожалению, ему на смену пришел Сталин и выкорчевал ленинскую идею справедливости вместе со «старыми большевиками». Ничего не напоминает? А если заменить Ленина и Сталина на Ельцина и Путина, а справедливость — на свободу и демократию?

Может, следует проткнуть «информационный пузырь», взглянуть

на недавнюю историю незамысленным взглядом и признать, что преступные дела Ельцина (кроме тотальной коррупции, бессовестных манипуляций в ходе выборов 1996 г., «антитеррористической операции» в Чечне, следует добавить неспособность мирным путем разрешить конфликт, пусть с «красно-коричневым», но всенародно избранным парламентом) дискредитировали идею либеральной демократии в нашей стране? Старый революционер Кропоткин в 1920 г. написал Ленину, что террор, «всерьез и надолго» развязанный большевиками, дискредитирует заветную мечту человечества о социальной справедливости: «Такие меры, — представляющие возврат к худшим временам средневековых и религиозных войн, — недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах; <...> на такие меры не может идти тот, кому дорого будущее коммунизма» (Кропоткин 2010). Всем, кому дорого будущее свободы, стоит задуматься, какое из двух «посланий»: противопоставление «демократического» ельцинского режима «авторитарному» правлению его преемника либо коррупционное отождествление «лихих девяностых» со временем вставания с ревматических колен — предоставляет шанс на реабилитацию в массовом сознании идей, опороченных в годы «реформ»? Переведу эту мысль на высокий штиль русской интеллигенции: следует ли нам выбирать между двумя сортами грабителей народа или необходимо встать на его сторону против грабителей?

Поместить постсоветскую травму в один ряд с травмой ленинизма-сталинизма означает сделать первый шаг к терапевтической проработке национальной памяти. Если избрать исследовательскую перспективу с учетом травмы девяностых, как это делают серьезные исследователи (я бы выделил замечательную книгу Сергея Ушакина «Патриотизм отчаяния» (Ushakin 2009)), то станет понятно, что так называемый «народный сталинизм» на самом деле сталинизмом не является. В Докладе упоминается, что большинство тех, кто в ходе опросов положительно оценивал Сталина, при Сталине жить не хотят (Доклад, с. 16). Какие-то непоследовательные сталинисты! Можно предположить, что эти люди вынуждены высказывать свою боль при помощи усатого субститута из-за того, что не имеют одобренных культурой способов проговаривания личной травмы. Специалист по современному фольклору Александра Архипова подтверждает эту гипотезу на основе опросов и глубинных интервью: «Такой “низовой Сталин”, “Сталин-отец”, “Сталин без сталинизма” оказывается косвенной формой протеста. “Бескрайней несправедливости”, против которой выходят на митинги и пикеты, наши респонденты противопоставляют сталинский закон, “идеальный порядок”» (Архипова 2017). Известный культуролог Борис Гройс высказался в сходном смысле: «В народной памяти Сталин остался как человек, который репрессировал бюрократию, что неверно, конечно. <...> Народ не хочет Сталина для себя, для себя Сталина никто не хочет, они хотят Сталина для других — для

бюрократии и правящей верхушки» (Кан 2017). Излечить «кривое горе» наших сограждан можно путем кропотливой культурной работы, в которой у историков есть широкий фронт деятельности. Она должна опираться на богатый международный опыт проработки прошлого. Если нам удастся создать и внедрить эффективные процедуры терапии коллективной памяти, травмированной сперва построением социализма, а потом реставрацией капитализма, это и будет наш реальный шаг к свободе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Архипова 2017 — *Архипова А.* Сталин без сталинизма // Inliberty. 2017. 29 июня. URL: www.inliberty.ru/blog/2616-Stalin-bez-stalinizma?fb_comment_id=1536352719770559_1536722393066925#f2b52bb99c5605c.

Ассман 2017 — *Ассман А.* Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима модерна. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 272 с.

Кан 2017 — *Кан А.* Философ Борис Гройс: советский проект был уникальным // Русская служба BBC. 2017. 7 июля. URL: www.bbc.com/russian/features-40524266?SThisFB.

Кашин 2017 — *Кашин О.* Красно-коричневое колесо // Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг. / сост. Е. Ю. Бузев. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017.

Кропоткин 2010 — *Кропоткин П. А.* Избранные труды. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.

Максудов 2012 — *Максудов С.* Четвертая демографическая катастрофа // Свободная мысль. 2012. № 1/2. С. 24–39. URL:

svom.info/media/files/2012/07/04/Svobodnaya_misl_1.pdf.

Нефляшева 2013 — *Нефляшева Н. А.* Черкесское национальное движение в современной России: визуально-символический аспект // *Метаморфоз vs Трансформация. Мультидисциплинарный подход к изучению истории адыгов в XIX–XXI вв.* Материалы Международной научной конференции 6 декабря 2013 г., г. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013.

Парламентаризм и многопартийность 2000 — *Парламентаризм и многопартийность в современной России: к десятилетию двух исторических дат.* Сб. ст. / общ. ред. и вступ. сл. В. Н. Лысенко; науч. ред.: А. Г. Механик, В. Л. Римский. М.: ИСП, 2000.

Прасолов 2017 — *Прасолов Д.* Коммеморативные практики в современной Кабардино-Балкарии // *Неприкосновенный запас.* 2017. № 2 (112). С. 67–82. URL: www.nlobooks.ru/node/8680#sthash.hsT0rQOY.dpuf.

Такхнаева 2017 — *Такхнаева П. И.* Об открытии историко-культурного мемориала «Ахульго»: заметки историка // *Историческая экспертиза.* 2017. № 1. С. 72–95. URL: istorex.ru/page/takhnaeva_pi_ob_otkritii_istoriko-kulturnogo_memoriala_akhulgo_zametki_istorika.

Шмена — *Шмена В. В.* Рутония. Екатеринбург: Ультра.Культура, 384 с.

Albrow 1996 — *Albrow M.* The Global Age: State and Society beyond Modernity. Cambridge: Polity, 1996. 246 p.

Controversy 2016 — *Controversy over the Enola Gay Exhibition* // Atomic Heritage Foundation. 2016. 17 October. URL: www.atomicheritage.org/history/controversy-over-enola-gay-exhibition.

Crawford 2003 — *Crawford K.* Re-visiting Hiroshima: The Role of US and Japanese History Textbooks in the Construction of National Memory // *Asia Pacific Education Review.* 2003. Vol. 4. №. 1. P. 108–117.

Guldi, Armitage 2014 — Guldi J., Armitage D. *The History Manifesto*. Cambridge University Press, 2014.

Jordan 2015 — Jordan W. US receives most credit for defeat of Nazi Germany // *YouGov.com*. 2015. 3 May. URL: today.yougov.com/news/2015/05/03/us-receives-most-credit-defeat-nazi-germany/.

Memory 2010 — *Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories* /

Aleida Assmann, Sebastian Conrad (editors). Palgrave Macmillan, 2010. 252 p.

Pinker 2011 — *Pinker S. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. NY: Viking, 2011. 832 p.

Ushakin 2009 — *Ushakin S. The patriotism of despair: nation, war, and loss in Russia*. Ithaca: Cornell University Press, 2009. 299 p.

“METHODOLOGICAL NATIONALISM”, “THE SECOND MEMORY”
AND “PRICE OF THE PROGRESS”

Ehrlich Sergey E. — doctor of sciences (history), director of the Publishing House “Nestor-Historia” (Moscow — St.-Petersburg)

Key words: Global memory, National memory, Family memory, Collective trauma, Heroic myth, “Short-termism”

The author criticizes the following provisions of the report “Which Past Does Russian Future Need?” from the point of view of the emerging Informational civilization’s Global memory: 1) the notion that the Heroic myth and ‘short-termism phenomenon’ are not the common challenges for entire Christian civilization, but they are a specific of Putin’s regime memory politics; 2) the opposition of the ‘bad’ national memory, controlled by the state, to the ‘good’ local and family memories; 3) reduction of traumatic experience of Russian people to Stalin’s repressions and refusal to consider the collective trauma of the 1990s.

REFERENCES

Albrow M. *The Global Age: State and Society beyond Modernity*. Cambridge: Polity, 1996. 246 p.

Arkipova A. Stalin bez stalinizma // *Inliberty*. 2017. 29 iyunia. URL: www.inliberty.ru/blog/2616-Stalin-bez-stalinizma?fb_comment_id=1536352719770559_1536722393066925#f2b52bb99c5605c.

Assman A. *Raspalas' sviaz' vremen? Vzlet i padenie temporal'nogo rezhima moderna*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017. 272 p.

Controversy over the Enola Gay Exhibition // *Atomic Heritage Foundation*. 2016.

17 October. URL: www.atomicheritage.org/history/controversy-over-enola-gay-exhibition.

Crawford K. Re-visiting Hiroshima: The Role of US and Japanese History Textbooks in the Construction of National Memory // *Asia Pacific Education Review*. 2003. Vol. 4. No. 1. P. 108–117.

Guldi J., Armitage D. *The History Manifesto*. Cambridge University Press, 2014.

Jordan W. US receives most credit for defeat of Nazi Germany // *YouGov.com*. 2015. 3 May. URL: today.yougov.com/news/2015/05/03/us-receives-most-credit-defeat-nazi-germany/.

Kan A. Filosof Boris Grois: sovetskii proekt byl unikal'nym // *Russkaia sluzhba BBC*. 2017. 7 iulia. URL: www.bbc.com/russian/features-40524266?SThisFB.

Kashin O. Krasno-korichnevoe koleso // *Ona razvalilas'. Povsednevnaia istoriia SSSR i Rossii v 1985–1999 gg.* / sost. E. Iu. Buzev. Moscow: Russkii fond sodeistviia obrazovaniiu i nauke, 2017.

Kropotkin P.A. *Izbrannye trudy*. Moscow: Rossiiskaia politicheskaiia entsiklopediia (ROSSPEN), 2010.

Maksudov S. Chetvertaia demograficheskaia katastrofa // *Svobodnaia mysl'*. 2012. No. 1/2. P. 24–39. URL: svom.info/media/files/2012/07/04/Svobodnaya_misl_1.pdf.

Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories / Aleida Assmann, Sebastian Conrad (editors). Palgrave Macmillan, 2010. 252 p.

Nefliasheva N.A. Cherkesskoe natsional'noe dvizhenie v sovremennoi Rossii: vizual'no-simvolicheskii aspekt // *Metamorfoz vs Transformatsiia. Mul'tidistsiplinarnyi podkhod k izucheniiu istorii adygov v XIX–XXI vv.* Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii 6 dek-

abria 2013 g., g. Rostov-na-Donu. Rostov-na-Donu: SKNTs VSh IuFU, 2013.

Parlamentarizm i mnogopartiinost' v sovremennoi Rossii: k desiatiletiiu dvukh istoricheskikh dat. Sb. st. / obshch. red. i vstup. sl. V.N. Lysenko; nauch. red.: A.G. Mekhanik, V.L. Rimskii. Moscow: ISP, 2000.

Pinker S. *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. New York: Viking, 2011. 832 p.

Prasolov D. Kommemorativnye praktiki v sovremennoi Kabardino-Balkarii // *Neprikosnovennyi zapas*. 2017. No. 2 (112). P. 67–82. URL: www.nlobooks.ru/node/8680#sthash.hsT0rQOY.dpuf.

Takhnaeva P.I. Ob otkrytii istoriko-kul'turnogo memoriala "Akhul'go": zametki istorika // *Istoricheskaiia ekspertiza*. 2017. No. 1. P. 72–95. URL: istorex.ru/page/takhnaeva_pi_ob_otkritii_istoriko-kulturnogo_memoriala_akhulgo_zametki_istorika.

Shtepa V.V. *Rutopiia*. Ekaterinburg: Ul'tra. Kul'tura, 384 p.

Ushakin S. *The patriotism of despair: nation, war, and loss in Russia*. Ithaca: Cornell University Press, 2009. 299 p.

В. В. Ведерников

ДИАГНОЗ ОШИБОЧЕН?

Ключевые слова: проблемы истории, оценка событий прошлого, национальная историография, образ будущего

В статье анализируется доклад о состоянии исторической памяти, опубликованный от имени Вольного исторического общества. По мнению автора, этот документ, содержащий серьезные передержки и неточности, является не аналитической запиской, а публицистической статьей. Ее авторы считают желательным построение некоей контр-истории, где война и победа противопоставлены репрессиям, где нет героев, где мрачное прошлое заменит героическое, что и станет основой новой государственной идеологии.

Пожалуй, одним из самых драматичных эпизодов последней прямой линии президента стало обращение жительницы города Апатиты, которая стала жертвой медицинской ошибки. К большому сожалению, от таких ошибок никто не застрахован, и невнимательный осмотр больного, поверхностная диагностика могут иметь тяжелые и необратимые последствия. Об этой истории вспомнил не случайно. Опубликованный от имени ВИО доклад «Какое прошлое необходимо будущему России» построен как история болезни. Здесь есть эпикриз, диагностика и даже предписания для лечения болезни. Сразу скажу, что анализ государственной политики в области истории крайне важен и необходим. Мощный идео-

логический пресс долгие десятилетия искажал естественное развитие исторической науки, не случайно учебники историографии, посвященные советской эпохе, строили периодизацию не вокруг научных школ и принципиально новых методологических исканий, а вокруг партийных постановлений, которые имели ярко выраженную идеологическую направленность. Высказывания вождей по тем или иным проблемам истории носили характер непререкаемой истины, и мимоходом брошенная вождем фраза о «революции рабов», которая якобы произошла в Древнем Риме, имела очень тяжелые последствия для советского антиковедения. Да и сейчас государственная власть проявляет недюжинные усилия, желая придать истории верный курс. И уже не вождь народов, а национальный лидер в прямом эфире заявляет о необходимости «официальной оценки» событий прошлого, без которой «не будет

© Ведерников В. В., 2017

Ведерников Владимир Викторович – кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского технологического института (Технического университета) (Санкт-Петербург); vedvlvik@mail.ru

самого хребта понимания того, что происходило с нашей страной в течение прошлых столетий и десятилетий»¹.

Авторы доклада резонно полагают, что осмысление прошлого, построение некоторой системы оценок роли и места России в мире предопределяет тот или иной путь развития страны. И выводы авторов доклада крайне пессимистичны. Особенности того процесса, который в докладе получил определение как «историческая колея» страны, — это крайне централизованная власть, которая была заимствована из Византии, бесправие народа и имперские амбиции, которые постоянно втягивают страну в затяжные конфликты с соседями. Именно этот исторический путь страны был, по мнению авторов, обоснован национальной историографией, основы которой были заложены в первой половине XIX в. При этом государство «заказывало историю», влияя «на выбор наиболее подходящих героев и сюжетов и их трактовку» (с. 21). Советская историография — прямая наследница историографии дореволюционной, ибо создавали ее монархисты Борис Греков, Роберт Виппер и Сергей Платонов. Эта монархическая концепция жива и в наши дни, определяя идентичность современных россиян. После некоторого ослабления идеологического пресса (очевидно, после 1991 г.), «в последние годы» идет процесс реабилитации государственной идеологии и все

¹ Прямая линия с Владимиром Путиным [25 апреля 2013]. URL: kremlin.ru/events/president/news/17976 (дата обращения: 19.06.2017).

возрастающий процесс идеологизации и огосударствления истории (с. 5). При этом идеологический багаж современной России невероятно архаичен. «Духовные скрепы» страны — крепостное право, самодержавие, «правильная вера» (православие), а исторические корни Родины — Сталин, Берия, ГУЛАГ (с. 44). Сталин — несущая конструкция современной политической системы России и «вполне “упакованный” россиянин должен помнить, что от судьбы жертв сталинской “зоны” его отделяет разве что шестой айфон в кармане» (с. 44). Именно поэтому в современной России репрессии либо замалчиваются, либо оправдываются. А населению предложен своеобразный «социальный контракт»: в обмен на лояльность власть обеспечивает чувство гордости за славную тысячелетнюю историю. Именно поэтому в официальном дискурсе репрессии вытеснены памятью о войне и Победе.

По мнению автора доклада, именно такую картину «славного прошлого» формируют власть и официозные историки. Пределы государственной власти буквально безграничны. Под воздействием официального канона из биографий выдающихся деятелей русской культуры «изымаются их конфликты с властями, с государственной идеологией и моралью, с официальной церковью и т.п.». Им противостоит небольшая группа историков-диссидентов. А народ? Народ является пассивным потребителем официозной пропаганды. Почему же массы ведут себя столь пассивно? Ответ прост: это «потомки выживших» в годы репрессий, они с молоком матери

впитали страх и рабское самосознание. «Это телезрители, читатели и избиратели, которые определяют лицо современной России» (с. 43). Отсюда и пессимистический вывод: «Нормальное будущее страны требует иного по качеству человеческого материала» (с. 34). Конечно, называть людей «материалом» как-то странно. Но важно другое: а откуда же его взять, или вновь, как в годы перестройки, будем возлагать надежду на нового Моисея, который лет через 30–40 выведет нас к земле обетованной?

Задача историков — показать возможные альтернативы «исторической колее», которые возникали в ходе развития российского исторического процесса. Авторы доклада призывают активно разоблачать мифы (в их понимании миф — это либо бессознательное заблуждение, либо сознательный обман), а государственной идеологией сделать идею отказа от всякой идеологии, поощряя конкуренцию разных взглядов и мнений — от анархических до монархических.

Эта на первый взгляд стройная концепция при внимательном анализе базируется на крайне шатких основаниях и, в свою очередь, предельно идеологизирована.

Удивляет, что аналитический доклад сумел почти совершенно обойтись без упоминания тех источников, которые могли бы послужить материалом для анализа. А ведь их немало: это и ежегодные президентские послания и встречи президента (премьера) с населением, и концептуальные документы, опре-

деляющие направление образовательных программ, и исторические передачи на федеральных каналах, и школьные учебники. С другой стороны, с завидным упорством повторяется набивший оскомину мем «скрепы» и неоднократно воспроизводится обвинение современных властей в защите крепостничества. О чем идет речь? О давней статье В. Д. Зорькина? Но в ней председатель Конституционного суда всего лишь высказал мнение, что слабость государственного аппарата была компенсирована крепостным правом, после отмены которого власть напрямую столкнулась с народом, а ему только предстояло пройти учебу в подготовительных классах гражданского общества (Зорькин 2014). Мне трудно увидеть здесь апологию крепостничества. Сама мысль о том, что крепостное право было отменено гораздо раньше, нежели созрели экономические основы для его упразднения, высказывал сначала марксист, а потом и теоретик либерализма П. Б. Струве. Но, кажется, никому из противников этого видного публициста и в голову не приходила мысль обвинить П. Б. в апологии рабства! Еще один довольно известный персонаж отечественной истории как-то заметил: «Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гете, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина» (Герцен 1955: 56). Ну чем не апология крепостничества! Аналитика обычно обобщает первичные данные, идеология идет вслед за сложившимися представлениями, иллюстрируя их примерами, вырванными из контекста. Да и как

апология крепостничества может быть совмещена с широко отмеченной датой 150-летия отмены крепостного права и с тем, что памятники Царю-Освободителю были открыты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах?

Развитие российской исторической мысли представлено в таком искаженном виде, что в недоумении разводишь руками: знакомы ли авторы текста с элементарными данными из области российской историографии? Кому из видных русских историков самодержавная власть давала социальный заказ, щедро оплачивая его услуги? Соловьев и Ключевский пособий от государства, а тем более социального заказа не получали и к своим современникам-самодержцам относились более чем критически. Соловьев: «Преобразования производятся успешно Петра Великими, но беда, если за них принимаются Людовики Шестнадцатые или Александры Вторые». Ключевский: «Николай Второй — последний русский царь. Алексей царствовать не будет». Последним российским историографом был Н. М. Карамзин, но никаких условий (и даже сроков выполнения работы) власть не оговаривала. И современники, и историки отмечали независимость суждений автора «Истории государства Российского». Хочется напомнить, что 8-й том «Истории» содержал критику деспотического правления Ивана Четвертого, подхваченную будущими декабристами. Замечу, кстати, что привнесший в историю нравственные оценки Карамзин осуждал деспотизм как Грозного, так и Павла Первого, в то

время как западники (К. Д. Кавелин, В. Г. Белинский и отчасти С. М. Соловьев) высоко оценивали заслуги Ивана Грозного в строительстве российской государственности.

И уж совсем странным выглядит утверждение, что «национальная история изначально понималась исключительно как история <...> феодальной, сословной, абсолютистской Российской империи». Если к Карамзину это утверждение можно отнести и то с очень большими оговорками, то к Соловьеву и Ключевскому применить его совсем невозможно. Да и следует ли русскую историографию сводить исключительно к государственной школе? Это, конечно, прекрасно ложится в схему, предложенную авторами доклада, но опять-таки действительности не соответствует. Современником Карамзина был Н. П. Полевой, автор «Истории русского народа», а современниками Соловьева — историки-федералисты Н. И. Костомаров и А. П. Щапов.

По-видимому, схема преемственности двух империй — российской и советской — привела авторов к тому, что Б. Д. Греков и Р. Ю. Виппер, никогда активно политикой не занимавшиеся, были причислены к «монархистам», которые внесли свою лепту в становление сталинской исторической науки наряду с С. Ф. Платоновым. Об определенной политической позиции можно говорить разве что по отношению к Платонову, который сочувствовал октябристам. Он действительно много сделал для развития в Советской России архивного дела и крае-

ведения, но его, арестованного и сосланного по «академическому делу» в Самару, откуда вернуться ему было не суждено, назвать создателем сталинской концепции российской истории можно только по недоразумению. А вот видного историка Е. В. Тарле, который с трудом, но вписался в рамки советской историографии, авторы доклада не упомянули. Почему? Может быть, в связи с тем, что ярлык «монархиста» ему вовсе не подходит, а это разрушает стройность концепции. Вообще традиция оценивать историков не по научным школам и направлениям, а с учетом идеологических и «классовых» позиций была заложена советской историографией, удивительно, что авторы доклада эту традицию, в сущности, успешно продолжают.

Не могу согласиться с авторами в том, что официозная история России (Советского Союза) строилась исключительно как история великорусского центра. Достаточно взглянуть на известный памятник Тысячелетию России, на котором, наряду с Владимиром Святым и Иваном Третьим, нашлось место и для литовского князя Гедимина, и для просветителя Петра Могилы, и для полководца Б. Миниха. И в советское время не все было столь однозначно. В Замечаниях И. В. Сталина, А. А. Жданова и С. М. Кирова на проект учебника истории говорилось, что составители проекта создали «конспект русской истории, а не истории СССР, то есть истории Руси, но без истории народов, которые вошли в состав СССР» и что «в конспекте не подчеркнута аннексионистско-колониаторская

роль русского царизма, вкупе с русской буржуазией и помещиками»². И действительно, вузовский учебник по истории СССР 1940 г. содержал значительные разделы по истории народов СССР.

Как считают авторы доклада, эта преемственность дореволюционной и советской историографии была на короткое время разрушена после крушения СССР, но «в последние годы» произошел откат, вновь история становится служанкой идеологии, восстанавливается в правах идея великодержавия, имперскости, возвращаются традиционные ценности. «Последние годы» — это, очевидно, время президента (премьера) В. В. Путина. Думаю, в этом утверждении имеется известный резон. В конце декабря 1999 г. тогда еще премьер Путин, как сообщали СМИ, на встрече с лидерами фракций провозгласил здравицу в честь Сталина. Всем памятна история с Комиссией по борьбе с фальсификациями, концепция единого учебника. Все так. И тут уместно привести очень значимый отрывок из послания президента Федеральному собранию: «Государство — не только институты власти и занятые в них чиновники. Оно является прежде всего политической организацией всех граждан страны, их совместным достоянием и общим делом. Потому крайне опасна оппозиция государственности как таковой. В начале века в России идея свободы и справедливости была противопоставлена идее

² Сталин И. В., Жданов А. А., Киров С. М. Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР. URL: www.marxists.org/russkij/stalin/t14/t14_05.htm.

государственности. И это противостояние было доведено до такой степени, что оказалась поверженной существовавшая государственность, и на ее развалинах возникло государство политического террора... Неистово и безоглядно сталкивают идею государственности с принципами соблюдения прав человека и гражданина, другими демократическими ценностями»³. Однако мысли эти были высказаны не «в последнее время», а достаточно давно. Правда, реализации установки на реабилитацию государственной идеологии помешали такие серьезные проблемы, как чеченская война и тяжелейшие экономические и социальные проблемы, но как только была достигнута относительная экономическая и политическая стабильность, новый президент рьяно взялся за реализацию установок, четко сформулированных Б. Н. Ельциным.

А насколько искренен декларируемый авторами доклада отказ от любой идеологии? Авторы прямо провозглашают актуальной задачей «выявление основных историографических интенций и ценностных установок из *официально признаваемой* (курсив мой. — В. В.) в России общественно-политической и социально-экономической модели» (с. 36). Авторы приводят и желательный пример такого воздействия. По их словам, у населения до сих пор нет своего мнения, как

³ Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 16 февраля 1995 г. «О действительности государственной власти в России» // Российская газета. № 36. 1995. 17 февраля.

относиться к августовским событиям 1991 г., поэтому «люди склонны оценивать это событие уклончиво», поскольку отсутствует четко выраженная официальная позиция по этому поводу (с. 13). Отсюда же вытекает и не менее актуальная задача. Реконструкция «актуальных политических смыслов, скрывающихся за теми или иными историческими нарративами и идеями, выступающими в роли идеологических метафор <...>. Необходимо в полной мере отдавать себе отчет в том, какие изменения и какие политические модели имеют в виду те или иные исторические оценки» (с. 35). Хотелось бы ошибиться, но, как мне кажется, мысль авторов можно изложить проще и понятнее. Они призывают к тому, что называется «чтением в сердцах», когда любой текст можно препарировать как текст политический, а затем вместо научного спора перейти к обличению «классового врага» на историческом фронте. Текст может быть любым. Вспоминается история, когда автор анализа приписок к Лицевому своду был уличен в том, что писал он вовсе не о русском летописании, а о работе тов. Сталина над «Кратким курсом». Пожалуй, следует только уточнить, авторы доклада призывают не к репрессиям, а к общественному остракизму. «В свободном цивилизованном обществе любовь к тирании и уважение к деспотизму не обязаны быть стыдливими. Здесь такого рода политические экстраполяции можно договаривать открыто и до конца» (с. 45). Разумеется, если сам автор этого сделать не пожелает, то всегда найдутся доброхоты, которые извлекут скрытый политический

смысл, тем более что разоблачать оппонента в качестве идеологического противника гораздо легче, чем вести научную полемику.

Авторы доклада хотели бы перформатировать исторический нарратив. Советская историография базировалась на культе определенных личностей, который в ином, конечно, виде характерен для историографии современной. Но если в советской историографии была тема революции, которая указывала вектор исторического развития, то в современном официозе освободительное движение – прообраз оранжевых революций, которые готовятся злоумышленниками. Магистральной линией новой российской истории должен быть путь страны к свободе. Опыт такого нового прочтения истории продемонстрировал 8-минутный клип, с которого начинается знакомство с Ельцин Центром. Этот небольшой ролик вызвал ожесточенные нападки консерваторов-государственников от Н. С. Михалкова до В. Р. Соловьева и, конечно, официозом быть не может. Магистральная идея фильма – путь России к свободе, которая зародилась раньше самодержавного деспотизма. Мы – не рабы, рабы – не мы! Но от деспотизма к демократии ведут нас сильные просвещенные правители и государственные деятели. Их, правда, нашлось немного: Избранная рада (Адашев) – М. М. Сперанский – Александр Второй – Николай Второй с С. Ю. Витте и П. А. Столыпиным (которые, к слову говоря, смертельно враждовали, но ведь не требуем же мы исторической точности!) – Хрущев – Горбачев.

А вот народ и общество буквально оказались на задворках истории. Общество представлено декабристами, чье непродуманное выступление открыло путь к политической реакции, равно как и покушение народовольцев сделало возможным контрреформы, либералы и вовсе не упоминаются, а народ появляется сначала в виде веча, а затем – как субъект, который строил и воевал в 30–40-е гг. XX в. вопреки тому, что задумывали деспоты-правители (и как это у него, народа, получалось!).

А завершается фильм знаменательными кадрами: мужественный Борис Николаевич, подобно китайскому студенту на площади Тяньаньмэнь, один останавливает танки мятежников. Получается, что культ личностей и негативная оценка общественного движения, которое только толкало под руку реформаторов, характерны не только для правительственного официоза.

Неизвестно почему и у авторов доклада символичной фигурой, которая дала России свободу, стал Б. Н. Ельцин. Именно он предоставил россиянам свободу выбора – от продуктов, политиков до образа жизни (с. 19).

Да, можно согласиться, Б. Н. Ельцин дал свободу, но свободу негативную, в том числе и свободу от соблюдения моральных, нравственных норм, законов, свободу дикого капитализма эпохи первоначального накопления. В результате, по словам Е. Г. Ясина, данные изменения покупательной способности среднестатистических денежных доходов

населения «выглядят приговором... И не потребуется ничего драматизировать, чтобы представить колоссальный коллапс, который переживала великая держава в мирное время, оказавшись низведенной до второсортной страны» (*Ясин* 2002: 415). Критиков реформы «по Гайдару» авторы автоматически зачисляют в число сторонников «авторитарного развития России». Достаточно странный вывод, если иметь в виду, что в числе оппонентов Е. Т. Гайдара были такие известные экономисты и политики, как Г. А. Явлинский и А. Илларионов.

Доклад фиксирует внимание на такой действительно опасной тенденции, как рост популярности И. В. Сталина. Но неужели современная власть насаждает культ Сталина? Высказывания президента по этому вопросу достаточно неоднозначны. Характерен ответ Путина на вопрос об отношении к Сталину и сталинизму во время прямой линии 3 декабря 2009 г. Признав успехи в деле индустриализации, записав в позитив Сталину победу в войне, премьер Путин в то же самое время поставил вопрос о цене реформ. «Весь тот позитив, который, безусловно, был, тем не менее достигнут неприемлемой ценой. Репрессии тем не менее имели место быть. Это факт. От них пострадали миллионы наших сограждан. Такой способ управления государством, достижения результата неприемлем. Это невозможно. Безусловно, в этот период мы столкнулись не просто с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа. Это тоже факт. Об этом мы тоже не должны

забывать»⁴. И осуждение репрессий сохранялось и сохраняется как основа государственной политики. Можно вспомнить, что издательство РОССПЭН с 2008 г. выпускает серию исследований и документов по истории сталинизма, 30 октября в Москве запланировано открытие памятника жертвам репрессий. Тема сталинских репрессий была актуализирована присоединением Крыма. 21 апреля 2014 г. был подписан указ о мерах по восстановлению исторической справедливости по отношению к народам Крыма, подвергнутым депортации⁵. Реабилитация Сталина в стране, где живут народы, поголовно подвергнутые репрессиям, невозможна без риска расколоть федерацию. Но почему же тогда президент постоянно избегает однозначно негативных оценок? Думаю, что дело здесь не только в том, что имя Сталина связано с войной и победой, как верно отмечено в докладе, но и с тем, что есть низовой, массовый сталинизм, и он не столько продукт пропаганды, сколько источник ее. Образ сурового, неподкупного правителя, строго карающего спекулянтов, бюрократов, врагов, — это образ не реального Сталина, а отражение народной тяги к справедливости и равенству, которая стала особенно востребованной на фоне

⁴ Путин о Сталине: Индустриализация и победа в войне против массовых репрессий и уничтожения крестьянства. Подробности: URL: regnum.ru/news/1231560.htm.

⁵ Указ президента Российской Федерации от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». URL: kremlin.ru/acts/bank/38356.

безудержной коррупции и чиновничьего произвола как ельцинской, так и путинской эпох. И, отдадим должное, этот образ справедливо-го правителя действительно умело эксплуатирует как пропаганда, так и сам президент.

Итак, авторы доклада считают желательным построение некоей контристории, где война и победа противопоставлены репрессиям, где нет героев, где мрачное прошлое заменит героическое, где будет новая идеология, но отказ от ее соблюдения приведет если не к репрессиям,

то к общественному остракизму. Будет ли такое видение востребовано обществом? Боюсь, что нет.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Герцен 1955 — *Герцен А.И.* С того берега // Собр. соч.: в 30 т. Т. 6. М., 1955.

Зорькин 2014 — *Зорькин В.Д.* Суд скорый, правый, равный для всех. URL: rg.ru/2014/09/26/zorkin.html (опубликована 26 сентября 2014 г.).

Ясин 2002 — *Ясин Е.Г.* Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ. М., 2002.

IS THE DIAGNOSIS INCORRECT?

Vedernikov Vladimir V. — candidate of historical sciences, associate professor of Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (St.Petersburg)

Key words: problems of history, assessment of past events, national historiography, the image of the future

The article examines the report on the state of historical memory published on behalf of the Free historical society. According to the author, this document contains serious overexposure and inaccuracies and is not an analytical note, and journalistic article. Its authors believe it desirable to build a certain counter-history, where war and victory are put against the repression, there are no heroes, grim past will replace the heroic, and that will be the basis of the new state ideology.

REFERENCES

Gertsen A.I. S togo berega // *Sobr. soch.:* v 30 t. Vol. 6. Moscow, 1955.

Zor'kin V.D. *Sud skoryi, pravyyi, ravnyi dlia vsekh.* URL: rg.ru/2014/09/26/zorkin.html (opublikovana 26 sentiabria 2014 g.).

Iasin E.G. *Rossiiskaia ekonomika: istoki i panorama rynochnykh reform.* Moscow, 2002.

А. В. Голубев

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ БИНАРНЫХ ОППОЗИЦИЙ

Ключевые слова: «первая память», «вторая память», исторический опыт, нарратив

В статье предлагается критика понятийного аппарата аналитического доклада Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России?» В частности, выдвигается тезис, что понятия «первая память» и «вторая память», на противопоставлении которых строится доклад, в действительности имеют под собой общие эпистемологические основания и используют похожие формы и процедуры нарративизации исторического опыта.

Я не хочу повторять те конкретные соображения по поводу доклада ВИО, которые озвучил в интервью для сайта Indicator.Ru¹. Вместо этого я бы хотел воспользоваться данной дискуссией, чтобы высказать и обосновать более общий тезис: доклад ВИО является симптомом и примером того, насколько сильной инфляцией подверглось понятие исторической памяти в научной среде. В частном случае доклада ВИО концептуальная рамка, навязанная понятием «историческая память», приводит авторов его социологической части к ложному противопоставлению «первой

памяти», понимаемой как артефакт государственной исторической политики, и «второй памяти», которую они определяют как низовую, локальную, идеологически нейтральную и дистанцированную от государства. Данная модель привлекательна тем, что она отсылает к диссидентскому взгляду на мир, подразумевая противостояние государства с его стремлением превратить историю в набор догматических истин и клише, и общественных инициатив «снизу», стремящихся сохранить условно-объективное и непредвзятое знание о своем прошлом. Однако я не вижу, как это противопоставление можно обосновать эмпирически. Более того, те формы исторического воображения в современном российском обществе, которые авторы доклада обозначили как «первая память» и «вторая память», имеют гораздо больше общего, чем подразумевается концептуальной рамкой доклада.

© Голубев А. В., 2017

Голубев Алексей Валерьевич — PhD, кандидат исторических наук, преподаватель (Assistant Professor), Хьюстонский университет (США); avgolubev@uh.edu

¹ «Аналитика заканчивается, и остается одна политика»: историк о докладе «Какое прошлое нужно будущему России» // Индикатор. 2017. 20 февраля. URL: indicator.ru/article/2017/02/20/interview-golubev.

Я начну с критики понятия «вторая память» и приведу пример из личной практики, чтобы показать, почему я не вижу, как это понятие помогает нам описать реальный процесс функционирования знания об истории в обществе. Однажды мне довелось редактировать статью об истории Петрозаводска для крупного международного проекта. Участниками проекта были местные ученые и специалисты, перед которыми стояла задача написать тексты о конкретных – региональных и локальных – исторических событиях и культурных объектах Европейского Севера России. Проект финансировался Северным советом и рядом других европейских организаций, но работа авторов и редакторов не подразумевала никакого финансового вознаграждения и выполнялась на общественных началах. Автором статьи об истории Петрозаводска был местный историк, т.е. представитель четвертой, согласно классификации доклада, профессиональной группы, вовлеченной в формирование и конструирование исторической памяти (с. 37). Иными словами, данный проект идеально соответствовал тем критериям, которые выделены для описания «второй памяти» в социологической части доклада ВАО (с. 85–86, 101–102).

Петрозаводск оставался глубоко провинциальным городом до 1920-х гг., когда начался его бурный рост, в результате которого его население к концу 1980-х гг. выросло более чем в 10 раз, появились новые промышленные предприятия, районы, культурные (и контркуль-

турные) места, исторические памятники и т.д. Его история в XX в. вобрала опыт бурной индустриализации и начиная с 1990-х гг. деиндустриализации и роста сферы услуг, массовых миграционных потоков в региональном, национальном и международном масштабе, сосуществования различных культур и языков, финской оккупации в годы войны, принудительного труда заключенных и военнопленных в восстановительный период и много чего другого. Однако в том варианте статьи, который я получил на редактирование, было 12 абзацев об истории Петрозаводска в XVIII–XIX вв. и только один – про XX в., да и в нем описывались лишь изменения его административного статуса. Тот богатый исторический опыт, который лежит в основе современного города, оказался вытесненным за пределы краеведческого нарратива без какого-либо политического или идеологического принуждения.

Данный случай далеко не исключение: в значительной части, а может быть и в большинстве статей, которые я редактировал для проекта (а их было больше ста), был аналогичный перекосяк в сторону более «древних» событий и фактов в ущерб послевоенной истории, а также в сторону «великих людей» в ущерб непривилегированным группам (женщинам, детям, мигрантам и пр.). Выскажу предположение, почему так получилось: мы имеем дело с принципами построения исторических нарративов, возникшими в Европе в XIX в., когда историки – по разным причинам – стремились «удревнить» и облагородить национальную и региональную

историю². Это подразумевает определенную логику отбора исторического материала, когда более древние исторические события или артефакты имеют большее символическое значение, чем более современные. Есть и второй фактор. Для авторов, пишущих на местные и региональные темы, характерна тенденция фокусироваться на различиях: на том, что делало определенное место – город или регион – отличным от других сравнимых мест. Отсюда повышенное внимание к достопримечательностям и «значимым» датам, которое оборачивается отсутствием интереса к таким историческим феноменам, которые были характерны для российского/советского национального пространства в целом. Например, к женской истории или истории рабочего класса. И в том, и другом случае это приводит к тому, что для производства местных исторических нарративов оказываются неустребованными существенные аспекты местного же исторического опыта.

Можно ли трактовать подобные тексты о локальной истории в категориях «исторической памяти» только на том основании, что они не являются частью государственной пропаганды и не занимаются «восхвалением триумфального прошлого страны» – то, что для авторов доклада является характерной особенностью «первой памяти»

² Этот аргумент наиболее известен по «Изобретению традиции» Эрика Хобсбаума. На российском материале он был интересно разобран в недавно опубликованной книге Майкла Куничики о влиянии каменных баб и курганов на российское и советское историческое воображение (*Kunichika* 2015). Я рассматривал эту проблему в историческом контексте Республики Карелия (*Golubev*: 141–171).

(с. 101)? Являются ли частью «исторической памяти» экспозиции местных краеведческих музеев, где можно увидеть традиционные орудия труда и костюмы, диорамы со сценами Великой Отечественной войны и археологические находки, но не найти экспозиций о рабочих бараках и студенческих общежитиях, ликвидации «бесперспективных» деревень, урбанизации и сопутствующих процессах, дачных кооперативах, комсомольских и партийных конференциях и бесчисленных прочих аспектах исторического опыта современного общества? Иными словами, можно ли говорить о «памяти» применительно к интеллектуальному продукту, который является результатом колоссальной фильтрации исторического опыта?

Я не могу ответить ни на один из этих вопросов положительно. Для меня использование понятия «память» по отношению к этому процессу означает маскировку тех эпистемологических рамок, которые определяют для местных краеведов, историков и журналистов принципы отбора материала для своих работ. Да, и историческая, и социологическая части доклада ВИО подчеркивают сконструированный характер «исторической памяти» в современном российском обществе. Но в их интерпретации «акторы памяти» вольны выбирать, какими темами они занимаются. Это заметно, в частности, по разделу «Нарративы» социологической части доклада ВИО (с. 76–79). Иными словами, конструирование исторической памяти представлено в качестве осознанного процесса, где основным фактором, о чем писать или

нет, являются политические предпосылки «авторов памяти» — отсюда и противопоставление между «первой» и «второй» памятью. Мой опыт говорит об обратном — специалисты, обозначенные в докладе понятием «акторы памяти», являются заложниками определенных принципов производства высказываний. Например, женская история, история детства/молодежи или история миграций так и не стали частью исторического инструментария в публичном поле, и «вторая память» на удивление забывчива по отношению к этим аспектам исторического опыта в России. Петрозаводск — город мигрантов в первом, втором или третьем поколениях, 54 % его населения составляют женщины и 100 % взрослого населения когда-то были детьми, но при этом те из них, кто включаются в производство регионального исторического знания (например, поступив на исторический факультет или став журналистами в местных СМИ), не конвертируют свой собственный исторический опыт в новые исторические нарративы, а занимаются относительно узким и стандартным кругом тем (историей Олонецких горных заводов, национальной политикой в Карелии, гражданской войной, финской оккупацией и т.д.), который обуславливается местными краеведческими и историческими традициями.

Таким образом, использование понятия «историческая память» по отношению к децентрализованным практикам производства, бытования и потребления знания об истории затушевывает тот факт, что «акторы памяти» рассказывают гораздо меньше, чем помнят

они сами и окружающие их люди. Авторы доклада несколько раз мимоходом упоминают об этом, когда говорят о том, что «акторы памяти» «не знают, как говорить» об определенных темах (с. 78). Однако та научная традиция, куда заводит их использование понятия «историческая память», не дает им ничего лучшего, кроме как описывать это явление в негативных терминах (для акторов памяти «непонятно, как говорить о трагедиях в истории страны» — с. 79). Помимо того, что это звучит покровительственно, поскольку подразумевает знание «нормы» авторами доклада, это и не совсем верно фактически. Например, есть много краеведческих и журналистских исследований о гражданской войне, голоде в Поволжье в 1921–1922 гг., раскулачивании, сталинских репрессиях, аварии в Чернобыле и других техногенных катастрофах — язык для их описания был выработан в советской и постсоветской публицистике конца 1980-х — 1990-е гг. В любом случае за рамками анализа остаются те эпистемологические правила и структуры, которые регулируют производство знания об истории, а также тот факт, что у исторических текстов есть своя поэтика.

Искусственное разделение исторического знания в России на «первую память» и «вторую память», взгляд на них как на два совершенно различных феномена приводит авторов доклада к ряду утверждений, которые не подтверждаются эмпирически и отчасти противоречат друг другу. Например, тезис о вторичности военной истории в местных исторических исследованиях верен,

очевидно, для регионов, в меньшей степени затронутых Великой Отечественной и другими войнами, в то время как в северо-западных регионах России Гражданская война и иностранная интервенция или оккупация в 1941–1944 гг. являются одними из основных тем для местных историков и краеведов — именно в силу того, что это является важной частью местной, локальной истории. Удивителен тезис о том, что войны в Афганистане и Чечне являются «действительно забытой историей 20-го века» (с. 77). Очевидно, он оказался возможным только потому, что в число обследованных «актеров памяти» не вошли организации ветеранов данных войн, которые активно действуют в различных регионах и не менее активно транслируют свой исторический опыт через социальные сети и интернет-сайты. Богатству автобиографических рассказов об афганской и обеих чеченских войнах на сайте ArtOfWar (URL: artofwar.ru) может позавидовать любой военный историк. Это еще один пример, когда излишне жесткая схема предшествует анализу и заставляет авторов игнорировать важный для их исследования материал. Другой тезис, вызывающий у меня вопросы, — это утверждение об «идеологической нейтральности» местных исторических исследований. Можно писать исторические тексты без агрессивной политической риторики, но идеология все равно будет в них присутствовать если не эксплицитно, то хотя бы подспудно, и это видно через темы, которым отдается приоритет, через концептуальный словарь, через расставляемые акценты. Возможно, я перечитал Альтюсера, но я в принципе не понимаю,

как может существовать текст без идеологии. Скорее мы можем говорить о том, что идеология многих опрошенных «актеров памяти» совпадает с идеологией авторов доклада, что делает ее для них невидимой. Однако при этом среди местных историков, журналистов и активистов можно найти много тех, кто ретранслирует в своих работах и деятельности ура-патриотический дискурс. Например, в Северо-Западном федеральном округе именно такими специалистами формируется портфолио информационного агентства «Северинформ». По институциональным и географическим признакам работа этого агентства должна являться частью «второй памяти», однако по пафосу и содержанию — это организация с типично государственнической повесткой, которая при этом формируется и воспроизводится «снизу». Преподаватели исторических факультетов и институтов региональных вузов, думаю, без проблем смогут назвать своих коллег, которые в своих лекциях и исследованиях также занимаются «восхвалением триумфального прошлого страны» (с. 101). Таким образом, опять встает вопрос о том, насколько подбор респондентов для социологического исследования был изначально задан стремлением авторов доклада найти подтверждение своей исследовательской гипотезе, а не испытать ее на прочность.

Вышеприведенная критика применима и к понятию «первая память». Авторы социологической части доклада говорят о «первой памяти» как об исторической памяти, которая определяется государством. В России нет ни одного исторического

центра, который имеет большую государственную поддержку, чем Школа исторических наук НИУ ВШЭ, где зарплата одного иностранного преподавателя выше, чем совокупный бюджет небольшой исторической кафедры регионального университета. Ее преподаватели и исследователи занимаются темами, связанными с национальной историей. Учитывая центральное положение Высшей школы экономики в современной образовательной системе и ее видимость в национальных СМИ (URL: hist.hse.ru/smi), можно утверждать то, что это историческое знание, которое формируется «сверху вниз». Поскольку профессиональные историки, работающие «в регионах», отнесены ко «второй памяти», мы по аналогии можем отнести деятельность преподавателей и сотрудников НИУ ВШЭ к «первой памяти». Но в этом случае модель снова перестает работать, поскольку описать эту деятельность в терминах «агрессивной государственной исторической политики» (с. 101) будет некоторым преувеличением. Означает ли это, что для Школы исторических наук НИУ ВШЭ, исторических факультетов МГУ и СПбГУ, историко-архивного института РГГУ, Института российской истории РАН, Санкт-Петербургского института истории РАН и аналогичных учреждений просто нет места в этой схеме? Если да, то означает ли это, что производимое ими историческое знание чуть более объективное, чем то, что пишут их коллеги из региональных университетов, и поэтому последние отнесены к категории «акторы памяти», а первые исключены из этой классификации как исследователи, занимающиеся «чистой» академической

историей? Или это «третья память»? Или что-то еще?

В дискуссиях, развернувшихся сразу после публикации доклада, а также во введении и разделе «Теоретическая база доклада» авторы социологической части отмечали, что у них были свои причины для выбора исследований памяти в качестве своей методологии. Отчасти критику их положений можно объяснить тем, что критикующие (в том числе и я) стоят на других методологических позициях. Но я считаю, что тут проблема глубже, чем различие в подходах и языках описания. Хорошая концептуальная схема должна объяснять новый материал, изначально в нее не заложенный, а тут, как ни крути, получается, что добавление новых фактов ломает предложенную авторами схему. Мне кажется, что понятие «историческая память» не помогает разобраться, как производится, функционирует и потребляется знание об истории в российском обществе, поскольку для этого нужен иной концептуальный словарь — тот, который возник в исследованиях систем знания (Г. Башляр, М. Фуко, Т. Кун, Б. Латур и др.) и который гораздо более внимателен к эпистемологическим рамкам и социальным условиям производства высказываний об истории. Что касается памяти, то я нахожу чрезвычайно полезной формулу, предложенную Мишелем Фуко: история — это контрпамять, и как таковая она является продуктом фильтрации и нарративизации исторического опыта того или иного общества. То есть память для Фуко — это совокупность исторического опыта, который может передаваться в форме нарративов, а может сохраняться

и испытываться в иерархии курсов, в структурах социального неравенства или в материальных артефактах. Это может быть темой для отдельной дискуссии, но, на мой взгляд, все те феномены, которые рассматриваются в докладе Вольного исторического общества (обе его части), принадлежат к полю «контр-памяти». Доклад не рассматривает исторический опыт российского общества. Он анализирует тексты, музейные экспозиции и памятники, которые возникли в результате фильтрации, отбора, ранжирования и осмысления этого опыта в разных политических, социальных и эпистемологических условиях, а также людей и институты, которые вовлечены в этот процесс.

В заключение я хотел бы отметить, что работа, проделанная в рамках социологического исследования по докладу ВИО, является чрезвычайно

интересной и важной для нашего понимания всех этих феноменов, даже если использование в нем понятия «память», с моей точки зрения, не приносит «добавленной стоимости». Он стимулировал исключительно полезные для нашей дисциплины дискуссии. Все это очень нужно, и, несмотря на все разногласия по поводу памяти, я салютую его авторам и консультантам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Golubev – Golubev A. «A Wonderful Song of Wood»: Heritage Architecture of North Russia and the Soviet Quest for Historical Authenticity // *Rethinking Marxism* 29 (1): 141–171.

Kunichika 2015 – *Kunichika M.* «Our Native Antiquity»: Archaeology and Aesthetics in the Culture of Russian Modernism. Boston: Academic Studies Press, 2015.

THE PROCRUSTEAN BED OF BINARY OPPOSITIONS

Golubev Aleksei V. – PhD, candidate of historical sciences, lecturer (Assistant Professor), University of Houston (USA)

Key words: “first memory,” “second memory”, historical experience, narrative

The paper is a critique of the conceptual apparatus of the analytical report “What Past Russia’s Future Needs?” by the Free Historical Society of Russia. It develops an argument that the concepts of “first memory” and “second memory” - a basic structural opposition of the report - are in fact based on identical epistemological principles and employ similar forms and procedures to narrativize historical experience.

REFERENCES

Golubev A. «A Wonderful Song of Wood»: Heritage Architecture of North Russia and the Soviet Quest for Historical Authenticity // *Rethinking Marxism* 29 (1): 141–171.

Kunichika M. «Our Native Antiquity»: Archaeology and Aesthetics in the Culture of Russian Modernism. Boston: Academic Studies Press, 2015.

Н. Э. Кульбака

ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Ключевые слова: исторический миф, история России, экономический фактор

Внутрироссийские события прошлых веков, зачастую, рассматриваются без связи с мировой историей. Вырванная из мирового экономического и географического контекста, наша история превращается в цепочку войн, восстаний и смен правителей. Такая история в обязательном порядке порождает мифы, необходимые для придания убедительности историческому процессу. Нужно создавать сложную, историческую картину, имеющую измерения и объем.

Доклад является весьма интересным и содержательным, однако, на мой взгляд, акценты в нем расставлены не совсем верно, поскольку проблема, на мой взгляд, намного шире заявленной в докладе темы.

Действительно, наша история в основном сформирована как цепочка вождей, полководцев и правителей, при этом мы автоматически попадаем в ситуацию дихотомии, когда оценка их действий поляризуется. Реально, за исключением, пожалуй, отдельных фигур вроде Ивана Грозного или Сталина, едва ли такое мнение может быть оправданным.

При этом мы забываем, что все эти личности действовали не в безвоз-

душной среде и их действия были продиктованы тогдашним уровнем знаний, культурой, окружением, экономическими и географическими ограничениями. Очень часто необходимо рассматривать разные периоды деятельности исторических личностей, которые в своей оценке весьма отличаются.

С этой точки зрения история должна получить объемность за счет существования различных оценок одного и того же явления, события или персонажа.

Еще один важный момент изучения истории состоит в том, что если Российскую и Советскую историю XX в. мы более или менее стараемся рассматривать в контексте мировых событий, таких как мировые войны, конфликт двух мировых экономических систем и т.п., то события предшествующих веков

© Кульбака Н. Э., 2017

Кульбака Николай Элиарович – кандидат экономических наук, доцент кафедры политических и общественных коммуникаций ИОН РАНХиГС (Москва); nkulbaka@yandex.ru

зачастую рассматриваются исключительно в рамках внутренних процессов, которые в реальности весьма завязаны на мировую историю.

Еще один важный момент состоит в том, что мы более или менее видим экономические проблемы нашего времени и те ограничения, которые они накладывают на действующие правительства. Но как только наши взоры обращаются на историю Нового времени или Средних веков, мы зачастую перестаем обращать внимание на экономические процессы, которые в то время формировали мировую политику. И если современные президенты понимают важность экономических факторов, почему мы отказываем в этом их предшественникам?

В любом случае мы всегда должны понимать, что как и сейчас, так и в далеком прошлом любые политические действия имели свои экономические последствия, которые необходимо обязательно учитывать.

Иногда это более очевидно, иногда — нет. Мы не можем изучать историю войны 1812 г., не принимая во внимание историю континентальной блокады и ее последствия для экономики России. Создание Петербурга и экономические действия Петра I нельзя рассматривать в отрыве от меркантилистских воззрений, существовавших в то время. Исследование русского движения в Сибирь должно обязательно учитывать экономику пушного промысла.

Как только мы вырываем события нашей истории из мирового, экономического и географического кон-

текста, наша история превращается в цепочку войн, восстаний и смен правителей. Такая история в обязательном порядке будет порождать мифы, необходимые для придания убедительности историческому процессу.

И здесь мы подходим к вопросу о десталинизации. Безусловно, необходимо шире говорить обо всем том, что происходило в сталинское время. Но если мы сведем проблемы в истории только лишь к имени Сталина, завтра мы должны быть готовы бороться с другими мифами: от Ивана Грозного до Владимира Святославича и от 28 панфиловцев до Ивана Сусанина. Бороться по отдельности с каждым мифом — задача непосильная для любой науки. Поэтому цель исторической науки, на мой взгляд, препятствовать образованию мифов через широкое распространение достоверных научных взглядов.

Болезненность мифа Сталина для нас состоит в том, что все это случилось сравнительно недавно и связано с очень тяжелыми страницами в жизни нашего государства. Для сравнения, тяжелые годы революции и Гражданской войны не вызывают таких эмоций, и, хотя это были очень тяжелые, переломные годы для страны, с большими жертвами, экономическим кризисом и многомиллионной эмиграцией, эта тема значительно меньше интересует общество, что легко можно увидеть в год столетия революции.

Но появление Сталина невозможно рассматривать без анализа всей предшествующей истории страны.

Он не появился ниоткуда, как «засланный казачок». Точно так же бандиты 90-х гг. не прилетели с Марса, а выросли в советских дворах среди советских людей и обучались в советских школах. Поэтому как невозможно сталинскую эпоху сводить только к фигуре одного кровавого диктатора, точно так же и 90-е гг. нельзя сводить к Гайдару, Чубайсу, Ельцину или Черномырдину.

Мы должны создавать сложную, противоречивую картину прошлых лет, вызывающую дискуссии, интересную и глубокую. Не плоскую историю краткого курса, а науку, имеющую объем. В этой истории должны занять свое место и ошибки властей, и надежды мыслителей, и подвиги народа.

В противном случае люди будут искать причины революции в заплом-

бированном вагоне, причины перестройки в волюнтаризме Горбачева, а причины победы в Великой Отечественной войне в гении вождя.

Нужно учить искусству дискуссий еще начиная со школы, чтобы студенты учились отстаивать свои мнения, чтобы видели необходимость аргументированно доказывать свою позицию. Нужно учить со школьной скамьи умению работать с первоисточниками, нужно, наконец, воспитывать критическое мышление, препятствующее появлению мифов.

Это долгий и трудный путь, который невозможно сделать одним даже очень интересным докладом. Понадобится многолетняя кропотливая работа. Но если мы сейчас ее не начнем, завтрашних результатов мы не получим.

TO GO BEYOND THE TRADITIONAL HISTORICAL SCIENCE

Kulbaka Nikolai E. — candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Political and Public communication, ION RANEPА (Moscow)

Key words: historical myth, the history of Russia, economic factor

Domestic events of the past centuries are often considered without connection with world history. Out of the world economic and geographical context our history turns into a chain of wars, rebellions and changes of rulers. This history necessarily creates myths needed to give credibility to the historical process. One has to create a complex, historical picture with dimensions and volume.

Я. В. Шимов

РЕАБИЛИТАЦИЯ СТАЛИНА ВКЛЮЧАЕТ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ СТАЛИНСКОГО «ЖЕСТКОГО, НО ЧЕСТНОГО» ПОРЯДКА НЫНЕШНЕМУ УЩЕРБНОМУ И ВОРОВАТОМУ АВТОРИТАРИЗМУ

Ключевые слова: Память, история, манипуляции, культ Сталина

Современные российские манипуляторы памятью, вроде В.Р. Мединского, в своих исторических представлениях стоят на одном уровне с теми, кем они собираются манипулировать. Часто их действия приводят к непредвиденным результатам. Таковы попытки пропаганды реабилитировать генералиссимуса Сталина в рамках мифа Победы. В результате в массах формируется образ справедливого диктатора, безжалостно каравшего высокопоставленных коррупционеров. Это обстоятельство должно стать серьезным препятствием для официальной реабилитации Сталина.

Герберт К. Честертон в своей «Краткой истории Англии» утверждал, что «популярные¹ предрассудки в целом более заслуживают изучения, нежели софистика ученых». Рассуждая об истории, Честертон противопоставлял традицию, толкуемую им прежде всего как набор передающихся из поколения в поколение исторических мифов, и «рациональную» историю, т.е. научную фактологию, находящуюся на ином уровне понимания исторического процесса. Для традиции

король Артур куда реальнее многих настоящих английских королей. Ведь Артур, хоть и является фигурой легендарной, а не исторической, олицетворяет собой архетип, лежащий в основе английской культуры и идентичности, и некоторые личности, в действительности занимавшие трон Англии, выглядят на его фоне лишь как бледные тени, не оставившие особого следа в истории.

Иными словами, проблема неоднозначности, двойственности исторической памяти — давняя и, на мой взгляд, в принципе не решаемая. Мы никогда не избавимся от разных

© Шимов Я.В. , 2017

Шимов Ярослав Владимирович — кандидат исторических наук, специалист по новейшей истории стран Центральной Европы (Прага)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

уровней восприятия и анализа исторических процессов. Всегда в той или иной мере будут существовать «история для историков», основанная в первую очередь на фактах, источниках и их анализе, и «история для масс» с изрядной долей мифологизированных представлений, весьма далеких, а то и напрямую противоречащих тем самым задокументированным фактам, которыми оперируют профессиональные историки.

В нынешние времена, однако, ситуация осложняется тем, что историческая память подвержена воздействию огромного набора манипулятивных практик и механизмов т.н. исторической политики и пропаганды. При этом манипулированием обычно занимаются не некие отстраненные хитрые демиурги, которые «сами-то на самом деле все понимают». Нет, это люди, хоть и обладающие властными возможностями, но в плане своих исторических представлений стоящие на том же, а то и еще более низком уровне, что и аудитория, которой они пытаются манипулировать. История России в исполнении Владимира Мединского мало чем отличается от содержимого романов Валентина Пикуля. Возникает ситуация, когда закрытие ворот и раздачу лекарств в сумасшедшем доме контролирует даже не младший медперсонал, а сами пациенты, да еще из буйных.

Механизмы современной исторической политики сознательно пренебрегают фактологическим уровнем исторического знания. Но на уровне мифологии, как мы

уже выяснили, это не столь важно, а история без мифологии просто «не живет». Так, если общество чувствует угрозу своей идентичности, а тем более если ощущение такой угрозы дополнительно нагнетается по политическим причинам, — оно начинает искать психологической защиты, используя образы «суровых, но справедливых отцов» из прошлых времен. Реабилитация Сталина в постсоветском массовом сознании, о которой много говорят в последнее время, — это не оправдание конкретного диктатора. Факты о его преступлениях достаточно широко известны даже на массовом уровне, но это почти «глухое», слабо актуализированное знание. Неосталинизм — это целый клубок порой противоположных смыслов, вкладываемых обществом в воссоздаваемый им образ Сталина. Массовое историческое сознание работает по принципу аутотренинга, «заказывая» то, психологическую потребность в чем оно в данный момент ощущает и что хочет себе внушить.

Если к этому добавляются манипулятивные усилия творцов исторической политики, то факты и образы удастся окончательно разложить по разным полочкам общественного сознания. Те из них, на которые в данный момент нет «спроса», деактуализируются. Бутовский полигон отдельно, и он как бы неважен, парад Победы — отдельно, и он важен всегда. Почему? Вышло так, что в постсоветский период в России не сложилась, по выражению одного современного историка, «сама идея национальной истории как единого нарратива о некоем месте на земле

и поколениях его обитателей, связанных друг с другом и продолжающих этот ряд, невзирая на внешние вторжения, перемены режимов и культурные трансформации». Историческая память оказалась разорванной, естественного синтеза советских и несоветских элементов этой памяти в условиях социальной травмы 90-х не произошло.

«Вторая память», о которой говорится в докладе «Какое прошлое нужно будущему России», на самом деле никуда не делась, ее массив обширен — семейные архивы и воспоминания, возникающие благодаря индивидуальным или групповым инициативам базы данных, местная, локальная история. Но она деактуализирована, выведена за скобки историческим официозом, который стал сшивать свою модель памяти, присвоив государству роль фундамента и мерила национальной истории. А поскольку наиболее значимой и выразительной фигурой новейшей российской истории с точки зрения именно всеподавляющей государственности является Сталин, неудивительно, что в рамках этой модели он становится центром тяжести, превращаясь в фигуру «отца-основателя».

Однако этот процесс, на мой взгляд, не стоит считать ни однозначным, ни необратимым. Во-первых, такой задачи творцы нынешней исторической политики перед собой явно не ставили. Ведь полноценная реабилитация образа Сталина политически опасна для власти: она включает в себя противопоставление сталинского «жесткого, но честного» порядка нынешнему

ущербному и вороватому авторитаризму. Во-вторых, возникающий при нынешнем «втором пришествии Сталина» поп-культурный эффект делает диктатора и его эпоху «крутой и красивой фишкой» — усы, погоны, звезды, все это военно-полевое обаяние... Но это изображение, за которым, как за известным портретом Че Гевары на футболках, в действительности уже не стоит ни какой-либо памяти, ни исторического смысла. Остается что-то вроде кенотафа, символической могилы, в которой нет трупа, но есть смысл обозначения и возможной дальнейшей актуализации: помним дорогого покойничка, хотя уже толком не понимаем, кем он был.

Мы говорим о России и Сталине, но с таким же успехом можно рассуждать об Украине и ОУН — УПА, Польше и «проклятых солдатах», Словакии и режиме Тисо, Румынии и диктатурах Антонеску и Чаушеску, странах Балтии и Холокосте и т.д. Восточноевропейская историческая политика в целом оказалась замкнута на мифологическом уровне. Манипулятивные практики этой политики исключают еще один, самый интересный и сложный уровень понимания истории: интерпретацию интерпретаций. Речь идет об изучении истории как способа размышления о прошлом, как феномена сознания, массового и индивидуального, об анализе причин того, как возникают, актуализируются и деактуализируются исторические мифы, как создаются и распадаются «традиции» в честертоновском смысле. Это очень сложная работа на стыке истории, социологии и философии, видимо,

доступная далеко не всем профессиональным историкам — и практически недоступная политикам.

Однако это крайне нужная работа, поскольку она позволяет понять, как работают механизмы исторического «аутотренинга», появляются и исчезают запросы на те или иные образы, события, мифы и нарративы. Только через такую работу можно вводить в массовое историческое сознание факты и оперировать с ними на уровне этого сознания. При этом не обязательно покушаться на закрепившиеся в нем и порой очень важные для сохранения идентичности историко-мифологические конструкции. Но можно соотносить их с фактами, прежде всего — сосредоточенными в области подавляемой и вытесняемой манипуляторами «второй памяти» общества. Пусть, в конце концов, люди говорят

и вспоминают о чем хотят — это и будет начало восстановления естественной исторической памяти.

Нынешняя замкнутость исторического сознания на уровне искусственно актуализируемых государством мифов создает ощущение того, что стоит начать внушать обществу нечто «правильное» вместо «неправильного», достаточно вместо одних телепередач вставить в программу телеканалов другие — и через пару месяцев люди начнут думать совершенно по-другому, в том числе на исторические темы. Это не так: человеческое сознание податливо лишь на поверхности, и чем менее оно свободно, тем сильнее иллюзия этой податливости. Только говоря своим голосом, мы способны понять, что именно хотим сказать — и что на самом деле хотим помнить.

THE REHABILITATION OF STALIN INCLUDES THE JUXTAPOSITION OF STALIN'S "TOUGH BUT FAIR" ORDER TO THE CURRENT FLAWED AND CLEPTOCRATIC AUTHORITARIANISM

Šimov Jaroslav V. — candidate of historical sciences, specialist in the Modern History of Central Europe (Prague)

Key words: Memory, history, manipulation, the cult of Stalin

Stalin's rehabilitation includes the opposition of Stalin's "cruel but honest" order to the current declined and cleptocratic authoritarianism. Jaroslav Šimov, PhD, a specialist in the Modern history of Central Europe (Prague). Modern Russian manipulators of memory, like V. R. Medinsky, in their historical representations stand on a par with those whom they are going to manipulate. Often their actions lead to unforeseen results, for examples the attempts of propaganda to rehabilitate Generalissimo Stalin as an agent of the myth of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945. As a result, the masses form the image of a righteous dictator, mercilessly punishing high-ranking corrupt officials. This circumstance should become a serious obstacle to the official rehabilitation of Stalin.

Д. О. Хлевнюк

ОТЗЫВ НА ДИСКУССИЮ ВОКРУГ ОТЧЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ В РАМКАХ ДОКЛАДА «КАКОЕ ПРОШЛОЕ НУЖНО БУДУЩЕМУ РОССИИ?»»

Ключевые слова: коллективная память, «первая память», «вторая память»

Отзыв на дискуссию вокруг отчета по исследованию в рамках доклада «Какое прошлое нужно будущему России?» коротко разбирает два основных направления критики проекта. Во-первых, объясняются причины и цели использования понятия «коллективной памяти». Во-вторых, обсуждается продуктивность разделения Российской коллективной памяти на «первую» и «вторую».

Оживленная дискуссия по поводу отчета исследования, проведенного в рамках подготовки доклада «Какое прошлое нужно будущему России?», конечно, чрезвычайно льстит его авторам. Многие замечания наших критиков оправданы. Конечно, в исследовании были допущены некоторые оплошности, которые требуют дальнейшего обсуждения, но еще в большей степени — добора материала и продолжения работы над этой темой. С другой стороны, эта дискуссия показывает, что нам все же удалось нащупать нерв в обсуждениях исторической памяти, которых становится, кажется, все больше и больше. Два вопроса, касающиеся в том числе и критических отзывов на доклад, кажутся

здесь важными. Во-первых, почему мы вообще говорим об исторической (или коллективной) памяти? Алексей Голубев предлагает говорить об историческом знании¹, Никита Соколов — об общепринятом образе истории, в которую выкристаллизовывается память по истечении времени². Чем историческая память отличается от исторического знания? Во-вторых, продуктивно ли разделение исторической памяти на первую и вторую (или официальную и народную, как их обозначал Боднар (*Bodnar* 1992))?

Выбор понятия исторической памяти для нашего исследования,

© Хлевнюк Д. О., 2017

Хлевнюк Дарья Олеговна — докторант факультета социологии университета Stony Brook, New York (США); daria.khlevnyuk@gmail.com

¹ URL: istorex.ru/page/golubev_a_otziv_na_doklad_vio_kakoe_proshloe_nuzhno_buduschemu_rossii.

² URL: istorex.ru/page/sokolov_np_otziv_na_doklad_vio_kakoe_proshloe_nuzhno_buduschemu_rossii.

конечно же, был не случаен. Прежде всего, стоит сказать, что я использую понятия историческая и коллективная память как синонимы. Насколько я представляю, в российской литературе понятие «историческая память» используется чаще. Вопрос об отличии памяти и истории, конечно, не нов. Уже Морис Хальбвакс, которого считают основателем социологии памяти и которого так часто вспоминали комментаторы доклада, размышлял о связи истории и памяти (*Halbwachs* 1992). Историки и исследователи памяти часто сталкиваются на почве определения границ своих областей. Алейда Ассманн в своей книге «Новое недовольство мемориальной культурой» подробно обсуждает их, мысленно дискутируя с Козеллеком: «Если согласиться с предложенной Козеллеком оппозицией “историческая правда — миф памяти”, то не останется ничего иного, как полностью отказаться от нового научного направления, то есть от мемориальных исследований. Если же считать, что люди живут не только в качестве разрозненных индивидумов, а образуют социальные группы, которые объединены культурным опытом, влиянием истории и социальной лояльностью, то перед нами встает вопрос об интеграционном и конфликтном потенциале памяти, открывающий новое широкое поле научных изысканий» (*Ассман* 2016: 20–21). Мы в своем исследовании руководствовались теми же принципами. Во-первых, коллективная память и историческое знание различаются. Историческое знание — это факты, полученные в результате научного исследования, обычно профессиональными историками. Коллективная память — это набор нарративов,

многие из которых мифологичны; практик коммеморации и материальных и нематериальных объектов, связанных с этими нарративами. Коллективная память производится акторами памяти, которые могут быть профессиональными историками, а могут не быть, могут иметь историческое образование, а могут не иметь. Так как это не знание, которое получается в результате научного исследования, конкретные навыки и образование акторов памяти второстепенны. Поэтому и в нашем исследовании респонденты были разные. Мы разговаривали с профессиональными историками, если они ведут какие-то публичные, популярные проекты, выходящие за рамки научной деятельности, связанные с производством коллективной памяти. Примеры сборника об истории Петрозаводска или школы исторических наук НИУ ВШЭ, которые приводит Алексей Голубев, относятся, по моему мнению, именно к области исторической науки и представляют больший интерес для социологов науки, которые бы изучали производство исторического знания в России.

Коллективная память, в отличие от исторического знания, говорит о настоящем больше, чем о прошлом. Исторические представления людей формируются под влиянием современного контекста, это зачастую ответ на нынешние проблемы. Рост интереса к Великой Отечественной войне в последнее время связан, конечно, не с тем, что люди стали больше знать, или с новыми историческими исследованиями, у этих изменений вполне политические причины. Любовь к Сталину лишь отчасти связана с незнанием

истории, помимо этого она связана, например, с тем, что люди, не имея доступа к политическому процессу, недовольны современным состоянием дел и ищут другого вождя — в конечном итоге чего еще может ждать от политики обыватель? Похожая ситуация и на уровне второй памяти. История города интересна не только и не столько потому, что она ценна с точки зрения исторической науки. Память городского сообщества — кирпичик в построении идентичности этого сообщества, рассказы о прошлом отвечают на вопрос о том, кто мы, почему мы здесь, что здесь было и что может быть. Поэтому исследование уровня исторической образованности интересно для того, чтобы понять, насколько эффективно школьное образование, просветительские программы и прочее. Исследование коллективной памяти — исследование идентичности, точек сборки солидарности и ценностей. Исследование второй памяти, таким образом, это исследование социальных ценностей, которые прорастают «снизу», а не спускаются «сверху».

Многие критики обратили внимание на то, что разделение коллективной памяти на первую и вторую выглядит довольно условно. И отчасти они правы. Разделение памяти на официальную и народную или на первую или вторую важно именно для разграничения поля. Когда мы приступали к этому проекту, мы обнаружили, что в исследованиях коллективной памяти в России преобладает анализ государственной политики памяти. Исключения составляют работы, посвященные наиболее известным негосудар-

ственным акторам памяти: Мемориалу, Перми-36. Причины понятны. С одной стороны, как бы ни менялся ландшафт культуры памяти, государство остается ключевым актором памяти. С другой — исследования второй памяти затратны: наше исследование готовил коллектив авторов. Разделение на первую и вторую память требовалось именно для того, чтобы объяснить, как соотносится наш проект с уже имеющимися исследованиями. Конечно, вторая память, в отличие от первой, куда более многообразна. Вторая память — это память, которая производится за пределами государственной политики памяти. Она фрагментирована, поскольку производится разными акторами памяти. Поэтому, конечно, можно сказать, что там, где вторая, там и третья, четвертая. Если бы было возможно описать все разнообразие коллективной памяти в России, стоило бы, наверное, их и пересчитать. Но для того, чтобы разграничить официальную политику памяти и все остальное, это избыточно.

Тем не менее в чем наши критики абсолютно правы, так это в том, что эта фрагментация, множественность «второй памяти» — ее ключевая характеристика. Как часто в исследованиях о России мы читаем о жителях России, россиянах «в целом» и «в большинстве своем», многочисленные социологические опросы определяют среднюю температуру по больнице. Конечно, такая большая и разнообразная страна вряд ли может быть описана простыми схемами. Изучение «второй памяти» — это способ описать российское общество более тонко.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Ассман 2016 — *Ассман А. Новое Недовольство Мемориальной Культурой. Новое Литературное Обозрение*. 2016.

Bodnar 1992 — *Bodnar J.E. Remaking America: Public Memory, Commemora-*

tion, and Patriotism in the Twentieth Century. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992.

Halbwachs 1992 — *Halbwachs M. On Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

RESPONSE TO THE DEBATE AROUND THE REPORT "WHICH PAST DOES RUSSIAN FUTURE NEED?"

Khlevniuk Darya O. — doctoral student of the faculty of sociology of the University of Stony Brook, New York (USA)

Key words: collective memory, "first memory," "second memory"

The response to the discussion of the research "Which past does russian future need?" deals with two major points of criticism. First, I explain reasons for using the term "collective memory". Second, I discuss the value of distinguishing between "first" and "second" memory.

REFERENCES

Assman A. *Novoe Nedovol'stvo Memorial'noi Kul'turoi. Novoe Literaturnoe Obozrenie*. 2016.

Bodnar J.E. Remaking America: Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992.

Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

А. С. Максимова

«ВТОРАЯ ПАМЯТЬ» В МАЛЫХ ГОРОДАХ: ТИПЫ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ*

Ключевые слова: малые города, краеведение, «вторая память», локальная история, прошлое

Цель статьи – более детально описать, как устроена «вторая память», альтернативная национальному историческому нарративу. Опираясь на случай краеведения в малых городах, автор описывает условия конструирования прошлого, акторов, вовлеченных в этот процесс, и установки, которые мотивируют деятельность этих акторов.

Мне бы хотелось несколько усложнить схему с двумя памятьми, а именно уточнить то, что собой представляет вторая память. Для этого я рассмотрю пример краеведения в малых городах России. Я покажу, что, несмотря на принадлежность ко второй памяти, альтернативной национальному историческому нарративу, краеведе-

ние в целом аполитично, зачастую не ориентировано на публичность и заявляет о собственном нейтралитете; более того, привязка к локальным историческим проблемам и коллективному прошлому в производимом им знании может быть довольно случайной. В то же время часть краеведов в малых городах занимают активистскую позицию и способны вовлекать в свою деятельность более «индивидуалистичных» коллег и представителей таких «неповоротливых» и консервативных институций, как музеи.

Это кейс локальный, микроуровневый: он построен на данных интервью, которые мы провели в ходе нескольких экспедиций в города с населением не более 15 тысяч человек; города, как правило, с богатым наследием, где сохранился ряд исторических и архитектурных памятников, т.е. имеются культурные ресурсы для

* Статья подготовлена в ходе проведения работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.

© Максимова А. С., 2017

Максимова Алиса Сергеевна – магистр социологии, стажер-исследователь Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А. В. Полетаева (ИГИТИ) Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, alice.mcximove@gmail.com

того, чтобы выстраивать историческое сознание, рассказывать о том, что здесь было в прошлом и почему это важно в настоящем. Я рассмотрю, какие есть формы производства исторического сознания в малых городах, каковы особенности условий, в которых они развиваются, и каков их потенциал.

Деятельность краеведов — это довольно широкий круг практик, не только исследования и работа с источниками, но и экспедиции, фотографирование, выступления на конференциях, в музеях, библиотеках, взаимодействие с учеными, в том числе и по Интернету, а также консультации, например, людей, готовящих телепередачи или как-то иначе разрабатывающих историческую тему о регионе. Краеведы могут, например, помогать учреждениям культуры адаптировать государственный нарратив к местному — так, в одном из городов несколько лет назад один из наших респондентов «локализовывал» День народного единства. В своей деятельности краеведы используют возможности Интернета, что позволяет, несмотря на территориальную изолированность, поддерживать связь с иногородними и даже иностранными знакомыми, получать информацию без необходимости ездить в архивы, чувствовать принадлежность к внешним событиям и включенность в дискуссии и переписку на исторические темы.

Важно понимать, что представляет среда, в которой действует краеведение: в каком виде существует и кем производится историческое сознание в малом городе. Довольно очевидно и заметно, что госу-

дарственные учреждения — музеи, школы — в плане тех форм знания, с которыми они работают, очень ригидные. Они забюрократизированы, испытывают недостаток ресурсов и постоянно находятся под давлением: к примеру, музей выселяют, потому что он находится в здании, которое должны передать церкви; школа обязана показывать хорошие результаты по аттестации. Музеи, как правило, наследуют экспозицию, на обновление которой у них нет средств, поэтому сюжеты, с которыми они работают, остаются постоянными. Дополнительные ресурсы на временные выставки тематически привязаны к значимым годовщинам, которые определены на государственном уровне. Школы, в свою очередь, не могут сильно отклоняться от той повестки, которая задана учебным планом. Эти обстоятельства не способствуют появлению новых форматов работы и экспериментированию с тематикой.

В то же время в малых городах нет жестких институциональных границ, четко закрепленных профессиональных и специализированных экспертных ролей. В исследовании мы пользовались разделением акторов памяти в зависимости от их занятия, но в начале интервью с человеком в небольшом городе он мог спросить: «Как я с вами сейчас должен говорить, как краевед, как активист, как сотрудник музея или как журналист? Потому что я могу быть во всех этих ипостасях, я всем этим занимаюсь». По столичным меркам это не вполне обычно, а в малом городе многие становятся «многогостаночниками». Через границы организаций выстраиваются связи:

можно обратиться к знакомым, чтобы они приняли участие проекте, помогли, что-то посоветовали, выступили. Несмотря на существование дружелюбных сплетен и называния за спиной кого-то из «коллег» чудаками или выдумщиками, акторы не прерывают отношений и привлекают друг друга к своим проектам. Кроме того, по словам респондентов, в ситуации отсутствия ресурсов нет и борьбы за них, в отличие от некоторых городов:

«Там из бюджета выделяются определенные средства на краеведческие публикации. И есть две группы, которые друг друга искореняют огнем и мечом, преследуют на земле, воде и в воздухе, чтобы присосаться вот к этим грантам, скажем так. Ну, не грантам, вот к этому бюджету».

Среди краеведов можно выделить две условные категории — хотя, безусловно, речь о своего рода идеальных типах — это краеведы-любители и краеведы-активисты. Оба этих типа — акторы негосударственной памяти. С уверенностью можно сказать, что здесь мы имеем дело со «второй» памятью, которая не встраивается в повестку государства, в большие исторические нарративы. Но тем не менее эти категории различны. И первая, и вторая группа деполитизированы и в отношении истории нейтральны, но — по-разному.

Первая группа, краеведы-любители, это люди, которые действуют индивидуально. У них нет широкой внешней аудитории, их аудитория, как правило, это «свои» — музейщики, другие краеведы, друзья, они не стремятся к публичности и к тому,

чтобы их результаты были закреплены в виде публичного и материального знака, например мемориальной таблички в городе, выставки в музее. Они объясняют свою деятельность собственным любопытством, увлеченностью. Эти люди считают, что важно знать свое прошлое, но у них нет повестки, направленной на общество. В этом плане история, которую они производят, не совсем локальная. В принципе, те «задачи», которые они решают, те загадки, которые им интересно разгадывать, могли бы находиться где угодно, просто так случилось, что они нашлись здесь. На вопрос о главной исследовательской теме краеведы-любители скажут, что они занимаются несколькими параллельными сюжетами, постоянно обнаруживают что-то новое: их внимание может зацепить объект в городе или в окрестном лесу, какой-то артефакт в музее или деталь в прочитанном по другому поводу источнике. Несмотря на в целом непубличный характер их деятельности, некоторые результаты работы этих краеведов все же становятся известны горожанам и даже более широким аудиториям: они состоят в местных отделениях общества охраны памятников истории и культуры, пишут заметки об истории города в газету, сотрудничают с государственными музеями, иногда открывают частные экспозиции или устраивают временные выставки.

Краеведы-любители признаются, что делают все на свои деньги, отчасти из-за того, что не знают, где искать ресурсы, как подавать на гранты, но также из-за нежелания от кого-то зависеть. Они не обязательно считают локальную историю более

важной, чем национальная; относятся к первой как к тому, что позволяет уточнять вторую, смотреть, как события государственного масштаба отразились или развивались на местном уровне. Краеведы-любители занимаются загадками прошлого и его «объективным описанием». Это, по словам их коллег, «краеведы до мозга костей, которые хотят до сути докопаться».

«Просто нужно думать, анализировать. Вот это вот стремление проанализировать все и делать свои выводы, оно до сих пор во мне сидит. Я никогда ничего не принимаю за чистую монету, что мне говорят, вот. То же самое с историческими фактами».

Краеведы-любители видят свою главную задачу в максимально подробном и «достоверном» описании прошлого, выбор тем или событий из которого не определяется соображениями социальной или моральной важности.

«Я думаю, что просто надо говорить обо всем, и о хорошем, и о плохом, и о трагическом, и о радостном. Но не воспринимать это, наверное, уже болезненно, не проклинать что-то, что состоялось, а просто это воспринимать и не делать больше таких ошибок».

Краеведы-активисты гораздо сильнее ориентированы на публичность — и, в частности, на локальное сообщество. Они стараются проводить параллели между прошлым и настоящим, думают о том, как сконструировать локальную идентичность, чтобы внешние аудитории начали это место замечать, а мест-

ные — думать о том, чтобы остаться здесь, жить в городе и гордиться им. Активисты занимаются такими сюжетами и таким образом их развивают, что это становится связанным именно с этой локальностью, ее настоящим и будущим. Они руководствуются соображениями совести, когда речь заходит о том, чтобы устанавливать памятники, мемориалы на местах репрессий, о том, чтобы делать известными истории, которые, как им кажется, несправедливо забыты. Но при этом — и в этом их нейтральность — они не хотят участвовать в политической борьбе и занимать стороны, с подозрением относятся к статусу некоторых организаций как «иностранных агентов».

Активисты стремятся найти поддержку собственных действий, в том числе и материальную. Примечательно, что им в большой степени безразлично, где искать средства. Они могут обратиться к губернатору, могут обратиться к обществу «Мемориал», могут — в Министерство культуры. Хотя они оценивают последствия сотрудничества с теми или иными грантодателями и институциями, категоричности и избирательности при принятии решения нет: обычно подходят любые источники средств.

Чтобы понять, что происходит, когда низовые исторические инициативы становятся успешными, когда появляются ресурсы и растет масштаб и известность, было бы любопытно проследить судьбы нескольких проектов, но пока таких данных целенаправленно мы не собирали. Если говорить о доступных примерах, кейс «Бессмертного полка», скажем, дает основания полагать,

что происходит апроприация второй памяти первой, низовых инициатив – формальными структурами, связанными с государством.

Однако в том, что касается краткосрочной перспективы, успешные активистские инициативы в малых городах дают повод для оптимизма: к историческим проектам подключаются и те, для кого не характерна публичная деятельность подобного рода, когда убеждаются, что чего-то возможно добиться и что-то можно изменить.

«Сама редакция раскрутила уже его, этот журнал, и уже появились и музейщики тут. В первых номерах они-то не очень. А теперь уже музейщики – костяк. <...> Но они сами не хотели сначала-то, музейщики. Это сейчас они уже поняли, что красиво, да. Стараются.

Интервьюер: А они не хотели, потому что это было популярное издание как бы?

Им не казалось, да... Что это “ну, подумаешь, тут краеведы”. А так все время бывает».

Краеведы-активисты достаточно предприимчивы, у них есть инструменты и средства (включая доступ к интернет-медиа и навыки их использования для популяризации своих проектов, опыт краудфандинга и подачи заявок на гранты), чтобы добиваться результатов. Исследование показало, что, когда проекты активистов начинают претворяться в жизнь, они могут мобилизовывать как краеведов-любителей, так и те самые ригидные институции вроде музеев и школ, где могут найтись силы и интерес к тому, чтобы делать что-то новое и важное и привлекать горожан к развитию исторических сюжетов.

“THE SECOND MEMORY” IN SMALL TOWNS: TYPES OF LOCAL HISTORIANS' NEUTRALITY AND DEVELOPMENT OF LOCAL HISTORY

Maksimova Alisa S. – master of sociology, intern-researcher at the Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities, National Research University, HSE (Moscow)

Key words: small towns, local history, “the second memory”, the past

The paper is intended to add detail to how “the second memory”, alternative to the national historical narrative, works. Dwelling on the case of local history in small towns, author describes conditions of construction of the past, actors involved in the process, and attitudes that motivate them.

Выступления на круглом столе «Какое прошлое нужно будущему России?» на конференции «Пути России — 2017» (МВШСЭН, 25 марта 2017 г.)

М. Г. Мацкевич

Начну с того, что мне, как социологу, важно в докладе Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России?», и отчасти проиллюстрирую свои тезисы результатами совместного с Борисом Ивановичем Колоницким проекта по исследованию празднования юбилея революции. Прежде всего нужно отметить важность мониторинга, потому что только из мониторинга мы можем понять, как развивается историческое сознание, как, например, воспринимаются аудиторией действия акторов, описанные в докладе. Характеристики этой аудитории и ее отклик на деятельность акторов важны для понимания того, как функционирует историческая память.

По поводу различных видов памяти. Понятно, для каких целей была использована дихотомия: «государственная память» против «памяти гражданского общества». Но памятей больше, чем две, их вообще очень много. Предыдущие выступающие уже говорили, что с государственной памятью все довольно сложно. Но и с памятью гражданского общества не проще — это очень разная память. Далеко не вся она

«работает» на примирение. И если мы используем метафору, в которой память гражданского общества — это нечто, противостоящее государству и направленное на примирение, то мы упускаем внутренний конфликт, который уже есть и еще больше присутствует в потенциале. Чем более общество открыто, чем больше возможности высказывания предоставляется различным версиям и различным акторам памяти, тем выше вероятность конфликтов (особенно в отсутствие проработанного публичного языка и культуры серьезных общественных дискуссий).

Отчасти об этом свидетельствуют данные нашего проекта, который находится пока в самом начале. Очевидно, что объект исследования — отмечание юбилея Революции — будет меняться в ходе самого исследования, поэтому только по завершении года можно будет говорить о каких-то выводах. Но предварительные гипотезы были сформулированы еще в 2016 г., и сейчас мы смотрим, насколько наши предположения о том, как будет проходить этот год, подтверждаются или опровергаются.

Юбилей — это ресурс, и он будет использован разными акторами в своих целях, часто очень прагматичных. Было бы странно, если бы этого не происходило, потому что

© Мацкевич М. Г., 2017

Мацкевич Мария Георгиевна — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН (Москва); mmatskevich@yandex.ru

Русская революция — одно из очень немногих событий, относительно которого большинство населения, во-первых, считает, что эту дату нужно знать, а во-вторых, ее знает. Революция — второе по значимости, после Великой Отечественной войны, событие, о котором знает (или думает, что знает) подавляющее большинство. Однако знание даты и содержание знаний о революции — это совершенно разные вещи, о чем еще будет сказано позже.

Второй вопрос, кто использует ресурс юбилея. Мы видим, что позиция условного «государства» — довольно двусмысленна. Например, не было официальных торжественных заседаний, посвященных годовщине Февральской революции. Существуют версии экспертов, почему так происходит. Одна из них заключается в том, что Февральская революция была кем-то названа «первой цветной революцией», и с этим связано специфическое отношение к ней официальных органов власти. Посмотрим, как это будет реализовываться или не реализовываться в отмечании Октябрьской революции.

С другой стороны, очевидно, что образ революции будет использоваться и оппозиционными акторами. Именно этого ожидают представители власти, и вполне возможно, что отмечание годовщины Октябрьской революции будет похоже на то, как праздновалась / не праздновалась годовщина Февральской революции. Приведу пример того, что мне близко как социологу. Обратили ли вы внимание, что у нас существует традиция: «большая тройка» общероссийских опросных компаний —

ФОМ, ВЦИОМ и Левада-Центр — всегда публикует данные опросов, посвященных датам. И в 2007 г. была серия исследований, посвященных празднованию 90-летнего юбилея Революции. Сейчас, в 2017 г., только Левада-Центр опубликовал данные об отношении к Февральской революции, всего несколько вопросов. Это не было отдельным исследованием, лишь маленький сюжет в omnibusе (Регулярный опрос, охватывающий несколько тем, не связанных между собой.) Больше публикаций не было. Возникают вопросы: у других исследовательских центров — нет интереса? Нет заказчика? Нет возможности публиковать полученные данные? Почему нет возможности их публиковать, если данные есть?

Несмотря на недостаток свежей информации, у нас есть данные об отношении к Октябрьской и Февральской революции за предыдущие годы. Тенденции, складывающиеся в последние десятилетия, говорят о довольно сильной устойчивости распределения позиций большинства граждан по этому вопросу, поэтому определенные предположения могут быть высказаны.

Во-первых, отношение к понятию «революция» в целом негативное. Такая ситуация сложилась не в связи с «цветными» революциями последних лет. Вопреки тому, что часто говорится о влиянии телевизионной пропаганды, СМИ, негативное отношение и почти консенсус относительно революции сложились в 90-е гг., и это было связано с событиями тех лет. Именно тогда радикальные перемены, тем более революции, начали ассоциировать-

ся прежде всего с беспорядками и экономическим хаосом. Особенно такие настроения усилились после 1993 г.

Во-вторых – что люди знают или не знают про революцию? Подавляющее большинство отвечает, что, конечно же, знают и считают важным знание об этом событии. Исследования ВЦИОМа, ФОМа, Левада-Центра подтверждают, что граждане страны помнят дату Октябрьской революции и то, что была еще и Февральская.

В 2007 г. у ФОМа было исследование, позволившее отчасти понять, как функционирует эта память. В этом исследовании респондентам задавались открытые вопросы (не подразумевавшие готовых вариантов ответа). Это существенное отличие от опросов, в которых используются закрытые вопросы. Как правило, в предложенных респонденту альтернативах ответов отражаются исторические представления исследователей. В большинстве опросов мы видим, что эти представления сформированы советской версией истории. Я не говорю, что они неадекватны, я говорю, что предложенные респонденту варианты ответов фиксируют некую схему. Но в исследовании ФОМа 2007 г. задавались открытые вопросы об ассоциациях: с чем для респондента связана Февральская революция?

Сразу надо сказать, что подавляющее большинство наших сограждан, которые утверждают, что они все прекрасно знают, отказываются говорить о каких бы то ни было ассоциациях. Из тех, кто соглашается

говорить на эту тему, значительная часть имеет ассоциации с чем-то, когда-то изучавшимся в школе, и ограничивается общими суждениями. Еще одна довольно многочисленная группа смешивает вообще все революции – причем смешение Февральской революции с Октябрьской неудивительно, но там возникает даже революция 1905 г. И только процентов десять респондентов говорят о чем-то, что имеет отношение к Февральской революции. Но эти ассоциации по-прежнему отражают старый школьный учебник, т.е. все тот же пресловутый «Керенский в юбке» – вечно живая тема, «Временное правительство», «буржуазный характер революции». С тех пор, когда все это составляло содержание советских учебников истории, изменилось многое. А если посмотреть на представления людей о тех событиях, кажется, что преподавание истории не изменилось вовсе. Правда, стоит отметить, что соглашающиеся говорить о своих ассоциациях, представлениях – это в основном представители тех социальных групп, которые обладают высшим образованием, и это уже более или менее немолодые люди. И – что важно – почти на все вопросы, связанные с историей (это касается не только Октябрьской и Февральской революций, но вообще всех вопросов истории), подавляющее большинство представителей младшего поколения уходит от ответа.

В очень интересном мартовском исследовании Левада-Центра предлагалось ответить, на чьей стороне вы были бы в 1917 г. (вопрос регулярно задавался с 1990 г.). Сегодня не очень значительная часть (12%)

активно поддержала бы большевиков, еще 16 % «кое в чем сотрудничали бы» с ними. Наибольшую поддержку собрали варианты неучастия в событиях: треть (33 %) предположила, что можно было «переждать», «не участвовать», а еще 14 % думают, что можно было «уехать за рубеж». Минимальная часть (8 %) выбирает вариант борьбы с большевиками. Затруднились с ответом около 20 %. Т.е. две трети граждан либо выбирают неучастие, либо не дают ответа.

В предыдущих выступлениях говорилось о том, что в рамках «примиряющей памяти», «памяти гражданского общества» теперь «стыдно не знать». Пока на имеющихся данных видно, что «стыдно не знать» — не очень распространенная позиция. Практически по всем аспектам истории хоть какие-то знания, пусть только на уровне школы, в основном демонстрируют представители старшего поколения, родившиеся до 1975 г. Это последнее поколение, которое училось в советской школе.

Правда, есть исключения из этого правила. Например, о Великой Отечественной войне — события, которое одинаково сакрализовано как в советский период, так и сегодня, — знают практически все. Или сюжеты, которые минимально присутствовали в советское время, а сегодня мы читаем об этом начиная с учебника обществоведения для 4-го класса, например Крещение Руси: здесь также не различаются те, кому нет еще 30, и представители старшего поколения — все одинаково «не знают».

В то же время отношение к Великой Отечественной войне в чем-то

совпадает с тем, что уже говорилось про Октябрьскую революцию: вроде бы знают практически все, считают это основным событием отечественной истории тоже практически все, но это совершенно не значит, что люди хорошо представляют, что там на самом деле происходило. И, строго говоря, называется, для того, чтобы ощущать это событие как сакральное, совершенно необязательно знать даты, не говоря уже о подробностях.

Конечно, исторические знания — только часть исторической памяти, которая гораздо сложнее, не сводится к историческим знаниям и, более того, совсем не обязательно так уж тесно с ними соприкасается. Как мы видим по исследованиям в других странах, отношение к истории складывается совершенно не обязательно на основе исторических знаний. И официальной исторической политикой это улавливается довольно хорошо. Не стоит переоценивать средний уровень исторических знаний в других странах, там историческая память тоже зачастую основывается на мифах.

Интересны, особенно на фоне юбилея революции, призывы к примирению, которые мы читаем в докладе ВИО. Надо признать — первые призывы к примирению раздались на официальном уровне. Они прозвучали в выступлениях Мединского, в Послании президента к Федеральному собранию и т.д. Проблема в том, что для примирения требуется несколько обстоятельств. Первое: должен быть запрос на примирение, должны быть стороны, которые осознают себя примиряющимися, и их

представители в настоящем, наконец, нужно уважение к оппоненту и готовность к компромиссу.

Если говорить о примиряющихся сторонах в контексте юбилея революции, то на государственном уровне предложено считать, что это «красные» и «белые». Правда, историки сильно недовольны такой оппозицией и говорят, что это очень большое упрощение. Если говорить о представителях примиряющихся сторон в настоящем, мы видим, что если такие представители возникают и осознают себя в качестве таковых, то это порождает потенциал не столько примирения, сколько конфликта. Мы видим деятельность депутата Поклонской, мы видим деятельность других акторов — например, призывы к примирению со стороны патриарха, который предложил передачу Исаакиевского собора РПЦ считать актом примирения. В Петербурге по этому поводу возникли большие протесты, с такой трактовкой «примирения» далеко не все согласны.

Следующее обстоятельство: запрос на примирение. Есть основания предполагать, что этот запрос не обращен к прошлому. Если вообще этот запрос есть и хоть как-то артикулирован, то он скорее обращен к настоящему.

Еще одна необходимая составляющая процесса примирения — готовность к компромиссу и уважение к оппоненту. Здесь явно большие проблемы. Когда говорят о памяти,

то, например, в процессе коммеморации важны общественные представления о том, кто ее заслуживает. И мы видим контрастирующие примеры. Один — это установка памятной доски Колчаку в Петербурге, по поводу которой были конфликты, суды. Судья, вынесшая решение о демонтаже доски, обосновала его тем, что, во-первых, Колчак был осужден военным судом, а во-вторых, он сделал столько плохого, что не достоин памяти. Решение судьи, впрочем, было обжаловано, дело продолжается. С другой стороны, мы видим памятник Колчаку в Иркутске, вокруг которого, кажется, в настоящий момент уже нет таких споров.

Наконец, еще один очень важный компонент примирения — это готовность к «проработке прошлого», к серьезным фундаментальным дискуссиям о сложных вопросах прошлого. Потому что примирение на основе забвения — неэффективный метод, как показывает опыт других стран. Везде, где есть работа с памятью, где историческое сознание — предмет серьезного отношения, везде сложные вопросы прошлого обязательно обсуждались публично. При этом часто поднимались очень неприятные вопросы и обсуждались в том числе ценности, на основе которых строится отношение к прошлому.

И для нас сегодня было бы важно понимание, что отношение к прошлому — это прежде всего проблема наших сегодняшних ценностей, именно о них, в сущности, идет разговор.

В. Е. Морозов

Прежде всего, обозначу цели своего выступления. Для того чтобы ответить на ключевой вопрос — какое прошлое нужно будущему России? — необходимо попытаться для начала установить основной посыл обсуждаемого доклада, политическую повестку дня, которая за ним стоит. То есть я попробую применить к самому докладу метод деконструкции и поразмышлять о его более широком дискурсивном и политическом контексте.

Это означает, что я буду анализировать доклад как своего рода речевой акт, как попытку что-то изменить путем говорения, попытку совершить определенные политические действия путем участия в общественной дискуссии. А в этом случае важна аудитория, важен вопрос об адресатах доклада — это я тоже хотел бы обсудить. При этом я прекрасно понимаю, что в докладе много голосов, и он сознательно сделан так, чтобы не стричь все и всех под одну гребенку; в его нынешней версии нет абсолютно четкой, последовательно сформулированной идейной, нормативной позиции. Я буду в основном обращаться к одному из этих голосов, который меня больше всего интересует и который в каком-то смысле слышен хуже других. Не потому, что это тихий голос: наоборот, этим голосом говорят

многие авторы доклада и симпатизирующие им участники обсуждения. Голос громкий, но, поскольку многие с ним солидарны, он вроде бы говорит самоочевидные вещи: от него труднее отстраниться, чтобы критически переосмыслить то, что этот голос говорит. А переосмыслить, на мой взгляд, необходимо.

Когда я услышал этот голос, это заставило меня задуматься над следующим вопросом: две ли памяти в России или, может быть, их три? Потому что помимо народной памяти и государственной памяти, которые в докладе анализируются, есть еще память самих авторов доклада или значительной их части. Эта память тоже идеологизирована, и именно она зачастую прорывается в тексте доклада в качестве одного из голосов.

Очевидно, что исходным пунктом для этой третьей памяти является глобальный западный — или, если хотите, северный — либеральный консенсус вокруг нескольких основных пунктов. Очень схематично можно сказать, что в негативе этот консенсус строится вокруг таких символов, как Бухенвальд, Катынь и, скажем, Прага 1968 г. Эти имена отсылают к событиям, символизирующим темную сторону европейской и мировой истории, то прошлое, которое подразумевается лозунгом «Никогда больше!» Позитивная же сторона этой памяти представлена, например,

© Морозов В. Е. , 2017

Морозов Вячеслав Евгеньевич — кандидат исторических наук, профессор института политических исследований, Тартуский университет (Тарту, Эстония); morozov@ut.ee

конвенциями Совета Европы и правозащитной традицией в целом — то есть историей борьбы за права человека, в первую очередь индивидуальные. Еще одна центральная дата для этой памяти — 1989 г.: падение Берлинской стены, крах советской империи и освобождение Европы от коммунистического диктата.

В этой связи приведу одну наиболее характерную цитату: «Коммунистическая идея оказалась ложным мифом. Альтернативный мировому капитализму путь к мировой гармонии обернулся железнодорожной колеей к воротам ГУЛАГа» (с. 40). Факт, что попытка реализации коммунистической идеи в СССР привела к массовым репрессиям, конечно, бесспорен. Вместе с тем тон изложения этих фактов заставляет задуматься об идеологической подоплеке данного высказывания. Эту цитату, например, можно интерпретировать как утверждение, что капитализму нет альтернативы. Победа коммунизма, как мы все знали в советские времена, когда-то была неизбежна. Вот так же и сейчас определенному кругу людей — не только в России — представляется, видимо, что неизбежна победа капитализма.

Болезнь того, советский террор объявляется патологическим явлением, недоступным рациональному пониманию: «Внутри этой забытой ныне системы все было логично и оправдано — за ее пределами нет никакого смысла, кроме голого насилия и бессмысленного террора. Это требует лишь однозначного осуждения как самое изуверское преступление против человечности,

произшедшее в силу страшного соблазна и страшной аберрации, связанной с попыткой не просто построить новое общество, но ради этого создать новую, неведомую и невозможную человеческую природу» (с. 42).

Как мы знаем, такого рода дискуссии имели место в связи с понятием тоталитаризма и осмыслением Холокоста, особенно в контексте работ Ханны Арендт. Известно и одно из самых существенных возражений против идеи о том, что тоталитаризм вообще и нацистский или сталинский террор в частности были своего рода «провалом» в европейской истории, не поддающимся объяснению отклонением от человеческой природы и европейской традиции. Если террор был аберрацией, нет нужды искать ему рациональных объяснений, которые неизбежно заставляют поставить вопрос о том, как связаны между собой капитализм и тоталитаризм, демократия и империя, просвещение и Холокост.

Естественно, представления о советском периоде как находящемся вне «нормальной» истории и о терроре как о чудовищной аберрации сами по себе не новы. Скорее наоборот: эти утверждения воспроизводят здравый смысл российской либеральной интеллигенции, которая говорила и писала еще во второй половине 1980-х гг. о том, что в 1917-м страна свернула с магистрального пути истории и нужно на этот путь как можно скорее вернуться. Для радикальных идеологов перестроечного времени такое представление о безальтернативности

капитализма было простительно, потому что они-то как раз пытались выстроить альтернативу советской системе, которую они (на мой взгляд, правильно) считали несправедливой и изжившей себя, но которая на тот момент все еще господствовала. И мы вроде бы попытались вернуться в «нормальную» историю, начали строить демократию и рынок, но — снова куда-то свернули, не то в 1999-м, не то в 2012-м, не то в 2014-м.

Лично у меня тот факт, что я снова будто бы читаю «Литературную газету» образца 1988 г., с призывами вернуться в цивилизованный капитализм, вызывает серьезную озабоченность. Я вижу в этом симптом истощения творческих сил и, как следствие, неспособности критически осмыслить современный мир, положение своей страны в этом мире и свою, как интеллектуала, роль в политическом и общественном развитии страны. Поясню, что я имею в виду.

Прежде всего, постсоветская Россия вполне успешно встроилась в «цивилизованный капитализм». (Я придерживаюсь мнения, что и Советский Союз был вполне органичной частью капиталистической миросистемы, но это предмет отдельного большого разговора.) Просто нам немного не повезло: наша страна с самого начала, с XV–XVI вв., участвовала в капиталистическом разделении труда в качестве периферийного поставщика сырья. Сохраняя формальный суверенитет, Российская империя во многих отношениях развивалась как колония Западной Европы, но при

этом сама успешно колонизировала Сибирь, Кавказ, Восточную Европу и Центральную Азию. В своей книге о России как империи-субалтерне я писал о том, что имперский синдром в сочетании с антиколониальным ресентиментом решающим образом определяют российскую политику, в том числе начавшийся в 2012 г. «консервативный поворот».

Выбраться из ловушки полупериферийного развития непросто; как показывает почти вся российская история, этого точно нельзя добиться, если ставится задача «стать нормальной цивилизованной страной». Мы, повторяю, уже сегодня — нормальная страна в ряду других нормальных полупериферийных стран — таких как Турция, Бразилия, Иран. Соответственно, и задачи, стоящие перед Россией, гораздо более масштабны: нам нужно найти свой путь преодоления структурной зависимости от капиталистического ядра, ухода от сырьевой экономики, основанной на ренте и, следовательно, подверженной коррупции. Для этого, безусловно, нужна демократия, но ее нельзя будет построить по модели «возвращения в цивилизацию», просто потому, что исходные условия слишком своеобразны.

Именно в этом контексте как раз и важен вопрос об аудитории доклада. В нем много критики существующей политики памяти, но если политика неверна, вредна, то ее нужно менять. К кому адресован этот призыв? Кажется бы, аудиторией должна быть общественность, публика. Ведь в конечном итоге мы

говорим о демократической политике памяти, а в демократии общественное мнение играет решающую роль. Однако, к сожалению, представление о публичном, которое нам представляют авторы доклада, крайне заужено. Это не сказано явно, но тем не менее легко увидеть, как в манере, напоминающей российский XVIII в., разводятся понятия «публика» («образованная публика») и «народ»: «Советский народ 1960–1970-х гг. действительно мог составлять особую общность довольно счастливых людей — тех, кому повезло выжить в условиях практически непрерывных волн репрессий <...>. Те, кто сумел выжить, забыв старую, упоминаемую Булгаковым “норму”, приспособившись к нормам новым, зачастую плохо согласуемым с самой природой человека, и составили ту самую “новую общность”, которую всячески пропагандировали позднесоветские идеологи. Потомки выживших со сдвигом в одно поколение составляют большинство тех, кого можно назвать постсоветскими людьми. <...> Другой электорат, другая Россия — в расстрельных и лагерных могилах, вместе с не родившимися потомками» (с. 43).

Авторы доклада опять-таки не одиноки в таком взгляде на российское общество (как не одиноки они в представлении о безальтернативности западного пути). Тезис о том, что лучшие представители российской нации были в свое время уничтожены в сталинских лагерях, а те, кто выжил — это приспособленцы или наследники приспособленцев, часто выдвигается и в научных трудах, и в публицистике, и даже в мас-

совой литературе. В какой-то степени такое видение — это наследие раскола между европеизированными элитами и «отсталыми» массами, появившегося в России по итогам петровских реформ и, согласно Джеффри Хоскингу, составившего одно из главных препятствий на пути формирования политической нации. Тема «простого народа», которому часто сочувствуют, но которому почти никогда не доверяют, — это, конечно, одна из ведущих тем классической русской литературы и российской культуры в целом.

Однако с точки зрения политической практики такой взгляд на собственный народ ведет в тупик. К массовой аудитории в таком случае апеллировать бесполезно: народ, являющийся продуктом негативного отбора, склонный к приспособленчеству изначально, да еще и оглушенный пропагандой, по определению не оценит всех прелестей цивилизованного существования, которое сулят ему интеллигенты. Поэтому главная аудитория доклада — это как раз та самая «образованная публика», «подлинные элиты», которые каким-то непостижимым образом все-таки пережили негативный отбор и смогли унаследовать великую русскую культурную традицию.

Авторы доклада признают, что «нормальное будущее страны требует иного по качеству человеческого материала» (с. 34), однако эта тема ставится лишь в контексте функционирования электронных СМИ. Просвещение и образование — традиционная для российской интеллигенции тема — в докладе

обсуждаются в сугубо инструментальном ключе, системного подхода я не увидел. Зато много критики в адрес государства, которое насаждает неправильную, тоталитарную память о прошлом.

Именно государство, власть и видится авторам доклада в качестве основного слушателя за пределами собственно интеллигентского круга, и именно государство остается главным, если не единственным политическим субъектом, который все еще способен что-то изменить. Речь даже не о довольно обширном разделе «Уроки для власти», а скорее об общем тоне недовольства тем фактом, что власть не желает прислушиваться к мнению интеллигенции, который доминирует в тексте доклада. Однако если вдуматься, то остается совершенно непонятным, почему, собственно, власть должна разделять обеспокоенность авторов, зачем ей реагировать на эти советы и критику. Власть, напротив, все последние годы только и занята тем, что укрепляет идеологическую составляющую существующего режима. Более того, сам режим прочно встроен в мировые структуры господства, распределения благ и разделения труда. Иными словами, российский режим вполне укоренен в объективной реальности того самого цивилизованного капитализма, к которому, по мнению его либеральных критиков, нам еще только предстоит присоединиться, и российские политические элиты в этой реальности, даже на периферии, прекрасно себя чувствуют. (Правда, в последние годы из-за экономического кризиса жизнь стала несколько менее прекрасна,

но пока это, по всей видимости, воспринимается как временные трудности.)

Именно поэтому позиция той части интеллигенции, которая видит в себе и своих коллегах единственных наследников классической русской культуры и противопоставляет себя невежественной, оглушенной массе, — это позиция заведомо проигрышная. В конечном итоге она ведет к идентификации с властью (по Пушкину — как с единственным европейцем) и к оправданию существующей системы, поскольку мы оказываемся с властью по одну сторону баррикад. Ведь и в около-властных кругах есть немало людей, которые понимают, что дела в стране идут не очень хорошо, и, в частности, не испытывают восторга от ресталинизации и попыток насаждения имперской исторической памяти. Их идеал — это относительно либеральная, экономически открытая система, в которой элиты пользуются всеми благами цивилизации, а народ находится под контролем. Закручивание гаек многим не нравится, но они готовы «отнестись с пониманием» именно потому, что не доверяют народу, боятся его. Страх перед «лихими девяностыми» — это не только продукт манипуляции и пропаганды, за ним стоит призрак «бессмысленного и беспощадного русского бунта», который еще в XIX в. превратился в один из узловых пунктов российских общественно-политических дискуссий. Поэтому многие представители элит полагают, что лучше уж пусть будет культ Сталина, который, конечно, тормозит модернизацию, но зато обеспечивает

стабильность. Все-таки какой-никакой прогресс имеет место, правительство занимается импортозамещением, финансы в порядке, а без пармезана как-нибудь проживем — лишь бы только не революция.

Чтобы закончить на конструктиве (хотя и без переизбытка оптимизма), предлагаю задуматься над тем, насколько адекватны наши представления о российском массовом сознании. Власть считает, что большинство российского народа составляют сталинисты, которые верят в твердую руку и склонны бунтовать, если твердой руки не чувствуют. Сталинистские взгляды, безусловно, широко распространены среди россиян. Вместе с тем, как мы знаем из трудов Антонио Грамши и как показывают непредвзятые социологические исследования, здравый смысл масс — это всегда крайне аморфное явление, он многогранен и многолик, в нем уживаются различные противоречащие друг другу ценности, представления, исторические мифы. Это, как мне кажется, прекрасно показывает и социологическая часть доклада: ведь «вторая память» опирается именно на массовый здравый смысл, который мобилизуется на низовом уровне и превращается в альтернативный вариант исторического сознания.

Возможности такой мобилизации определяются борьбой за гегемонию — за то, чтобы определять, какой именно режим истины доминирует в данном обществе. В ходе этой борьбы различные политические силы апеллируют к разным элементам здравого смысла, в поисках политической поддержки выдвигая

те или иные элементы на первый план, закрепляя их в качестве опорных пунктов и выстраивая вокруг них более или менее последовательный исторический нарратив и, шире, господствующую идеологию.

Пока в России всем этим всерьез занимается только государство, тогда как оппозиционная интеллигенция продолжает критиковать власть за неправильную историческую политику, но напрямую к массам не обращается. А если бы обратилась — обнаружила бы широкий спектр разнообразных дискурсивных ресурсов, вокруг которых можно было бы выстраивать альтернативные политические платформы. Ведь у народа в сердце — не только Сталин, там весь барельеф сталинских времен, то есть и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и много разных других представлений о том, что хорошо и что плохо.

Вопрос о массовом сознании особенно актуален сегодня, когда либеральный консенсус, отражением которого является российский западнический дискурс, со всей очевидностью распадается. Его основополагающие символы, о которых я говорил в начале, утратили свою неоспоримость. Успешные политические карьеры сегодня строят, бросая вызов либеральному консенсусу и пересматривая его узловые пункты — как правило, с ультранационалистических позиций. Так, если Бухенвальд был символом преступлений нацизма, то сегодня, в зависимости от контекста, легко обвинить во всем немцев (именно немцев, а не нацистов) или, наоборот, заявить, что евреи были сами виноваты. В массовых убийствах

в Катини всегда были склонны обвинять русских как народ, и сейчас эта позиция усиливается. То же относится и к подавлению «пражской весны», а вот правозащитная традиция интерпретируется уже как признак нового, европейского колониализма (в этом российские консерваторы очень похожи на своих польских или венгерских собратьев, хотя первые критикуют объединенную Европу извне, а вторые – вроде как изнутри).

Так что сегодня в эклектическом пантеоне массового сознания можно, вероятно, увидеть и профиль Трампа, рядом с Марксом и Сталиным. Это, безусловно, проблема, но пока еще не катастрофа. С массовым сознанием необходимо работать всерьез, пытаться искать в нем элементы, которые можно было бы мобилизовать для строительства прогрессивного общества – в том числе, конечно, и такого, в котором

существовала бы плюралистичная, демократическая историческая память. Именно поэтому, несмотря на мое несогласие со многими положениями доклада, в целом он все-таки вызывает у меня оптимизм. Наличие в России «второй памяти», которая вырастает снизу и скорее вопреки, чем благодаря политике властей – это очень хороший признак. Он говорит о возможности и необходимости диалога между разными идеологическими платформами, о готовности народа к участию в демократической политике. Однако такая политика не возникает сама по себе, это задача интеллектуального и морального лидерства, задача политической гегемонии. Вопрос о том, за кем именно останутся лидирующие позиции в будущей России – за либералами, левыми, консерваторами-охранителями или, может быть, популистами наподобие Трампа, – на данный момент остается открытым.

Morozov Vyacheslav E. – candidate of history, Professor of the Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu (Tartu, Estonia)

К. Н. Морозов

Когда я брал в руки доклад, написанный для Вольного исторического общества, больше всего опасался, что на вопрос «какое прошлое нужно будущему России?» может быть дан ответ в духе новой исторической политики, пусть даже либеральной. На мой взгляд, прошлое нужно правдивое. Это несмотря на то, что правда и правдивость крайне неоднозначны, когда начинаешь вникать в то, как понимают правду, как понимают историю, в какой степени предпочитают правду или мифы различные социальные группы и элиты общества, в какой степени разные слои общества в состоянии понять сложность исторической правды, исторических реалий, хватает ли у них интеллекта и знаний, да и самого желания тратить свои силы, чтобы во всем этом разобраться. Т.е. когда я говорю о правде и правдивости, я отдаю себе отчет в том, что это отдельная и сложная тема. И совершенно случайно, что в конце 80-х гг., когда у общества появился запрос на правдивую историю и появились претензии к историкам, что они не в состоянии ее дать, — историки честно взялись за исполнение этого заказа. Благо открылись архивы, благо появилась, впервые на нашей памяти, возможность свободы бесцензурного творчества, возможность издавать книги, получив грант в РГНФ, несмотря на свой возраст (не оправ-

дав ожидания старших коллег: когда же ты постареешь до приличных 55 лет, а не понесешь издавать книгу в свои неприличные 36), не дожидаясь грифа в Институте истории. Каково же было изумление историков, когда они лет через 8–10 стали в большом количестве предъявлять результаты своих исследований — сборники документов, монографии (в основном, конечно, сборники документов — это была настоящая «архивная революция»), и вдруг они услышали от части общества: хватит, надоело, не хотим больше слышать ужасы о нашем прошлом, не надо никаких рассказов о революции, о репрессиях, коллективизации и прочем, нам надо выживать во что бы то ни стало, нам не до этого. Это сильно удивило, и тогда встал вопрос: а для чего ты сидишь в архивах и тратишь свои силы и время, если обществу это не интересно? Другое, что мы тут же увидели: самой политической элите никакая правда не нужна, с мифом работать значительно удобнее, его легче конструировать, миф легче воспринимается и т.д. Можно еще сказать, что эта же правда не нужна, соответственно, и СМИ, и становится очевидно, по каким алгоритмам работают журналисты — конечно, не все, — как работают телевизионщики, как делают телепрограммы, куда если и приглашают историков, то используют лишь отдельные цитаты в нарезке для подтверждения своей концепции или своего мифа, — многие историки после этого зарекаются иметь с ними дело.

Вопрос честных отношений между историками, учеными и СМИ, выработка новых правил игры «что можно, что нельзя» — это насущная для нас проблема. И тут есть еще один аспект. Если исходить из взгляда на народ и общество в целом как на субъект истории, творца своей истории и творца в том числе и своих представлений об истории, помогающих им осознать себя, то для этого, на мой взгляд, нам крайне важно сохранить историю как науку и ученых как ученых, а не как бойцов исторических войн, которых загнали в окопы для отражения «исторических атак». В прошлом году я попал на передачу канала ОТР «Прав!Да?» «История как поле битвы», где мои оппоненты говорили, что каждый историк должен быть солдатом государства, что началась война, на нас напали, что есть пропаганда других стран и пятая колонна. На мое возражение, что я не хочу быть солдатом государства, они заявили, что тогда я должен быть солдатом общества. Я ответил, что и солдатом общества быть не хочу, а хочу быть просто ученым, историком, который пытается разобраться в прошлом, а если вы, коллеги, апеллируете к войне, тогда скажите, кого мы должны брать в плен, кого мы должны убивать, кого мы должны пытаться, чьи приказы должны выполнять, — что же тогда вообще остается от науки, от истории и от ученых? Мне представляется, что в исторических войнах первой погибает история как наука и вслед за ней историки. И тут задача не физического выживания как такового, а сохранения своей деятельности, своей миссии, в том числе и в противостоянии

всякого рода конспирологиям, которые, на самом деле, убивают историческое самосознание, историческую мысль. Их сейчас появилось множество и они очень популярны, что актуализирует задачу научного просвещения. А также крайне актуальна и задача создания историками новой общественной модели разговора, модели диалога, поиска истины, в котором принимает участие все общество. На мой взгляд, за последние десятилетия культура дискуссии в нашем обществе практически убита, особенно это видно по всяческим ток-шоу, которые ведутся на разные темы, в том числе и исторические, где оппоненты друг на друга кричат, перебивают, оскорбляют. Это очень серьезная вещь, потому что будет уже, наверное, второе поколение, которое не имеет перед глазами примеров того, как можно вести дискуссию, как можно находить точки соприкосновения, компромиссы. Конечно, это вопрос не только и даже не столько науки, сколько вопрос культуры самого общества. Возникает два очень важных вопроса, имеющих огромное значение для будущего нашего общества: во-первых, в состоянии ли оно познавать и осмысливать свое прошлое (а не довольствоваться предлагаемыми схемами), во-вторых, научится ли оно договариваться само с собой и находить решения, которые бы устраивали большинство общества.

Одна из наших общих задач состоит в том, чтобы при попытках осознать, понять свое прошлое мы использовали правила и этику профессиональной исторической науки, проводили научные дискуссии,

а также широкие дискуссии, в том числе и на телевидении. Особо следует подчеркнуть необходимость создания программ, нацеленных на историческое просвещение, на честный разговор с людьми о нашем прошлом. Причем нужно разговаривать со всем народом, в том числе и с теми, кто идеализирует Сталина и сталинизм или советское прошлое, и с теми, кто идеализирует царское время и Столыпина.

Представляется, что в перспективе это приведет к сужению пространства конфликта и к сокращению числа тем, вызывающих ожесточенные споры, поможет обществу определиться с правилами игры, с пониманием, что важно для общества, «что такое хорошо и что такое плохо», как сказал Маяковский, поможет договориться, что можно, чего нельзя допускать. Мне кажется, что обсуждение этих тем позволит договариваться по очень важным вещам, включая и ценностные. Понятно, что этот процесс очень длительный, крайне сложный и потребует иной культуры от всех, в том числе и от политических элит и, безусловно, в значительной степени от общества, от историков, которым придется заниматься историко-просветительской частью

работы, в то время как сейчас большинство предпочитают заниматься только тем, что дает профессиональные дивиденды (попробуйте попросить историка написать статью в научно-популярный журнал, если для него престижнее, выгоднее писать в научный, да еще входящий в списки ВАК или Scopus).

Этот разговор мне кажется очень полезным, потому что он выводит общество на новый уровень осмысления. Мы должны разделять «историческую политику» и выработку самим обществом взгляда о себе — и этот процесс в конечном счете должен привести к тому, что общество превратится в субъект исторического творчества, — тогда мы выходим на вопрос объектно-субъектных отношений, на такой классический вопрос: «еврей для субботы, или суббота для еврея?» Если общество и народ для государства, тогда, конечно, есть место для «исторической политики». Если — наоборот, тогда нужно саморазвитие общества и повышение его культурного уровня, нужна просветительская работа для того, чтобы само общество научилось осмысливать свое прошлое, само стало творцом истории.

Morozov Konstantin N. — doctor of historical sciences, professor of RANEPА (Moscow)

М. Я. Рожанский

Вывод, что существуют две памяти, — крайне интересный результат исследования. Но авторы доклада представляют эти две памяти как некие альтернативы непересекающиеся, существующие в разных слоях. Во всяком случае именно это акцентировано в презентации. На мой взгляд, если даже и принимать этот вывод о непересечении двух памяти, то надо держать во внимании, что это временная ситуация. Пересечение неизбежно. Например, как только мы начинаем решать задачу включения второй памяти в общее историческое образование.

Когда мы говорим о первой памяти, не нужно видеть в ней исключительно результат идеологической интервенции, приписывать идеологической машине такую чудодейственную эффективность, как и закрывать вопрос, приравнивая первую память к историческому невежеству. Первая память не менее, чем вторая, опирается на глубокие экзистенциальные смыслы.

В ходе проекта я работал только с теми интервью, которые брались в Иркутске у историков. И в этих интервью очень хорошо видно плотную связь экзистенциальной и большой истории. Она не только у историков существует. В Сибири это выпукло, потому что в Сибири

есть, с одной стороны, дефицит памяти семейной. Как правило, попадание в Сибирь связано с какой-то травмой, и пресекается трансляция памяти о предках и месте, откуда был совершен побег или изъятие. А с другой стороны, не устанавливаются отношения с историей того места, куда попадают люди, потому что нет культуры взаимодействия с пространством. Это было проанализировано и описано и хорошо видно. И большая история служит заместителем, она отвечает неким важным экзистенциальным запросам, наделяет смыслами существование в данном пространстве — именно принадлежность к этой большой истории, на которой выстраивается вся государственная система. Основа идеократии не в инструментах, не в техниках социального управления, а прежде всего в этом. Поэтому вопрос о том, как говорить с теми, у кого «Сталин в сердце» — причем Сталин скорее как некий знак, — это вопрос о том, как перевести разговор в регистр личных отношений человека с историей. Здесь самая большая сложность и самая существенная задача.

И «Крым наш» это не продукт телешоу, и есть вопрос о том, как изъять у идеологической машины возможность эксплуатировать эти смыслы.

Очень многое уходит в восемьдесят восьмой год, когда вспыхнула холодная гражданская война по поводу истории, когда полемика по поводу исторических символов заменила

© Рожанский М. Я., 2017

Рожанский Михаил Яковлевич — кандидат философских наук, директор АНО «Центр независимых социальных исследований и образования» (Иркутск); mgr1954@yandex.ru

возможное возникновение общественной дискуссии об истории. И памятный эпизод, если не точка невозврата – события вокруг письма Нины Андреевой. Вспомню более частный, но знаковый случай: обложка «Огонька», на ней фото пикета пожилых людей с портретом Сталина и лозунгом «Сталин с нами», и подпись от редакции «Сталин с ними» как расчеловечивание упертых сталинистов. Тогда необходимо было решать вопрос, как разговаривать с такими людьми, а не только полемизировать.

Но тогда оказалось невозможным даже внести этот вопрос в повестку дискуссии. Дискуссии не было, была полемика, от победы в которой, казалось, зависит все. А все или почти все зависело от постановки и решения этого вопроса. Который существует и сейчас и может быть переформулирован в вопрос о моделях и каналах разговора об истории. Перевод дискуссии в регистр личных отношений с историей является тем императивом, который только и может вести к поиску нужных моделей, площадок и так далее.

Rozhansky Mikhail Y. – candidate of philosophical sciences, director of ANO «Center for independent social research and education» (Irkutsk)

Н. П. Соколов

И в нынешнем разговоре, и в докладе мне не хватает динамических характеристик. Говорится о памяти как об объекте, который нам дан в наблюдении и совершенно не зависит от текущих процессов. На самом деле память охватывает довольно короткую временную дистанцию, а затем кристаллизуется и откладывается в виде истории, в виде общепринятого образа истории. Сначала люди помнят разное, а потом эти воспоминания как-то фиксируются, и мы с вами переживаем сейчас такие бешеные и ожесточенные бои за память в связи с тем, что глубоко травматический российский XX в. отходит в прошлое, перестает быть предметом живой памяти, живая связь с ним теряется, и идет борьба за то, в каком виде эта травма кристаллизуется в рамках нашего общего исторического образа прошлого. За это идет общественная борьба, и мы при ней присутствуем.

И важно отметить, что кристаллизация этой памяти, относительно XX в., идет в рамках той исторической оптики — опять-таки не оптики ученых-историков, а оптики, существующей в широком обществе, — которая была сформирована в 30-е гг. XIX в. учениками Николая Карамзина и усовершенствована

© Соколов Н. П., 2017

Соколов Никита Павлович — кандидат исторических наук, заместитель исполнительного директора Президентского фонда Б. Н. Ельцина (Ельцин Центр) по научной работе (Москва); nikita.sokolov@gmail.com

лично товарищем Сталиным. У историков историческая ткань плотная, это очень плотное переплетение нитей человеческих судеб, где нет пустот и все причинно-следственным образом связано. В общественном же сознании прошлое имеет скорее вид карты звездного неба: там где-то Петр Великий, там где-то Екатерина II, где-то там еще смута, — как они между собой связаны, не очень понятно, но есть ключевые события, ключевые персонажи, по которым выстраивается нарратив общего прошлого. И последние 25 лет, когда ведутся социологические опросы, социологи ясно и четко считают очевидную для меня сталинскую оптику исторического процесса, в которой великая древняя могучая Русь пришла в упадок в удельный период, когда была утрачена единая власть, началась разруха, пришли монголы и всеми 200 лет помыкали, великие московские князья все соединили, любите эту вертикальную власть, иначе вам конечная погибель без нее, как бы эта власть опричным образом не безобразничала, — вот модель русского прошлого в нашей общей памяти.

Уже к концу XIX в. трудами Сергеевича, Платонова, Ключевского стало понятно, что все не так, научной опоры эта конструкция не имеет и что ее надо пересматривать. Уже появился даже школьный гимназический учебник Платонова, где в значительной степени эта конструкция была пересмотрена.

Но она не успела до революции укорениться, большевики пришли и отменили историю в школе совсем, а потом, когда ее потребовалось ввести для воспитанной патриотической армии ввиду приближения мировой войны, товарищ Сталин вернул эту старую карамзинскую схему, дополнив ее своей оптикой, что монархическая власть в России всегда, что русский народ должен на нее молиться.

В 90-е гг. попробовали эту оптику немного поменять, но недолго это удавалось, и в 1999 г. уже пошла обратная тенденция: запрещаются одни учебники, внедряются насильственным образом другие, меняется пластинка на телевизоре и на всех крупных каналах массовой информации — начинает внедряться та же самая сталинская оптика, которую мы сейчас опять снимаем. Когда мы говорим о социальной памяти, нужно учитывать, что люди подшивают свою память к тому большому прошлому, которое у них имеется, что должна быть какая-то состыковка.

Приведу эпизод, когда Михаил Касьянов, будучи премьер-министром, ужасно обиделся на учебник, по всей видимости, Игоря Долуцкого (имя тогда названо не было, но скорее всего, имелся в виду именно он). Это был учебник принципиально нового типа, где не было монологического разговора, а все стороны конфликта имели свое представительство и говорили своим голосом, и речь шла исключительно об истории XX в. И там не было благодетельного государства, а были живые свободные люди, которые преследовали свои

корыстные цели. Доходил этот учебник прямо до Касьянова, как полагалось по школьной программе. И когда Касьянов взъярился, было понятно, почему он взъярился: потому что у нас история — это великие героические предки, благодетельное государство, монархи, которые проводят позитивные реформы. Т.е. нельзя подшить память одного типа к памяти другого. И по всей видимости, какое-то продолжение исследований или коррекция должны быть на основании этого.

На мой взгляд, чрезвычайно важна роль профессиональных историков, которые брали бы на себя коррекцию от полного произвола в манипуляциях с этой памятью. Корректная позиция в отношении фактов, воспрепятствование их произвольному перетолковыванию сильно снизили бы конфликтность общественного пространства. И эта оптика взгляда чрезвычайно важна. Приведу совсем недавний случай. Я являюсь одним из сотрудников Ельцин-Центра в Екатеринбурге. Мы сделали попытку представить тысячелетнюю историю России в той более адекватной научным данным форме, к которой 90-е гг., свободное творчество свободного человека в России подшиваются без большого труда. Мы вспомнили о вольных городах древней Руси, про стремление русского народа к реформам в XVIII и XIX в. и выстроили такую цепочку, как движение России к свободе. Сложное, трудное, но все-таки бывшее в нашей истории и фактически подтвержденное совершенно очевидным образом. Многие посетители были шокированы, а некоторые

самозванные «охранители» устроили чудовищный скандал, заявили, что этого не может быть, что это не история России, что история России совсем другая. Нападки Михалкова

на Ельцинский Центр в первую очередь имели в виду объектом этот восьмиминутный ролик, который задает оптику взгляда — другую. И это важно.

Sokolov Nikita P. — candidate of historical sciences, deputy executive director of the Presidential Fund of B. N. Yeltsin (Yeltsin Center) for Research (Moscow)

А. А. Тесля

Прежде всего, для меня кажется очень сомнительным само выделение двух памятей, столь прямолинейное разделение. Это имеет смысл как политическое высказывание, как обозначение линий противостояния: фактически проведена черта, где вторая память «хорошая», первая память «плохая», условно. И если я, условно, выступлю с позиции «охранителей», то мы просто поменяемся местами: ничего не потребуется изменить по существу, структурно схема очень простая — только «плюсы» поменять на «минусы».

Соответственно, вторая память описывается так, как нам удобно, она наделяется теми чертами, с которыми нам комфортно, т.е. мы имеем позитивный вариант, который в действительности отражает то виденье этой памяти, которое было бы желательно. Это фактически такая схема, которая подразумевает, что первая, государственная память — дурная, и у нас есть хорошая — вторая; соответственно, надеяться на быструю замену мы не можем, но все же такая замена предполагается. И даже если мы используем эту двойную схему, даже в этих рамках то, что постоянно звучало в самых разных выступлениях,

и то, что мне казалось недостаточно явно проговорено, — это использование таких категорий, как «мы», «общая память», «общество», «нам необходимо» и т.д. Т.е. использовалась лексика, которая говорит о некоей общности, о некоей общей памяти, но вместе с тем, как только шло противопоставление, как раз вторая память оказывалась не общей, речь шла о том, что она локальная, она дробная и т.д. И, если мы возьмем сам текст доклада, то мало того, что первая со второй памятью не воюют зачастую, но что более важно, вторая нуждается в первой: здесь можно хрестоматийно отослать к Хальбваксу, к разговору о социальном кадрировании, социальных рамках памяти. Хальбвакс как раз и говорит, что да, я могу свои воспоминания, свою личную память, память семьи включить в общее пространство через общую память; она мне необходима для сохранения и своей собственной памяти, памяти какого-то малого круга, какого-то сообщества, своей семьи для того, чтобы эта память могла быть представлена во вне, чтобы я сам себя мог мыслить в регистрах разного времени. Иными словами, когда мы все время говорим об общей памяти, это ведь не просто память, это память сообщества, это память «мы». Когда речь идет об этом самом «мы», довольно странно предполагать, что речь идет о профессиональной истории. Речь идет о том общем представлении о прошлом, причем речь не об общем в смысле гомогенности,

© Тесля А. А., 2017

Тесля Андрей Александрович — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта (Калининград); mestr81@gmail.com

разумеется, речь о том, что у нас существуют некие опорные точки, у нас есть возможность меняться. Опять же, опора на какие-то иные версии памятования: это способ говорить об общей памяти, о той самой большой памяти, разбивая, например, существующую трактовку или преобладающую трактовку, вводя другую интонацию, оспаривая, меняя. В конце концов, избавиться от этого «общего» можно только избавившись от самой общности, только ликвидировав то самое «мы». И когда столь активная и нервная реакция происходит на эту общую память, проблема в том, что эта память очень тонкая, очень мало за что удается схватиться, это всегда режим предельного напряжения. Более того, это режим напряжения, когда буквально одно событие оказывается в фокусе, а остальные мгновенно уходят практически в небытие. Происходит движение не в памяти, а в том, что в данную минуту нами внезапно припомнено. Это пришедшее воспоминание позволяет использовать эмоциональный накал, позволяет мобилизовать и разделить на «своих и чужих».

Речь идет именно о притязании на память — когда ранее говорилось о потребности в позитивной памяти, сразу возникла спасительная оговорка, что эта память должна быть негероической. И, как оказалось, сразу же включилась очень сильная цензура. Но дальше прозвучало, что негероическая и позитивная память возможна только в локальном, только в частном. Здесь возникает фундаментальное противоречие. Если эта негероическая,

позитивная память возможна только в локальном, то она не является той самой искомой общей памятью. Она не может претендовать на то самое «мы», и отсюда происходит возвращение к запросу на некую инстанцию, дающую надлежащее видение.

В этом смысле идеологическая конструкция, которую я здесь вижу, представляет собой такой прекрасный «танец вдвоем», когда двум сторонам вполне комфортно друг с другом. И здесь очень удобно менять акценты, передавая мяч от одного к другому, чтобы при смене ситуации история повторилась. Вопрос в том, есть ли сила, есть ли возможность — или, переформулируя задачу, как возможна позитивная общая память? И в этом, собственно говоря, нерв. А как возможна позитивная локальная память — понять несложно, опыт семейного мифотворчества любой может привести, если не на примере собственного семейства, то на примере знакомых.

Мне кажется, что перемена вопроса здесь оказалась бы продуктивна. И, собственно, сама подкладка доклада и заключается в попытке проинформировать подобную перемену, отчасти не проговаривая, по крайней мере дать некое альтернативное видение. Но это видение, еще раз подчеркну, это видение той самой первой памяти, гораздо более гомогенной, гораздо более доминирующей, чем даже существующая, в которой довольно много психоза, что удобно, что позволяет за счет множественности сознаний существовать в разных регистрах вроде бы государственной

памяти — но если только не попадать на точку обострения.

Общая память возможна, мы ее наблюдаем — раз мы говорим о некоем минимальном сообществе, мы опираемся на некие ключевые события, тогда, значит, мы способны понимать друг друга. Возможность общей памяти зависит от конкретного сообщества. Как возможна общая память в рамках церкви, к примеру? Как мы все знаем, через систему календарных праздников и чтимых святых. О том, как возможна общая память, скажем, в XX в., мы опять же отлично знаем — для начала посредством школьной программы.

Если вопрос заключается в том, как возможна общая память для нас, как

она возможна в перспективе нашего действия, здесь и сейчас, иными словами, как возможно укрепление того самого «мы», то тут нет никакого секрета. Это возможность соотносить себя с данным политическим целым, это возможность ощущать себя, говоря базовыми формулировками, членом политической нации, иметь общую судьбу. Собственно говоря, эта общая судьба и есть общее прошлое. Общее прошлое возникает не потому, что мы им обладаем до того, как обрели общую судьбу, а в тот момент, когда мы описываем себя через обладающих общей судьбой, у нас и вырастает общее прошлое, возникает проблематика примирения, потому что только тут выясняется, кому, с кем и с чем необходимо примиряться.

Teslya Andrei A. — candidate of philosophical sciences, senior researcher of Institute for the Humanities of Immanuel Kant Baltic Federal University (IKFBU) (Kaliningrad)

МИЛЬЧИК М. И.

Интервью

Беседовал В. В. Ведерников

— Михаил Исаевич, 30 лет назад в нашем городе прошел едва ли не первый после 1927 года не зависимый от официальных властей митинг, митинг градозащитников. Поддерживала ли инициативы Группы Спасения научная и культурная общественность Ленинграда, пользовавшаяся авторитетом во властных кругах (академик Д. С. Лихачев, члены Ленинградской организации Союза писателей, ученые-историки и т.д.)? Иными словами, как решалась извечная российская проблема «отцов» и «детей»?

М.И. Я хорошо помню эти события. Более того, я пошел в тот день на Исаакиевскую площадь. Мне хотелось сфотографировать, поскольку для нас все происходящее там было совершенной неожиданностью.

© Историческая Экспертиза, 2017

Мильчик Михаил Исаевич — искусствовед, член Союза архитекторов России, член Советов по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга и Министерстве культуры РФ (Санкт-Петербург); miltchik@mail.ru

Это явно не было организовано властями и воспринималось как некоторая «экзотика». Было много людей, которые стояли с разными плакатами. Разумеется, я разделял их позицию, но тогда, в отличие от теперешнего времени, публично я в этом движении не участвовал. Меня можно назвать сочувствующим наблюдателем. Тогда я уже был знаком с Д. С. Лихачевым. Позднее он активно отзывался на мои просьбы и предложения выступить в защиту того или иного начинания, связанного с состоянием нашего культурного наследия. Могу сказать, что он не очень оглядывался на то, что будет говорить на это власть. В частности, поддержал коллектив музея-заповедника «Кижич», который выступил против метода разборки Преображенской церкви. Он же высказался в поддержку необходимости спасения неизвестного памятника — Рождественской церкви села Бестужево в Устьянском районе Архангельской области. В свое время этот памятник сильно пострадал от очередного пожара. Этот ценнейший памятник,

к сожалению, вскоре погиб окончательно. Напомню, что его выступление против идеи строительства здания стометровой высоты на Васильевском острове «Петр Великий» похоронили этот разрушительный для Петербурга замысел. К сожалению, Дмитрия Сергеевича уже не было в живых, когда эта идея возродилась в виде Лахта-центра, где строится 500-метровый небоскреб. А вот теперь, на конференции, посвященной 101-й годовщине со дня его рождения, не решились публично высказаться по крайней мере за сокращение высоты этой башни, которая будет вторгаться во все основные панорамы исторического центра нашего города.

Что касается именно этого движения, то должен сказать, что мне ничего не известно о том, что Дмитрий Сергеевич каким-то образом его публично поддерживал и выступал. Также мне не известна реакция писателей, историков и других деятелей культуры на это движение.

— По решению депутатов демократического Ленсовета, жители города 12 июня 1991 года приняли участие в опросе населения о возвращении городу его исторического названия. За возвращение городу имени Санкт-Петербург высказалось 35,5% от общего числа избирателей, против проголосовало 27,6% избирателей, а не приняло участие в голосовании 37%. Иными словами, большинство избирателей не имело определенного мнения. Не менее показателен и тот факт, что по-разному высказывались жители центральных районов города, историческо-

го Санкт-Петербурга (здесь явным было преимущество тех, кто высказывался «за») и окраин, голосовавших «против». Данные опроса ВЦИОМ 2011 года показали, что 37% горожан по-прежнему выступают за название «Ленинград». Таким образом, наш город чем-то напоминает послевоенный Берлин. Только стена, разделяющая жителей, проходит не по улицам, а по головам. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для того, чтобы сгладить это противостояние?

М.М. Я хорошо помню этот опрос. Я принимал в нем участие и был сторонником сохранения на время имени Ленинграда. Возможно, такое признание покажется Вам странным... Теперь я задним числом, конечно, понимаю, что ошибался. Но мои ошибки имели свое объяснение. В то время я считал, что переименование города должно сопровождаться целым рядом специальных подготовительных действий, которые непременно изменят его облик. Я думал, что по крайней мере будет изменена городская власть, возвращены старые названия улицам. Исходя из этих соображений, я думал, что пройдет, скажем, пять-шесть лет, город изменится, и мы сможем, наконец-то, сказать, что он наконец-то стал соответствовать своему историческому названию. Сегодня я понимаю, что тогда был совершенно не прав. Наоборот, когда А.А. Собчак активно выступал за переименование Ленинграда в Петербург, он был прав, поскольку нужно руководствоваться старой русской пословицей «Куй железо, пока горячо». То есть политическая ситуация может измениться, и нам

хорошо известно, что она действительно довольно быстро изменилась. Тот подъем по ряду причин пошел на спад. Состав Верховного совета мог измениться, и это предложение бы не прошло. Тем более что значительная часть горожан не очень это поддерживала.

Существенную роль в перемене настроений горожан сыграли события августа 1991 года и памятный митинг против путча, который прошел под руководством мэра на Дворцовой площади. Мы тогда понимали, что ситуация колеблется, и в такой ситуации было сложно сидеть дома, наблюдать за всем со стороны, только слушая радио. Хотелось самому увидеть и поучаствовать. Весь Невский был заполнен людьми, которые шли на Дворцовую по зову сердца. На площади преобладало ощущение единства и надежды, что возврата назад не будет. Именно реальная опасность установления власти ГКЧП привела людей на площадь. Консервативные силы могли вернуться, и переименование не произошло бы, точно так же как оно не произошло с нашей областью, что уже совершенно нелепо, поскольку есть Ленинградская область, но нет Ленинграда. Такая же ситуация у нас со Свердловской областью, центром которой является Екатеринбург.

— **На Ваш взгляд, точка невозврата уже пройдена?**

М. М. Безусловно, точка невозврата пройдена. Название давно внедрилось, молодое поколение с трудом вспоминает, если вообще вспоминает, старое название города. Кроме

того, сильно поколеблен авторитет самого Ленина.

— **Но не только Вы ошибались в то время. Например, А. А. Собчак очень долго не выступал за возвращение городу исторического названия. Это скорее была инициатива радикально настроенных депутатов Ленсовета. А. А. Собчак, скорее всего, пошел вслед за известными августовскими событиями. Только тогда он однозначно выступил за возвращение городу старого имени.**

М. М. Я думаю, что А. А. Собчак очень хорошо чувствовал зыбкость сложившейся ситуации, и считаю, что он сделал большое дело, может быть, самое большое дело своей жизни.

— **Столь же противоречива топонимика города. Соглашусь с тем, что наименования, данные улицам, проспектам, площадям, построенным в советское время, являются своеобразным историческим памятником и подлежат охране. Но почему так медленно и так непоследовательно укореняются исторические названия в центре города? Как долго будут существовать Советские улицы, почему так и не появилась улица Широкая, есть Старо-Петергофский проспект, а вот Ново-Петергофский по-прежнему отсутствует.**

М. М. Топонимика города абсолютно противоречива. К сожалению, наша топонимическая комиссия непоследовательна. Конфликт вокруг моста имени Ахмата Кадырова довольно ярко продемонстрировал

это. При закрытом голосовании большинство выступило против переименования моста Кадырова, а при открытом все было по-другому.

С моей точки зрения, Советским улицам давно следует стать Рождественскими, а нынешнему Лермонтовскому проспекту вернуть прежнее имя: Старо-Петергофский проспект. Ведь и то, что улица Гоголя была переименована в Малую Морскую, и это — вполне нормально. Противоречивость городской топонимики есть прямое отражение противоречивости общественного сознания, увы, далеко не только среди петербуржцев.

— Хотел бы спросить, а есть ли какие-то табу на восстановление названий, связанных с теми или иными историческими деятелями? Не с этим ли табу связано то, что сохраняется улица Марата, Ленинградский вокзал в Москве, а мост Лейтенанта Шмидта получил название Благовещенского?

М.М. Ленинградский вокзал в Москве лучше всего было бы переименовать в Николаевский. И то было бы правильно, поскольку Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. Тогда возникает еще один вопрос — что делать с железной дорогой? Поскольку она у нас Октябрьская по сегодняшней день. Наверное, тогда бы нам следовало пойти дальше и переименовать ее в Николаевскую. Николаевской улицы у нас нет. После Февраля 1917 года она была переименована в улицу 27 февраля, а затем уже большевики назвали ее в честь французского ре-

волюционера Марата. С Робеспьером мы расстались. Я думаю, что нужно было бы и с Маратом расстаться. Хотя противоречивость топонимики сохраняется не только у нас, она есть и во Франции.

Хочу сказать, что я сторонник того, что сделано в Париже. Историческая часть французской столицы по внешнему бульварному кольцу — это Париж. Но стоит перейти бульвар, буквально сто метров, как вы уже не в Париже. Исторические названия районов, которые прилегают к историческому Парижу, сохранены — и это уже не Париж. Теоретически нужно было бы так же сделать и в нашем городе. Пусть центр был бы Санкт-Петербургом, а окраины — «Гражданка», «Купчино» и т.д. как наименование, поскольку в этих районах нет никаких признаков, характерных для Петербурга. И, конечно, советские названия должны присутствовать на окраинах города, может быть, за исключением самых одиозных персонажей вроде Дыбенко.

Я думаю, что консерватизм, непоследовательность, алогичность — основные причины вышеназванных проблем.

— Современники зачастую хотят навязать потомкам свой образ времени, своих героев. Это происходит не всегда удачно. Можно вспомнить судьбу площади Нахимсона, площади Брежнева, улицы Сулова. На мой взгляд, правила о присвоении наименований объектам улично-дорожной сети совершенно справедливо определяют срок в 20 лет от момента

смерти выдающейся личности до присвоения ее имени, для мемориальной доски срок и того больше — 30 лет. Но почему же эти законы не соблюдаются? Была установлена доска Г.В. Романову, недавно появилась площадь Братьев Стругацких. Неужели мы не верим, что потомки смогут по достоинству оценить деятельность наших современников?

М.М. Я придерживаюсь той точки зрения, что даже если речь идет о выдающейся личности, временной разрыв между уходом этой личности и ее увековечиванием в любом случае должен сохраняться. Хотя у нас это официально принято, но реально это правило не соблюдается. Например, установка памятника писателю и журналисту Сергею Довлатову. Он умер недавно, но тем не менее памятник ему уже установлен. С памятником Иосифу Бродскому такая же ситуация. Поэтому я говорю, что нужно соблюдать временную дистанцию. Это относится как к деятелям науки, культуры, так и к политическим личностям. Я часто вижу мемориальные доски в память тем, с кем я лично был знаком. Например, мемориальная доска академику Д.В. Наливкину. Я ничего не имею против него, это крупный ученый, но временная дистанция должна быть соблюдена. А вот Романов, по моему мнению, вообще не достоин увековечивания памяти. Достаточно, что эта фигура будет присутствовать в истории нашего города.

Площади Братьев Стругацких, Академика Лихачева имеют полное право на существование, однако и здесь не должно быть исключе-

ния. А уж если мы так стремимся к срочному увековечиванию, то можно ограничиться другими формами. Например, почему бы не присвоить имя выдающегося человека тому или иному учреждению? Можно вспомнить о Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. Однако нужно воздержаться на время от монументальных форм, таких как мемориальная доска, памятник, названия улиц или площадей.

— **Наш город с самого начала воспринимался как символ глубоких революционных перемен. При Петре — это «окно в Европу», в первой четверти XIX века — город дворянских революционеров — декабристов, Петроград навсегда связан с памятью о Первой мировой войне и революции 1917 года, Ленинград — символ стойкости и мужества перед лицом германского нацизма, а завершается история города Ленина грандиозным митингом на Дворцовой площади 20 августа, где горожане сказали «нет» планам ГКЧП. А вот «новый» Санкт-Петербург, по-моему, вызывает совсем иные ассоциации. Это не появление новых шедевров, а разрушение того, что мы получили в наследство. Знамение времени: компания, уничтожившая комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка, называлась «Возрождение Санкт-Петербурга», возведенный в центре города памятник Гоголю вызывает (справедливо или нет — не знаю) ассоциации с крупным криминальным авторитетом 1990-х годов, и, наконец, самые**

крупные общественные события возрожденной Северной Пальмиры — это похороны. Сначала великого князя Владимира Кирилловича (1992 год), затем — останков царской семьи (1998 год) и, наконец, вдовствующей императрицы Марии Федоровны (2006 год). Нет ли у Вас опасений, что современный Санкт-Петербург — постепенно теряет свое своеобразие? П. Я. Чаадаев называл Москву Некрополисом. Может быть, теперь этот сомнительный титул переходит к Санкт-Петербургу?

М. М. Это верно, что события нашего города непременно связаны с похоронами. Думаю, что это понятно, поскольку город не играет той политической роли, которую он играл до революции. Это не столица, все крупные события, которые имели место, связаны с прошлой историей города, тем периодом, когда город был столицей. Думаю, что по этой причине похоронный облик города, действительно, играет такую существенную роль. Но я все же считаю, что титул П. Я. Чаадаева, который называл Москву Некрополисом, совсем не переходит в отношении Москвы.

— Все же за эти 25 лет должно было произойти какое-то знаковое событие, которое бы изменило облик города.

М. М. Я бы не говорил о каком-то отдельном ординарном событии. Скорее здесь целый комплекс изменений. Во-первых, это переименование. Во-вторых, активное выступление против ГКЧП, которое разворачивалось в революционном городе.

Пожалуй, нет другого города в стране, где было бы столь активно движение в защиту архитектурного наследия. Эти огромные усилия не всегда напрасны: в редких случаях дают результат. Например, «Охта-центр». Правда, он поменялся на «Лахта-центр», который я уже упоминал. Далее удалось отбить Конюшенное ведомство и Блокадную подстанцию. Это дает мне право утверждать, что градозащитному сообществу удастся достичь некоторых успехов. Такие движения есть в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, но нигде, даже в Москве, им не удастся достичь таких результатов, как в Санкт-Петербурге. Так, бездарный памятник князю Владимиру был поставлен напротив Кремля, в его охранной зоне, несмотря на протесты градозащитников и части профессионального сообщества. У нас же почти стихийно вышли на Исаакиевскую площадь, чтобы выразить свое несогласие с передачей собора Церкви. Также можно вспомнить митинг на Марсовом поле, который собрал еще больше людей. Можно сказать, что защита наследия становится новым символом Петербурга. И власть все-таки «одним ухом» прислушивается к ней. Так, вице-губернатор И. Н. Албин время от времени собирает градозащитников. Большую роль в этом играет А. Н. Сокуров. Но все же очень многие решения, связанные с историческим центром, принимаются с «кондачка», заранее не просчитываются результаты *pro* и *contra*, не проводится никаких социологических опросов по тому или иному вопросу. Старые традиции советского времени довольно живучи, но ситуация все-таки изменилась. Это не 1987 год, когда было

еще страшно и непривычно выйти на улицу, чтобы протестовать против сноса «Англетера».

— В 2012 году на Петербургском международном экономическом форуме был предложен проект переноса захоронений могил жертв революции на Марсовом поле в другое место. Необходимость сохранения мемориала сомнений у меня не вызывает. Но в то же самое время, как мне кажется, необходимо учитывать и то, что до революции это было место не только военных парадов, но и народных гуляний. В кладбище оно превратилось в известной мере случайно, как альтернатива захоронению жертв революции на Дворцовой площади. В настоящее время Марсово поле стало своеобразным городским Гайд-парком. Так, может быть, действительно было бы верным решением перенести мемориал на одно из городских кладбищ, сохранив Марсово поле как место отдыха и то место, где граждане могут проявить свою политическую активность?

М.М. Я выступаю против переноса, потому что речь идет о факте истории, причем ранней истории XX века. Это драматический, трагический факт, памятник ранней советской истории. Речь идет о жертвах Февральской революции. Эти надгробия достаточно удачно вписаны в облик города. Сам по себе памятник выдающийся. Он не нарушает открытость пространства Марсова поля, у него нет никаких обелисков и высоких монументов. Если бы этот памятник резко нарушал этот принцип, то я бы первый сказал «нет».

У нас очень любят «исправлять» историю. Да, место для митингов выбрано не очень удачно. В центре города нужно искать другое место. Допустим, та же Манежная площадь. Сразу скажу, что Дворцовая площадь для этого не подходит.

— Не могу не спросить Вас об отношении к решению городских властей передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви. Какие проблемы, на Ваш взгляд, возникнут в связи с изменением статуса этого исторического памятника?

М.М. У меня совершенно однозначная позиция по этому вопросу. Выражаясь языком Д.С. Лихачева, могу сказать, что передача Исаакиевского собора в ведение Церкви — это типичное волонтаристское решение губернатора Петербурга. Оно не было просчитано. Власти не потрудились учесть другие точки зрения по этому вопросу. Нужно было обязательно просчитать все плюсы и минусы, даже чисто в финансовом отношении, а не только в идеологическом. У нас существовал уникальный музей четырех соборов. Кто выиграл, что в Смоленском соборе не проходят концерты хоровой музыки и не устраиваются выставки? Кто выиграл от того, что в Сампсониевском соборе — уникальном памятнике петровской эпохи — свернута историческая экспозиция? А ведь в названных соборах, равно как и в Исаакиевском, каждую неделю проходили богослужения! Я не вижу никаких иных причин притязаний на передачу Исаакиевского собора Церкви, кроме, извините, сугубо меркантильных.

Многому виной закон 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», к которому обращались сторонники передачи собора. Когда обсуждался этот закон, говорилось, что он не будет распространяться на Исаакиевский собор, храм Спас на Крови, а также на Сампсониевский и Смольный соборы как символы Петербурга. Но не прошло и семи лет, как это решение приняло другие очертания.

При этом многие храмы до сих пор не освоены. Например, Покровский собор – это руины 1945 года.

Любой храм – это место молитвы. Но, помимо этого, это часто еще и общекультурное достояние, которое представляет интерес не только для верующих, но и для людей других вероисповеданий и даже для атеистов.

В таком контексте можно задать вопрос: почему тогда никто не говорит о передаче Успенского собора Московского Кремля? А храм Василия Блаженного вполне можно назвать «брендом России». Почему его не передают? Это ведь тоже храм, не правда ли? Но такой вопрос даже не ставится. И в одном, и в другом храме проводятся богослужения, но при этом Успенский, Архангельский, Благовещенский

соборы остаются в собственности государства, а если сказать точнее, ими владеет музей-заповедник «Московский Кремль». Есть соглашение с РПЦ о проведении богослужений по большим праздникам. Меня очень поразила агрессивность деятелей патриархии вокруг обсуждения вопроса о статусе Исаакиевского собора. Я вспоминаю диспут на телеканале «Санкт-Петербург», в которой принимал участие один из представителей епархии. Он сказал: «Зачем Вы выступаете в защиту сохранения музея, ведь давно понятно, что он давно превратился кормушку». Это прямое и притом голословное обвинение в коррупции. Тогда я спросил у него: «За счет чего будет содержаться собор, проводиться реставрационные работы, например, если закоптится стенопись?» Он сказал, что за счет пожертвований. А если стенопись закоптится, то это как раз прямое доказательство того, что собор живет. В такой позиции, к сожалению, нет стремления к гармонии, к нахождению согласия между различными слоями городского сообщества, к сосуществованию духовного и культурного начал. И это внушает серьезные опасения, далеко выходящие за пределы решения дальнейшей судьбы Исаакиевского собора.

– Михаил Исаевич, большое Вам спасибо за интервью.

MILCHIK MIKHAIL I. INTERVIEW

И. Д. Саблин

РАСТРАТИВШЕМУ ИМЯ (НЕЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ)

Ключевые слова: Санкт-Петербург, архитектура, градостроительство, охрана памятников, реконструкция, жилищное строительство.

В статье рассматриваются итоги новейшей истории города, более четверти века назад обретшего свое первоначальное название — в первую очередь с точки зрения изменений в его архитектурном облике.

Один умный человек высказал однажды по поводу переименования нашего города довольно нетривиальную мысль: «Отчего это всем вдруг захотелось вернуть тот груз имперского прошлого — дух неволи, строгий вид... — что на историческом названии висел, тогда как присвоение нового имени дало хотя бы слабую надежду на новую судьбу, новую жизнь?..» Вспомним: когда в начале XX в., усилиями мирискусников общество открыло прежде немислимую красоту «живописного Петербурга» — началась его эстетизация, закономерно приведшая к смене названия, а равно и к потере столичных функций (оны едва ли многие желали бы сегодня вернуть).

Но в годы, когда перед обществом стояла задача прощания с прошлым как раз *советским* и на повестке дня

© Саблин И. Д., 2017

Саблин Иван Дмитриевич — кандидат искусствоведения, сотрудник сектора изобразительных искусств и архитектуры РИИИ, доцент СПбГУ (Санкт-Петербург); Sablin@eu.spb.ru

была демифологизация Ленина («имя трупа» — так выражались активисты незабвенного ДС), когда актуальны были фантазии по поводу «России, которую мы потеряли», подобные тонкости никого взволновать не могли. Иное дело, сюжет с блокадой... Сторонники нового старого имени все же испытывали некоторую неловкость перед живыми и мертвыми. Впрочем, советское имя не исчезло вовсе — о нем напоминают сегодня и Ленинградский дворец молодежи, и «Ленгаз», и официальное название области, и даже известная рок-группа... Все же, едва ли кто-нибудь верит, что Ленинград вернется, выходит, что, поэкспериментировав в минувшем столетии с именами, мы остановили выбор на самом правильном, и отныне и навсегда городу суждено жить под знаком св. Петра — этаким четвертым Римом (якоря на его гербе — парафраз апостольских ключей)...

Ну а как же тяжесть легендарного проклятия? Сказано ведь: «Петербургу — отнюдь не Ленинграду! —

быть пусто». Что ж, в том, что опустошение городу в ближайшее время не грозит, несложно убедиться, придя в любое время года (и практически в любой час) на Невский, живописная толпа которого – столь характерный атрибут городской жизни, что ее давно пора внести в какой-нибудь реестр культурного наследия, поставив под охрану. А вот в конце восьмидесятых в пандан к (поначалу чрезвычайно осторожным) призывам вспомнить о Санкт-Петербурге звучали еще и столь вообще характерные для панических настроений перестроечных лет, когда практически каждый день мы узнавали, что что-то у нас не так, призывы город спасать. Причем одно уверенно увязывалось с другим – в почти магической убежденности, что стоит городу вернуть *правильное* имя, святого, не тирана, все в нем изменится. Именно коммунистов обвиняли в провинциализации города, который-де разваливается у всех на глазах, это они повзрывали дивные храмы, изгнали прежних хозяев из их пышных дворцов, образовали чудовищные коммуналки, обложили центр унылыми бараками спальных районов... По исторической иронии о тех настроениях напоминает сейчас, пожалуй, лишь словосочетание «Возрождение Санкт-Петербурга», ставшее именем одной из успешных строительных компаний. Что, город возродился?

А был ли упадок? Как раз те самые мирискусники первыми заговорили о разрушении города, обнаруживая еще до всяких коммунистов бесчисленные варварства на каждом шагу, вроде сноса Сального

буяна, застройки Биржевого сквера, планов закопать Крюков канал и т.п. Причем открытие неведомых красот парадоксальным образом лишь приближало их утрату – старые кварталы (Коломна!) притягивали не одних только фланирующих эстетов, но и новых жильцов, а с ними и капитал, и строительство многоэтажных доходных домов. Горечью от утраты прежнего изысканного облика пронизана книга Курбатова «Петербург», которую весьма показательным образом в 1990-е варварским образом переиздали – историк А. П. Крюковских посчитал себя вправе подвергнуть цензуре все «слишком резкие» высказывания автора в адрес дореволюционных властей, дополнив книгу вступлением, прославляющим Петербург 1913 г. и произносящим проклятия тем, кто его в советское время непоправимо испортил. Едва ли такое своеволие кого-то в 1990-е оскорбило. А по поводу чем-то недовольных В. Я. Курбатова, Г. К. Лукомского или А. Н. Бенуа новые петербуржцы могли сказать и так: «Эх, знали бы они, что случится после...»

А что случилось? Все ли снесенное при Советах было таким уж ценным, а построенное уродливо-безвкусным? Не предпринимались ли – наряду с никогда не кончавшимся жестким обновлением – искренние попытки старый город сохранить? Самая радикальная из них – безоговорочно поддержанная властями в тридцатые идея построить новый город на южных окраинах, футуристически-утопическая, но по отношению же к историческому центру, безусловно, щадящая. И одним из мотивов такого решения была

именно забота о старых кварталах, которые следовало сберечь, экспериментируя на новых землях — этом своего рода чистом листе.

Но и война, страшно сказать, город пощадила! Об этом здесь до сих пор говорить не принято. Ибо, как мы знаем с детства, фашисты хотели город Ленина (при всем том самый немецкий город России...) с лица Земли стереть — из ненависти к его революционному прошлому, конечно! Кто бывал, однако, в Дрездене или хотя бы Калининграде, может представить себе последствия действительно тотального разрушения, тогда как здесь, по всей видимости, коварный замысел врага был другим: население выморить голодом, а город занять да и зажить в нем новыми хозяевами. Оттого Петербург до сих пор поражает почти не тронутыми кварталами плотной застройки столетней и более давности. Все почти как при Достоевском! Те же дворы-колодцы, те же черные лестницы...

Ну и после войны отношение к городу, что выстоял в немыслимых условиях блокады, было внимательным, бережливым. Никакого нового Ленинграда у Пулковских высот, но и никакого радикального обновления в центре — восстанавливали поврежденные дома, на месте утраченных возводили новые, следуя еще теоретически не сформулированному *контекстному* подходу, вносили тактичные дополнения, многие из которых теперь никто советскими и не посчитает (Троицкая площадь!). Что говорить — шедевр сталинского зодчества, дворцы и фонтаны Петродворца демон-

стрируют туристам как подлинную резиденцию русских царей, повторяя миф о чуде возрождения из пепла, словно бы стесняясь признать: все это выстроено заново... но чего здесь стесняться? В 1940–1950-е гг. такое чудо было возможно, в наши дни — как показывает пример Стрельны, уже нет. Реставраторы не волшебники, они такие же, как вся современная им действительность, не лучше и не хуже. Банальная мысль: прошлое не вернуть, но можно восполнить утраты достойным *настоящим*. Это удалось когда-то в Петергофе и категорически не удалось в Летнем саду.

Вообще, мне кажется, игнорирование вклада советских зодчих и ученых в сохранение старого города сыграло со всеми нами злую шутку: сложилось ошибочное представление, будто город выжил именно что чудом, не благодаря таким усилиям, но вопреки. Или что были во все времена честные талантливые люди, власти же им только мешали. Ну вот власть поменялась... и что?

Впрочем, кто станет утверждать, что теперешний упадок отечественного зодчества начался в девяностые? Все поменялось гораздо раньше, вследствие запрета на использование архитектуры в жилом строительстве, что ввел (конечно, из благих побуждений) Н. С. Хрущев, — дело вовсе не в пресловутых излишествах, даже не в смене стиля — с уникального сталинского на подражательный модернистский (ибо никакого возврата к *нашему* конструктивизму не состоялось), а именно в изгнании эстетики из весьма значительного

сектора застройки — коль скоро частных домов здесь не было, то вышло так, что жилая среда русского советского человека (те самые спальные районы) оказалась враз чудовищно по части искусства обедненной. Теперь за эстетикой нужно было ехать в старую часть города как на экскурсию — если не пытаться, конечно, отыскать редкие яркие памятники позднесоветского стиля среди однообразия хрущовок или брежневов. К числу поздних достижений стоит отнести не слишком заметное (пока оно есть, а вот отсутствие его бросается в глаза куда сильнее!) свойство: градостроительное мышление.

По крайней мере на уровне планировки зодчие страны Советов до самого конца государственного строительства хранили верность классике. Правда, дерзостью иного замысла можно насладиться разве с высоты птичьего полета — узнать, что Софийская улица в Купчине продолжает средний луч Адмиралтейства, а Октябрьский проспект (Новосмоленская наб.) — Невский. Вот и район Апрельской улицы стоил бы многих шедевров барокко, если не замечать *барачной* стилистики жилых домов. Эти планировочные изыски из современной практики удалены радикально, и никакой ГИОП не в силах отследить, как выглядит тот или иной новый дом в перспективе какой-нибудь магистрали с расстояния в 2–3 км, а ведь *градостроительная ошибка* такого рода бывает заметна уже не только птицам... Достаточно посмотреть, что стало со Смольным собором, из городского центра он теперь почти не виден.

Быть может, советская эпоха знала избыток планирования (не столь и неуместный в том, что касается организации целых городов), наше же время характеризует полное его отсутствие; борьба за отдельные памятники или за соблюдение высотного регламента ничего поменять здесь не в силах. В любом случае не ГИОП и не какие-то активисты градозащиты должны заботиться о сохранении, тем более преумножении архитектурных красот; вот только те, кто за строительство отвечает, страдают, как кажется, серьезным дефектом вкуса. И как лечить эту болезнь — непонятно; остается попытаться переждать эти трудные годы — в надежде, что за упадком в культуре непременно последует подъем, только б не все было к тому счастливому времени потеряно. Кажется, только так стоически и можно наблюдать происходящие в облике Петербурга перемены. Порой масштабные, порой не очень, досужему взору вообще не заметные.

Начались они не сразу. В девяностые, устойчивую мифологию которых не хочется лишней раз даже и поминать, было здесь всяко не до «возрождения». Скажем, не явилось в Питере никакого аналога храма Христа Спасителя, на роль коего могла претендовать церковь на Сенной — вот только, кто забыл, какой тогда была Сенная! Только Спаса там не хватало... Вместо этого церкви вернули почти все не до конца разрушенное, плюс к тому отстроили постепенно тут и там новые храмы, не слишком заметные и не слишком талантливые. Но и дружное неприятие советского никак не проявилось — ведь никакой

памятник ленинградского периода в ту пору не был снесен. И то правда, кто бы стал крушить сталинские дома, коль скоро само это слово «сталинка» быстро стало позитивной характеристикой в устах покупателей и продавцов квадратных метров. Знаковое событие — снос ДК Первой пятилетки (почему не пришло в голову переоборудовать его под нужды пресловутой Второй сцены, смогли ведь превратить декоративный склад по соседству в превосходный концертный зал?) — относится уже к следующей эпохе.

А так, пожалуй, жертвой пал один лишь советский ЦПКиО на Елагином, строители которого якобы изуродовали ансамбль Росси... Нет, аттракционы и толпы отдыхающих, проектом Росси тоже не предусмотренные, оттуда не исчезли, как и широкие заасфальтированные аллеи, пропала самая малость, именно что никому не интересная — главная аллея с «безвкусными» скульптурами... Реставраторы восстановили целостность памятника — (нео)барочная аллея в пейзажном парке, как такое возможно!.. Те, кто сотворил недавно из привычного всем Летнего сада жалкий туристский аттракцион, тоже апеллировал к иллюзии стилового единства: недопустимо присутствие в регулярном саду старых разросшихся деревьев; оказывается, когда б не опасения слишком громких протестов простых горожан, деревья сада все бы уже спилили, так как реставрационная наука не допускает сосуществования в одном памятнике разновременных пластов. А в результате так часто на смену исторической сложности приходит унылый новодел.

Что там парк на острове! В центре города, правда уже в 2000-е, исчез целый мост, и опять же — дело в нюансах. Благовещенский обрел не только новое (старое) название — он стал шире, лишился бахромы из проводов, кто ж против такого... а вот знаменитую решетку с морскими конями, приписываемую Александру Брюллову, сохранили. Ровно это видно, если пронестись стремительно по мосту или даже стоять на нем в пробке. Иное откроется, спустись прохожий подле сфинксов к воде и обрати он взоры в сторону заката, где еще не так давно на фоне неба резко вырисовывались уникальные прямые безарочные пролеты — сущее порождение авангардного духа за авторством лидера ленинградского конструктивизма Александра Никольского. Теперь здесь довольно корявые и уж совсем неподлинные арки.

То же и с Андреевским рынком (отнюдь не советским, в советское время никем не тронутым) неподалеку, ловко подмененным — и кому помешали массивные каменные плиты, коими вымостили его галереи двести лет назад? Им на смену пришла унылая серая плитка. Кто все это замечает? И кто переживает за стремительную утрату Петербургом всяческой подлинности? Шумные градозащитники? Едва ли — со времен «Англетера» (надо ж было отыскать в городе до того малоценный памятник) их внимание странным образом концентрируется на каких-то второстепенных объектах — ДК им. Капанова или Дом ветеранов сцены они отчего-то защищать не стали...

Все это и вправду мелочи. Крупные изменения отмечены лишь в последние десять с небольшим лет — приблизительно от празднования трехсотлетия города, повлекшего за собой известные политические перемены... которые, однако, как кажется мне, прямого отношения к началу массовой перестройки Петербурга не имели. Все равно раньше или позже должно было начаться пресловутое *возрождение* — как его понимают его застройщики, до поры до времени не слишком заметные. Но как раз в 2000-е стали все чаще говорить уже не об опасности естественного разрушения, как то было под занавес советской эпохи, но об угрозе более тонкой — о перспективе застоя, превращения в музей, удобный одним туристам. «Город должен развиваться!» — новый лозунг, подразумевающий решительность в плане реконструкции, иначе говоря, устранения исторической застройки.

И вот в эту вторую половину своей новейшей истории Петербург, наконец, начал меняться, избавляясь не от одного советского прошлого. С каждым годом у застройщиков смелости все больше, как у хищника, отведавшего крови, когда от освоения пустырей и городских окраин переходят они к большим участкам в самом центре — что если заменить здесь целые кварталы, скажем, бывших казарм (Преображенского полка), заводов (на Выборгской стороне), трущоб (на ул. Шкапина)? Наверное, в Петербурге есть, что сносить, ибо от былых времен унаследовал он далеко не одни лишь дворцы и музеи, но также огромные территории индустриального строитель-

ства — вдоль Невы (включая устье), вдоль железных дорог. Вопрос лишь в том, что придет им на смену.

Тут кстати оказался заграничный опыт, точнее, появление отдельных звезд западной архитектуры на нашем небосклоне. И главным образом интерес представляет не то немногое, что ими построено, но все те случаи, когда их именами прикрывали очередные меры по избавлению нас от хлама ненужных старых домов. Что если на месте снесенного появиться какой-нибудь шедевр, способный и новые толпы туристов привлечь, и нам помочь преодолеть провинциальность? Рискнуть, пожалуй, стоит!

Важной вехой, как мы помним, стал конкурс на строительство второй сцены Мариинского театра (2003 г.), за которым последовал и другой — газпромовский, причем всякий раз (и вне конкурса тоже) знаменитости демонстрировали высокомерное безразличие к памяти того *места*, которое собирались занять — их интересовали только технические параметры будущей стройплощадки, ну и, конечно, общие слова о классике и авангарде, о Неве и белых ночах — для прессы, публики, как бы не всерьез. На деле же — холодный, отстраненный, технократический взгляд бизнесменов от архитектуры, которые знают, что нужно их коллегам из иных деловых кругов — воплощение власти, стабильности, безликости. Гладкие, блестящие, светящиеся огнями. Достаточно высокие — ведь городу следует развиваться также ввысь, небоскребы — вот гарантия современности. (Так думали и в Таллине, где ЮНЕСКО пришлось

предупреждать городские власти о возможном исключении старого города из международных охраняемых списков, если вырастет подле него еще один стеклянный гигант.)

Есть примеры, когда сносят под одного архитектора — допустим, с мировым именем, а строит на том месте уже другой: такова история второй сцены Мариинки, что начиналась незаурядным Моссом, продолжилась заурядным Перро, а завершилась совсем уж незаметным канадцем с курьезным именем Джек Даймонд (т.е. бубновый валет). Но бывает и так, что просто сносят и не строят ничего (как на территории бывшего Института прикладной химии). Вновь и вновь рушатся грандиозные планы новых общественных центров! Ибо окупиться может только *жилая* застройка, правда, в центре не окупается и она — по какой причине остаются еще нетронуты пока кварталы старинных домов, категорически нуждающихся в ремонте. Но ремонт не окупается совершенно, потому единственный выход — снос с последующим восстановлением фасада — практика более жестокая, нежели советский капремонт. Или без восстановления фасада, что еще немного удешевляет строительство.

По-настоящему радикальное преобразование случилось пока на одном Крестовском острове (где утрачено 90% застройки — малоценной, советской, конструктивистской! — не охраняемой) и в прилегающих кварталах западной части Петроградской стороны. Вот где уже можно смело рассуждать о достижениях новейшего строительства, даже го-

ворить о сложении нового облика. И, к сожалению, облик сей до той степени предопределен сугубыми экономическими соображениями, что совершенно невыразителен, ибо вот она, *архитектура возможного*, то, что могут позволить себе застройщики и их клиенты. Такова логика сегодняшнего строительства: на «отлично» не сделает никто, на «хорошо» возможно... но невообразимо дорого! Потому осуществляем бюджетный вариант — на троечку. И это *элитное* жилье — то, что хуже, находится где-нибудь за КАДом, в двадцати минутах от последней станции метро и предназначено для не слишком обеспеченных, но столь же критически нуждающихся в собственном жилье.

Также и в малом — к примеру, невозможно подобрать действительно качественную мебель для дома: если она и есть, то где-то в заоблачных ценовых высотах, и самым богатым предлагают лишь дорогой ширпотреб, а остальным — что-нибудь совсем никудышное. Либо попробуйте отыскать пригодный антиквариат — точно так же можно подыскивать жилье в старом фонде, но так, чтобы дом при этом не разваливался на глазах и чтобы были более-менее вменяемые соседи. Порочный круг! Из богатой бедности в бедную и обратно. То же и с благоустройством улиц: вездесущая плитка положена плохо, идет волной, легко выбивается, быстро теряет сколь-нибудь товарный вид, к тому же на дренаже экономят (в Петербурге нечасто идут дожди?), потому вода по асфальту рекой... Тонкие ступени из полированного псевдокамня раскалываются, металлические

решетки гнутся. И это все равно дорого, было б дешевле, выглядело бы ужасней, держалось бы и вовсе считанные дни.

Но это показное благоустройство и есть та самая музеефикация, которой на словах опасаются больше всего! Вот вам пешеходные зоны, только усугубляющие проблемы с транспортом и не слишком нужные в городе со столь скверной погодой, вот вам скамеечки, фонарики, клумбы, скульптурка как аллегорическая, так и мемориальная (непреренно из бронзы, чтобы было что на счастье потерять) и, конечно, фонтаны! Огромный среди Невы (ушел, но может вернуться), лес струй вокруг обоих Лениных – на Московской площади и у Финляндского вокзала, шарики у нового здания Публички, посреди Приморского парка Победы вместо «уродливой» советской вазы, на Манежной площади вместо фантомного Гоголя, якобы исторические в Летнем саду, странно вычурный в начале Малой Садовой. Прimitивные, жалкие удовольствия! Бросить монетку у Чижика-Пыжика или Кота, сфотографироваться

с Фотографом, потерять кому-нибудь нос и отдохнуть у фонтана – вот к чему только и может сподвигнуть гуляющих современная уличная среда.

Опробованное лишь летом 2016 г., но уже давно дискутировавшееся закрытие Невского для автотранспорта хотя бы по выходным (по существу, предсказанная Хармсом стена через весь город – да почище берлинской!) – еще одно варварское благоустройство. Ведь *пешеходными* улицы не были никогда – со времен изобретения колеса по крайней мере. Закрыть доступ автотранспорта – и не в скромный переулок, а на главную городскую артерию – значит убить ее, как если б кому-то в голову пришло осушить рукав Невы да и пустить людей гулять по дну. Уничтожить замечательную городскую толпу, право, достойную быть охраняемой ЮНЕСКО, ведь место ее – на тротуаре, не на мостовой – кому могло прийти такое в голову? Судя по всему, город наш, как никогда, именно теперь нуждается в спасении и защите. Таков пока итог новой жизни под возвращенным старым именем.

A WASTED NAME (NON-JUBILEE NOTES)

Sablin Ivan D. – PhD, fellow of the Department of Fine Arts and Architecture, Russian Institute of Art History, assistant professor, SPbSU (St. Petersburg)

Key words: St. Petersburg, architecture, urban planning, monuments preservation, reconstruction, development.

The article sums up the results of the recent history of the city that about a quarter of a century ago was given back its original name, the attention being mainly paid to the alterations of its architectural heritage.

В. В. Добышев

Рец.: *Клейн Л. С.* История российской археологии: учения, школы и личности. Том 1. Общий обзор и дореволюционное время. Том 2. Археологи советской эпохи. СПб.: Евразия, 2014.

В конце 2014 г. вышло двухтомное издание Льва Самуиловича Клейна «История российской археологии: учения, школы и личности. Том 1. Общий обзор и дореволюционное время. Том 2. Археологи советской эпохи». В аннотации к I тому указано, что «читателю предоставляется возможность взглянуть на предмет трижды: сперва как на историю событий и институций, затем как на историю учений, и в третий раз — как на историю личностей». После введения, первый том разделен на 3 части: «Российское общество и знание о древностях в исторической перспективе», «Движение археологической мысли» и «Российские археологи», которая и занимает 90 % содержания всей книги. В первом томе представлены биографии 25 ученых, живших и трудившихся в России до 1917 г. Второй том полностью посвящен жизнеописанию 34 археологов советского периода.

Нынешний двухтомник если и не вызвал такого сильного оживления, как вышедшая за три года до этого

© Добышев В. В., 2017

Добышев Владимир Владимирович — магистр образования по направлению «Социально-экономические знания» (специализация — Историческое образование); ООО «САТОР», (Санкт-Петербург); dobishev@mail.ru

«История археологической мысли» в 2 томах (СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета), то однозначно не остался незамеченным. Однако за прошедшие два года практически не опубликовано ни одной рецензии на «Историю российской археологии», кроме статьи 2015 г. С. П. Щавелева «Портретная галерея русских археологов работы Льва Клейна». Надеюсь, что эта рецензия, в дополнение к статье Сергея Павловича, вновь привлечет внимание к этой действительно интересной монографии.

За последние несколько десятилетий вышло достаточно много небольших статей и фундаментальных исследований по истории российской и советской археологии (см. работы Формозова А. А., Лебедева Г. А., Платоновой Н. И., Пряхина А. Д., Тихонова И. Л. и др.), рассматривающих в основном развитие археологии в России на отдельных ее этапах, как хронологических, так и отраслевых и академических учреждений (см.: Академическая археология 2013). Перед автором стояла непростая задача: с одной стороны, написать обобщающую монографию по истории отечественной археологической науки от ее зарождения до наших дней, а с другой — из-

бежать компилятивности. Поэтому Л. С. Клейн сделал упор на персоналиях, и тем самым биографии известных ученых становятся наглядной иллюстрацией всего развития отечественной археологии. В их жизнеописаниях читатель погружается в определенный хронологический этап становления и дальнейшего развития науки в России и СССР. Автор и не скрывает этого своего намерения (т. I, с. 7) и ставит перед собой цель по возможности наиболее объективно донести до читателя биографии своих героев, чтобы «избежать обеих крайностей — и панегирического возвеличения крупных археологов, и их затаптывания» (т. I, с. 8). Также необходимо отметить, что большая часть настоящей монографии ранее уже публиковалась в виде отдельных статей и книг (см.: Клейн 1993).

Исходя из вышесказанного, остается лишь один, но главный вопрос, а именно: что нового в работе Л. С. Клейна? Прежде всего, эту монографию отличает сам принцип построения историографической работы. Это новый принцип тройного прохождения истории: от смены социально-политической атмосферы общества через эволюцию археологической мысли к конкретным личностям.

Во-вторых, жизнеописания Л. С. Клейна отличаются от биографических очерков его предшественников по историографии археологии. Основной акцент в биографиях ученых был сделан на популярный в последние десятилетия историографический подход, известный под названием «ис-

торической антропологии». Автору важно показать становление научной мысли через призму воспитания и бытовых условий ученого, его взаимоотношения с окружающими. Изменения политической или социальной ситуации отходят на второй план. Поэтому Л. С. Клейн и отходит от «концепции парадигм». Он не выдвигает какого-либо ученого на первый план. Ему интересен каждый ученый в отдельности.

В-третьих, с самого начала своего повествования автор наглядно демонстрирует пропасть в научном и культурном развитии между Россией и Европой допетровского времени. Отношение к древностям было сугубо утилитарно, а их коллекционирования Россия не знала до XVIII в. Характеризует этот период Л. С. Клейн цитатой голландца Витсена: «Русские не любят древностей» (т. I, с. 35). Все меняется после 1700 г., когда Петр I повелел присылать ему со всех концов страны старые монеты и другие находки. Началась экспедиционная деятельность, как это тогда называлось — «ученые путешествия». Основные экспедиции начались уже после смерти Петра I, но именно он положил им начало. И тут Л. С. Клейн обращает внимание на две отличительные особенности этих «путешествий» в России. Во-первых, научный интерес был к изучению Сибири, а не к античным древностям, к которым обратились лишь после присоединения причерноморских территорий; русские же древности в то время практически совсем никого не интересовали. Во-вторых, увлечение античными древностями на Западе носило стихийный характер, в то

время как в России это «спускалось сверху», в какой-то мере централизованно, как один из аспектов западного образа жизни.

Важно отметить, что автор справедливо обращает внимание читателя на то, что первые археологи были почти все иностранцами, в основном немцами. Но именно поляки стали первыми обращать внимание на поиск памятников ранних славян. Нужно отдать должное: русская элита их горячо в этом поддерживала. Но когда к середине XIX в. иностранцев постепенно сменяют русские ученые, то отношение к ним со стороны местного населения все равно оставалось как к чужакам. И. С. Поляков с большим трудом добился возможности получить какую-либо информацию от крестьян в Костенках. В каждой своей биографии Л. С. Клейн рассказывал о трудностях, с которыми в России сталкивались не только иностранные, но и отечественные ученые, которые ищут что-то, спрашивают да еще и изъясняться могут на чужом языке. Здесь же необходимо сказать, что автор сумел донести до читателя и противоречия внутри самого археологического сообщества, начиная от противостояний между петербургской Императорской Археологической комиссией и Московским археологическим обществом и заканчивая противоречиями внутри самих обществ. Особенно это стало очевидно с XIX в., когда археологи аристократического происхождения, представители высшей знати в науке, были вынуждены подвинуться перед талантливыми учеными из разночинной среды. Но подвинуться еще не зна-

чит считать равными. Это особенно хорошо видно из записи искусствоведа графа И. И. Толстого о провинциале-разночинце А. А. Спицыне. Нужно отметить, что и А. А. Спицын отвечал взаимностью.

В первой части первого тома «Российское общество и знание о древностях в исторической перспективе» Л. С. Клейн достаточно бегло описывает историю развития археологии в России, условно разделив ее на 10 хронологических этапов, от «допетровского времени» до «археологии нулевых». Автор отказался от предложенных другими исследователями периодизаций развития археологии: как от «научных революций» В. Ф. Генинга, так и от «концепции парадигм», которой придерживался Г. С. Лебедев. Л. С. Клейну ближе периодизация А. А. Формозова, учитывающая социально-политические факторы развития государства и общества, однако Клейн отказывается от четкой календарной привязки. Так, многие археологи второй половины XIX в., которым посвящен первый том, будут вновь встречаться во втором томе.

Вторая часть первого тома «Движение археологической мысли», как уже становится понятным из названия, рассматривает развитие и смену научных концепций и школ, отказавшись от точной хронологической привязки, но все же сохраняя относительную последовательность. Тут автор выделяет 14 направлений, абсолютно без оглядки на социальную обстановку. Л. С. Клейн наглядно показывает, как на смену одним течениям приходили другие, но при этом часто

они существовали одновременно, например концепция Вингельмана, которую автор называет стилистическим компаративизмом (он не сильно прижился в России), — с романтическим этнографизмом, давшим толчок для формирования понятий археологических культур. В целом автор склоняется к мысли, что, безусловно, основные течения пришли в Россию из Европы. Говорить о научных школах, сравнимых с европейскими, можно лишь с некоторой натяжкой, так как все-таки чаще встречались приверженцы того или иного направления, после которого оставались свои последователи, но назвать школой это нельзя. Хотя случались и исключения, как, например, Б. С. Жуков, ученик последователя палеоэтнологического направления Д. Н. Анучина, создал свою школу, судьба которой оказалась печальной.

Третья часть первого и второго томов «Российские археологи» полностью посвящена биографиям археологов, внесших наивысший, по мнению автора, вклад в развитие и историю отечественной науки. На этой части необходимо остановиться подробнее.

Прежде всего, необходимо указать, что Л. С. Клейн использовал статьи и монографии своих предшественников по историографии. В начале каждого биографического очерка идет указание на автора и работы, которые были использованы для подготовки написания биографии. Для подготовки такого большого труда невозможно не использовать работы предыдущих исследователей, однако необходимо отдавать

отчет, что тем самым автор ставит себя в зависимость от взглядов предшественников. Нельзя быть уверенным, что предыдущий автор был до конца искренним в своей работе, что использовал все возможные источники. В такой ситуации существует риск попасть под влияние предшествующей работы, тем самым потеряв возможность вникнуть вглубь проблематики. Достоинством «Истории российской археологии» является то, что ее автор знаком с биографиями ученых из разных источников, а некоторых даже знал лично. Поэтому Л. С. Клейн неоднократно в своих очерках скептически относится к некоторым взглядам и выводам авторов предшествующих работ. Вообще, личная точка зрения автора красной нитью проходит через всю книгу. Взгляд Л. С. Клейна на политическую ситуацию в описываемые периоды или на личные качества описываемых ученых виден на протяжении всего повествования книги. Особенностью данной монографии является то, что, используя в большинстве своем чужие работы, она остается авторской. Автор берет на себя ответственность за жизнеописание, а не перекладывает ее на использованных им исследователей. Именно поэтому он и позволяет себе подчас сомневаться в объективности некоторых событий из жизни и научной деятельности описываемых ученых.

Как уже было указано выше, в первый том были включены биографические очерки 25 ученых, которые Л. С. Клейн сгруппировал хронологически, и их вклад в развитие археологии как науки в России. Всего он выделяет 6 типов ученых:

«Пионеры», «Основатели», «Корифеи», «Открыватели», «Классики» и «Спорные фигуры». Перед началом биографии стоит эпитафия, а каждого ученого автор наделяет весьма точным эпитетом («Археолог царского рода» А.А. Бобринский или «Археолог поневоле» И.Е. Забелин), что, безусловно, сразу настраивает читателя на определенное восприятие описываемой личности.

Во вступительной части к биографическим очеркам автор достаточно подробно обосновывает важность подхода к изучению личности в истории. После чего переходит к самим личностям, поясняя как их условное деление по типам, так и то, почему именно эти деятели в них оказались. Главный посыл: «на моем отборе сказываются мои личные возможности и знания» (т. I, с. 142). Таким образом, автор указывает, что как выбор персоналий, так и условное деление их на группы весьма субъективны. Эта часть работы и вызывает вопросы. Если можно согласиться с его выводом, что периодизация по имени ученого, которую предложил Г.С. Лебедев, далека от универсальности, то выбор самого Л.С. Клейна не совсем ясен. Прежде всего, почему именно пять типов? Во вступлении в описании каждого такого типа автор раскрывает его значение и поясняет, чем один тип отличается от другого, хотя он и кажется близким по значению. Однако, учитывая изначальную условность этих типов, почему не оговорено, что большинство указанных ученых могли бы находиться практически в любой из этих групп одновременно? Еще

большой вопрос встает о целесообразности шестого типа – «Спорные фигуры» и спорные ли они? В этой группе лишь две фамилии (почему только две?): Н.К. Рерих и К.С. Мережковский. Л.С. Клейн делает отступление, что решил включить «сомнительные случаи», так как К.С. Мережковским подробно занимался А.А. Формозов, а Г.С. Лебедев считал Н.К. Рериха выдающимся археологом. При этом сам Л.С. Клейн их таковыми не считает: вклад в науку К.С. Мережковского имеет «локальное значение», хотя биография интересная, а Н.К. Рерих «археологией занимался походя и сравнительно мало, не сделал в ней ничего выдающегося» (т. I, с. 142). Тогда зачем их вообще нужно было включать в монографию? Только если из уважения к их предыдущим исследователям и попытки показать, что нет никакой зависимости между талантом ученого и внутренними качествами человека.

Во второй том «Археологи советской эпохи» вошли 34 биографии ученых, которых автор также разделил на 6 групп: «Передатчики традиции», «Зачинатели «марксистской археологии», «Искатели национальных корней», «Раздвигатели горизонтов», «Мастера» и «Нонконформисты». Как и в первом томе, перед каждым биографическим очерком стоит эпитафия, а советские археологи наделены точными эпитетами («Патриарх палеолитоведения» П.П. Ефименко или «Воевода советской археологии» Б.А. Рыбаков). Хотя в описании С.Н. Замятнина («Открыватель и еретик») не особенно ясно, в чем состояла его ересь.

Вошедшие в этот том личности, а еще более не вошедшие — тема для отдельной дискуссии. Безусловно, Л. С. Клейн руководствовался своими личными пристрастиями, выбрав именно эти 34 фигуры, о чем он прямо пишет во вступлении ко второму тому: «Мне важно не полноту списка соблюсти, а как можно полнее охарактеризовать личный состав советской археологии. Я ограничил список, быть может, несколько произвольно, но если можно сказать, что здесь кого-то не хватает, то вряд ли будут нарекания, что включены лишние фигуры» (т. II, с. 7). Дело не в «полноте списка», который у каждого всегда будет свой, а в отсутствии более развернутого объяснения, почему некоторые действительно ключевые фигуры археологии советского периода сюда не попали. Автор остановился на объяснении про только двух ученых, не вошедших в книгу, это В. В. Пассек (в тексте указан без отчества) и Е. И. Крупнов (указан без инициалов).

Указание на то, что «Я стремился отобразить значительные фигуры — тех, кто внес в археологию несомненный и заметный вклад, продвинул науку и обогатил ее существенными новациями» (т. I, с. 140), может вызвать некое недоумение уже из-за включения сюда группы «Спорные фигуры». Хотя к некоторым ученым из других групп претензии у автора к их «научности» также присутствуют. Также дискуссионным является следующее объяснение: «Прежде всего я не включаю сюда никого из ныне живущих археологов по той причине, что их оценка в ряде случаев еще не устоя-

лась» (т. I, с. 140). Это справедливо относится и к недавно ушедшим ученым, ведь о А. А. Формозове материал есть. В книге в количественном отношении преобладают петербургские/ленинградские археологи, а из региональных окраин автор выделяет В. В. Хвойку и Б. А. Куфтина. Если до середины XX в. Ленинград и Москва действительно являлись практически единственными археологическими центрами России, то с 1960-х гг. начинают активно развиваться региональные отделения со многими талантливыми учеными, многие из которых переросли в локальные центры, чьи археологи на сегодняшний день не уступают столичным, но об этом упомянуто вскользь.

Как указывалось ранее, Л. С. Клейн уже имел случай представить выделенные в особые главы пространные биографии археологов, но в данной работе произошло совмещение различных жанров научной литературы, в которой историография науки представлена не только библиографией и исследовательскими взглядами автора, но и привлечением мемуаристики и, самое интересное, воспоминаниями об ученых, которых он знал. При всем своем субъективном взгляде на них, ему удалось выдержать ровную линию повествования, без крена в сторону восхваления, которое присутствует в работах других авторов, или «очернения». В своих биографических очерках автору удалось преодолеть панегиризм в отношении известных ученых. Его «герои» выглядят обычными людьми, со своими достижениями и слабостями. В каждом из них есть творческий порыв и порок. Но автор

не дает моральную оценку, а выносит это на суд читателей. В то же время Л. С. Клейн акцентирует свое внимание на характере, темпераменте и даже национальности ученых, так как все это дает полное представление о личности, и если воспитание и окружающая среда формируют характер, то он в свою очередь формирует научные взгляды. Можно привести пример стихотворения А. А. Блока «Скифы», на которое обратил внимание вслед за С. П. Щавелевым Л. С. Клейн, в котором прослеживается влияние теории И. Е. Забелина — Д. Я. Самоквасова, последний был в дружеских отношениях с отцом поэта А. Л. Блоком. Во многом именно национальность и чувство полной принадлежности к ней вызвали научные устремления к конкретной проблематике, начиная от общеславянской, как у Зорiana Доленги-Ходаковского, и заканчивая откровенно русофильской Б. А. Рыбакова. И абсолютно противоположный пример Н. Я. Марра с осознанием «своей частичной иноплеменности». Но Л. С. Клейн соблюдает такт в этом щекотливом вопросе.

Во всех биографических очерках Л. С. Клейн акцентирует внимание на противопоставлениях: знание — незнание иностранных языков, профессиональный — любительский подход к раскопкам, защита научной диссертации — присуждение степени за заслуги. Если А. А. Формозов в своих работах обращал внимание на социальное происхождение деятеля науки, то Л. С. Клейну принципиально важно — владел ли археолог хоть одним иностранным языком, читал ли он работы зарубежных коллег.

Автор, при всем уважении к научной деятельности А. Н. Рогачева, достаточно критично относится к плохому знанию последним иностранного языка: «палеолитчику французский необходим». Еще более критически автор относится к «воеводе советской археологии» Б. А. Рыбакову: «... он практически не владел иностранными языками и почти не пользовался огромной зарубежной литературой... По сути за пределами своей узкой специализации (ремесло Древней Руси) он был эрудированным и воинствующим дилетантом» (т. II, с. 215). Л. С. Клейн не скрывает, что академик Б. А. Рыбаков, с которым они были знакомы, мягко говоря, недолюбливал начинающего ученого. Уже ни для кого не секрет, что в том числе и из-за национальности Л. С. Клейна. Но из всех биографий Б. А. Рыбакова, со всеми хвалебными речами, именно эта наиболее объективная, в которой мы видим сложный путь к вершине патриарха советской археологии. Путь, в котором ему приходилось наступать на горло собственной песне перед вышестоящими партийными деятелями, «топить» некоторых талантливых ученых, но одновременно тащить многих «наверх», иметь множество почитателей и закончить свою жизнь в одиночестве в доме престарелых. Читая его биографию, при всей своей резкости, нельзя не увидеть в какой-то степени симпатии и даже сочувственного отношения Л. С. Клейна к Б. А. Рыбакову.

Но, пожалуй, наиболее сильный момент из всех биографий ученых, с которыми сводила жизнь и научная деятельность Л. С. Клейна, связан с С. И. Руденко. Автор показывает

нам человека с довольно сложным характером и непростой судьбой, который почти открыто выражал свою нелюбовь к марксизму (тут они с Л. С. Клейном похожи), поднимался после каждого удара судьбы и шел вперед, настойчиво внедрял методы естественных наук в археологии и возглавил Лабораторию археологической технологии. В заключении автор пишет: «Меня он на дух не выносил» (т. II, с. 296). При всем отношении С. И. Руденко к Л. С. Клейну, это никак не влияет на задачу автора абстрагироваться от своих эмоций и по возможности донести до читателя объективную характеристику личности ученого и его вклада в науку.

Хочется отдельно выделить биографии Д. Н. Анучина, Г. А. Бонч-Осмоловского, С. Н. Замятнина, Г. Б. Федорова, честного и порядочного человека, и И. И. Ляпушкина, который позже всех по возрасту пришел в археологию, но своим трудолюбием и пунктуальностью, благодаря обучению на историческом отделении историко-лингвистического факультета Педагогического института им. Герцена, заслужил не только уважение у коллег в ГАИМКе, но и внес огромный вклад в изучение славянского этногенеза культур Восточной Европы. Особенно трогательно Л. С. Клейн

написал о кончине И. И. Ляпушкина, над гробом которого безутешно рыдал Петр Николаевич Третьяков. Читатель видит перед собой «живого человека», а не просто члена-корреспондента АН СССР.

В заключение хочется отметить, что монография написана «живым» и понятным языком, поэтому она будет интересна не только узкому кругу специалистов-археологов, но и любому читателю, интересующемуся историей отечественной науки, потому что, основываясь на биографиях ученых, она дает наглядное представление о зарождении и развитии археологической науки в России. К сожалению, в этом двухтомном издании не хватает именного указателя, что весьма осложняет поиск, но в любом случае это работа хоть и не заменяет все остальные труды по историографии археологической науки, но дополняет и вносит в них особый взгляд свидетеля той эпохи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Академическая археология 2013 – Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919–2014 гг.). СПб., 2013.

Клейн 1993 – Клейн Л. С. Феномен советской археологии. СПб., 1993.

Rev.: Klein L. S. Istorii rossiskoi arkheologii: ucheniia, shkoly i lichnosti. Tom 1. Obshchii obzor i dorevoliutsionnoe vremia. Tom 2. Arkheologi sovetskoi epokhi. St. Petersburg: Evraziia, 2014.

Dobyshev Vladimir V. – master's degree, Economic and Social Sciences (Category: History), “SATOR” Co. Ltd, CEO

REFERENCES

Akademicheskaiia arkheologiia na beregakh Nevy (ot RAIMK do IIMK RAN, 1919–2014 gg.). St. Petersburg, 2013.

Klein L. S. Fenomen sovetskoi arkheologii. St. Petersburg, 1993.

А. М. Дронов

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ ГРАНИЦ И ПОГРАНИЧИЙ*

Ключевые слова: граница, пограничье, фронтир, лимология.

В статье рассматривается история возникновения и развития междисциплинарного направления исследований границ и пограничий как за рубежом, так и в России. Особое внимание уделяется терминам, которые были выработаны различными национальными школами.

ИМПУЛЬС ТЕОРИИ ФРОНТИРА

Начало изучения границы и пограничья как особых объектов исторического исследования относится к рубежу XIX–XX вв. Страной зарождения нового направления стали США, страна, в истории которой эта проблема занимала особое место. В 1890-е гг. американский профессор истории Ф. Тернер начал разрабатывать так называемую теорию границы, выделив «фронтир» (от англ. *frontier* – граница) в объект изучения (табл. 2). В 1893 г. он выступил с докладом на заседании Американской исторической ассоциации в Чикаго во время Всемирной выставки. Согласно его теории,

© Дронов А. М., 2017

Дронов Александр Михайлович – младший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва); dronov978@gambler.ru

* Статья написана в рамках проекта «Этнические, конфессиональные, социокультурные компоненты идентичности славянских народов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: от раннего Нового времени до наших дней» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память и российская идентичность».

особенностью в развитии США стал фронтир (граница территории поселений колонистов), чем, в понимании ученого, доказывалась самобытность исторических институтов США и разнообразие внутри американской гражданской нации.

В 1921 г. в Нью-Йорке была издана книга Ф. Тернера «Фронтир в американской истории», в которой впервые колонизация Североамериканского континента и история США рассматривались с позиции истории границ. В центре данной концепции лежит сюжет о войне между колонизаторами (переселенцами из Европы) и коренным населением (индейцами). Именно изменение границ на Диком Западе способствовало расселению на «диких» индейских территориях белых людей и возникновению новых штатов: «при продвижении фронтир представляет собой внешний край волны – место контакта дикости и цивилизации» (*Тернер* 2009: 14). Кроме того, Ф. Тернер ввел термин «энергия фронтира», т.е. энергии

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

людей, живущих на границе и способных эту границу двигать («подвижная граница»).

Главным недостатком концепции Ф. Тернера тем не менее была ее американоцентричность. Например, ученый давал такое определение своему термину: «Фронтир — это полоса наиболее быстрой и эффективной американизации» (Там же: 15). Поэтому, не успев возникнуть, новое историческое направление уже в 1930-е гг. было подвергнуто критике. В то же время положительной стороной работы Ф. Тернера была хорошая проработка темы и выявление феномена влияния фронта на местных жителей. Ученый одним из первых в мире обратил внимание на влияние географической среды на человека. Здесь он исходил из своего постулата, что нет на земле территории, которая являлась бы абсолютной «*tabula rasa*»: на фронтире «существует неподдающаяся американская природная среда с ее властным требованием принять диктуемые ею условия с унаследованным образом действий» (Там же: 40). Таким образом, Ф. Тернера можно считать также предтечей нового направления исторических исследований — экоистории, которое возникло в Америке уже в 1970-е гг.

Одновременно с концепцией Ф. Тернера в Германии оформляется как отдельная дисциплина политическая география, теоретические основы которой были заложены в книге немецкого географа, этнолога и социолога Ф. Ратцеля «Политическая география» (1897),

хотя само словосочетание «политическая география» известно еще с XVIII в. В центр своей работы он поставил государство, которое «есть организм, в составе которого известная часть земной поверхности играет настолько существенную роль, что все свойства государства определяются свойствами народа и его территории» (Ратцель 2007: 16). Однако среди «трех великих политико-географических свойств» (местоположения, пространства и границ) Ф. Ратцель отводил местоположению первую роль, тогда как границам — последнюю (Там же: 21). Также немецкий географ ввел термин «пространственный смысл» («*Raumsinn*»), важный в дальнейшем для развития терминологии геополитики.

Немецкий географ употребляет термин «жизненная энергия» («*Lebensenergie*»), в чем близок к тернеровской «энергии фронта» (табл. 2). В своей более поздней работе «О законах пространственного роста государств» (1901) он, рассматривая государство как организм, определял границу уже как «периферийный орган государства, являющийся отражением его роста, силы и слабости», из чего делал вывод, что она «не отличается постоянством» (цит. по: (Желтов, Желтов 2014: 15)). Таким образом, граница уже становится барометром развития государства. Кроме того, Ф. Ратцель отмечал тесную связь государства с землей, им занимаемой: «Когда мы говорим о “нашей земле”, мы связываем в своем представлении с этими природными свойствами также и все то, что создал из этой земли и человек

своим трудом: здесь проявляется уже известная духовная связь земли — с нами, ее обитателями, и со всей нашей историей» (*Ратцель* 2007: 16). Иными словами, народ и территория понимались как некое единство, что похоже на тезис Ф. Тернера о влиянии природной среды фронта на колониста. Важным наблюдением Ф. Ратцеля является то, что «чем больше у народа земли, тем слабее связь с нею народонаселения» (Там же).

В дальнейшем политическая география развивалась как географами, так и геополитиками разных стран. В начале XX в. существенный вклад в развитие этой науки внесли французский географ и социолог А. Зигфрид и английский геополитик Х. Маккиндер. В межвоенный период политическая география характеризуется в основном прикладными, а не теоретическими работами. Причем в политико-географических описаниях того времени особый упор делался на такие темы, как государственные границы, состав и история формирования территорий различных государств, спорные районы, сепаратизм и т.п. Это объяснялось, прежде всего, изменением границ в Европе после Первой мировой войны и возникновением новых государств. Географы входили в комиссии по межгосударственному разграничению после обеих мировых войн, а также в межвоенный период¹. Именно политико-административные границы станут с этого времени основ-

¹ Здесь примером может служить венгерский министр иностранных дел (1920–1921), географ по образованию Пал Телеки (1879–1941). См.: (*Teleki* 1923).

ным предметом изучения направления граничных исследований.

В 1937 г. концепцию Ф. Тернера развил американский географ С. Джонсом, который ввел в науку понятие «пограничье» (табл. 2). Этот термин обозначал саму административную границу между государствами и прилегающие к ней территории. Однако ученый так и не дал точного разъяснения, как определять пограничье, поэтому в дальнейшем среди исследователей границ и пограничий начнутся споры о границах самой области пограничья, непрекращающиеся до сих пор. При этом С. Джонс считал недопустимым делать глобальных обобщений, находя каждую границу уникальной.

РАЗВИТИЕ ФРОНТИРНОЙ ТЕОРИИ В ЗАПАДНОЙ НАУКЕ (1950–2000-Е ГГ.)

Направление региональных исследований в рамках граничных исследований было заложено американским географом Р. Хартшорном в 1950-е гг. (табл. 1 и 2). Так, он считал главной задачей политической географии как науки изучение политических единиц (районов), задаваемых государственными или политико-административными границами, а также пространственных сходств и различий между такими единицами (*Колосов, Мифоненко* 2001: 240). Ученый развил гипотезу пограничья С. Джонса, введя термин «пограничный ландшафт» — примыкающие к линейной границе территории с их физико-географическим обликом, населением, хозяйством и культурой (Там же: 71). Также в 1950-е гг. экономист

немецкого происхождения А. Леш заметил, что новые приграничные ареалы превращаются в депрессивные регионы государства, так как зачастую им приходится менять свои экономические потоки (Kasperson, Minghi 2011: 143).

Постепенно из направления в рамках политической географии граничные исследования превращаются в междисциплинарное направление со своей базой терминов и методологией с использованием инструментария и подходов других социальных и гуманитарных наук, главным образом социологии и антропологии.

В рамках междисциплинарного подхода по изучению границ и пограничий образовалось четыре теоретических подхода (табл. 1).

Однако, как замечает российский исследователь границ В.А. Колосов, у всех этих подходов были и существенные недостатки. Так, граничные исследования не могли дать ответа на вопрос, почему, например, из-за небольшого изменения границы в одном государстве поднимается буря эмоций, захватывающая все общество, а в другом — большие территории выходят из-под его юрисдикции без каких-либо последствий (Колосов, Мифоненко 2001: 312). Кроме того, мало внимания уделялось иерархическим отношениям государств, их различному политическому весу, который сказывается в глобальной политике. В результате к концу 1980-х гг. стало ясно, что граничные исследования нуждаются в свежих теоретических подходах и идеях.

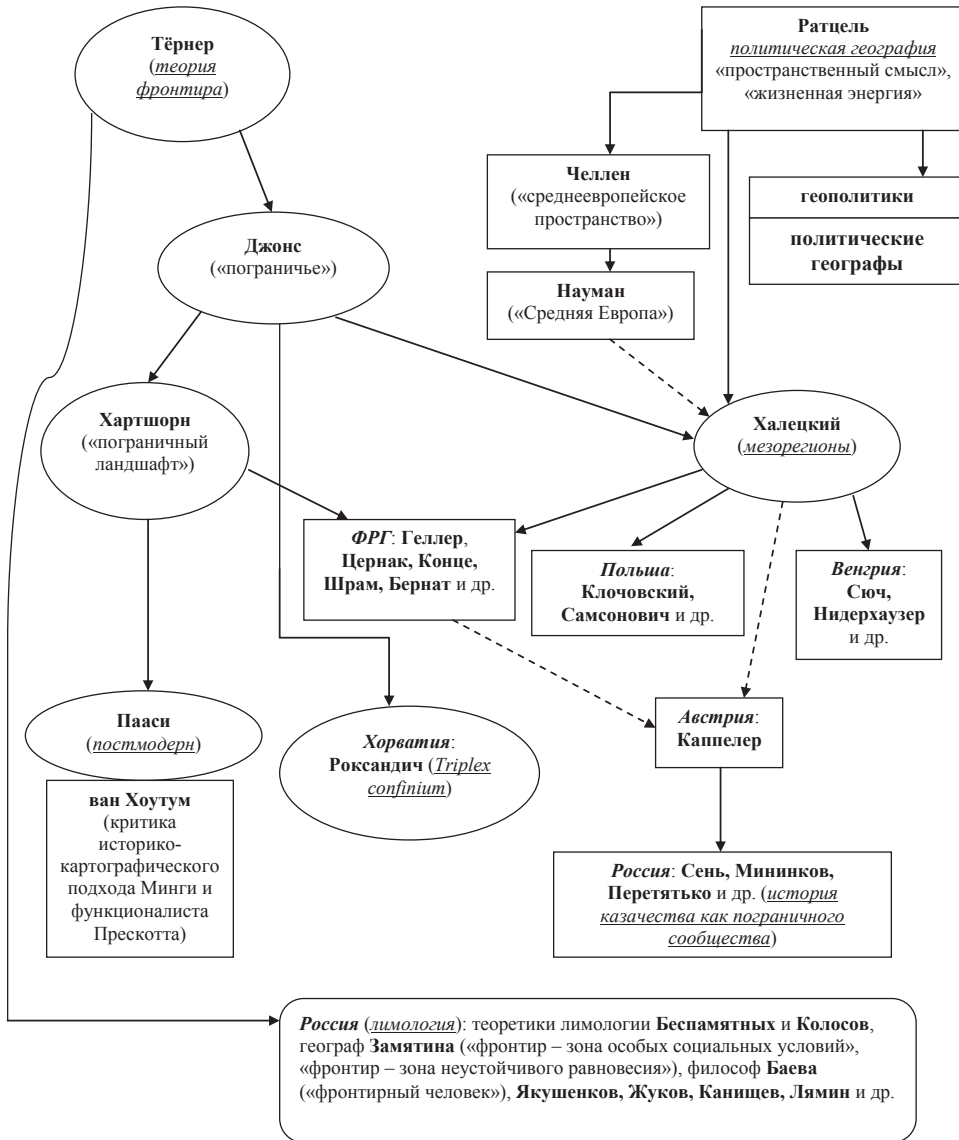
Одним из первых попытку нового взгляда на проблему границ и пограничий предпринял в 1990-е гг. финский географ А. Пааси, который изучал границу между Россией (СССР) и Финляндией (табл. 2). Находясь под влиянием работ норвежского социального антрополога Ф. Барта и британского лингвиста, социолога и политолога Б. Андерсона (см.: (Этнические группы 1969; Андерсон 2001)), Пааси обратился опять к изучению населения пограничий в духе Р. Хартшорна, но попытался дополнить своего американского предшественника, вернувшись к дискурсу о понятии «пограничья». Между тем современный белорусский исследователь границ и пограничий Н.Н. Беспамятных считает, что новый виток обсуждения понятия «пограничье» обусловлен как процессами глобализации, так и изменением функций границ в условиях европейской интеграции, а главное, политическими изменениями рубежа 1980–1990-х гг., а сам дискурс признает постмодернистским (Беспамятных: 71).

Одним из ярких представителей нового направления граничных исследований является голландец Х. ван Хоутум (табл. 2). Он четко разделяет термины «*boundary studies*» (где расположена граница) и «*border studies*» (как граница организована социально). Кроме того, он изобрел термин «*b/ordering of space*» (разграничение / упорядочение пространства) (Houtum 2005: 675). Критикуя Дж. Минги и Дж. Прескотта, Х. ван Хоутум задался вопросами: «Где граница расположена, как она возникла, развивалась и менялась с течением времени» (Ibid:

Таблица 1. Классификация подходов к изучению границ и пограничья

Подходы	Содержание	Представители
историко-картографический	<p>а) историзм (изучение границ в пространстве и времени);</p> <p>б) внутренний фактор: связь между государственным устройством, политическим режимом и конкретной внешнеполитической ориентацией государства, с одной стороны, и функциями границы – с другой;</p> <p>в) внешний фактор: связь режима и функций границы с соотношением экономической, политической и военной мощи соседних стран (более сильное государство может навязать выгодные ему границы более слабому соседу или просто присоединить часть территории соседнего);</p> <p>г) недостижимость «естественных границ»;</p> <p>д) анализ структуры и тщательное картирование этнического состава и культурных особенностей населения, структуры и специализации хозяйства, природных ресурсов, рельефа и природы по обе стороны разграничительной линии между государствами</p>	<p>географы Ж. Ансель, Р. Хартшорн, Дж. Минги, историк П. Салинс и др.</p>
классификационный	<p>а) по морфологии («геометрические», «астрономические», извилистые, прямые и т.п.);</p> <p>б) природным особенностям (оро- и гидрографические и т.п.);</p> <p>в) происхождению, истории и длительности существования;</p> <p>г) историческим условиям и последовательности возникновения («послевоенные», компенсационные, «навязанные», колониальные, спорные и др.);</p> <p>д) функциям (соотношение барьерной, фильтрующей, контактной функций, а также функции отражения, регулирования, отделения и сопоставления)</p>	<p>лорд Дж. Керзон, дипломат и географ М. Фуше и др.</p>
функциональный	<p>«пограничный ландшафт» (Р. Хартшорн);</p> <p>«культурный ландшафт» (Дж. Прескотт);</p> <p>методическая схема изучения приграничных взаимодействий Дж. Хауза</p>	<p>Р. Хартшорн, географы Дж. Прескотт, Дж. Хауз и др.</p>
географо-политологический	<p>междисциплинарный подход политологии и географии</p>	<p>политологи Г. Старр, Б. Мост, Дж. Герц, П. Диль и др.</p>

Таблица 2. Схема развития граничных и региональных исследований



№3 2017

674). Для ответа на вопрос «как?» он призвал руководствоваться тремя аспектами границ: их порядка, инаковости («othering») и идентичностей (Ibid: 675). Также исследователь задал и третий вопрос «почему?»: почему мы дорожим границей

и воспринимаем ее как данность, почему это считаем своим, а то – чужим (Ibid: 676). Таким образом, автор пытается оторваться от существующих стереотипов и по-новому взглянуть на проблему как в истории, так и в современности.

МЕЗОРЕГИОНЫ

Одним из недостатков граничных исследований вплоть до недавнего времени было невнимание к проблеме мезорегионов, выделения их границ и изучения. Так, в немецкой историографии с течением времени менялось само представление, например, о понятии «Восточная Европа», что было напрямую связано с проблемой границ германского мира и Центральной Европы. В начале XX в. данная проблема решалась в основном сторонниками взглядов Ф. Ратцеля. Так, шведский политолог Р. Челлен определял для немцев «среднеевропейское пространство» (табл. 2), подчинив которое Германия должна была стремиться стать государством континентального масштаба, подчинив англичан и французов. Его взгляды развил немецкий политик Ф. Науман в своей книге «Средняя Европа» («*Mittleuropa*», 1915), где написал, на какие территории расширится Германия после Первой мировой войны (табл. 2). Не меньшее внимание уделялось территориям, лежащим на восток и юго-восток от германских земель.

Следует сказать, что на начальной стадии новое направление занималось больше изучением немецкого населения Восточной Европы (*Ostforschung*) и России. Так, основанный в 1930 г. Юго-Восточный институт в Мюнхене долгое время занимался изучением немецкоговорящих меньшинств Южного Тироля и бассейна Дуная, с 2006 г. этот институт стал частью Института изучения Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге и уже давно

расширил круг своих исследований, а также покончил с националистической риторикой. Такой же путь прошел и Институт Гердера, занимающийся культурой и историей Польши, бывшей Чехословакии и стран Балтии. Примечательно, что журнал этого института до 1994 г. назывался «*Zeitschrift für Ostforschung*», а затем сменил название на «*Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung*», тем самым закрепив в названии новый европейский мезорегион после краха социалистической Восточной Европы — Центрально-Восточная Европа.

Вообще, в Третьем рейхе университетское изучение истории Восточной Европы было заклеено как «просоветское», поэтому при нацистском режиме историческое направление исследований было значительно маргинализировано. Нацисты больше интересовало изучение современных им политических, экономических и других процессов в странах Восточной Европы, чем занимались структуры, напрямую подчинявшиеся определенным министерствам, НСДАП или СС (*Требст* 2016: 515).

В ГДР дисциплина «Восточноевропейская история» была продолжена в форме «Истории СССР и европейских стран народной демократии» с собственными кафедрами и академическими отделениями в Берлине, Лейпциге и Галле, т.е. в противовес «остфоршунгу» в ФРГ восточногерманские историки занимались созданной по итогам Второй мировой войны социалистической Восточной Европой (Там же: 517). После объединения Германии в Лейпциге был создан Центр изучения истории

и культуры Восточно-Центральной Европы, куда влились многие восточногерманские историки, филологи и другие специалисты по региону.

Нельзя не отметить вклад австрийского историка хорватско-польского происхождения О. Халецкого в развитие граничных исследований (табл. 2). Став после Первой мировой войны польским историком, он занимался в основном средневековой историей Восточной Европы и Польши, а также церковной историей. Только после выезда в 1938 г. в США О. Халецкий начинает использовать граничную методологию и приступает к комплексному исследованию мезорегиона Восточной Европы, а также и всего Европейского макрорегиона. Сначала в своих работах он выделял Старую Европу как наследницу Средиземноморского Рима и Новую, варварскую Европу, причем Россию он определял наследницей тоталитарной Азии, ценности которой несовместимы с основной ценностью Европы – свободой (*Островски, Тюни* 1998: 22). В книге «Границы и разделы европейской истории» (1950) О. Халецкий, помимо этих больших мезорегионов, подразделял Европу на Западную Европу, Западно-Центральную Европу (Германия и Австрия), Восточно-Центральную Европу и Восточную Европу (Россия/СССР) (*Halecki* 1950). В своей следующей работе «Пограничья западной цивилизации: история Восточно-Центральной Европы» (1952) О. Халецкий выделил в составе мезорегиона Восточно-Центральной Европы три подгруппы: 1) «центральный сектор» Великой Европейской равнины от Балтики до Черного мо-

ря; 2) Дунайский бассейн с соседним «Богемским четырехугольником»; 3) Балканы. При этом историк признавал, что разграничить «Дунайский Бассейн» от Балкан трудно, т.к. некоторые страны относятся сразу к двум этим подгруппам (*Halecki* 1952: 13). Кроме того, в этой работе он не уточнял, что границы между выделенными им европейскими мезорегионами не столько природные, сколько культурные.

Именно идеи О. Халецкого наряду с концепцией Р. Хартшорна и других теоретиков граничных исследований оказали наибольшее влияние на историков ФРГ рубежа XX–XXI вв. (К. Цернака, В. Конце, Г. Шрама, М. Берната и др.). Хотя некоторые ученые, например немецкий географ В. Геллер, начали заниматься такими исследованиями еще в 1980-е гг. (табл. 2). Сейчас в Германии действуют центры граничных исследований при университетах Тюбингена, Мюнстера и др. Также работы О. Халецкого повлияли на исследователей последней четверти XX в. Венгрии (Е. Сюч, Д. Кошари и др.) и Польши (Е. Ключовский, Х. Самсонович и др.), однако их работы получили широкое распространение лишь после 1989 г. (табл. 2).

В частности, крупный венгерский историк-медиевист Е. Сюч выступал против «теории догоняющего развития» Венгрии (Венгрия как часть Восточной Европы), которую в 1960–1970-е гг. развивали его соотечественники историки Ж. Пах, И. Беренд и Д. Ранки. На рубеже 1970–1980-х гг. Е. Сюч выдвинул собственную оригинальную концепцию. В книге «Три исторических

региона Европы» он развил идею О. Халецкого о мезорегионе Восточно-Центральной Европы, конкретизируя исторические предпосылки его выделения. Так, венгерский историк выделяет два основных «пограничных аспекта». Во-первых, западную границу Центральной Европы сформировали еще римские «лимесы» (от лат. «*limes*» — рубеж), а восточная проходила по границе католического и православного мира, то есть по восточным границам Венгерского и Польского королевств и восточных владений Тевтонского ордена. Во-вторых, после 1500 г. Европа разделилась на две части с точки зрения экономического развития и социальной структуры, причем ее восточная часть характеризовалась «вторым изданием крепостничества», а еще через 500 лет Сталин, Черчилль и Рузвельт разделили Европу точно (за исключением Тюрингии) по восточной границе империи Карла Великого («граница 800 года») (Сюч 1996: 152–153).

Проследив историю Восточно-Центральной Европы, Е. Сюч пришел к выводу, что этот мезорегион подвергался периодически влиянию то Западной Европы, то Восточной, в то время как в Новое время Западная Европа расширилась на запад (в Новый Свет), а Восточная — на восток (за счет Сибири) (Там же: 155–156). При этом, согласно Е. Сючу, если Запад питался обогащением общества, а в России богатело государство, то империя Габсбургов (как олицетворение Центральной Европы) строилась на сочетании двух принципов формирования государства: государственный аппарат, терпимый к гражданскому об-

ществу, и азиатская деспотия верхов над низами с уступками местным группам (Островски, Тюни 1998: 23). Таким образом, венгерский исследователь считал габсбургскую державу промежуточной территорией между Западной Европой и Восточной (Россией). Эта теория Е. Сюча стала популярна среди венгерских историков и сейчас обязательна для изучения на исторических факультетах венгерских вузов.

Поздним и последовательным сторонником отнесения Венгрии и всех стран европейского социалистического лагеря к Восточной Европе был венгерский историк-славист Э. Нидерхаузер (табл. 2). В статье «Единство и разнообразие восточноевропейского развития» он определял Восточную Европу от гор Гарца до Урала, причем этот мезорегион объединяет численный перевес славянских народов, преимущественно аграрный характер экономики и полиэтнический состав населения. Саму Восточную Европу историк делит на три географические зоны: равнина между Гарцем и Уралом (ей соответствует Российская империя), Карпатский бассейн (от Балтики до Хорватии) и Балканы (область византийско-османского влияния) (Хаванова 2001: 48). Такое деление имело общие черты с описанным выше районированием О. Халецкого.

ЛИМОЛОГИЯ И ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Необычный феномен представляет в истории Европы позднего Средневековья и Нового времени Воен-

ная граница монархии Габсбургов. Военная граница (1578–1881) представляла собой пограничную территорию вдоль границы с Османской империей с особым военным управлением. Ее население одновременно должно было нести военную службу и управляться с хозяйством, что напоминало русских военных поселенцев XIX в., а еще больше казаков. Этот регион начал изучаться австрийскими историками лишь в последней четверти XIX в., а затем его изучали сербские и хорватские историки в королевской и социалистической Югославии. Однако все они использовали классическую историческую методологию в своих работах. Даже сейчас большинство историков этого исторического явления как в Сербии и Хорватии, так и из других стран пользуются классическим инструментарием. Хотя еще с 70–80-х гг. XX в. в Италии для изучения итало-австро-словенского пограничья были основаны два центра граничных исследований: при университете Удине и Институте международной социологии в Горичии. Возможно, этот пример повлиял на хорватов.

В начале 2000-х гг. хорватский историк Д. Роксандич со своими коллегами решил по-новому взглянуть на регион в целом и Военную границу в частности. Так при Загребском университете появился центр «*Triplex confinium*», где выработывался комплексный подход в изучении существовавшего на территории Хорватии стыка границ трех государств: Венецианской республики, монархии Габсбургов и Османской империи (табл. 2). Однако троичность, отображенная в названии

центра, проявляется не только в этом. Так, Венецианской республике соответствовало католичество, монархии Габсбургов – католичество и православие (в данном регионе), Османской империи – ислам. После распада Югославии в начале 1990-х гг. район «трех границ» оказался пересечением хорватокатоликов, сербов-православных и бошняков-мусульман.

При рассмотрении района с позиций относительно молодого направления исследований – экологической истории (изучающей взаимодействия между человеческими культурами и окружающей средой в историческом прошлом), выделяется три физико-географические зоны: морская Адриатическая, Паннонская (долина р. Уны) и Динарская (Балканская). В соответствии с таким делением Венецианская республика считается более адриатической, монархия Габсбургов – динарской (горной) и паннонской, а Османская империя – чисто динарской (балканской)². Также в своей книге «*Triplex confinium*» Д. Роксандич усматривает сходство в едином европейском поясе земель от Польши до Хорватии – сцепление границ нескольких империй (Roksandić 2003: 14). Таким образом, основатель хорватского центра граничных исследований рассматривает Военную границу главным образом как южную часть восточноевропейского пояса межимперского пограничья.

² Текст доступен по адресу: [Электронный ресурс]. URL: www.ffzg.unizg.hr/pov/zavod/triplex/goalstc.htm (Дата обращения: 10.05.2016).

Если в англоязычной литературе граничные исследования называются «*border studies*», пограничные исследования — «*borderlands studies*», а хорваты используют термин «*confinium*», который больше пригоден для обозначения «понятий сопредельного пространства», то в России междисциплинарное направление по изучению границ и пограничий емко именуется лимологией, то есть изучением рубежей. При этом, как считает Н. Н. Беспмятных, лимология с точки зрения своей предметной области, теоретических подходов и инструментария может рассматриваться как аналогичная или близкая к западным «граничным исследованиям» (*Беспмятных*: 54) (табл. 2).

При этом ключевые задачи, которые решает лимология, противоположны теоретической направленности западных граничных исследований. Если для российских исследователей важным предметом изучения являются новые государственные границы, возникшие из внутренних административных границ после распада СССР, то на Западе интерес представляют, наоборот, исчезающие в рамках процесса евроинтеграции границы между странами. Как замечает Н. Н. Беспмятных: «В России одна из ключевых задач лимологии заключается в исследовании роли границ как средства укрепления безопасности страны. В этом отношении лимология выступает не только как общая теория границ, но и как прикладная дисциплина, призванная выработать эффективные меры по защите российских государственных интересов» (Там же: 55).

Интерес к исследованию границ и пограничий возникает в России с распадом СССР и отказом от доминанты марксистско-ленинской методологии. Уже в 1991 г. в Санкт-Петербурге был создан негосударственный Центр независимых социальных исследований (*The Center for Independent Social Research, CIRIS*), занимающийся изучением границ, этничности, миграций, проблемами приграничного населения России. В 1992 г. в Институте географии РАН появился Центр европейских геополитических исследований, изучающий новые российские границы, а также пограничные зоны (например, российско-украинскую и др.), этническую и религиозную идентичности населения. Позже начали появляться и региональные центры граничных исследований. Так, в 2001 г. Центр региональных и трансграничных исследований был открыт в Волгограде.

В настоящее время российские исследователи границ применяют разные подходы в своих исследованиях, начиная от классического тернеровского фронта применительно к освоению русскими Севера, Дикого поля, Сибири и той же Америки и заканчивая самыми новыми граничными методиками. Одной из первых была географ Н. Ю. Замятина, которая в 1998 г. дополнила и уточнила концепцию Ф. Тернера, а также предложила новое определение *фронтира* как зоны особых социальных условий, а не просто границы между государствами.

Российские исследователи Д. С. Жуков, В. В. Канищев, С. К. Лямин сходятся во мнении, что «фронтирная

динамика — это не просто движение границы, это трансформация пространства, переход в новое качество» (Жуков и др. 2014: 235). При этом они дают такое определение фронта: «территория, которая на определенном этапе истории абсолютно нетождественна будущей метрополии, а через какое-то время становится полностью однородной частью “материнского” государства и общества» (Там же). Примером подвижного фронта они считают инкорпорацию территории почти незаселенного и очень плохо освоенного русскими Дикого поля в состав Российского государства с середины XVI в. до середины XIX в.

Другой отечественный исследователь феномена фронта С. Н. Якушенок в статье «Сигнификация культурной памяти в условиях фронтальной гетеротопии» пишет, что «современный межкультурный диалог на территориях, которые можно отнести к фронтальным зонам, не возможен без ориентации на определенные сигнификаты³, как правило, завязанные на культурную память фронтальных этносов» (Якушенок 2014: 605). Другими словами, автор отмечает особую важность исторической памяти в контактных зонах. Также С. Н. Якушен-

ков приходит к выводу, что в связи с тем, что «на фронтальной территории в формировании культурной памяти участвуют самые разнообразные этнические акторы, то и их сигнификаты столь же разнообразны, а порой и взаимоисключающие» (Там же: 606).

Непосредственно типологизации понятия «фронт» большое внимание уделяется философом Л. В. Баевой в ее статье «Зона Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья как фронт: классификация и характеристика». Так, она выделяет цивилизационный, межкультурный, конфессиональный, этнический (антропологический), языковой (лингвистический), военно-политический, технологический, информационный, ценностный фронта, а также ментальный, теоретический, парадигмальный фронт (Баева 2014: 56–57). Л. В. Баева отмечает, что «особым явлением фронта является “фронтальный человек”, личность, открытая для новых решений, выборов, перемены мест, отличающаяся высокой восприимчивостью нового, ментальной свободой, творческим, синкретическим видением реальности, авантюризмом, нетерпимостью к ограничениям, жесткой регламентации и организации жизни» (Там же: 61). Поэтому автору близок термин Ф. Тернера «энергия пограничья».

Таким образом, эти авторы, как и «постмодернисты» граничных исследований на Западе, отчасти возвращаются к отцам-основателям этой науки. При этом наших исследователей во многом интересует именно отечественная историческая

³ По мнению автора, сигнификат не является синонимом такого понятия, как символ, так как символ — в некотором роде атрибут сигнификата. Ведь любой сигнификат может выступать в качестве самых разнообразных символов, причем в разные периоды тот или иной сигнификат может манифестировать себя в обществе в самых разнообразных символах. По сути, сигнификат — это знак, вписанный в исторический контекст и выступающий в качестве ценностного ориентира, а также зафиксированный в любой форме праксиса. См.: (Якушенок 2014: 606).

проблематика: освоение Сибири, Дикого поля, Северокавказская линия и т.д. В связи с этим в контексте граничной проблематики изучается и история казачества.

Следует заметить, что рассматривать историю казачества с позиций пограничного сообщества начал еще австрийский историк народов Российской империи А. Каппелер (табл. 2). В своих работах А. Каппелер приходит к выводу, что «казачество представляло собой “культурный гибрид”, резко выделявшийся на фоне русского и украинского населения, родственного по языку, религии, этническому происхождению» (Мининков 2014: 373), что он иллюстрирует на примере перехода донских старообрядцев, а позже и казаков-некрасовцев в конце XVII – начале XVIII в. на территорию исторического противника казаков – Крымского ханства (на Кубань). Переводчик и исследователь работ А. Каппелера Н. А. Мининков добавляет, что историк «в понятие о казачестве как о приграничном сообществе вкладывал не столько традиционное понимание этого положения, но новый взгляд на него, которое исходит из признания его как сообщества, способного к установлению многообразных контактов с соседями» (Там же).

Такой взгляд необходим и при изучении истории Военной границы, где сербское православное население жило как с одной, так и с другой стороны границы, а боснийские мусульмане были в основном славянами по крови. При этом в своей книге «Казачество. История и ле-

генды» А. Каппелер впервые приходит к идее о сравнении не только отдельных пограничных сообществ с американским фронтиром, но и граничар Военной границы монархии Габсбургов и южнорусских казаков между собой (Каппелер 2014). В итоге австрийский историк делает вывод о большой степени сходности пограничных сообществ граничар и казаков при их совершенно различном генезисе. Кроме того, А. Каппелер делает вывод, что на генезис США на основе фронтирного мифа очень похож генезис государства Украина, вследствие чего их можно рассматривать как пограничные территории (Там же: 84–85).

Российские историки, занимающиеся изучением «западных окраин» Российской империи, то есть территории, о принадлежности которой к Восточной или Восточно-Центральной Европе спорили венгерские ученые, пока преимущественно используют классические методы исследования. Одна из работ, где используется методология граничных исследований, – книга М. Долбилова и А. Миллера «Западные окраины Российской империи» (Долбилов, Миллер 2007). В ней авторы в качестве большого Пограничья между Россией и Польшей выделяют белорусско-украинско-литовские земли. Тем не менее, в отличие от хорватского центра «*Triplex confinium*», в России появляются историки, рассматривающие южное пограничье с мусульманским миром не как продолжение имперских границ (вертикаль), а как горизонтальную южную черту. Так, идеи А. Каппе-

лера о возможности сравнения австрийских граничар и южнорусского казачества развивает молодой историк из Ростова-на-Дону А. Ю. Перетяцько, который выдвинул идею рассматривать эти пограничные сообщества в комплексе, как части единой южноевропейской пограничной черты (см.: *Перетяцько* 2014; *Перетяцько* 2016: 79–99)) (табл. 2).

Таким образом, можно заключить, что на современном этапе развития гуманитарного знания пограничье могут изучаться как регион столкновения историко-картографического и нового граничного подходов, как территория цивилизационного и ландшафтного перекрестка, как то предлагает хорватская модель, как регион трансграничных культурных взаимодействий (А. Каппелер) и как часть единой дуги христианско-мусульманского пограничья от Адриатики до Урала (российская модель). Вместе с тем стоит заметить, что статья раскрывает лишь самые основные подходы в изучении границ и пограничий в Европе, тогда как само направление междисциплинарного изучения границ и пограничья может дать историку дополнительную информацию и по-новому взглянуть на имеющиеся источники.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Андерсон 2001 — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. М., 2001.

Баева 2014 — *Баева Л. В.* Зона Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья как фронтир: классификация и характеристика // *Границы и пограничье в южнороссийской истории.* 2014.

Беспамятных – Беспамятных Н. Н. Границы и пограничья: подходы, понятия, перспективы.

Долбилов, Миллер 2007 — *Долбилов М., Миллер А.* Западные окраины Российской империи. М., 2007.

Желтов, Желтов 2014 — *Желтов В. В., Желтов М. В.* Геополитика мирового порядка. М., 2014.

Жуков и др. 2014 — *Жуков Д. С., Канищев В. В., Лямин С. К.* Эвристический потенциал фрактального моделирования процессов включения южнорусского фронта в состав России в XVII – середине XIX в. // *Границы и пограничье в южнороссийской истории: Материалы Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 26–27 сентября 2014 г.)* / отв. ред. Д. В. Сень. Ростов-на-Дону, 2014.

Каппелер 2014 — *Каппелер А.* Казачество. История и легенды: монография / пер. с нем. Н. Мининкова. Ростов-на-Дону, 2014.

Колосов, Мироненко 2001 — *Колосов В. А., Мироненко В. С.* Геополитика и политическая география. М., 2001.

Мининков 2014 — *Мининков Н. А.* Казачество как пограничное сообщество в исторической концепции А. Каппелера // *Границы и пограничье в южнороссийской истории.* 2014.

Островски, Тюни 1998 — *Островски К., Тюни Г.* Три политические культуры в Европе // *Социс.* 1998. № 2.

Перетяцько 2014 — *Перетяцько А. Ю.* Оценка роли границы в истории донского казачества авторами 1860–1880-х гг.: Н. И. Краснов, М. Н. Харузин, С. Ф. Номикосов // *Границы и пограничье в южнороссийской истории.* 2014. С. 417–427.

Перетяцько 2016 — *Перетяцько А. Ю.* Военная Граница от битвы при Сольферино до начала демилитаризации: три взгляда из России (Ф. Ф. Торнау, Н. И. Краснов, Б. Каталинич). Часть

I // Военный сборник. 2016. № 12. С. 79–99.

Ратцель 2007 – *Ратцель Ф.* Политическая география (в изложении Л. Синицко-го) // *Геополитика: Хрестоматия* / сост. Б. А. Исаев. СПб., 2007.

Сюч 1996 – *Сюч Е.* Три исторических региона Европы // *Центральная Европа как исторический регион* / отв. ред. А. И. Миллер. М., 1996.

Тернер 2009 – *Тернер Ф.* Фронтир в американской истории / пер. с англ. М., 2009.

Требст 2016 – *Требст Ш.* Особый путь к концепции исторического мезорегиона: учебный предмет «История Восточной Европы» в немецкоязычном пространстве 1892–2016 гг. // *История, язык, культура Центральной и Юго-Восточной Европы в национальном и региональном контексте. К 60-летию К. В. Никифорова* / отв. ред. О. В. Хаванова. М., 2016.

Хаванова 2001 – *Хаванова О. В.* Центральная Европа как уходящая натура? (некоторые итоги дискуссии последних десятилетий в венгерской историографии) // *Политическая наука*. 2001. № 4.

Этнические группы 1969 – *Этнические группы и социальные границы: социальная организация культурных различий* / отв. ред. Ф. Барт. М., 1969.

Якушенков 2014 – *Якушенков С. Н.* Сигнификации культурной памяти в условиях фронтальной гетеротопии // *Границы и пограничье в южнороссийской истории*. 2014.

Halecki 1950 – *Halecki O.* The Limits and Divisions of European History. London, 1950.

Halecki 1952 – *Halecki O.* Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe. New York, 1952.

Houtum 2005 – *Houtum H.* The Geopolitics of Borders and Boundaries // *Geopolitics*. 2005. No. 10.

Kasperson, Minghi 2011 – *Kasperson R., Minghi J.* The Structure of Political Geography. New Brunswick; London, 2011.

Roksandić 2003 – *Roksandić D.* Triplex confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500–1800. Zagreb, 2003.

Teleki 1923 – *Teleki P.* Evolution of Hungary and its place on European history. New York, 1923.

INTERDISCIPLINARY PRACTICE IN STUDYING OF BORDERS AND BORDERLANDS

Dronov Alexander M. – junior scientific researcher Institute for Slavonic Studies, RAS (Moscow)

Key words: border, borderland, frontier, limologia.

The article analyzes the history of appearance and development of the interdisciplinary field of research of the borders and borderlands both abroad and in Russia. Special attention is paid to terms developed by different national schools.

REFERENCES

Anderson B. *Voobrazhaemye soobshchestva*. Moscow, 2001.

Baeva L.V. Zona Severnogo Prikaspiia i Nizhnego Povolzh'ia kak frontir: klasifikatsiia i kharakteristika. *Granitsy i pogranič'e v iuzhnorossiiskoi istorii*. 2014.

- Bespamiatnykh N. N. *Granitsy i pogranič'ia: podkhody, poniatiia, perspektivy*.
- Dolbilov M., Miller A. *Zapadnye okrainy Rossiiskoi imperii*. Moscow, 2007.
- Etnicheskie gruppy i sotsial'nye granitsy: sotsial'naiia organizatsiia kul'turnykh razlichii /* otv. red. F. Bart. Moscow, 1969.
- Halecki O. *Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe*. New York, 1952.
- Halecki O. *The Limits and Divisions of European History*. London, 1950.
- Houtum H. The Geopolitics of Borders and Boundaries. *Geopolitics*. 2005. No. 10.
- Kappeler A. *Kazachestvo. Istoriiia i legendy: monografiia /* per. s nem. N. Mininkova. Rostov-na-Donu, 2014.
- Iakushenkov S. N. Signifikatsii kul'turnoi pamiaty v usloviakh frontirnoi geterotopii. *Granitsy i pogranič'e v iuzhnorossiiskoi istorii*. 2014.
- Kasperson R., Minghi J. *The Structure of Political Geography*. New Brunswick; London, 2011.
- Khavanova O. V. Tsentral'naia Evropa kak ukhodiashchaia natura? (nekotorye itogi diskussii poslednykh desiatiletii v vengerskoi istoriografii). *Politicheskaia nauka*. 2001. No. 4.
- Kolosov V. A., Mironenko V. S. *Geopolitika i politicheskaia geografiia*. Moscow, 2001.
- Mininkov N. A. Kazachestvo kak pograničnoe soobshchestvo v istoricheskoi kontseptsii A. Kappelera. *Granitsy i pogranič'e v iuzhnorossiiskoi istorii*. 2014.
- Ostrovski K., Tiuni G. Tri politicheskie kul'tury v Evrope. *Sotsis*. 1998. No. 2.
- Peretiat'ko A. Iu. Otsenka roli granitsy v istorii donskogo kazachestva avtorami 1860–1880-kh gg.: N. I. Krasnov, M. N. Kharuzin, S. F. Nomikosov. *Granitsy i pogranič'e v iuzhnorossiiskoi istorii*. 2014. P. 417–427.
- Peretiat'ko A. Iu. Voennaia Granitsa ot bitvy pri Sol'ferino do nachala demilitarizatsii: tri vzgliada iz Rossii (F. F. Tornau, N. I. Krasnov, B. Katalinich). Chast' I. *Voennyi sbornik*. 2016. No. 12. P. 79–99.
- Rattsel' F. Politicheskaia geografiia (v izlozhenii L. Sinitskogo). *Geopolitika: Khrestomatiia /* sost. B. A. Isaev. St. Petersburg, 2007.
- Roksandić D. *Triplex confinium ili o granicama i regijama hrvatske povijesti 1500–1800*. Zagreb, 2003.
- Siuch E. Tri istoricheskikh regiona Evropy. *Tsentral'naia Evropa kak istoricheskii region /* otv. red. A. I. Miller. Moscow, 1996.
- Teleki P. *Evolution of Hungary and its place on European history*. New York, 1923.
- Termer F. *Frontir v amerikanskoj istorii /* per. s angl. Moscow, 2009.
- Trebst Sh. Osobyi put' k kontseptsii istoricheskogo mezoregiona: uchebnyi predmet "Istoriiia Vostochnoi Evropy" v nemetskoiazыchnom prostranstve 1892–2016 gg. *Istoriiia, iazyk, kul'tura Tsentral'noi i Iugo-Vostochnoi Evropy v natsional'nom i regional'nom kontekste. K 60-letiiu K. V. Nikiforova /* otv. red. O. V. Khavanova. Moscow, 2016.
- ZheltoV V. V., ZheltoV M. V. *Geopolitika mirovogo poriadka*. Moscow, 2014.
- Zhukov D. S., Kanishchev V. V., Liamin S. K. Evristicheskii potentsial fraktalnogo modelirovaniia protsessov vklucheniia iuzhnorusskogo frontira v sostav Rossii v XVII – seredine XIX v. *Granitsy i pogranič'e v iuzhnorossiiskoi istorii: Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii (g. Rostov-na-Donu, 26–27 sentiabria 2014 g.) /* otv. red. D. V. Sen'. Rostov-na-Donu, 2014.

Н. С. Гусев

Рец: *Езерник Б.* Дикая Европа. Балканы глазами западных путешественников. М.: Лингвистика, 2017. 358 с.

В 2017 г. вышел русский перевод книги известного словенского антрополога, социолога и культуролога Божидара Езерника «Дикая Европа», оригинал которой был опубликован в 2011 г. Автор постарался показать то, как европейцы в Новое время представляли себе Балканы и их жителей. Работа тематически перекликается с монографией американского историка М. Тодоровой (*Todorova* 1997), но направлена скорее не на поиск теоретических обоснований стереотипов, а на их описание. Езерник постарался рассмотреть представления, сформированные и поддерживаемые в том числе и благодаря описаниям «вымышленных путешествий».

Остановимся на обзоре содержания работы, необходимом к тому же поскольку зачастую за поэтическими названиями разделов невозможно понять, чему собственно они посвящены. Начало книги является наиболее соответствующим ее заглавию и замыслу, в нем автор рассмотрел и представления о природе, и о смерти, и роли ислама, и о многом другом. Вторая глава – «Дамы

с жирными пальцами» – рассматривает пищевые привычки балканцев. Далее начинает проявляться определенная рыхлость структуры книги, ощущение которой создает отсутствие логических связей между многими главами, из-за чего ее можно определить скорее как сборник очерков, посвященных отдельным темам, нежели монографию. Автор старается построить канву вокруг определенных стереотипов, и в то же время третий раздел «Пестование предрассудков» (с. 47–74), по сути, является развернутым анализом сочинений аббата А. Фортиса, повествующим о его путешествиях по Далмации (1770-е гг.).

Следующий затем «Люди с хвостами» имеет необычный ракурс. Езерник показал, что в Европе возникло представление об «отсталых» африканцах, символом чьей недоразвитости являлось наличие хвоста. Затем же автор продемонстрировал, как этот стереотип был взят на вооружение сербами для обоснования тезиса о дикости и первобытности албанцев и невозможности создания их национального государства. В «Очах, которые не видят» Езерник продолжает разбор влияния сербов на формирование стереотипов. Из приведенных им свиде-

© Гусев Н. С., 2017

Гусев Никита Сергеевич – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН; gusevns@gmail.com

тельств следует, что указания сербов (начавшиеся в XIX в. и не прекращающиеся по сей день) на то, что осквернение икон и фресок в православных храмах путем уничтожения глаз на изображениях — дело рук их врагов (турок или албанцев, в зависимости от периода), необоснованны. Причина порчи святынь — суеверия самих сербов, пытавшихся использовать краску с ликов святых в народной медицине и магических обрядах.

Как видно из вышесказанного, в работе большее внимание уделено именно западной части полуострова, и этот «крен» усиливается следующими разделами. «Романтический шарм свободы», «Страстные охотники за человеческими головами» (с. 107–164) практически целиком посвящены наиболее романтизируемому народу — черногорцам и представлениям о них. Которые, отметим, даже в XX в. были далеки от реальности. Так, во время Первой мировой войны британские солдаты представляли албанцев альбиносами, а черногорцев — чернокожими, и от их смешанных браков «появляются дети, которых называют далматинцами, потому что у них черные и белые пятна», а английского капитана в 30-е гг. спрашивали, являются ли черногорцы «Mountain Niggers» (горными неграми) (с. 126).

Раздел с поэтическим названием «Где рай был потерян лишь из-за глотка адского отвара» (с. 165–192) является фактически гимном кофе, историей его проникновения на Балканы, описанием связанных с ним обычаев. Европейским сте-

реотипам здесь уделено меньшее внимание: показано, как эволюционировало восприятие местного рецепта напитка от «напитка, сваренного из вод озера Стикс, черного, мутного и горького» (с. 165) до «самого вкусного напитка, который только можно себе представить» (с. 191), формирование образа «ленивого турка», проводящего все свое время с кофе и сигаретой в руках.

Далее следует раздел «Настоящая комедия ошибок», посвященный балканскому «яблоку раздора» — македонскому вопросу. Внимание уделено не европейским стереотипам, а борьбе соседних балканских государств за эти территории и публичному обоснованию их прав на них. Выбиваясь из общей канвы повествования, данный раздел тем не менее является довольно важным, поскольку ставит македонскую проблему в малоизученном ракурсе — в поле общественного мнения, а не международных отношений.

Последние главы книги посвящены наиболее осязаемому и наглядному наследию Востока на Балканах — архитектуре. «Мост между варварством и цивилизацией» (с. 223–240) — исследование истории уничтоженного в 1993 г. Старого моста в г. Мостаре (Босния и Герцеговина). Езерник показывает, что европейцы отказывались признать авторство этого творения за турками, которых считали неспособными на подобные шедевры. Аналогичны были представления и о городах в целом. Глядя издалека на чисто восточный пейзаж с мечетями и минаретами, возникали

ассоциации со сказками «Тысячи и одной ночи», столкнувшись же с ними вблизи, путешественники отмечали: «Рай превратился в клоаку» (с. 243). Молодые балканские государства, обретя независимость, первым же делом старались избавиться от турецкого наследия в облике своих городов, снося старые постройки и на их месте возводя новые. Автор с некоторым огорчением отмечает: «Цена модернизации, то есть европеизации, была высока: история, воплощенная в мечетях, минаретах, базарах, ханах, кладбищах, мостах, домах и др., была уничтожена, в то время как новшества, заменившие прежние памятники “уродством модернизма”, росли как грибы после дождя» (с. 271). Но в итоге, как справедливо Езерник повторяет слова путешественника XIX в., «восточные страны, устремившись к западной цивилизации, потеряли колорит, но сохранили захудалость и грязь» (с. 277). Добавим, что такой же пестрой смесью старого и нового представлялись балканские города и русским очевидцам. Так, писатель Е. Н. Чириков писал в 1913 г. о болгарском Пловдиве: «Парные экипажи, буйволы, ослики, трамвай, черномазые чистильщики сапог, готовые оторвать вам ноги, европейское платье и отрепье цыган» (Чириков 1913: 136–137). Причем, заметим, это касалось не только внешнего вида городов, но и нравов. В начале XX в. черногорцы, которые «говорили по-французски и носили красивые пиджаки, пошитые в салоне», одновременно заявляли о нормальности отрезания голов на войне, но добавляли: «Однако, когда некоторые учат детей тыкать этим головам си-

гареты в рот — нет, это уже чересчур» (с. 140). Российские историки Р. П. Гришина и А. Л. Шемякин предложили называть балканскую модернизацию начала XX в. в силу ее имитационного характера «фанерной» (Гришина, Шемякин 2013). Наиболее хлесткое объяснение этому дал Л. Д. Троцкий, сам не единожды бывавший на полуострове, указав, что история не отвела странам Востока и России достаточно времени для нормального постепенного развития и «напаялила их имущим классам на головы лоснящиеся цилиндры — прежде чем в эти головы проникли европейские понятия; она осветила, наконец, центры городов великолепными калильными фонарями — прежде чем осушила на окраинах отвратительные лужи, очаги зловония и заразы» (Троцкий 2011: 158).

Езерник обращает внимание читателя на то, что Балканы стали для европейцев зеркалом, в котором они видели свое прошлое, романтизируя его, но не стремясь в него вернуться. Жители полуострова представлялись в виде пасторальных картин «природной дикости», и наступление прогресса вызывало разочарование — так, например, произошло в начале XX в. с путешественниками, увидевшими, что албанцы пользуются столовыми приборами (с. 45). Зачастую автор приводит примеры из европейского прошлого, демонстрирующие, что воспринимавшееся как крайняя форма дикости на Балканах в XIX–XX вв. незадолго до этого было нормой в просвещенной Европе (например, отрезание голов и их публичное выставление (с. 131)).

Складывается впечатление, что Езерник здесь не смог остаться полностью объективным и пытался оправдать балканские народы.

Перевод со словенского языка выполнен Л. А. Кириллиной при поддержке Института славяноведения РАН. Благодаря усилиям переводчика книга читается довольно легко, но есть и небольшие огрехи: например, турецкий путешественник XVII в. Эвлия Челеби несколько раз ошибочно назван «Целеби» (с. 25, 98)

И еще хотелось бы сделать одно замечание. Книга имеет подзаголовок «Балканы глазами западных путешественников», в связи с этим возникает вопрос: относит ли автор русских путешественников к западным? В списке избранной литературы (более 880 наименований на английском, немецком, итальянском, французском, сербском и чешском языках) несколько книг указано в переводах на европейские языки (А. А. Башмаков — на английском и немецком, И. С. Ястребов — на сербском), 12 — в оригинальных изданиях. То есть русских описаний менее 1% от общего количества, что далеко не отражает огромный массив путевых очерков русских на Балканах. Возможно, это объясняется попросту незнанием языка. Но данная тема и без того довольно подробно исследована: существуют не только отдельные статьи, но и антологии, и сборники работ (Русские о Сербии и сербах 2006; 2014; Человек на Балканах 2011). К тому же использование русских источников наряду с западноевропейскими методологически неверно, поскольку,

как уже отмечалось отечественными историками, «русский взгляд», основанный на конфессиональной близости и схожести ценностей, проникал глубже, чем «европейский», которому было присуще постоянное осознание собственного превосходства (Шемякин 2017: 90). Отмечали это и современники описываемой в книге эпохи. В XIX в. российский ученый П. А. Ровинский, находясь в Сербии, писал, что иностранцы «на все явления народной жизни смотрят издалека и свысока, схватывают их поверхностно и дают им толкование по своему вкусу или по своим субъективным воззрениям» (Там же: 91).

Но тем и ценна работа Божидача Езерника, что в ней собраны субъективные воззрения европейцев на Балканы, слухи и сплетни о полуострове, иногда шокирующие, иногда смешные и даже неприличные (с. 36). Из нее мы меньше можем понять жителей полуострова, но больше европейцев и их предрассудки, существующие до сих пор. Книга предназначена для специалистов по истории Балкан, имагологическим представлениям европейцев, а также для самого широкого круга читателей, интересующихся историей и желающих приятно провести время.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Гришина, Шемякин 2013 — Гришина Р. П., Шемякин А. Л. Судьба «балканских союзников» 1912–1913 годов. Взгляд из XXI столетия // Новая и новейшая история. 2013. № 4.

Русские о Сербии и сербах 2006 — Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма,

статьи, мемуары / сост. А.Л. Шемякин. СПб., 2006.

Русские о Сербии и сербах 2014 – Русские о Сербии и сербах. Т. II (архивные свидетельства) / сост. А.Л. Шемякин. М., 2014.

Троцкий 2011 – Троцкий Л. Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война. СПб., 2011.

Человек на Балканах 2011 – Человек на Балканах глазами русских / отв. ред.

Р.П. Гришина, А.Л. Шемякин. СПб., 2011.

Чириков 1913 – Чириков Е.Н. Поездка на Балканы. Заметки военного корреспондента. М., 1913.

Шемякин 2017 – Шемякин А.Л. Сербские сочинения П.А. Ровинского (первичное осмысление и перспективы исследования) // Славяноведение. 2017. № 3.

Todorova 1997 – Todorova M. Imagining the Balkans. Oxford, 1997

Rev: Ezernik B. Dikaia Evropa. Balkany glazami zapadnykh puteshestvennikov. Moscow: Lingvistika, 2017. 358 p.

Gusev Nikita S. – candidate of historical sciences, scientific researcher, Institute for Slavonic Studies, RAS (Moscow)

REFERENCES

Chelovek na Balkanakh glazami russkikh / отв. ред. R. P. Grishina, A. L. Shemiakin. St. Petersburg, 2011.

Chirikov E. N. *Poezdka na Balkany. Zametki voennogo korrespondenta*. Moscow, 1913.

Grishina R. P., Shemiakin A. L. Sud'ba "balkanskikh soizuznikov" 1912–1913 godov. Vzgljad iz XXI stoletii. *Novaia i noveishaia istoriia*. 2013. No. 4.

Russkie o Serbii i serbakh. T. 1: Pis'ma, stat'i, memuary / sost. A. L. Shemiakin. St. Petersburg, 2006.

Russkie o Serbii i serbakh. T. II (arkhivnye svidetel'stva) / sost. A. L. Shemiakin. Moscow, 2014.

Shemiakin A. L. Serbskie sochineniia P. A. Rovinskogo (pervichnoe osmyslenie i perspektivy issledovaniia). *Slavianovedenie*. 2017. No. 3.

Todorova M. *Imagining the Balkans*. Oxford, 1997

Trotskii L. *Pered istoricheskim rubezhom. Balkany i Balkanskaia voina*. St. Petersburg, 2011.

В. В. Максаков

Рец.: На войне под наполеоновским орлом. Дневник (1812–1814) и мемуары (1828–1829) вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера. М.: НЛО, 2017. 472 с.

В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Archivalia Rossica» вышла очередная книга, посвященная Отечественной войне 1812 г. — дневник и воспоминания Генриха фон Фосслера, вюртембергского обер-лейтенанта, служившего в армии Наполеона, прошедшего кампании 1812 и 1813 гг. и проведенного почти год в русском плену.

Свидетельства Генриха фон Фосслера — как и многих других участников русской кампании Великой армии — не воспринимаются как написанные в традиционном жанре записок иностранцев о России. Вюртембергский офицер не столько отмечает частное и общее, стремясь проверить на прочность мифы о полудикой стране, сколько пишет отчет о боевых действиях. Самой громкой критики у него удостоивается не Россия, а Польша, так и не ставшая, по его мнению, цивилизованной европейской страной. Любопытно, что в это время, еще далекое от «эпохи империй» (датируемой Эриком Хобсбаумом 1871–1914 гг.), очевидец явно испытывает ностальгию по империям. Так, Прусское королевство «цивилизует» Польшу, орел Французской

империи взял под свое крыло Вюртемберг, да и Россия как противник достойна уважения в своем имперском качестве, при этом автор вспоминает дни величия единой Германии. Для Генриха фон Фосслера важно само ощущение своей сопричастности к Великой армии, хотя он и отмечает столкновения между французами и солдатами союзнических контингентов.

После битвы под Лейпцигом, предопределившей поражение Наполеона и победу союзников, Вюртемберг перешел на сторону победоносной коалиции, вновь обретая могущественного покровителя в лице Российской империи.

Практически на всем протяжении записей акцент ставится на впечатлении от военных действий, а не на переживании войны. Необходимо помнить, что автор — профессиональный военный, и собственно война не вызывает у него сильных чувств. Даже масштабы Бородинской битвы переданы с помощью лаконичного перечня погибших и раненых офицеров полка, которых в тот день убыло больше, чем в любом другом сражении, где участвовал Генрих фон Фосслер. Перед нами яркая иллюстрация «милитарного» дискурса, описывающего войну как нормальное состояние. Это своего рода особый мир, живущий по своим законам и правилам.

© Максаков В. В., 2017

Максаков Владимир Валерьевич — старший преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания в начальной школе Института детства МПГУ (Москва); Houston1836@gmail.com

Нарушение привычного порядка вещей Генрих фон Фосслер отмечает в «неправильной» партизанской войне. Для обозначения ее участников он использует свой собственный неологизм «мужики-козаки», выламывающийся из традиционной военной терминологии и военного сознания. (Это, как сейчас принято говорить, «гибридное» состояние войны; можно также вспомнить, что профессиональный военный Петр Багратион именно в этой неправильности усматривал «национальный» характер Отечественной войны). Но окончательно привычный «мир» войны «по правилам» рушится в катастрофе, постигшей Великую армию во время отступления из России.

Война сама по себе не только пространство риска, но и поле различных возможностей, и, разумеется, вюртембержец не осуждает ее как явление: «...было большой наградой, что наш полк особо определен императором Наполеоном для... авангарда большой армии. Мы это чувствовали и хорошо сознавали, что перед нами открывается широкое поле для стяжания славы и чести» (с. 130). Косвенным доказательством такого отношения автора к войне служит та очевидная легкость, с которой он поменял сторону своей службы. Хотя это можно объяснить и следованием им как верноподданным за политикой своего государства — Вюртемберга. Интересно вместе с тем отметить, что антимилитаристские идеи просветителей не коснулись Генриха фон Фосслера.

Дополнительный интерес некоторым страницам воспоминаний при-

дает своеобразная работа автора с памятью. Иногда он забегает вперед и пишет, ориентируясь на то, что читателю знакомы описываемые события и известен их исход, благодаря чему он может встать на позицию не только мемуариста, но и историографа. В частности, это касается многочисленных «предчувствий» по поводу грядущей войны в России: «...солдаты пели: “мы идем в Россию, братья”». Были нетерпеливые ожидания: хотя мы и не ждали в России золотых гор, но полагали все же, что найдем в изобилии красивейших и лучших лошадей (самое горячее желание кавалериста) и пропитание» (с. 126).

Военная профессия мемуариста отчасти объясняет и его установку на объективность. В воспоминаниях Генриха фон Фосслера почти нет личных оценок, так что складывается впечатление, что они были написаны как развернутый комментарий к сухому отчету дневника, который, в свою очередь, типологически близок к журналу боевых действий. Переживание войны как трагедии проявляется и развивается в тексте по мере того, как Великая армия перестает существовать как единое целое, сплывающее солдат и офицеров. Теперь они сами — и молодой вюртембергский лейтенант в их числе — должны быть ответственны за собственное выживание: «Ибо с этого времени я больше не составлял часть большой армии и я уже ничего не могу сказать о ней, но лишь о себе как отдельном путешественнике» (с. 166), то есть даже не как о комбатанте!

Пожалуй, одна из самых интересных методологических проблем,

связанных с корпусом мемуаров о Наполеоновских войнах, состоит в том, что главная (и количественно, и качественно) часть воспоминаний написана средним командным составом. Эти офицеры были достаточно образованы, принимали самое активное участие в боевых действиях, а также не ставили перед собой цели оправдаться в тактических ошибках или военных преступлениях, что было свойственно мемуарам генералитета (к примеру, воспоминаниям маршала Эммануэля Груши). Именно «средний класс армии» оказался восприимчив и к трагедии войны, и к желанию осмыслить масштаб произошедших событий: «А и что толку, если бы у нас отняли ослеплявшие нас химеры? Не лучше ли, когда солдат радостно идет в бой, чем когда он в предвидении ужасных мук и лишений лишь нехотя следует своему ремеслу?» (с. 126). Косвенным доказательством точности этого взгляда служит то, что во французской художественной литературе, посвященной наполеоновской эпохе, рассказ о войне зачастую ведется от лица «усредненного» офицера. Таковы «Неволя и величие солдата» Альфреда де Виньи, описания битвы при Ватерлоо в «Пармской обители» Стендаля и «Отверженных» Виктора Гюго, романы Эркманн-Шатриана; а в воспоминаниях вюртембергского офицера налет военной риторики оказывается уместен только в рассказе о Бородинской битве: «Мы построились в линию и выдвинулись вперед. Нас приветствовали несколько русских пуль, впереди повсюду кипела схватка. Мы стояли под градом картечи» (с. 150).

Перелом в сознании Генриха фон Фосслера связан с посещением Бородинского поля спустя месяц после битвы: «Бессчетное количество трупов ярко свидетельствовало о том, что игра тут шла серьезная и что смерть пожала немереную жатву. Ужасное зрелище долго не отпускало меня, а страшная сцена глубоко врезалась мне в душу. И в преклонном возрасте я буду помнить о ней с содроганием» (с. 154). И раз уж профессиональный военный оказывается потрясен случившимся, то здесь трудно не вспомнить слова Льва Толстого о моральной победе русской армии, одержанной при Бородино.

Единственное поле боя, кроме Бородина, которое описывает автор – Лютцен, где Наполеон одержал одну из своих последних и уже не таких решительных побед над союзниками. Несмотря на то, что следы битвы сами по себе внушают ужас, на этот раз Генрих фон Фосслер воздерживается от такого уровня трагедийности, как при описании Бородинского поля. Возможно, в этом опять сказывается его военная самоидентификация: когда ему есть с кем разделить превратности ремесла войны, «неволю и величие солдата», так сразу же его переживания теряют личную остроту и глубину, и он вновь оказывается способен размышлять о войне прежде всего с профессиональной точки зрения. Чуть ли не единственным проявлением немецкого национализма у Генриха фон Фосслера становится специфическое наблюдение профессионального военного после битвы при Лютцене: «У нас дисциплина соблюдалась хорошо, у французов

же она была менее строгой, а итальянцы вообще безнаказанно позволяли себе любые эксцессы» (с. 189). Но еще до начала русской кампании 1812 г., по дороге к границе, вюртембержец обращает внимание на два других ратных поля, мимо которых он проезжал: при Торгау и Кунерсдорфе. В обоих случаях он хотел осмотреть памятные места поближе, но не смог из-за нехватки времени. Живя в наполеоновскую эпоху и служа в наполеоновской армии, автор вспоминает сражения Фридриха Великого. Возможно, для него это своего рода «компенсация» исторической памяти.

Нельзя не сказать о поистине исторических встречах Генриха фон Фосслера. Он несколько раз видел Наполеона, но, пожалуй, самым запоминающимся стал эпизод после Бородинской битвы: «По пути я прошел мимо императора. Он казался очень холодным и, вероятно, обещал себе блестящий успех» (с. 151). Эта по-военному лаконичная оценка согласуется со многими свидетельствами, оставленными французами в день Бородина, но привносит в хрестоматийный портрет Наполеона нежелание обнаруживать свои истинные чувства и мысли по поводу только что окончившегося сражения. На уже имевшееся представление ложится живое впечатление и о самом упорном противнике Наполеона, нанесшем ему в итоге смертельный удар, — «фельдмаршале “Вперед!”» Гебхарде Леберехте фон Блюхере, князе Вальштаттском: «...нас передали эскадрону коричневых гусар, мы прошли слева от Баутцена через главную квартиру генерала

фон Блюхера, где нас встретил верхом сам генерал в сюртуке, кивере, с длинной трубкой в зубах. Он задал мне несколько вопросов, высказавшись при этом жестко о борьбе южных немцев против северных» (с. 190). В этой сцене многое символично: она происходит у места будущей жестокой битвы, к Блюхеру, служившему в полку «Черных гусар» (№ 5), пленных подводят следующие по старшинству «Коричневые гусары» (№ 6), а сам генерал предстает будто сошедшим с одной из многочисленных батальных картин эпохи — да и говорит на тему, болезненно острую для вюртембергского офицера, которую тот старательно избегает.

К мечтам о великой Германии Генрих фон Фосслер возвращается каждый раз, когда встречается с немцами. Несмотря на политическую раздробленность германских государств, он помнит о народной общности. Под его пером немцы становятся лучшими солдатами союзников в Великой армии, а население немецких земель — мериллом цивилизованности. В свою очередь, его критика Польши с националистических позиций отсылает к утра-те Пруссией Варшавы и польских территорий. Он игнорирует и официальное наполеоновское название русского похода 1812 г. — «Вторая польская кампания», — словно не желая лишним раз упоминать о независимом польском государстве, Великом герцогстве Варшавском.

Как и во многих других свидетельствах об эпохе, вюртембергский офицер не может предложить ни-

какого «плана» объединения Германии и уж точно не представляет Рейнский союз тем ядром, вокруг которого могли собраться немецкие земли. О его слабости автор говорит прямо: французы «смотрели сверху вниз с известным гонором на рейнские союзные войска, а если те пропускали, то и издевались над ними» (с. 130). Вюртемберг занимал промежуточное положение между немецкими государствами, покоренными Наполеоном, и теми, что пользовались всеми выгодами независимого союзника (к последним относились Бавария и Саксония). Благодаря тому, что Вюртемберг обладал некоторой самостоятельностью (и даже стал королевством), он мог выставить для похода на Россию формально собственный контингент, подчинявшийся верховному командованию Великой армии только во время боевых действий. Соответственно, и Генрих фон Фосслер пошел на военную службу добровольно, а не по призыву, что позволяло ему испытывать чувство равной сопричастности к великому предприятию Наполеона. Так, чтобы вписать свою часть в состав Великой армии, вюртембергский офицер практически всегда называет ее «большой армией», к которой примыкает и его полк.

Некоторые черты сознания мемуариста в своем роде историчны — немец погружен в прошлое своей страны, он может восхищаться им и превозносить его, но путей возврата к славным дням минувшего не видит: «Живописные руины знаменитых замков... напоминают о золотом веке немецкого могущества» (с. 126). Удивительным обра-

зом этот историзм совпадает с настроениями немецких романтиков, идеализировавших старину, но не предлагавших никаких определенных мер для воссоздания Германии. В схожих с романтиками выражениях Генрих фон Фосслер описывает и традиционные «романтические» места Фридриха Гельдерлина (Швабию) и Новалиса (Йену и Саксонию), при этом словоупотребление («романтическое положение города») указывает на известный круг чтения, очевидно, сентиментальной литературы. Язык военной казуистики приходит на помощь, когда надо скрыть масштабы потерь среди офицерского состава вюртембергской армии: «На параде было объявлено о крупном производстве по службе, часть в котором перепала и мне: я был произведен в обер-лейтенанты» (с. 179) — огромная убыль офицеров прячется за словами о наградах, продвижении по службе и новых назначениях и чинах.

Яркой иллюстрацией прусского национализма служит, к примеру, авторское наблюдение о том, «как озлоблены пруссаки на тех немцев, которые еще воюют в рядах французов» (с. 185). Речь идет уже о кампании 1813 г., когда становится понятно, что дело Наполеона проиграно. Однако даже в этих условиях Генрих фон Фосслер не задумывается, на чьей стороне он воюет и почему. Образ Вюртемберга как союзника Французской империи оказывается важнее для его идентификации, чем химерические фигуры единой Германии. Дальше — больше: оказавшись в плену, автор «тщательно скрывал, что он вюртембержец,

предпочитая, чтобы его принимали за француза» (с. 192). Собственно, и плен переживается им не так трагично, как отступление из России и разложение Великой армии. Стигматизация, оставленная русским походом 1812 г., наложила отпечаток на поведение Генриха фон Фосслера, который жалуется на больной желудок и пошатнувшееся здоровье, но и получает особого рода уважение в качестве выжившего в катастрофе: «...ни один русский не испытывал ко мне более враждебности после того, как я признался, что проделал русскую кампанию» (с. 190).

Военная риторика оказывается бесцельна прежде всего в описании боевых действий. При чтении мемуаров Генриха фон Фосслера возникает ощущение, что он сам лично так и не принял действительного участия ни в одном бою. Особенно ярко это проявляется в отсутствии деталей при описании сражений Великой армии с российскими войсками: их явно недостаточно, а сами батальные полотна уступают картинам быта и нехитрым авторским размышлениям. Думается, что к этому времени еще не сложился язык описания боевых действий от первого лица. Это подтверждается и тем, что, как отмечалось, трагичность войны проявляется только в описании отступления и разложения Великой армии, когда распад армии как единого целого как будто освобождает и язык. Любопытным в этом смысле является и название воспоминаний: «Превратности моей судьбы в 1812, 1813 и 1814 годах». Кроме указания на годы военных кампаний, в этом заглавии нет

и следа военного дискурса, куда больше он напоминает традицию плутовских романов.

Особый интерес к дневнику и воспоминаниям Генриха фон Фосслера для русского читателя придает следующая заметка: «28 мая... Варварство русского полковника Круковского в отношении 2 военнопленных французов» (с. 104). Вольфганг Мерле предлагает читать вместо «Круковского» — «Крупен(н)икова», что сразу повышает ценность этого свидетельства. Дело в том, что, согласно историческому преданию, М.И. Кутузов, лежа на смертном одре в городке Бунцлау, имел свидание с императором Александром I 15 апреля. Между ними якобы состоялся следующий разговор: «Прости меня, Михаил Илларионович!» — «Я прощаю, Государь, но Россия вам этого никогда не простит». Эти слова были переданы гофмейстером Толстым, который утверждал, что слышал их от единственного свидетеля исторической сцены — некоего Крупенникова, которого впоследствии так и не смогли разыскать. Теперь же, благодаря упоминанию у Генриха фон Фосслера, хотя бы историчность фигуры Крупенникова может быть доказана.

Не со всеми положениями концептуального введения к книге можно согласиться. Так, характеризуя положение вюртембергского контингента, Вольфганг Мерле, публикатор и комментатор издания, пишет: «Задействование в качестве арьергарда в значительной степени стало причиной того, что уже в летние месяцы поход для вюртембергских войск принял фатальный

характер» (с. 18). В действительности же отвод вюртембергских и других союзнических континентов в арьергард спасал их от участия в боях с российской армией. Также трудно принять утверждение, что «Наполеон принципиально именно проблематичные задачи поручал прежде всего войскам союзников». Как известно, на всех ключевых участках Бородинского сражения (Багратионовы флеши и Курганная батарея) успеха добились собственно французские части, в составе которых были ветераны из первых трех корпусов Великой армии, где служили преимущественно этнические французы. Некорректно назван титул маршала Мишеля Нея —

«князь Московский»: все-таки битва при Бородино, за которую он его и получил, была не у стен Москвы, а на берегах Москвы-реки. Также непонятно, почему переводчики берут в кавычки такие устоявшиеся в русскоязычной традиции исторические названия, как Битва трех императоров (при Аустерлице 2 декабря 1805 г.) или Битва народов (под Лейпцигом 16–19 октября 1813 г.). Но эти замечания только иллюстрируют огромную работу, проделанную Вольфгангом Мерле, Денисом Сдвижковым, Юрием Коряковым и Андреем Поповым, благодаря усилиям которых на русском языке появился еще один ценный источник о великой эпохе 1812 г.

Rev.: Na voine pod napoleonovskim orlom. Dnevnik (1812–1814) i memuary (1828–1829) viurtembergskogo ober-leitenanta Genrikha fon Fosslera. Moscow: NLO, 2017. 472 p.

Maksakov Vladimir V. — senior lecturer of the Department of Russian language and its teaching methods in the elementary school, Institute of Childhood of Moscow State Pedagogical University (Moscow)

А. С. Стыкалин

Рец.: *Земляной С. Н.* Георг Лукач и западный марксизм / сост. и автор предисловия В. А. Подорога. М.: Канон+, 2017. 336 с.

Рецензируемый сборник — дань памяти, которую коллеги решили воздать Сергею Николаевичу Земляному (1949–2012), философу, культурологу, публицисту, первоклассному переводчику немецкоязычной философской литературы, прекрасному знатоку западного (как ортодоксального, так и не слишком ортодоксального) марксизма XX в., да и некоторых других интеллектуальных течений новейшего времени. Человек высокопрофессиональный, обладавший немалыми познаниями в истории философии, Земляной обращался в своих статьях к творчеству многих ярких (причем не только левых) интеллектуалов, оставивших след в истории европейской мысли. Но особенно его привлекали две фигуры — великий немецкий драматург и теоретик левого искусства, реформатор театра Бертольт Брехт и его частый и многолетний оппонент в эстетических спорах Георг (по-венгерски: Дьердь, или более филологически правильно — Дёрдь) Лукач, по происхождению венгерский еврей и при этом один из корифеев немецкой интеллектуальной культуры прошлого века, философ, эстетик, литературный критик, видный деятель вен-

герского и международного коммунистического движения. О Брехте и о Лукаче Земляной писал с особым удовольствием, особенно ярко и вдохновенно, с особенно глубоким погружением не только в их творческое наследие, но и в более широкий исторический, историко-философский, историко-культурный контекст, без знания которого невозможно изучить ни генезис этих двух крупных фигур европейской культуры XX в., ни их духовную эволюцию.

С. Н. Земляному принадлежит заслуга полного перевода с немецкого оригинала на русский язык и первой сделанной на должном профессиональном уровне, с научным аппаратом, русскоязычной публикации лукачевского шедевра 1923 г. «Истории и классового сознания», работы, сильно повлиявшей на Франкфуртскую школу, другие философские течения XX в. Земляной также переводил и публиковал со своими предисловиями и комментариями другие важные лукачевские работы — раннюю эссеистику из цикла «Душа и формы», известное эссе 1920-х гг. о Ленине, а также одну из позднейших его работ «Настоящее и будущее демократизации» (1968), по сути его политическое завещание. К сожалению, проблемы со здоровьем и довольно ранний уход не позволили Сергею Николаевичу реализовать все свои

© Стыкалин А. С., 2017

Стыкалин Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН (Москва); zhurslav@gmail.com

замыслы, связанные с изучением Лукача. Остались недописанными статьи, не были завершены уже начатые переводы. Так и не состоялась задуманная еще в конце 1980-х гг. интеллектуальная биография Лукача, монография о его духовной эволюции в контексте истории немецкой философской традиции и политических вызовов XX в. Частичным восполнением этого пробела можно считать рецензируемый сборник, подготовленный коллегами С. Н. Земляного по сектору института философии, где он провел последние полтора десятилетия своей творческой деятельности. Сюда вошли некоторые важнейшие статьи Сергея Николаевича о Лукаче, и в первую очередь его вступительные статьи к публикациям лукачевских работ «История и классовое сознание», «Ленин и классовая борьба», «Душа и формы», отклик на публикацию архивных документов о Лукаче, связанных в том числе и с его двухмесячным пребыванием под арестом на Лубянке летом 1941 г. Включение в сборник ряда статей, имеющих к творчеству Лукачу опосредованное отношение (и в частности, статей о Теодоре Адорно и Бертольте Брехте) представляется вполне уместным и оправданным, нисколько не противореча главному замыслу и названию всего сборника «Лукач и западный марксизм». Более того, эти работы позволяют поставить Лукача в ряд других крупных фигур левой мысли XX в. и четче обрисовать тот историко-философский и историко-культурный фон, который необходим для полноценного понимания его работ и определения его места в истории европейской и мировой

философии. Столь же концептуально оправданным, вводящим в контекст острых дискуссий середины 1920-х гг. вокруг «Истории и классового сознания» является включение в сборник статьи «Ленин и “третий путь” в России», а также интервью с академиком А. А. Гусейновым по проблемам соотношения политики и морали.

Ослабление интереса отечественного философски образованного читателя к марксистской интеллектуальной традиции, одним из ярчайших представителей которой был Георг Лукач, отнюдь не дает оснований для какого бы то ни было негативизма в отношении дальнейшего изучения обширного лукачевского наследия и публикации как тех его работ, которые никогда не выходили на русском языке, так и работ, ему посвященных. Едва ли можно, конечно, сегодня говорить о сохранении какой бы то ни было инструментально-политической актуальности текстов этого выдающегося марксиста. В свое время, при Горбачеве, санкционированная ЦК КПСС (отчасти с подачи работавшего в идеологических структурах ЦК С. Земляного) публикация на русском языке лукачевских фолиантов «Своеобразии эстетического», «К онтологии общественного бытия. Прологомены», «Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества», вопреки надеждам некоторых реформаторски настроенных партийных идеологов, так и не смогла придать свежих сил обветшавшей коммунистической доктрине, пробудить в обществе интерес к не совсем ортодоксальному, «творческому» марксизму и в этом смысле

(причем прежде всего в политическом, а не философском смысле) явилась холостым выстрелом. Сегодня работы Лукача, как и других классиков западного марксизма, тем более не могут указать никакого разумного выхода из того положения, в котором оказались российское государство и общество 2010-х. При всем при этом наследие венгерского марксиста сохраняет историко-философский интерес. Не только потому, что книга «История и классовое сознание» решающим образом повлияла на Франкфуртскую школу и стала своего рода Библией для движения «новых левых» конца 1960-х гг. Но прежде всего потому, что ученики и последователи Лукача, люди, вышедшие из его, условно говоря, школы (пусть даже ушедшие довольно далеко от некоторых базовых философских принципов своего учителя), оставили заметный след в западной мысли четырех последних десятилетий, да и сейчас продолжают участвовать в интеллектуальной жизни. Стоит упомянуть в этой связи Агнеш Хеллер, сохранившую (судя и по ее мемуарам, давно заслуживающим полной публикации на русском языке) уважение к учителю, несмотря на глубокие идейные расхождения с ним, проявившиеся еще при жизни Лукача.

Инициатором и вдохновителем подготовки сборника явился один из крупных современных отечественных философов В.А. Подорога, что само по себе говорит как о серьезности намерений, так и о гарантированности высокого уровня их исполнения. Публикация работ С.Н. Земляного предваряется текстом В.А. Подороги, воспоми-

ниями об их общей философской (аспирантской) юности и грустными размышлениями о не полной реализованности дарования Земляного, отчасти обусловленной ложной стратегией, избранной им еще в молодости, — стремлением занять позиции поближе к власти и, пользуясь этим, влиять хоть как-то на решения, принимаемые наверху. Как человек, хорошо знавший С.Н. Земляного лично, предполагаю, что им действительно могло двигать в 1970-е и особенно в 1980-е гг. благородное, но не оправдавшее себя стремление внести свой посильный вклад в обновление официального марксизма, придание ему свежих сил и т.д. Можно абсолютно согласиться с тем, что принятие на себя кем бы то ни было определенной философской роли (будь то роль марксиста или приверженца любого другого учения) или тем более политической роли (пусть коммуниста, а может быть, либерала или консерватора) неизбежно ведет к идеологической предвзятости, несовместимой с поиском истины.

Впрочем, иногда в связи с С. Земляным приходилось слышать о том, что, работая в аппарате ЦК КПСС и пытаясь уже по факту места своей службы постоянно демонстрировать лояльность власти, было не так уж сложно доказывать свою веру в идеалы «левого марксизма». Но едва ли это так. Ведь, скажем, в бурном на события 1968 г. любые стремления к неконтролируемой Кремлем «левизне» воспринимались официальной Москвой прежде всего как потенциальная угроза дестабилизации собственного режима, а потому им были поставлены жесткие пре-

грады. Левые протестные движения на Западе, одним из идейных источников которых послужила, как уже было сказано, лукачевская «История и классовое сознание», не были поддержаны Советским Союзом даже в качестве инструмента ослабления противоположного лагеря. Интересы советской и западной элит тут до известной степени совпадали. Как генерал де Голль в мае 1968 г. во Франции, так и Брежнев в августе того же года (вопреки всем нормам международного права) в союзнической Чехословакии своими силовыми акциями поддержали status quo послевоенного мирового порядка. Это отвечало в конечном итоге и интересам США, чьи лидеры не предприняли никаких серьезных шагов для противодействия масштабной военной акции ряда стран-участниц Организации Варшавского договора. Обеим сверхдержавам было в то время важнее сохранить существующее равновесие в системе международных отношений, нежели оказать поддержку антисистемным, бунтарским, левацким движениям в противоположном стане. На фоне этого видимого «сговора сверхдержав», вылившегося со временем в Хельсинкское соглашение 1975 г., в качестве единственной внесистемной силы в глобальном миропорядке воспринимался маоистский Китай, и «левый марксизм» ассоциировался на Старой площади не столько с небритыми хиппи, читавшими молодого Лукача, сколько с почти ничего не знавшими об этом венгерском философе заклятыми китайскими друзьями, с которыми в марте 1969 г. дело чуть не дошло до полномасштабной войны. В кадаровской Венгрии, гражданином которой

был Лукач, социализм обладал несколько более человеческим лицом, чем в брежневском СССР, но даже там в 1971 г. сажали диссидентов не либеральной, а именно ультралевой ориентации. А престарелый, больной раком 86-летний Лукач, давно отрекшийся от своих идеалов 20-х гг., за три месяца до смерти заступался перед Кадаром за посаженных венгерских маоистов, выступая отнюдь не как их единомышленник, а с позиций общечеловеческой системы ценностей, дающей человеку право на выражение своих взглядов (см. доступную и в Интернете переписку Лукача и Кадара, опубликованную на русском языке в питерской «Звезде», 2011, № 3).

Вообще, что касается Лукача, то в кабинетах на Старой площади его не любили активно, причем в позднее советское время он однозначно воспринимался не как левый, а как правый ревизионист, одного поля ягода с Эрнстом Фишером и ему подобными. Если в родной Венгрии в интересах укрепления позиций марксизма, повышения внимания к нему интеллигенции идеи позднего Лукача (пусть не все) уже в 1960-е гг. были не только востребованы властью, но совершенно официально интегрированы в идеологию коммунистического режима, то в СССР ничего подобного не происходило. В 1965 г. в отделе культуры ЦК КПСС было принято решение не отмечать в советской прессе 80-летний юбилей крупнейшего живущего полуортодоксального философа-марксиста. И даже лукачевская статья 1967 г. о мировом (не только политическом, но и культурном) значении Октябрьской революции

в России ждала своей публикации в СССР аж до осени 1987 г. Более чем скептическая (пусть не выраженная в громких публичных заявлениях) позиция Лукача, занятая им в августе 1968 г. в связи с военным вмешательством СССР и ряда его союзников в Чехословакии, только усилила неприязнь идеологов КПСС к венгерскому марксисту. Осенью 1968 г. и несколько позже по поручению аппарата ЦК в гуманитарных академических институтах Москвы составлялись длинные записки с выводом о том, что в канун 100-летия со дня рождения Ленина стоило бы давать особенно жесткий отпор некоторым людям на Западе (включая идеологов итальянской компартии), которые «возьмели наглость» называть Лукача в пику Ленину крупнейшим марксистом XX в. Одну из таких записок, дающую некоторое представление об отношении к Лукачу советского идеологического истеблишмента, написал в октябре 1968 г. по заказу ЦК виднейший официальный литературовед А. Дымшиц, имевший с «лукачианством» и лукачианцами свои давние счёты (см. этот и другие тексты того времени в: *Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Европа: документы и материалы последней трети XX века. Т. 1. Начало 1970-х — первая половина 1980-х годов.* Спб.: Алетейя, 2012). Аналогичные записки, пусть в менее воинственном стиле, писались и в связи со 100-летием со дня рождения Лукача весной 1985 г., в первые месяцы горбачевской эпохи, когда Сергей Николаевич Земляной уже давно ходил по цэковским коридорам и выступал в роли спичрайтера. Сам же

Лукач после подавления Пражской весны, не перестав считать себя марксистом, в то же время вплотную подошел к мысли о нереформируемости социализма советского образца, о неудаче эксперимента, начатого в 1917 г. в России.

Своими планами издания на русском языке работ Лукача, а также написания интеллектуальной биографии великого венгерского марксиста в широком историческом, историко-культурном и историко-философском контексте С.Н. Земляной неоднократно делился с автором этих строк. Делился он ими и с Иштваном Эрши (1931–2005), одним из учеников Дьердя Лукача: их единственная встреча и беседа состоялась в июне 2004 г. в стенах венгерского культурного центра в Москве на Поварской. Известный венгерский интеллектуал (не только классный переводчик текстов Гегеля на свой родной язык, но и преуспевающий драматург, чьи пьесы ставились и в России) незадолго до кончины был приглашен в Москву поделиться воспоминаниями о драматических событиях будапештской осени 1956 г., участие в которых стоило ему не одного года тюремного заключения. И тут у нас возникла экспромтом идея провести с ним еще один вечер — поговорить о Лукаче, актуальности его наследия в XXI в. Не обошлось, конечно, без Сергея Николаевича, чье участие в беседе не то чтобы подняло ее на иную интеллектуальную высоту, но скорее приблизило к происходящему здесь и сейчас, за окном, к тому, чем жила Россия первых путинских лет, какие опасения и иллюзии овладевали в те дни людьми, склонными к независимому мышлению.

Запомнились две беседы с Сергеем Николаевичем. В ходе одной из них, сразу после дискуссии на кружке ярых поклонников М.А. Лифшица, жестко раскритикованный там за «недооценку» роли Лифшица в мировой философии XX в. и довольно сильно этим расстроенный, он говорил мне за кружкой пива на Мясницкой об опасности интеллектуального сектантства, которому отдал дань в свое время и молодой Лукач — но преодолел его (пусть даже и ценой немалых интеллектуальных утрат). Мы говорили тогда с Земляным о нетерпимости зрелого Лукача (последовательного марксиста) к коммунистическому сектантству, о том, что и в современном западном коммунизме ему импонировали люди, умеющие говорить на языке, доступном массам, например Тольятти, политик, оказавшийся способным сделать свои идеалы достоянием не узкой секты единомышленников и даже не нескольких сотен людей, а не менее трех миллионов соотечественников. Еще одна беседа с Земляным состоялась года через три. Я делился с ним своим отношением к весьма неплохой, на мой взгляд, кандидатской диссертации о Лукаче ростовского коллеги С.П. Поцелуева, защищенной в начале 1990-х. Говорил о том, что меня, как человека более заземленного (в конце концов, не философа, а историка), не устраивает

в этой работе лишь одно: когда ее читаешь, создается впечатление, что Первой мировой войны вообще не было, а если и была, то Лукач ее почему-то не заметил: что ему, философу, до этих эмпирий, он, наверно, заперся в комнате без окон и отдался воле высоких абстракций. Но было ли это похоже на Лукача? Довольно близко знавший его человек, классик венгерской литературы Дюла Ийеш (1902–1983) вспоминал слова Лукача, сказанные им чуть ли не в последний год жизни: я только потому смог 70 лет заниматься философией, что у меня с юности сложилось железное правило — я никогда не увлекался самокопанием, вся моя мысль всегда и исключительно была направлена только на внешний объект. Земляной внимательно выслушал, с доброй усмешкой спросил: «Ну а меня вы, я надеюсь, не упрекаете в том, что я не заметил бы влияния мировых войн на мысль Лукача и Брехта?» — «Да нет, конечно, что Вы, Сергей Николаевич». Через четверть часа мы попрощались, и эта наша встреча оказалась последней...

Публикация книги С. Н. Земляного о Дьерде Лукаче кажется особенно своевременной в год 100-летия революции в России, осмысление исторического значения которой этот выдающийся венгерский философ-марксист считал одним из главных дел своей жизни.

Rev.: Zemlianoi S. N. Georg Lukach i zapadni marksizm / sost. i avtor predisloviia V. A. Podoroga. Moscow: Kanon, 2017. 336 p.

Stykalin Aleksandr S. — candidate of historical sciences, coordinating researcher of the Department of history of Slavic peoples of the period of the World Wars, Institute for Slavonic Studies, RAS (Moscow)

А. А. Тесля

ИВАН АКСАКОВ КАК ИЗДАТЕЛЬ «РУСИ»

Рец.: *Бадалян Д. А.* «Колокол призывный»: Иван Аксаков в русской журналистике конца 1870-х — первой половины 1880-х годов. СПб.: ООО «Издательство «Росток»», 2016. 360 с.: илл.

Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886) на протяжении десятилетий, с начала 1860-х гг. и вплоть до кончины, являлся одним из наиболее заметных и влиятельных российских публицистов. При этом надобно отметить природу этой «влиятельности»: она состояла отнюдь не в особой популярности его изданий: газеты «День» (1861–1865) и «Русь» (1880–1886), издававшиеся им, и газета «Москва» (1867–1868), им редактировавшаяся, не могли особенно похвалиться своими тиражами: в период наибольшего успеха «Руси», в первый год ее существования, общий тираж номера составлял порядка 7000 экземпляров (с. 48–49). Не стоит, разумеется, преуменьшать распространенность аксаковских газет (достаточно напомнить, что тираж катковских «Московских

Ведомостей» был немногим выше, и это с учетом обязательной подписки), однако отнюдь не в непосредственной распространенности аксаковских изданий заключалось их общественное влияние — не голос Аксакова приобретал значимость как издателя газеты, но, напротив, газета имела значимость как издаваемая им. И «День», и «Русь» являлись по преимуществу «личными органами», как определял и сам издатель.

Реальный масштаб фигуры Ивана Аксакова для прошлого русской общественной мысли вырисовывается в историографии достаточно поздно: первые специально посвященные ему монографические исследования появляются лишь в 1960–1970-х гг. — в эти годы выходят известные работы С. Лукашевича (*Lukashevich* 1965) и Н. И. Цимбаева (*Цимбаев* 1978), а с 1980-х начинается стабильный рост числа исследований, ему посвященных. Позволительно, видимо, сказать, что в последние годы наметился

© Тесля А. А., 2017

Тесля Андрей Александрович — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта (Калининград); mestr81@gmail.com

переход от работ, стремящихся обрисовать деятельность И. Аксакова в целом, дать очерк этой фигуры и обозначить ее место в русской политической, общественной и интеллектуальной жизни¹, к более узким по своей цели исследованиям, посвященным специальному изучению отдельных сторон его жизни — в этом проявляется осознание масштаба и разносторонности его деятельности и интеллектуальных интересов.

К числу работ второго рода принадлежит и рассматриваемая нами книга — монография Д. А. Бадаляна посвящена рассмотрению деятельности И. Аксакова как редактора газеты «Русь». Разумеется, как уже было отмечено нами выше, публицистика была для Аксакова инструментом политического действия, а газета служила трибуной для выражения славянофильских воззрений на самые разнообразные вопросы как русской, так и мировой жизни — однако этот широкий контекст учитывается автором, но является предметом рассмотрения лишь в той степени, в какой непосредственно относится к истории журналистики. Вместе с тем рассматриваемая работа не является и историей газеты «Русь», которую еще только предстоит написать, — ее предмет именно история Аксакова как издателя и редактора «Руси».

Исследователь обстоятельно демонстрирует, что аксаковское издание не носило коммерческого

характера, будучи политическим, идеологическим предприятием — для Аксакова задачей было в первую очередь обеспечить покрытие расходов, поскольку он не располагал сколько-нибудь значительным состоянием и не мог позволить себе вести газету в убыток, но «Русь» не рассматривалась им как значимый источник дохода. Более того, в случаях, когда Аксаков считал это необходимым по условиям момента, он принимал решения, с издательской точки зрения убыточные или по крайней мере не доходные: так, вместо обещанных читателям двух листов, газета стала выходить в трех, при неизменной цене, в марте 1881 г., после гибели Александра II, были выпущены «особые прибавления», о причине появления которых Аксаков писал сестре Софье:

«Я не могу молчать, форма еженед[ельной] газеты в этих случаях неудобна, и я на этой неделе выпущу, кроме обычного субботнего №, особые прибавления с моими статьями во вторник и четверг» (письмо от 8 марта, с. 48).

Характеризуя динамику выражения общественной позиции Аксакова в 1880-е гг., Бадалян совершенно справедливо отмечает ее обусловленность меняющейся ситуацией — если в 1880–1881 гг. полемика преимущественно ведется с «либеральными» изданиями, объектами критики выступает «петербургский либерализм», не говоря уже о более крайних направлениях, то в дальнейшем острие критических высказываний оказывается направлено в противоположную сторону — угроза осуществления пагубных,

¹ К этому числу принадлежит, в частности, работа (Фурсова 2006); ценный свод биографических сведений представлен в издании: (Аксаков 2009–2015).

с точки зрения Аксакова, стремлений «либерального лагеря» сходит на нет, нужда в тактическом союзе с противниками «лжелибералов» и радикалов отпадает, тогда как все более актуальной оказывается угроза реакции. Уже на исходе декабря 1881 г. Аксаков пишет В. Ф. Пуцковичу, издателю берлинского «Русского гражданина»:

«Если для России существует опасность, так в реакции, возобновлении репрессивных мер, ложащихся всегда всею своею тяжестью на честных людей. [...] Всякая реакция репрессивного свойства расчищает место для нигилизма» (с. 36).

При этом открытой конфронтации Аксаков старается избегать. Так, до мая 1882 г., до столкновения по поводу Земского собора, он воздерживался от полемики с Катковым, а радикальное прямое столкновение приходится только на февраль 1884 г., когда Аксаков выступит с громкой статьей против попыток принципиального пересмотра судебных уставов, напомнив о дореформенных судах, в которых царила «воистину мерзость запустения на месте святе!» (см. с. 278–288). В целом же пик полемики с «консервативными и официозными органами» приходится на последний год издания «Руси» (с. 293 и сл.) — они и следуют за сложностями по цензурной части, и одновременно вызывают новые — завершившиеся знаменитым «первым предостережением» «Руси» в конце ноября 1885 г., так что, как отмечает исследователь, «становятся понятны слова Страхова и Гилярова-Платонова, которые констатировали

в 1886 г., что для себя Аксаков умер вовремя» (с. 185). О. Ф. Миллер, профессор Петербургского университета, сотрудник «Руси» и, после кончины Аксакова, деятельный помощник вдовы в деле подготовки издания сочинений публициста, записал в дневнике в 1887 г. со слов А. Ф. Аксаковой, что ее мужа «было окончательное разочарование в том, кому вверена нынче судьба России и в честность и русское чувство которого он долго не переставал верить» (с. 183–184); а за десять дней до получения официального предостережения Аксаков писал Н. Н. Страхову:

«Я чувствую себя нравственно нехорошо, словно будто масла не хватает уж в моей лампе. Нет охоты ни писать, ни бороться; чувствуешь, что настоящий переживаемый нами период — долгий период и что его ничем не сократишь [...]» (письмо от 16 ноября 1885 г., с. 89).

Сильной стороной работы является обилие использованных материалов, в первую очередь архивных — они позволили раскрыть целый ряд ранее неизвестных или известных лишь весьма частично вопросов из истории издания. В первую очередь это относится к цензурной истории «Руси», которой посвящена вторая из трех глав монографии. Весьма интересен анализ отношений с цензурой в министерстве Н. П. Игнатьева: во-первых, Бадалян убедительно подтверждает тот тезис, что Аксаков, поддерживая политику Игнатьева, в то же время действовал автономно — сохранение своей независимости было для него основным приоритетом;

во-вторых, продемонстрировано, насколько Главное управление по делам печати (ГУДП) было автономно от министра, которому оно официально подчинялось, — действия ГУДП определялись разнообразными факторами, в частности влиянием Победоносцева, и министр в этом случае мог применять власть по своему усмотрению в весьма ограниченных пределах (с. 147–158). Особо исследователь касается мер экономического воздействия на издания — если «Русь» не подвергалась никогда наиболее ощутительной из числа этих мер, запрещению на розничную продажу, то администрация воздействовала на издание другими способами: так, в начале 1884 г. распоряжением попечителей Виленского и Киевского учебных округов подчиненным им заведениям была воспрещена подписка на газету Аксакова (с. 171) — видимо, это был ответ Министерства народного просвещения (МНП) на публикацию в № 19 «Руси» за 1883 г. корреспонденции «Vox clamantis in deserto!»² О печальном положении школьного дела в Северо-Западном крае» (с. 159).

Не лишена работа и некоторых недостатков, к числу которых относится слабость теоретической проработки оценки политической позиции И. Аксакова в ситуации конца 1870-х — первой половины 1880-х. Сосредоточиться на этом аспекте нас вынуждает то обстоятельство, что именно решение вопроса о характеристике политических взглядов Аксакова этого периода автор избрал в качестве «рамочно-

го» вопроса своего исследования, начав его с инвентаризации существующих исследовательских позиций и закончив вынесением собственного суждения, состоящего в следующем:

«Очевидно, пытаясь примерить на фигуру Аксакова, да и на всех славянофилов, наряды либералов или консерваторов, мы не приближаемся к пониманию их идей, их мировоззрения, а [...] лишь демонстрируем несостоятельность в условиях российских реалий понятий, заимствованных из иной политической сферы» (с. 315).

Увы, хотя речь и идет о «понятиях», однако введение, где обзревается взгляды предшествующих исследователей, демонстрирует лишь процедуру терминологической инвентаризации — из него читатель узнает, кто и как в предыдущие годы *называл* позицию Аксакова, однако то, какой смысл вкладывался конкретными исследователями в понятие «либерала» или «консерватора», что выступало для них основным классифицирующим признаком, позволяющим осуществить отнесение данного персонажа к тому или иному политическому лагерю, остается за скобками, хотя очевидно, что из различного понимания природы и сущности, например, «консерватизма» вытекает и совершенно различное решение вопроса о том, как будет верно характеризовать идеологическую принадлежность конкретного издания или лица. Более того, полагая очевидным неприменимость к И. Аксакову, как и ко всем славянофилам, понятий «либералов или консерваторов»,

² Глас вопиющего в пустыне (*лат.*).

автор воздерживается от того, чтобы в свою очередь эксплицитным образом дать определение этих понятий, в результате чего остается не вполне ясным, в чем именно видится автору препятствие к применению этих понятий для характеристики социально-политических воззрений русских мыслителей и публицистов. Не находя «в условиях российских реалий» чистых типов, автор делает вывод о неприменимости последних к первой; но позволим себе заметить, что чистых типов он не найдет себе и ни в какой другой реальности, поскольку они служат (1) инструментом политического (само)соотнесения и (2) инструментом теоретического анализа. Но даже если согласиться с неприменимостью данного концептуального аппарата (трех «больших идеологий» XIX в.) к «российским реалиям», то и в этом случае невозможно довольствоваться простым указанием на их неадекватность — осмысленный разговор предполагает предложение некой концептуальной альтернативы, в противном случае перед нами остается лишь слепое многообразие эмпирических данных.

Отмеченная концептуальная слабость имеет многообразные последствия уже собственно эмпирического плана: так, анализируя полемику вокруг «увенчания здания», развернувшуюся в 1880–1881 гг., исследователь пишет, что «оппоненты “Руси” [...] заменяли обсуждение конституционной проблемы в целом дискуссией о ее частных случаях (личных правах и свободах). Причиной тому нельзя признать только цензурные обстоятельства. Ведь Аксаков начал

разговор со своими оппонентами именно на их “легальном”, эвфемистическом языке. Но его оппоненты предпочли реагировать так, словно они и не догадывались, что значит “венчать здание”» (с. 236–237); и далее автор приводит цитату из письма И. Аксакова к В.И. Ламанскому от 4 января 1881, где первый именует А.Д. Градовского «просто тупицей». Не входя в обсуждение интеллектуальных качеств А.Д. Градовского, приходится отметить, что, по крайней мере со своей точки зрения, оппоненты Аксакова были вполне последовательны и отнюдь не «заменяли обсуждение», т.е. не осуществляли подмену предмета дискуссии: в рамках логики А.Д. Градовского и его единомышленников вопрос о личных правах и свободах был непосредственно связан с вопросом о конституции в смысле введения народного представительства, поскольку только через последнее, на их взгляд, можно обеспечить личные права и свободы, в противном случае остающиеся «голым правом», т.е. не имеющим юридической защиты. Разумеется, с этой позицией возможно не соглашаться, но отказывать ей в логичности было бы странно, тогда как вопрос, адресуемый Аксакову его оппонентами с этой стороны заключался в том, как возможно совместить ценные и провозглашаемые им свободы (например, свободы слова, свободы печати) с отсутствием эффективных правовых гарантий, обеспечиваемых народным представительством, т.е. как раз «увенчанием здания».

Стремление избегать теоретического анализа мстит за себя и тем, что за рамками монографии оказывает

ся вся проблематика национализма, что оборачивается слепым пятном в самом центре исследования, ведь «Русь» определяла себя как газету «русского направления», а в резолюции, послужившей основанием для вынесения предостережения газете в ноябре 1885 г. за недостаток «истинного патриотизма», Александр III писал:

«Все эти господа думают, что они *истинно русские* и кроме их никого нет. Должно быть, они и меня считают немцем или чухонцем. – Слишком легко достается им этот балаганный патриотизм, а к тому же не они отвечают за последствия. Уж я не дам России в беду!» (с. 176).

В результате масса ценных наблюдений, рассеянных по тексту, так и остается частными замечаниями, не сводимыми в единое целое. Отметим, что этот недостаток проявляется именно из-за заданной самим автором рамки: будучи по существу замечательным исследованием деятельности Аксакова-журналиста в последний период его жизни, внося большой вклад в наши знания о подробностях истории политической борьбы первых лет царствования Александра III, формально работа имеет в качестве основного вопрос, расходящийся с теми конкретными проблемами, на которых она сфокусирована. Здесь, на наш взгляд, позволительно видеть расхождение между общей нормативной рамкой, предъявляемой к монографии, и собственным исследовательским интересом автора: если первая предполагает наличие масштабных общих выводов, теоретического заключения, то второй сосредоточен

на рассмотрении конкретных, частных сюжетов – и согласование этих двух целей осуществляется чисто внешним способом.

В заключение отметим, что исследование Д.А. Бадаляна – одна из наиболее ценных работ последних полутора десятков лет, посвященных И. Аксакову, дающая богатый и разнообразный материал о русской журналистике и связанных с нею аспектах политической и общественной жизни конца 1870-х – первой половины 1880-х гг., впервые обращаясь к целому ряду тем, ранее находившихся на периферии научного внимания. В частности, большой интерес представляет проделанный анализ откликов на Аксакова и аксаковское издание в сатирических изданиях, в книге воспроизведены и пять наиболее любопытных карикатур из повременных изданий того времени. Примечательно авторское наблюдение, что сам Аксаков весьма терпимо относился к подобного рода публикациям и не обращался с жалобами в цензурное ведомство по их поводу, тогда как Катков ни разу не становился объектом подобных изображений, надобно полагать, в силу опасения издателей юмористических журналов относительно их возможных последствий.

«Колокол призывный» Д. Бадаляна – тонкое, тщательно выстроенное исследование, проникнутое глубокой любовью и вкусом к детали, демонстрирующее высокое умение в немногих словах показать сложный контекст событий и подчеркнуть существенное – замечательный образчик плотного исторического анализа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Аксаков 2009–2015 – Аксаков Иван Сергеевич: Материалы для летописи жизни и творчества. Вып. 1–6. 1823–1886 / под ред. С. В. Мотина. Уфа, 2009–2015.

Фурсова 2006 – Фурсова Е. Б. И. С. Аксаков: апология народности и самодержавия. М., 2006.

Цимбаев 1978 – Цимбаев Н. И. И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978.

Lukashevich 1965 – Lukashevich S. Ivan Akaskov, 1823–1886: A Study in Russian Thought and Politics. Cambridge (Mass.), 1965.

IVAN AKSAKOV AS THE PUBLISHER OF «RUS»

Rev.: Badalian D. A. "Kolokol prizyvnyi": Ivan Aksakov v russkoi zhurnalistike kontsa 1870-kh — pervoi poloviny 1880-kh godov. St. Petersburg: OOO "Izdatel'stvo "Rostok", 2016. 360 p.: ill.

Teslya Andrei A. – candidate of philosophical sciences, senior researcher of Institute for the Humanities of Immanuel Kant Baltic Federal University (IKFBU) (Kaliningrad)

REFERENCES

Aksakov Ivan Sergeevich: Materialy dlia letopisi zhizni i tvorchestva. Вып. 1–6. 1823–1886 / pod red. S. V. Motina. Ufa, 2009–2015.

Fursova E. B. *I. S. Aksakov: apologiia narodnosti i samoderzhaviiia.* Moscow, 2006.

Lukashevich S. *Ivan Akaskov, 1823–1886: A Study in Russian Thought and Politics.* Cambridge (Mass.), 1965.

Tsimbaev N. I. *I. S. Aksakov v obshchestvennoi zhizni poreformennoi Rossii.* Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1978.

В. А. Китаев

Рец.: Либерализм: pro et contra. Русская либеральная традиция глазами сторонников и противников: антология / сост., вступ. статья, коммент. В. А. Гуророва, сост., послесловие Р. В. Светлова. СПб.: РХГА, 2016. 981 с. (Русский Путь)

Книжная серия «Русский Путь», хорошо известная по сквозному подзаголовку «pro et contra», пополнилась томом, посвященным русскому либерализму и его идейным оппонентам. Перед нами – первый опыт антологического представления рецепции либеральной идеологии на российской почве.

Открывается том внушительной по объему (более ста страниц) вступительной статьей «Российский либерализм как исторический и политический феномен: от утопии к реальности», написанной В. А. Гуроровым. Автор не спешит с погружением читателя в проблематику истории русского либерализма. Он подводит к ней не спеша, предлагая немалое число интересных суждений о природе и сущности либерального феномена пока безотносительно к России. Все они базируются на западной исследовательской традиции. Наибольший интерес, как нам показалось, представляет попытка В. А. Гуророва решить вопрос о классификации либерализма. Эта немаловажная проблема займет свое место и в собственно «россий-

ской» части статьи. Завершает же автор свои наблюдения об исторической судьбе либерализма на Западе констатацией нарастания уже с конца XIX в. серьезно угрожающих ему враждебных настроений. Эта тенденция стала особенно очевидной на рубеже XX–XXI вв., что позволяет говорить о «хрупкости» либеральной идеологии.

В статье В. А. Гуророва не найти даже схематического наброска истории либерализма в России. Он предпочитает говорить, прежде всего, о некоторых особенностях российского либерального дискурса. Одна из важнейших его черт, полагает он, заключается в том, что «либерализм в XVIII–XX вв. развивался именно как ответная реакция на нападки со стороны более мощных консервативных, а в дальнейшем и социалистических конкурентов и противников» (с. 45). Русская либеральная политическая философия XIX в., возникшая как продолжение традиций дворянской культуры, неизбежно провоцировала формирование «сверхмощного антилиберального интеллектуального поля», где доминировала идея «об антинародном характере либерализма, в рамках которой “народ” противопоставлялся “образованному обществу”, “интеллигенции” или “публике»» (с. 52–53). «Внешние контуры» этого поля были впервые

© Китаев В. А., 2017

Китаев Владимир Анатольевич – доктор исторических наук, профессор кафедры информационных технологий в гуманитарных исследованиях, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород); vlakit2@mail.ru

определены, по мнению автора, П. Я. Чаадаевым. С него начинается длинный ряд оппонентов либерализма справа и слева.

В. А. Гуторов хотел бы упорядочить картину бытования отечественного либерализма с помощью современной типологии, но вынужден признать, что создание таковой является чрезвычайно трудной задачей. Ни западные, ни отечественные исследователи, по его мнению, не смогли до сегодняшнего дня предложить что-либо убедительное по этой части, комбинируя «поверхностное классификаторство с более или менее пристальным вниманием к тем или иным мыслителям, персонифицирующим либеральное направление русской общественной мысли» (с. 70).

Сам же он, в конце концов, находит «наиболее перспективные» классификационные предложения в работах В. В. Леонтовича и А. Валицкого. В «Истории либерализма в России» Леонтовича его привлекло понятие «либеральный абсолютизм», с помощью которого там характеризуется законодательная деятельность Екатерины II и М. М. Сперанского. Из «Философии права русского либерализма» Валицкого берутся на вооружение понятия «классический либерализм», «новый либерализм» и «правовой социализм» — в них отражаются различные стадии развития русского либерализма во второй половине XIX — начале XX в. И все же автор статьи вынужден признать, что создание «всеобщей типологии» либерализма в России пока преждевременно.

Как один из составителей антологии В. А. Гуторов, конечно, не мог не чувствовать особой остроты проблемы персонификации русского либерализма. А она тянула за собой необходимость решения такого немаловажного вопроса, как определение времени начала либеральной традиции в России. В статье не называются имена родоначальников либерализма как направления общественной мысли. Только в комментариях к первому разделу к «провозвестникам либерализма» будет причислен Т. Н. Грановский (с. 859). При этом нетрудно заметить, сколь велика для ее автора притягательность идей Карамзина. А задается она — это очевидно — трактовкой идейного наследства этого мыслителя в работах В. В. Леонтовича и Ю. М. Лотмана. Леонтович, как известно, решительно отлучил от либерализма Радищева и декабристов и предпринял первую попытку вписать в его историю имя Карамзина. Его консервативный либерализм стал, по мнению Леонтовича, явлением истинного либерализма. В конце своего творческого пути Ю. М. Лотман также порвал с идущей еще от А. Н. Пыпина традицией видеть во взглядах зрелого Карамзина исключительно «фанатический консерватизм», «программу застоя и реакции».

«В конечном итоге можно утверждать, — пишет В. А. Гуторов, — что идеи Карамзина не только во многом предопределяли характер эволюции русского либерализма XIX в., но и вполне созвучны и даже аутентичны идеям Кавелина в политическом, историческом, а в определенном смысле и чисто

теоретическом аспектах, несмотря на всю их парадоксальность» (с. 108). Стремление того и другого «преодолеть политику» на российской почве, оказывается, созвучно даже одному из направлений современной западной политической философии, которое также отвергает политику и предлагает «новую концепцию либерализма за пределами политического поля» (с. 110).

Читателя, поверившего в то, что комплекс карамзинских идей следует воспринимать в качестве корневого явления в истории русского либерализма, подстерегает все-таки одно испытание. Заглянув в биографическую справку о Карамзине в комментариях, он обнаружит нечто иное: «один из основоположников русского консерватизма», «обосновал концепцию русского самодержавия и сформулировал ставшие классическими принципы русского консерватизма» (с. 910–911).

Так когда же все-таки началась либеральная мысль в России? Прямого ответа на этот вопрос в статье нет. Наличествуют только две хронологические отсылки, которые могли бы хоть как-то прояснить позицию автора. В одном месте утверждается, что «либерализм развивался в XVIII–XX вв.» (с. 45). В другом, применительно к 1880 г., будет сказано, что он знаменует собой вершину и одновременно итог *векового* (выделено нами. — В. К.) спора сторонников либеральной традиции и их принципиальных противников» (с. 114). Из этого следует, что на исходе третьей четверти XVIII в. в России заявили о себе как сторонники, так и противники либерализ-

ма. Но тогда кто они и почему автор молчит об этой коллизии? И что представлял собой по содержанию «докарамзинский» либерализм? Напрашивается и еще один вопрос автору: не поспешил ли он с утверждением о наступлении в 1880 г. «итога» в борьбе между либералами и их противниками?

Если книга, как говорится в аннотации к ней, действительно адресована не только специалистам, но и широкому кругу читателей, то последней категории явно не хватит здесь хотя бы самого краткого экскурса в историю русского либерализма. Вполне уместным было бы назвать формы воплощения либерального феномена: направление общественной мысли, часть общественного движения, либеральная политика и, наконец, либеральные учреждения. Просилась в статью и прорисовка основных линий идейного противоборства консерваторов и радикалов с их общим врагом.

Автор весьма щедр в представлении мыслителей «антилиберального поля», пространно транслирует их мнения (с. 53–63). Главным же «виновникам торжества» — либералам отводится более скромное место. Заметно, что В. А. Гуторов предпочитает иметь дело с так называемыми «консервативными либералами» (А. Д. Градовский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, П. Б. Струве), которые неуловимо превращаются под его пером в «либеральных консерваторов» (с. 78, 80). Смысл этой трансформации, как, впрочем, и содержание понятия «консервативный либерализм», остается без объяснения. По меньшей мере трое

из названной четверки (Кавелин, Чичерин, Струве) пережили серьезную эволюцию взглядов в рамках своего либерализма. Опять-таки остается неясным, какие периоды их идейных биографий берутся В.А. Гуторовым в качестве отправных, базовых.

Читатель, открывший том с убеждением, что его составители преследуют исключительно научно-просветительскую цель, будет обескуражен. Не один десяток страниц вступительной статьи посвящен дискредитации российского либерализма. Ее автор с открытым забралом выступает на стороне «contra». Этим и объясняется если не его расположение, то терпимость только к наиболее умеренным проявлениям либерального в России XIX в.

Введение начинается с обвинения либералов в подготовке двух российских катастроф XX в. — 1917 г. и начала 1990-х гг. Досталось и гайдаровскому «неолиберальному» проекту реформирования России, «одной из целей которого было уничтожение России как мировой державы и превращение ее в сырьевой придаток Запада» (с. 77). В финальной части В.А. Гуторов, как и в начале, утверждает: нет «реальных перспектив воплощения в жизнь либеральной программы реформ в современной России» (114). У Чернышевского он нашел «универсальную формулу, суть которой состоит в полнейшей несовместимости либеральной политической философии с реальными народными потребностями и чаяниями в любой стране, достигшей хотя бы минимальной ступени ци-

вилизованного развития» (с. 63). На обложке книги — фотография Б.Н. Ельцина на танке. Это оформительское решение поначалу озадачивает. Но уже первые абзацы статьи В.А. Гуторова говорят о том, что оно совсем не случайно и призвано усилить антилиберальную доминанту.

Враждебное отношение к либерализму у «главного конструктора» тома облачено, как правило, в одежды respectable философичности. Но в результатах работы составителей эта тенденция прорывается иногда в самом что ни на есть вульгарном облики. Так, в биографической справке о П.А. Вяземском (см. комментарии) на помощь в деле ниспровержения либералов призваны масоны. Они внедрились в декабристское движение («масоны-декабристы»). Оказывается, даже идейное наследие В.Г. Белинского было «либерально-масонским», а в 1850–1870-е гг. в России существовали «либерально-масонские органы печати» (с. 930–931). Качество такого «компромата» не назовешь высоким!

Еще один пример плоского упрощения. В комментарии к сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Либерал» можно прочитать: «Сатирик нарисовал верный портрет не только российского либерала 80-х гг., но и вообще всякого либерала, в конечном счете заканчивающего свой путь действиями “применительно к подлости”. От робкого выпрашивания реформ у правительства до предательства и смыкания с реакцией — таков путь либерала в щедринской сказке и такова вооб-

ще эволюция русского буржуазного либерализма» (с. 896). Этот комментарий несет на себе печать явно советского происхождения, от него веет ленинской непримиримостью.

В нашу задачу не входит обсуждение идеологического выбора, который сделал для себя В. А. Гуторов и пространно манифестирует его в своей статье. Заметим только, что установка на максимально возможную объективность, равноудаленность от «за» и «против» позволила бы заметно поднять научный уровень характеристики отправного в данном случае явления русской общественной мысли. К сожалению, и в небольшой статье Р. В. Светлова «Либерализм как простая структура?», закрывающей том и посвященной, казалось бы, чисто теоретической проблеме, дело не обошлось без инвектив по адресу «империализма либеральных держав» и пр.

Что же представляет собой собственно антологическое наполнение тома? Совокупность выбранных для публикации текстов структурирована пятью разделами: «Либерализм в историческом преломлении», «Типология либерализма», «Либеральный конституционализм», «Либералы и общество», «Споры о Пушкине». Это решение требовало, конечно же, аргументации. Но составители предпочли молчание, хотя попытка объяснить могла бы снять немалое число вопросов. Теперь о каждом разделе по порядку.

Первый из них — «Либерализм в историческом преломлении» — включает десять текстов, принадлежа-

щих шести авторам. Либералы представлены Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным, А. Д. Градовским, П. Н. Милоковым. Их противники — И. В. Киреевским и А. И. Герценом. Хронологический охват подборки: от конца 30-х гг. XIX в. до начала 30-х гг. XX в. Первый вопрос, который хочется адресовать составителям еще до знакомства с содержанием раздела, касается его названия. Как следует понимать его смысл? Это заявка на историю русского либерализма или попытка представить либеральное и антилиберальное видение истории России? «На месте» выясняется, что имеется в виду все-таки второе.

В построении такого сложного раздела не может быть, как нам кажется, одного, идеального решения. Поэтому разговор об убедительности выбора материалов для него, предложенного составителями, не имеет большого значения. Остановимся только на одном случае, который можно квалифицировать если не как их ошибку, то как серьезное упущение.

Концепцию истории России К. Д. Кавелина призван представить его реферат «Историческое значение освобождения крестьян в России», прочитанный для боннских профессоров во время его пребывания за границей в 1862–1864 гг. Но это произведение недостаточно репрезентативно для понимания особенностей его исторических воззрений. Историософское кредо западничества запечатлела, как известно, статья Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (1847 г.). Результат

значительной эволюции взглядов историка нашел отражение в другой статье — «Мысли и заметки о русской истории» (1866 г.), которую он называл своей «лебединой песней в области русской истории». В ней можно найти немало признаков того, что Кавелин отступил с позиций либерального западничества 40-х гг. Боннское выступление отразило всего лишь переходное состояние, в котором пребывали его исторические представления. Таким образом, логичнее было бы все-таки обратиться к «Взгляду» 1847 г. и прокомментировать дальнейшее движение Кавелина в сторону славянофильства.

Название второго раздела — «Типология либерализма» — сразу же заставляет вспомнить, что было сказано по этой проблеме во вступительной статье. При всем своем скепсисе в отношении ее решаемости В. А. Гурторов, как мы уже знаем, все-таки склонялся к принятию классификационной схемы, предложенной А. Валицким. Поэтому ждешь, что содержание раздела будет сориентировано на нее. Однако это ожидание не оправдывается.

Статья Б. Н. Чичерина «Различные виды либерализма» (1861 г.), открывающая раздел, предлагает всего лишь ситуационно-поведенческое разделение либерального лагеря — по отношению к власти (в зависимости от того, какой внутривнутриполитический курс она в данный момент проводит), а также по степени серьезности либеральных устремлений. Такая группировка верна, как говорится, «на все времена». Сам Чичерин, как известно, на протяжении

своей общественно-политической деятельности безболезненно менял роли «оппозиционного» и «охранительного» либерала. В 1861 г. он еще не мог предугадать сущностные метаморфозы, которые ждали в самом недалеком будущем либеральное мышление в России. Все эти «тонкости» требовали, конечно же, комментирования.

Как бы интересны ни были наблюдения А. Д. Градовского об умирании западничества, о примиряющем воздействии на либералов и славянофилов реформ Александра II, они бьют все-таки мимо цели. То же самое можно сказать о желании Н. А. Бердяева видеть сочетание либерализма с другими идеологическими началами — «с более глубоким, не внешним консерватизмом» и «социальным реформизмом». Ничего типологического (в научном смысле понятия) тем более нет в памфлетных характеристиках либералов, принадлежащих М. Е. Салтыкову-Щедрину и В. П. Мещерскому.

Даже в том случае, если составители ставили перед собой скромную задачу — обойтись в третьем разделе «Либеральный конституционализм» минимумом эпизодов противостояния либеральных конституционалистов и их антиподов, он выглядит крайне бедным. Антиномической пары «Сперанский — Карамзин» явно недостаточно. Между тем можно было бы документировать достаточно длительный период в истории российского либерализма, который характеризуется враждебным отношением части самих либералов к конституционным требованиям

(К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин). Имелась возможность отразить процесс его нарастания в последней четверти XIX в. с помощью выступлений И.И. Петрункевича, М.М. Стасюлевича, позднего Б.Н. Чичерина. Политическому завещанию Чичерина — книге «Россия накануне двадцатого столетия», являющейся, безусловно, конституционным манифестом, — оппонировали в 1903–1904 гг. поздние славянофилы А.А. Киреев и Ф.Д. Самарин. Этот эпизод мог здесь занять свое законное место.

Вопрос о смыслополагании применительно к названию раздела, а затем и к его составу еще раз возникает, когда начинаешь знакомство с содержанием самой большей части тома — «*Либералы и общество*» (8 авторов, 14 текстов). Что имели в виду в данном случае составители? Ведь эта формулировка шире, объемнее, чем название тома. Такая неопределенность мешает хоть как-то оценить сделанное здесь В.А. Гүторовым и Р.В. Светловым.

Содержательное ядро заключительной, пятой части антологии — «*Вокруг Пушкина*» — составляют пушкинская речь Ф.М. Достоевского 8 (20) июня 1880 г., полемика писателя с А.Д. Градовским по ее поводу, а также «*Письмо Ф.М. Достоевскому*» К.Д. Кавелина, подключившегося к их диалогу. Если речь Достоевского действительно была пушкинской по своему содержанию, то возникший в связи с ней спор ушел далеко от оценки значения поэта для русской культуры. В центре его оказался вопрос о судьбе двух частей национального

самосознания — славянофильства и западничества. Обсуждение именно этой проблемы и оправдывало включение названных текстов в антологию. Тогда правильной было бы назвать раздел «*Вокруг пушкинской речи Ф.М. Достоевского*».

Как попытка усилить собственно пушкинское начало воспринимается помещение здесь же статьи С.Л. Франка «*Пушкин как политический мыслитель*». При всем том, что ее автор констатирует бесспорный консерватизм социально-политических взглядов позднего Пушкина, статья все-таки далека от существа той проблемы, вокруг которой «ломали копьё» Достоевский, Градовский и Кавелин.

Завершим впечатления от публикаторской части тома двумя соображениями. Думается, что совсем не лишними были бы вводные заметки к каждому из антологических разделов. Они нужны для объяснения замысла составителей в каждом конкретном случае. В комментариях следовало четко отделить собственную работу от того, что заимствовано из изданий, которые послужили источниками текстов, выбранных для включения в том. Требовалось избавиться здесь от устаревших, примитивных оценок и формулировок.

Нет спору, составители антологии проделали большую работу. В.А. Гүторову и Р.В. Светлову пришлось преодолеть немало трудностей, главная из которых, как нам представляется, состояла в освоении нового для них материала. Завершая же разговор о книге,

напомним, как руководители проекта «Русский Путь» определяют его назначение: он должен «нести в себе как научно-образовательную ценность, так и жизненно важный духовный смысл» (с. 6). Не берем-ся определять, насколько успешно рецензируемый том решает вторую

задачу, и тем более пускаться в рассуждения о возможности (или невозможности) провозглашенного двуединства. Если же судить только о научно-образовательной ценности рецензируемого издания, то она могла быть гораздо более бесспорной.

Rev.: Liberalizm: pro et contra. Russkaia liberal'naia traditsiia glazami storonnikov i protivnikov: antologiiia / sost., vstup. stat'ia, komment. V. A. Gutorova, sost., posleslovie R. V. Svetlova. St. Petersburg: RKhGA, 2016. 981 p. (Russkii Put').

Kitaev Vladimir A. — doctor of historical sciences, professor of the Department of Information Technologies in the Humanities, Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Nizhny Novgorod)

М. В. Моисеев

ЗОЛОТАЯ ОРДА ПОСЛЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ?

Рец.: *Рахимзянов Б. Р.* Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV–XVI вв. СПб.: Евразия, 2016. 396 с.

В 2016 г. в Санкт-Петербургском издательстве «Евразия» вышла монография известного казанского историка Булата Раимовича Рахимзянова «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV–XVI вв.». Во введении автор четко определил свою исследовательскую задачу не как «выявление и вынос на суд читателя каких-либо принципиально новых фактов и источников», а как акцентацию — «привлечение взора читателя к тем явлениям, которые, несмотря на свою принципиальность для проблематики, не получили должного внимания в историографии» (с. 10). В целом же автор предлагает все-таки не просто «акцентацию», но целостную концепцию развития взаимоотношений Московского государства с татарскими государствами, образовавшимися в результате гибели Золотой Орды. И это, на мой взгляд, придает книге особое значение, особенно если учесть, что наша историография бедна концептуальными работами по татарской проблематике. По-

этому я сосредоточу свое внимание на анализе предложенной концептуальной системы, а не фактографии.

Ценность любой концепции заключается в ее объяснении тех или иных фактов. Если объясняющая модель удовлетворительно проясняет ход событий, то она безусловно полезна, если же у нее есть уязвимые места, то стоит сосредоточиться на преодолении этой слабости или же вовсе отказаться от нее. Что предлагает автор? Во-первых, автор вводит понятие «татарский мир», понимая совокупность государств, образовавшихся на обломках Золотой Орды как некое единство. Но так ли это? К сожалению, автор нигде это единство не объясняет и не обосновывает. Ряд разрозненных данных позволяют усомниться в историчности «татарского мира», по крайней мере для XV–XVI вв. В материалах посольских книг до нас дошли сведения о подозрительном отношении кочевников к жителям городов. Так, крымцы и ногаи характеризовали Казань и Астрахань как «злая земля». Схожее отношение фиксируется и в дастане «Шора-батыр», хотя острое недоверия в нем направлено на власти Казанского ханства: «Перед ханскими воротами Казани — не стой!

© Моисеев М. В., 2017

Моисеев Максим Владимирович — кандидат исторических наук, зав. сектором отдела «Музей Археологии Москвы» ГБУК г. Москвы «Музейное объединение “Музей Москвы”» (Москва); maksi-moisee@yandex.ru

Казанские вельможи пожелают подкупить тебя золотом — не бери!» (Сикалиев 1994: 67–68). Летописные данные не раз указывают на напряжение в отношениях коренной знати Казанского ханства и пришлого окружения ханов. Враждебные отношения были и у мангытов Большой Орды с мангытскими Ногайской Орды. Стоит напомнить жир Шал-Кийиз Тиленши-улы: «Когда смотрю на свою Десятиудельную ногайскую родину, Вижу ненавистного Окас-мирзу, Ненавистники-злодеи, Собравшись, что-то замышляют. И вижу, как этот несчастный мир Опрокинулся в омут» (Тренилов 2016: 88). Впрочем, не только фольклорные данные, но и сообщения посольских книг указывают на факты внутрплеменной вражды. То есть можно утверждать, что «татарский мир» как некое единство в XVI в. не мыслился самими татарами. (*Я не удивлюсь, что представления об единстве татар могло начать формироваться в XVII–XVIII вв.*). Память об общем происхождении, родоплеменные связи создавали некое «татарское» пространство, внутри которого были свободные перемещения, но силы взаимного отторжения были отнюдь не слабее, а временами и сильнее.

Автор пишет о позднезолотоордынском периоде. Само это понятие связано с тезисом, высказанным Коллинс, согласно которому Большая Орда после катастрофы 1502 г. была поглощена Крымским ханством (Collins 1970: 270). Это обстоятельство привело к тому, что Крым стал наследником власти и претензий Престольного владения (с. 57, 76, 79), а, соответственно, в системе

отношений с другими восточноевропейскими государствами ничего не изменилось, сменился лишь сюзерен. Такая концепция вызывает значительное число вопросов и возражений. Во-первых, И. В. Зайцев убедительно показал, что Большая Орда не исчезла, а лишь, уменьшившись территориально, превратилась в Астраханское ханство (Зайцев 2006: 30–62), таким образом формально Крымское ханство не могло унаследовать статус Престольной державы, так как сама держава сохранилась. Надо сказать, что понимание тождества Астраханского ханства и Большой Орды отразилось в русско-польской дипломатической переписке 60-х гг. XVI в. И этот факт, с моей точки зрения, показывает, что претензии ханов Крыма на верховенство в восточноевропейском регионе не имели опоры на традицию и вряд ли обладали сколь-нибудь убедительным легитимирующим характером. Легко заметить, что это подтверждает и ход событий. Так, уже в начале XVI в. начался затяжной ногайско-крымский конфликт. Правители Ногайской Орды имели свою точку зрения на вопрос гегемонии в регионе. Уже в 1530-х гг. они предлагают себя на эту роль, утверждая, что они-де захватили кочевья Большой Орды и де-факто являются носителями ее политических традиций! Так что система аргументации Коллинс и Рахимзянова совсем не нова, и по праву одним из ее родоначальников можно считать бия ногаев Саид-Ахмеда. Однако, как и сейчас, эта аргументация наталкивалась на факт существования Астраханского ханства. И если современные историки элегантно умалчивают о нем, то политики XVI в. вынуждены были

искать другие решения. В целом, не рассматривая все факторы, можно утверждать, что для подтверждения своих гегемонистских амбиций и Крымскому ханству, и Ногайской Орде приходилось подчинять себе Астрахань. Итак, первое возражение сводится к следующему тезису: наличие Астрахани, как реального наследника Большой Орды, делало претензии на гегемонию со стороны Крымского ханства не легитимными и, соответственно, никем не признавалось.

Само по себе утверждение о позднезолотоордынском периоде предлагает нам рассматривать историю восточноевропейского региона как некий континуум, никогда не изменяющийся, что вообще представляется идеалистической посылкой, согласно которой все эти сообщества вообще не развивались и отношения между ними не изменялись!

Стоит заметить, что Булат Рахимзянов в своем исследовании оперирует понятиями легитимизма. Так, он, например, пишет: «В мотивации Василия по представлению приюта сыновьям хана инициатива, скорее всего, исходила не от него, а от самих Тохтамышевичей, которые не нуждались в разрешении на въезд на подвластные территории как **легитимные** наследники трона» (с. 38). Но что такое легитимность в системе власти Чингизидов? Т.И. Султанов блестяще показал, что во внутридинастических распрях Чингизидов легитимность — это право сильного (Султанов 2006), никаких законов, закрепляющих право на трон среди разросшихся ветвей «золотого рода» за какой-то

одной семьей, просто не было! Более того, распространять практику свободного приезда в Московское государство на весь этот период абсолютно не правомерно. А.Л. Хорошкевич еще в своей работе 1987 г. показала, что на рубеже XV–XVI вв. появился особый тип документов — «крепостные»/«крепкие» грамоты, регламентировавшие эмиграцию татарских династов (Хорошкевич 1989: 77–78). Следовательно, рассуждения автора рецензируемой монографии не учитывают ни истории самих постордынских государств, ни особенностей престолонаследия Чингизидов, ни развития отношений татарских государств с Москвой.

В своих построениях автор исходит из концепции «харизмы» Чингизидов, предложенной Т.Д. Скрынниковой. Но что понимает под «харизмой» известная санкт-петербургская исследовательница? С ее точки зрения, это умение верховного правителя «обеспечить благорасположение со стороны Неба и других сверхъестественных сил», отсюда и две функции «харизмы»: сохранение жизни правителя и — благоденствие социума (Крадин, Скрынникова 2006: 304). Легко заметить, что «харизма» тесно связана со жреческими функциями монгольских правителей — посредников между обществом и Небом-Тенгри (Там же: 295). Б.Р. Рахимзянов же предлагает свое понимание уже ставшего устойчивым термина: «харизмой обладал тот, кто одерживал победу в военных сражениях» (с. 107). Легко заметить, что подобное прочтение «харизмы» хотя и кажется вытекающим из приведенного выше, все же игнорирует

ее жреческое содержание и, следовательно, представляется не обоснованным. Надо понимать, что если монгольские ханы вполне могли обладать «харизмой» как жрецы Тенгри, то уже золотоордынские ханы-мусульмане никак ими быть не могли. Это во-первых. А во-вторых, актуализация «харизмы» сопровождалась вполне ясными ритуалами. Наиболее отчетливо это демонстрирует ритуал возведения на престол, когда претендента поднимали на белой кошме. Масса случаев приведена Т.Д. Скрынниковой, более того, она отмечает этот ритуал еще в XV в. (*Крадин, Скрынникова* 2006: 309–313), интересно, что А.Н. Самойлович в работе 1912 г. указывал на шаманский обряд завораживания бунчуков еще в начале XVI в. в Средней Азии (*Самойлович* 2005: 575–578), то есть у нас есть данные о сохранении «тенгризма» в среде мусульманизированных кочевников. И именно поэтому, казалось бы, автор рецензируемой монографии должен был попробовать выявить факты, говорящие о практике «харизмы» в постзолотоордынское время, но, увы, почему-то этого не делает. Таким образом, интересная посылка исследователя оказывается ничем не подкрепленным суждением, хотя в этом случае мы все-таки имеем дело не с аксиомой, а с теоремой. Впрочем, даже если мы согласимся с его прочтением «харизмы», стоит понять — насколько неизменной субстанцией она воспринималась самими татарами и разделялась ли она Московским государством. И здесь у нас есть конкретные данные, чтобы усомниться в бесспорности этого тезиса. Р. Ю. Почекаев

в своей недавней книге как раз таки указывает на процесс постепенной утери «харизмы» и связывает его с: а) фактом принятия монгольскими государствами мировых религий (ислама и буддизма) и б) фактом утери этими государствами независимости в течение XVI–XIX вв. Все это приводило к тому, что «новые» факторы легитимации вступали в противоречие со «старыми» (*Почекаев* 2016: 244–245), то есть той самой «харизмой». В конце концов, практика возведения марионеточных ханов Мамаем, Тимуром, Эдиге, да и литовскими, а позднее московскими князьями — это все звенья одного процесса: утери «харизмы» Чингизидами. Со всей полнотой этот процесс демонстрирует практика легитимации власти у ногаев, досконально исследованная В.В. Трепавловым. Суть этой практики заключалась в следующем: Эдигеичи избирали на ханский престол кого-нибудь из Чингизидов, а те уже возводили их в достоинство биев, передавая им верховную власть в Ногайской Орде (*Трепавлов* 1995: 203; 1997: 182–183; 2002: 90–119). Важно, что ногаи постепенно отказывались от этой практики. Уже в конце XV в. Муса, бий Ногайской Орды, смог обойтись без подставного монарха, а Саид-Ахмед, правитель Орды в 1530-е гг., непосредственно посягнул «на управленческую монополию Чингисидов» (*Трепавлов* 2016: 171). То есть с XIV в. начинается изживание «чингизизма» как легитимирующего фактора в борьбе за власть на пространстве «*Rax Mongolica*». Что же касается московского понимания всех этих нюансов и, как следствие, включенности русских земель в этот мир, то

здесь мы вплотную подходим к рассмотрению еще двух важных для автора рецензируемой монографии тезисов.

Тезис первый. Б.Р. Рахимзянов совершенно справедливо пишет, что «базисом» в русско-татарских отношениях был сам факт их завоевания монголами в XIII в. (Рахимзянов 2017: 381–387). Тезис второй. «Москва была внутренним игроком позднезолотоордынской политической сцены» (с. 234). Конечно, оспаривать тот факт, что завоевание и последующая длительная зависимость оказывали существенное влияние на дизайн и содержание отношений, было бы непростительной глупостью. Но! Почему-то автор игнорирует другой факт, а именно процесс интеллектуального изживания этого влияния. В историографии уже давно установлено, что в течение 2-й половины XV в. московские книжники последовательно вырабатывали концепцию нелегитимности самого факта власти ордынских ханов над Рюриковичами. В наиболее последовательной и резкой форме эта точка зрения была выражена в послании Вассиана Рыло на Угру великому князю Ивану III (Горский 1996: 205–212; 2000: 164–174; 2001: 191–218). И хотя, по мнению А. А. Горского, концепция Вассиана и была излишне категоричной, то впоследствии московские интеллектуалы все же пересмотрели сам факт ордынско-русских отношений в уже победоносном для русских контексте, что нашло отражение в памятниках позднего летописания. Сам этот процесс в общих чертах завершился в 20-е

гг. XVI в. Суть этой манипуляции заключалась в следующем. В ряде летописей происходила замена половцев на татар, а затем, уже отталиваясь от сообщений ранних летописей о победах князя Всеволода Большое Гнездо, утверждалось, что он-де «имал дань на татарех» (Монсеев 2010: 396, прим. 8, 401–402). Таким образом, легенда о «всеволодовой дани» удревняла сами русско-татарские отношения, и в итоге поражения XIII в. становились всего лишь частным случаем в общем-то победной для русских истории¹. Конечно, эти возражения можно отвести, заявив, что книжные фантомы не оказывали влияния на geopolitik, но и это не так! Московские интеллектуалы вырабатывали концепцию подчиненности ряда татарских государств (например, Казанского ханства) на основе факта их шертования в верности московским князьям. В конце концов, Ф. И. Карпов 19 июня 1537 г. заявил ногайским послам: «И нам государь един Бог, а братья нам — турецкой салтан и иные цари» (Посольские книги 1995: 194), то есть очевидно, что уже к этому времени московский политикум избавился от «ордынского комплекса». В этом же русле находилась и вовсе не комплиментарная татарам идея принадлежности русским Поволжья. Наверное, единственным не затронутым

¹ В памятниках официального летописания происходило удревнение данничества волжских болгар русским, относя его ко временам Владимира Святого и даже... Кия. Весьма любопытно, что в своде митрополита Даниила, легшего в основу Никоновской летописи, волжские болгары отождествляются с казанцами (Pelenski 1974: 97–103; Ерусалимский 2006: 317).

этими интеллектуальными новациями татарским государством оставалось Крымское ханство, но и в отношениях с ним в Москве, как это показала А. Л. Хорошкевич, исходили из отнюдь не подчиненных соображений. В целом говорить о включенности Московского государства в постордынский мир можно лишь с серьезной натяжкой. Скорее вернее говорить о конфликте ордынских традиций с изменившейся расстановкой сил на тогдашней шахматной доске геополитики. Удивительно, что автор, рассуждая о диалектике, почему-то видит эти отношения и восприятия как нечто неизменное, хотя имеющиеся у нас источники демонстрируют как раз обратное. Эти изменения фиксируются абсолютно во всем. Появляются новые типы документов, регулирующие взаимоотношения, изменяется статус послов, исчезает институт киличеев. Если еще во 2-й половине XV в. русские летописи фиксируют факты личных связей между татарскими и русскими аристократами², то уже в начале XVI в. ничего подобного мы не видим. Да и само убеждение (кстати, ставшее почти общим местом), что русские прекрасно ориентировались в степных реалиях, тоже в реальности является беспочвенным. На это указывает

² Очевидно хрестоматийным примером может служить история спора о московском престоле между князем Василием Васильевичем и его дядей князем Юрием Дмитриевичем в Орде. В ходе выяснения законности прав обоих претендентов большую личную заинтересованность проявили ордынские аристократы. Более того, сторонник звенигородского князя ширин Тягиня обещал ему великое княжение и вместе с ним откочевал в Крым (ПСРЛ: 15–16; *Селезнев* 2013: 236).

практика возведения московскими властями на казанский престол большеордынских султанов. Дело в том, если бы в Москве в действительности ориентировались в этих реалиях, то у великокняжеской власти был бы большой простор для маневра, однако нет. Москвичи исходили из своего понимания старшинства потомства Кучук-Мухаммеда среди Чингизидов и считали этот факт достаточным условием для возведения их на престол, несмотря на стойкое их неприятие казанскими нобилиями. Хотя было же очевидно, что именно они были повинны в утере сарайского трона Улуг-Мухаммедом, который в итоге со своим окружением нашел приют в Казани!

Итак, завершая наш обзор (далеко не полный) монографии Б. Р. Рахимзянова, уместно подвести определенный итог. Его монография без сомнения является серьезным событием в нашей историографии. Автор предложил свой целостный взгляд на историю отношений Московского государства и постордынских стран. Вне всякого сомнения, ряд его наблюдений имеют смысл. Есть и интересные исследовательские ходы, например, попытка понять механизмы тогдашней политики через личные характеристики ее участников (например, с. 97). Не лишено резона и такое утверждение автора: «Вместо попыток интегрировать мусульманскую элиту в московскую социальную систему Москва воспроизвела степной институт — юрт — на территории самого Московского государства» (с. 92). Идея эта в определенном смысле перекликается с выводами

А.В. Белякова о Чингизидах как «лишних людях», то есть не вписанных в сложившуюся социальную систему, но остается вопрос, что это за «степной институт юрт», который был воспроизведен в Московском государстве. И, увы, четкого ответа Б.Р. Рахимзянов в своей книге все-таки не дал. Не вызывает возражения и утверждение, что после 1502 г. необходимости поддерживать союзные отношения между Московским государством и Крымским ханством уже не было (с. 101). А вот вывод, что сразу после коллапса Большой Орды началось русско-крымское противостояние (с. 101), нуждается в корректировке. С моей точки зрения, ключевыми здесь стали события 1519–1521 гг. Более того, события 1521 г. ознаменовали кардинальную смену расстановки сил в поволжской системе международных отношений. Равновесие, которое установилось после 1502 г., характеризующееся несколькими центрами силы, оказалось окончательно разрушено. Теперь отношения в регионе будут иметь подчеркнутый вид противостояния Русского государства и Крымского ханства.

Не может быть безоговорочно принят и тезис о «татарском мире», так как силы конкуренции и взаимного отторжения имели слишком большое влияние на внутритатарские отношения. Очевидно, в наших дальнейших исследованиях мы должны делать поправку на имевшую место инерцию некогда единого политического и этнического единства, но все же предавать забвению факты внутреннего противоборства тоже нельзя. Важными факторами при дальнейшем изучении

межтатарских отношений должны стать факты взаимных претензий на условное «ордынское наследие», но при этом нельзя упускать из виду степень понимания Московским государством сути этой борьбы. Именно эта «серая» область политической культуры того времени должна стать объектом наших изысканий. Иначе говоря, мы должны поставить следующие вопросы: а) что знали в Москве о истории татар, б) как они ее понимали и в) какие практические и теоретические выводы делали. Крайне существенным станет изучение проблемы «дизайна» этих отношений. Ведь очевидно, что в ряде случаев в них мы сталкиваемся с откровенно унижительными и непаритетными практиками. Но о чем это говорит? О сохранившейся ли зависимости или о инерции исторической памяти и, как следствие, политической практики? Поднятая автором проблема «харизмы» Чингизидов позднезолотоордынского и постордынского периода должна найти свое решение в анализе систем символизма власти и символической коммуникации, изучении ритуалов. Эти и другие вопросы должны стать основными при новом обращении к этой теме.

Таким образом, несмотря на все замечания к монографии Б.Р. Рахимзянова, следует признать, что эта книга имеет этапный характер. Значение ее не столько в интерпретации фактов, к чему могут быть справедливые претензии, а в ее провакативном характере. Автор взял на себя смелость дать объяснения различным процессам, протекавшим на территории бывшей

Золотой Орды, иногда даже при недостатке фактологии. Именно в этом, а не только в избранных объяснительных моделях, главная слабая сторона рецензируемой книги, но в этом и кроется ее достоинство. Поэтому, несмотря на неприятие ряда тезисов исследователя, хочется поздравить автора с выходом в свет его монографии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

Горский 1996 – *Горский А. А.* О титуле «царь» в средневековой Руси (до сер. XVI в.) // *Одиссей. Человек в истории.* 1996. М., 1996. С. 205–212.

Горский 2000 – *Горский А. А.* *Москва и Орда.* М.: Наука, 2000. 214 с.

Горский 2001 – *Горский А. А.* «Повесть о убиении Батыея» и русская литература 70-х годов XV в. // *Средневековая Русь.* М.: Индрик, 2001. Вып. 3. С. 191–218.

Ерусалимский 2006 – *Ерусалимский К. Ю.* Исторические ехемпра Посольского приказа // *Труды кафедры истории России с древнейших времен до XX века.* СПб., 2006. С. 307–328.

Зайцев 2006 – *Зайцев И. В.* Астраханское ханство (2-е изд.). М., 2006. 303 с.

Крадин, Скрынникова 2006 – *Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д.* Империя Чингис-хана. М., 2006. 557 с.

Моисеев 2010 – *Моисеев М. В.* Обоснование прав на Казанское ханство в русском средневековом нарративе // *Мининские чтения: Труды участников международной научной конференции. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (24–25 октября 2008 г.).* Нижний Новгород, 2010. С. 395–402

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 12. 272 с.

Посольские книги 1995 – *Посольские книги по связям России с Ногайской*

Ордой 1489–1549 гг. Махачкала, 1995. 356 с.

Почекаев 2016 – *Почекаев Р. Ю.* Узурпаторы и самозванцы «степных империй». История тюрко-монгольских государств в переворотах, мятежах и иностранных завоеваниях. СПб., 2016. 378 с.

Рахимзянов 2017 – *Рахимзянов Б. Р.* Базис и эволюция отношений «Орда – Москва» (XIII–XVII вв.) // XIII Фаизхановские чтения. Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов Евразии. М., 2017. С. 381–387

Самойлович 2005 – *Самойлович А. Н.* Монголо-шаманский обряд завораживания бунчуков в начале XVI в. // *Самойлович А. Н.* Тюркское языкознание. Филология. Руника. М., 2005. С. 575–578.

Селезнев 2013 – *Селезнев Ю. В.* Русские князья в составе правящей элиты Джучиева Улуса в XIII–XV веках. Воронеж, 2013. 472 с.

Сикалиев 1994 – *Сикалиев А. И.-М.* Ногайский героический эпос. Черкесск, 1994. 328 с.

Султанов 2006 – *Султанов Т. И.* Чингизхан и Чингизиды. Судьба и власть. М., 2006. 445 с.

Трепавлов 1995 – *Трепавлов В. В.* Ногайская альтернатива: от государства к вождеству и обратно // *Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток,* 1995. С. 199–208.

Трепавлов 1997 – *Трепавлов В. В.* Сибирско-ногайские отношения в XV–XVII вв. (основные этапы и закономерности) // *Взаимоотношения народов России, Сибири и стран Востока: история и современность. Кн. 2.* М.; Иркутск: Бгу, 1997. С. 180–186.

Трепавлов 2002 – *Трепавлов В. В.* История Ногайской Орды. М., 2002. 752 с.

Трепавлов 2016 – *Трепавлов В. В.* История Ногайской Орды (2-е изд.). Казань, 2016. 763 с.

Хорошкевич 1989 – Хорошкевич А.Л. «Крепостная» или «крепкая» грамота // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования, 1987. М., 1989. С. 77–84.

Collins 1970 – Collins L. The fall Shaikh Ahmed Khan and the fate of the people of the Great Horde. London, 1970. 323 p.

Pelenski 1974 – Pelenski J. Russia and Kazan: Conquest and Imperial Ideology. Paris: The Hague Mouton, 1974. 368 p.

GOLDEN HORDE AFTER THE GOLDEN HORDE?

Rev.: Rakhimzianov B. R. Moskva i tatarskii mir: sotrudnichestvo i protivostoianie v epokhu peremen, XV–XVI vv. St. Petersburg: Evraziia, 2016. 396 p.

Moiseev Maxim V. – candidate of historical sciences, Head of Sector, Museum of Archeology of Moscow, Moscow city museum (Moscow)

REFERENCES

Collins L. *The fall Shaikh Ahmed Khan and the fate of the people of the Great Horde*. London, 1970. 323 p.

Erusalimskii K.Iu. Istoricheskie exempla Posol'skogo prikaza. *Trudy kafedry istorii Rossii s drevneishikh vremen do XX veka*. St. Petersburg, 2006. P. 307–328.

Gorskii A.A. *Moskva i Orda*. Moscow: Nauka, 2000. 214 p.

Gorskii A.A. O titule "tsar" v srednevekovoi Rusi (do ser. XVI v.). *Odissei. Chelovek v istorii*. 1996. Moscow, 1996. P. 205–212.

Gorskii A.A. "Povest' o ubienii Batiya' i russkaia literatura 70-kh godov XV v. *Srednevekovaia Rus'*. Moscow: Indrik, 2001. Vyp. 3. P. 191–218.

Khoroshkevich A.L. "Krepostnaia' ili "krepkaia' грамота. *Drevneishie gosudarstva na territorii SSSR. Materialy i issledovaniia*, 1987. Moscow, 1989. P. 77–84.

Kradin N.N., Skrynnikova T.D. *Imperiia Chingis-khana*. Moscow, 2006. 557 p.

Moiseev M. V. Obosnovanie prav na Kazanskoe khanstvo v russkom srednevekovom narrative. *Mininskii chteniia: Trudy uchastnikov mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Nizhegorodskii gosudarstvennyi universitet im.*

N. I. Lobachevskogo (24–25 oktiabria 2008 g.). Nizhnii Novgorod, 2010. P. 395–402

Pelenski J. *Russia and Kazan: Conquest and Imperial Ideology*. Paris: The Hague Mouton, 1974. 368 p.

Pochekaev R.Iu. *Uzrpatory i samozvantsy "stepnykh imperii". Istoriia turko-mongol'skikh gosudarstv v perevorotakh, miatezhakh i inostrannykh zavoevaniakh*. St. Petersburg, 2016. 378 p.

Polnoe sobranie russkikh letopisei. Moscow, 2000. Vol. 12. 272 p.

Posol'skie knigi po sviaziam Rossii s Nogaiskoi Ordoi 1489–1549 gg. Makhachkala, 1995. 356 p.

Rakhimzianov B.R. Baza i evoliutsiia ot-noshenii "Orda – Moskva" (XIII–XVII vv.). *XIII Faizkhanovskie chteniia. Nasledie Zolotoi Ordy v gosudarstvennosti i kul'turnykh traditsiakh narodov Evrazii*. Moscow, 2017. P. 381–387

Samoilovich A.N. Mongolo-shamanski obriad zavorazhivaniia bunchukov v nachale XVI v. *Samoilovich A. N. Turkskoe iazykoznanie. Filologiya. Runika*. Moscow, 2005. P. 575–578.

Seleznev Iu.V. *Russkie kniaz'ia v sostave praviashchei elity Dzhuchieva Ulusa v XIII–XV vekakh*. Voronezh, 2013. 472 p.

- Sikaliev A. I.-M. *Nogaiskii gericheskiĭ epos*. Cherkessk, 1994. 328 p.
- Sultanov T. I. *Chingiz-khan i Chingizidy. Sud'ba i vlast'*. Moscow, 2006. 445 p.
- Trepavlov V. V. *Istoriia Nogaiskoi Ordy*. Moscow, 2002. 752 p.
- Trepavlov V. V. *Istoriia Nogaiskoi Ordy* (2-e izd.). Kazan', 2016. 763 p.
- Trepavlov V. V. Nogaiskaia al'ternativa: ot gosudarstva k vozhdstvu i obratno. *Al'ternativnye puti k rannei gosudarstvennosti*. Vladivostok, 1995. P. 199–208.
- Trepavlov V. V. Sibirsko-nogaiskie otnosheniia v XV–XVII vv. (osnovnye etapy i zakonomernosti). *Vzaimootnosheniia narodov Rossii, Sibiri i stran Vostoka: istoriia i sovremenost'*. Kn. 2. Moscow; Irkutsk: Bgu, 1997. P. 180–186.
- Zaitsev I. V. *Astrakhanskoe khanstvo* (2-e izd.). Moscow, 2006. 303 p.

От редакции: Приносим извинения Михаилу Абрамовичу Давыдову за неакадемический стиль рецензии М. И. Роднова, опубликованной нашим журналом¹.

М. А. Давыдов

ПО ПОВОДУ РЕЦЕНЗИИ М. И. РОДНОВА (письмо в редакцию)

Заметьте, не я это предложил!

Леонид Зорин

Я прочитал мнение М. И. Роднова о моей монографии «20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-Столыпина»² с тем смешанным чувством, которое сопровождает ощущение дежавю, потому что все это действительно уже было.

В 2008 г. в журнале «Вопросы истории» (№ 8) было опубликовано письмо М. И. Роднова с характерным названием «Осторожно, ста-

тистика!», помещенное до этого и в «Самарском земском вестнике», в котором давалась оценка моей монографии «Очерки аграрной истории России в конце XIX — начале XX вв.» (М., 2003).

В этом тексте автор не без менторской вальяжности объяснял, в чем я неправ, поучал, что наукой надо заниматься на региональном уровне, и предупреждал читателей, что к моим результатам нужно относиться с «большой осторожностью».

Мой ответ «Осторожнее со статистикой» был напечатан журналом в № 8 за 2011 г. (*Давыдов* 2011: 129–138).

Критика Роднова касалась двух основных конкретно-исторических выводов, которые радикально расходились с устоявшимися догматами традиционной историографии.

Во-первых, я доказал, что внутренний хлебный рынок в конце XIX — начале XX в. неуклонно рос и что тезис о «голодном экспорте» не имеет реальных оснований в статистике производства, экспорта и перевозок хлебных грузов.

© Давыдов М. А. , 2017

Давыдов Михаил Абрамович — доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук Высшей школы экономики (Москва); mdhist@gmail.com

¹ Роднов М. И. В поисках золотого ключика. Рец.: Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-Столыпина. СПб.: Алетейя, Историческая книга, 2014. 780 с. // Историческая экспертиза. 2017. № 2. С. 228–235. В своей рецензии М. И. Роднов ошибочно указал выходные данные первого издания книги (2014 г.) М. А. Давыдова. В действительности он цитирует второе издание книги (2016 г.).

² СПб.: Алетейя, 2016. 1080 с. Полный текст книги: URL: library6.com/3596/item/203771 (дата обращения: 29.09.2017).

Во-вторых, я показал, что традиционная точка зрения о провале Столыпинской аграрной реформы не выдерживает критики и что преобразования П. А. Столыпина успешно развивались, начав для сотен тысяч крестьянских семей *новую и лучшую* жизнь, а для страны в целом — *новый период* ее истории.

Что касается реформы, то Роднов благосклонно согласился со мной: «Давно уже пора перестать твердить о ее (реформы. — М. Д.) якобы “крахе”». Но не потому, что она была успешной, а потому что «это была кратковременная реформа, уничтоженная в самом начале реализации». То есть преобразования Столыпина, по его мнению, в принципе не заслуживали внимания (рад, что с тех пор он пересмотрел этот взгляд).

Что касается «голодного экспорта», то в этом случае нельзя было отделаться «кратковременностью» и быстрым «уничтожением». Поэтому Роднов поставил под сомнение мои источники, мои данные и сам подход.

Но сделано это было весьма неубедительно. Я показал, что Роднов попросту невнимательно ознакомился с рецензируемым текстом, не удосужился понять суть рассматриваемой проблематики, да и вообще плохо ориентируется в том, о чем взялся писать.

Надо сказать, что тогда я впервые столкнулся с тем, что ученый, не прочитав, а, видимо, лишь пролистав книгу, которую он именует «фундаментальной монографией»

и выход которой он оценил как «одно из событий в отечественной аграрно-исторической науке», берется ее критиковать, даже не вникнув в незнакомые ему источники, на которых она построена (например, железнодорожную статистику), и в методику их обработки.

Возможно, мой ответ не был шедевром гуманизма и доброжелательности, и уверен, что Роднову было не слишком приятно его читать, но ведь не я просил его оценивать мою работу и тем более печатать свое мнение — и даже в двух изданиях, выставляя на всеобщее обозрение свою некомпетентность.

Так что мне понятны причины, по которым в 2017 г. Роднов написал новый текст, находящийся, с моей точки зрения, за рамками принятой академической этики. Не очень понятно, однако, почему он фигурирует в претендующем на научность журнале в качестве экспертного заключения о моей монографии объемом в 1075 страниц (87,5 печатных листов) с 267 таблицами, в массе — авторскими.

Что сказать о новом опусе Роднова?

Ощущение дежавю — полное.

Опять Роднов — популяризатор моей монографии.

Опять он не понял, зачем написана моя книга и о чем она.

Опять земская статистика выступает инкарнацией идеального источника.

Опять я должен объяснять доктору исторических наук вещи, которые понимает толковый аспирант.

Новая «рецензия» Роднова производит странное и, правду сказать, удручающее впечатление: недописанные предложения, недоговоренные мысли, зигзагами прыгающие с предмета на предмет и, естественно, теряющиеся, логика отсутствует по факту. К 3-й странице уже не понимаешь ничего, кроме того, что в 2011 г. он сильно обиделся на меня, а в 2017 г. был очень возбужден возможностью, как ему показалось, наконец свести со мной счеты, что прямо повлияло на стиль.

Я не думаю, что читатели поняли из оценок Роднова, о чем моя книга, и позволю себе поэтому сформулировать три основных задачи, которые я ставил при ее написании.

1. Первая задача состояла в том, чтобы на основании как известных, так и — по преимуществу — новых материалов, прежде всего статистических, показать несостоятельность таких концептов традиционной историографии, как «обнищание народных масс», «малоземелье», «голодный экспорт», «непомерные платежи», «провал Столыпинской аграрной реформы» и пр., которые давно считаются аксиоматичными и лишь варьируются в том или ином виде. Однако эти якобы «бесспорные факты» при ближайшем рассмотрении оказались либо большими или меньшими фикциями, либо не весьма корректными упрощениями.

2. Вторую задачу я видел в том, что показать несостоятельность, более

того — порочность вновь возникшей идеи о том, что СССР — несколько более жесткий вариант Российской империи, показав разницу в подходах правительства последних Романовых и советской власти к решению ряда однотипных социально-экономических проблем.

3. Третья задача — постановка весьма острой герменевтической проблемы — проблемы «семантической инфляции» используемой терминологии, что прямо влияет на делаемые историками выводы. Я показал, что жители Российской империи в конце XIX — начале XX в. в понятия «голод», «нужда», «непосильные платежи», «насилие», «произвол» и т.п., которые для негативистской историографии являются ключевыми при описании дореволюционной России, вкладывали не совсем тот смысл, который вкладываем мы сейчас.

Игнорирование этого обстоятельства давно привело к серьезнейшим деформациям наших представлений о прошлом. Если не осмыслить данный феномен всерьез, если не ввести жесткую поправку на «семантическую инфляцию», то можно оставить мысль о том, что мы имеем сколько-нибудь адекватное представление об истории России после 1861 г.

Главный мой вывод состоит в том, что, несмотря на многочисленные сложности, которых я отнюдь не скрываю, модернизация Витте-Столыпина была временем весьма успешных социально-экономических и политических преобразований, которые превратили в конце

XIX — начале XX в. Российскую империю в одну из самых динамично развивающихся стран в мире и позволили во многом преодолеть ее отставание от крупнейших держав, которое фиксируется в середине XIX в.

Это вовсе не означает, что Россия была страной без сложных проблем (таких стран в истории не бывает), однако эти проблемы не относились к числу *принципиально* нерешаемых. Для масштабной реализации потенциала модернизации требовались пресловутые «20 лет покоя внешнего и внутреннего». Однако принявшая неизвестный дотоле человечеству масштаб Первая мировая война и вызванные ею трудности стали главной причиной русской революции 1917 г.

В основе этого подхода лежит тот факт, что поражение в тотальной войне само по себе — достаточная причина для революции и не может быть решающим аргументом при оценке успеха или неуспеха предшествовавшей модернизации страны.

Как я решил в своей монографии поставленные задачи — судить читателям.

О второй и третьей задачах Роднов не упоминает вовсе, и его пафос направлен на доказательство того, что я неправильно решаю первую задачу.

Не без некоторых усилий я понял суть нынешних его претензий.

Они связаны с тем, что он по-прежнему мыслит в рамках парадигмы

кризиса и пауперизации населения империи после 1861 г., о чем, в частности, говорит и лексика «Краткого курса истории ВКП (б)», — давненько я не слышал о «бедняцко-средняцких массах», «уничтожавших ростки частной собственности и предпринимательства в общине».

Оставляя без внимания его «плач Ярославны» относительно кадрового дефицита «твердых искровцев» — аграрников в обеих столицах, начну с его замечания: «Желание создать “верную” теоретическую концепцию для всей огромной Российской империи требует единой источниковой базы. А ее и нет! Есть только публикации официальной статистики Центрального статистического комитета МВД, но уровень ее достоверности опроверг еще Д. Н. Иванцов» (с. 229).

Надо ли понимать так, что он не в курсе того, что после Иванцова этот сюжет дискутируется более ста лет? Ведь И. А. Кузнецов, чью критику моих построений он приветствует, отстаивает как раз идею достоверности «казенной цифири».

Поскольку точность формулировок никогда не была сильной стороной Роднова, то и сейчас непросто понять, что он имеет в виду. Например, как трактовать его утверждение, что «единая источниковая база» отсутствует. В каком смысле?

Я опубликовал и обобщил результаты своих эмпирических исследований, основанных на достаточно обширной и репрезентативной источниковой базе, которая отнюдь не сводится к урожайной статисти-

ке, этому больному месту моего оппонента.

Понятно, что в силу того, что мое исследование касается Российской империи как в целом, так и на уровне губерний и регионов, то мне необходимы источники, позволяющие судить об изучаемых процессах на каждом из этих уровней. Решая проблему «голодного экспорта», я анализирую перевозки хлеба в динамике, сопоставляя их с динамикой урожаев и экспорта в масштабах империи, что закономерно ставит проблему достоверности источников, в первую очередь урожайной статистики.

Роднов объявляет эту проблему «набившим оскомину вопросом, выеденного яйца не стоящим». Такова — с его точки зрения — цена более чем вековой полемики относительно характера одного из важнейших источников по истории пореформенной России, в которой участвовали, в частности, А.А. Кауфман, П.И. Лященко, Д.И. Иванцов, Н.М. Виноградова, А.Л. Вайнштейн, С.Г. Струмилин, И.Д. Ковальченко, П. Грегори, Б.Н. Миронов и другие историки³.

Это невероятное для специалиста по аграрной истории мнение я могу объяснить только элементарным недомыслием, которое ставит вопрос о квалификации Роднова как профессионала.

В своей книге я пишу о том, что «заведомо заниженная статистика

урожаев — а иной она и не могла быть — как будто специально предназначалась для иллюстрации тяжелого положения крестьянства. И, соответственно, начиная с Янсона, она сразу же начала играть важную роль в публицистической борьбе народников с правительством — утверждения о низком уровне урожайности и потребления населения, о “недоедании”, удивительным образом не имеющем “пределов”, были краеугольным камнем оппозиционных пропагандистских кампаний (в тех же целях ее использовала и советская историография)» (*Давыдов* 2016: 74). Куда как удобно, например, доказывать недостаточный уровень потребления населения путем деления заниженного урожая на число жителей и сравнивать полученные душевые показатели с соответствующими данными по другим странам (Там же: 830–835)!

Роднов продолжает: «Плоха казенная статистика? Найди хорошую. А ее и искать не надо. В библиотеках лежат сотни пудов всевозможных статистических сборников почти по всем губерниям». Здесь следует отметить безусловно новаторский способ определения информационного потенциала источников — в пудах!

«Фантазии волостных писарей и петербургских сочинителей из ЦСК МВД, — объявляет он, — мне просто не нужны. Для региональных историков такой проблемы не существует. Возьми сборник статистических сведений по Тамбовской, Ярославской, Калужской губернии и смотри. Не говоря уж об архивах» (с. 229).

³ И.А. Кузнецову я отвечаю в своей книге (*Давыдов* 2016: 49–87)

Этот пассаж прямо ставит вопрос о понимании Родновым такого сюжета, как достоверность и репрезентативность источников. На этих сборниках стоит гриф «С подлинным верно»? А документы, находящиеся в архивах, теперь автоматически — по факту пребывания в оных — считаются достоверными?

Как интерпретировать подобные откровения? Как появление нового вида источниковедения — регионального?

Как и 6 лет назад, мне приходится объяснять доктору исторических наук азбучные истины: «Экономическую историю губернии или региона можно изучать на основании тех источников, которые автор считает репрезентативными, во-первых, и в состоянии доказать это научному сообществу, во-вторых. А исследование, охватывающее как минимум 63 губернии, должно основываться, по возможности, на однотипных источниках, обрабатываемых по единой методике, поскольку в такой работе особенно необходимы ориентиры, обладающие хотя бы *относительной устойчивостью* во времени и пространстве...»

Возможно, Роднов знает неизвестный мне источник, позволяющий решить поставленные мной задачи применительно ко всем губерниям Европейской России?

Я убежден поэтому, что можно пользоваться и взятыми в динамике сведениями урожайной статистики ЦСК МВД, зная вектор искажения, понимая, что в действительности положение дел с урожайностью бы-

ло *лучше*, чем она его рисует, но не воспринимая ее данные как нечто абсолютное, а главное — абсолютно достоверное.

К статистике (какой бы то ни было) так вообще лучше не относиться.

Роднов, например, симпатизирует земской статистике и полагает, в частности, что данные урожайной земской статистики Уфимской губернии более достоверны, чем данные ЦСК МВД. Возможно. Но, во-первых, такого рода предпочтения требуют более серьезных конкретных доказательств, чем те, которые он представил.

Во-вторых, он уверен, что земская статистика и других губерний надежнее данных МВД («кстати, в соседних... Пермской и Самарской губерниях существовала тоже очень добротная статистика»). Я же полагаю, что это должно быть предметом серьезного конкретного исследования в каждом отдельном случае (Давыдов 2011: 131). Далее в тексте 2011 г. я привожу мнение А. А. Кауфмана о проблемах достоверности земской урожайной статистики, а также яркий фактический пример из Отчета правительственных агрономов Саратовской губернии, позволяющий заключить: «Если земская статистика Уфимской губернии имеет ту же степень «добротности», цитируя Роднова, что и Саратовской, то я его не поздравляю» (Там же: 131–133).

Можно восхититься тем, что Роднов в состоянии «сообщить предельно точные сведения о посеве по каждой волости, каждой деревне

(общине) и даже каждому крестьянскому хозяйству Уфимской губернии, опираясь на земскую статистику» (с. 229). Я никак не оспариваю того очевидного факта, что земская статистика зачастую содержит уникальные сведения о жизни земских же губерний. Однако остаюсь в некотором недоумении, каким образом это может прояснить анализируемую мной проблему о динамике соотношения внутреннего и внешнего хлебных рынков Российской империи в конце XIX – начале XX в., да и другие вопросы, относящиеся к стране в целом?

Спрашивать у Роднова, в каких губерниях имелись земства, я не буду, это делают на ЕГЭ, а он, кажется, все-таки в другом официальном статусе. Но всегда ли земская статистика велась по единой программе? Впрочем, Роднов и сам пишет, что «разная она, эта земская статистика. В каждой губернии творили самостоятельно» (с. 230). Но тогда в какой мере эта статистика может быть фундаментом для исследования общеимперских процессов?

В 3-й главе моей работы опровергается один из ключевых постулатов негативистской историографии о росте недоимок после 1861 г. как объективном показателе падения уровня жизни крестьян.

Этот тезис был выдвинут Н. К. Бржеским в докторской диссертации, опубликованной под названием «Недоимочность и круговая порука сельских обществ» в 1897 г. Я подтвердил его правоту с помощью податной статистики Министерства финансов, материалов земельной

переписи 1905 г. и новых архивных материалов.

В традиционной негативистской историографии явно и неявно подразумевается, что недоимки – повсеместное явление. На основании финансовой статистики я показал, что в неурожайном 1897 г. на 18 губерний с задолженностью свыше 1 млн руб. приходится 93,9% всей суммы недоимок по окладным сборам и 95,1% по выкупным платежам 50 губерний Европейской России и что, соответственно, остальные 32 губернии значимых недоимок не имели. Это важно само по себе. При этом я отмечаю, что «данная картина верна не только для 1897 г. Аналогичные таблицы я построил и для каждого из 1897–1901 гг., но здесь нет смысла их приводить. Оклады выкупных платежей почти не меняются, меняется – как правило, в сторону увеличения – размер недоимок в тех же самых губерниях» (с. 155).

Очень важно, что список губерний с самой крупной задолженностью почти идентичен списку губерний – главных получателей продовольственной помощи в конце XIX – начале XX в. Это были губернии с наиболее сильным общинным режимом, и именно наличие уравнительно-передельной общины в первую очередь и определяло указанные негативные явления в российской деревне.

Затем для каждой из 18 губерний я провожу поездный анализ соотношения землеобеспечения по категориям крестьян и задолженности в неурожайные 1897 и 1901 гг.

и прихожу к выводу о том, что ни размеры крестьянских платежей, ни величина недоимок *не зависели* от площади крестьянских наделов (в частности, от пресловутого малоземелья), а определялись другими факторами, прежде всего несовершенством созданной в 1861 г. системы крестьянского самоуправления, частью которой стало податное дело, основанное на круговой поруке.

Неплатежи стали своего рода формой самозащиты общинников от несправедливой податной системы и не являются доказательством снижения жизненного уровня подавляющего большинства крестьян, тем более что весьма видное место среди должников занимали зажиточные хозяева.

Тут самое время коснуться якобы «забытого сборника», изданного в Ленинграде в 1991 г., с которым я «демагогически», по словам Роднова, полемизирую.

Это не что иное, как репринтное издание «Россия», собранное в 1991 г. из материалов 54-го и 55-го томов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», материалами которого я пользовался при написании своей работы, о чем и сообщаю на странице 151. Я взял статью «Финансовое хозяйство» из словаря Брокгауза и Ефрона как образец некорректной, ненаучной интерпретации народнической литературой данной проблематики, потому что там она предстает в химически чистом виде. Информацию этой статьи используют и другие историки (*Захаров и др.* 2006: 225–226).

Из потока дискретного сознания моего оппонента относительно этих сюжетов выделяется абзац на с. 231, где он говорит о моем якобы потрясении результатами собственного анализа. В 2011 г. я уже просил его не диагностировать меня на расстоянии – у него это плохо получается. В параграфе 3.5, вопреки тому, что он пишет, я говорю о задолженности состоятельных крестьян, а вовсе не многоземельных уездов, чему отведен параграф 3.1, хотя там показано, что нередко уезды с самыми большими наделами были лидерами и по объему недоимок. А вот тот факт, что в числе главных недоимщиков весьма часто были богатые крестьяне, в том числе и представители сельской администрации, с которыми «общество» и связываться не хотело, убежден, знаком не всем читателям.

Конечно, только Роднов может считать, что если в Самаре в 2014 г. «никто из участников не утверждал, что податное бремя всецело зависело от размеров надела», то это отменяет 130-летние – по меньшей мере – утверждения традиционной историографии о связи «непосильных» платежей с малоземельем.

Судя по всему, дальше 3-й главы всерьез Роднов не продвинулся, поскольку остальные почти 900 страниц монографии описываются с завидным лаконизмом: «Все очевидно, Российская империя процветала: налоги не обременительные, модернизацию раскошегарил Витте, перевозки по железным дорогам росли, сбережения в сберкассах повышались, Столыпинская реформа – успех (я тоже так считаю),

агрономическая помощь и кооперация, все в ажуре» (с. 231).

Роднов, по своему обыкновению, приписывает мне то, чего я не говорил. Я нигде не пишу, что все было в «ажуре» и что Россия «процветала». До этого было еще очень далеко, и все было куда сложнее, чем он силится представить. Преобразование страны только начиналось. Однако то, что Россия в конце XIX — начале XX в. изменила вектор своей истории и имела в относительно недалеком будущем все шансы жить лучше, чем жила десятилетия после 1861 г., для меня и множества других историков очевидно. Роднову согласиться с этим не позволяет та каша из марксизма-ленинизма пополам с народничеством, которая, как следует из текста, и является питательной средой для его опуса.

Главный его аргумент состоит в том, что приводимые мной количественные показатели успеха модернизации Витте-Столыпина, сделавшей Россию мировым лидером по темпам промышленного прироста продукции и резко сдвинувшей аграрный сектор страны в сторону интенсификации («больше пили водки и чаю с сахаром, ездили по железной дороге и пр.»), «не показывают качественных процессов, в каждой социальной страте происходивших по-разному» (с. 232); «каждый социальный слой многоукладной экономики по-разному воспринимал инновации, занимаясь подсчетами “средней температуры по больнице” бессмысленно. Россия разная по вертикали и по горизонтали» (с. 233).

Эти фрагменты вполне позволяют судить о том, как Роднов понимает историю.

Я показал, что традиционная точка зрения о том, что революция 1917 г. — продукт «системного кризиса», следствие возмущения доведенного до отчаяния своим безысходным положением народа, неверна. Статистика показывает, что благосостояние населения безусловно росло.

Роднов уверяет, что это не имеет значения, поскольку «каждый социальный слой многоукладной экономики по-разному воспринимал инновации»; наверное, он хотел сказать, что они по-разному отражались на представителях разных стран.

Разумеется, по-разному, кто бы спорил! Но установить это — дело будущих исследований, которые будут использовать полученные мною результаты.

Тот, например, факт, что если население империи увеличилось за 1897–1913 гг. в 1,4 раза, то число сберкнижек и сумма вкладов на них — в 3,8 раза. Численность сельского населения выросла в 1,3 раза, число же крестьянских книжек — в 5,8 раза (до 2,5 млн), а сумма вкладов — в 6,2 раза (до 480 млн руб.); в среднем по стране порядка 10 % крестьянских семей имели сберкнижки.

То обстоятельство, что за 1906–1914 гг. только кредитные кооперативы выдали ссуд населению, преимущественно крестьянскому, на гигантскую сумму в 1,9 млрд руб.

(не считая Прибалтики и Польши); «Большая флотская программа» стоила 430 млн руб. И это далеко не все свидетельства повышения жизненного уровня, приводимые мной и проанализированные на губернском уровне. В стране с рыночной экономикой рост экономических показателей означает, что все больше людей в этой стране стало жить лучше, чем раньше.

Не хочет ли Роднов сказать, что большинство населения в конце XIX – начале XX в. стало жить хуже?

Но это не все. Мысль Роднова о том, что «заниматься подсчетами “средней температуры по больнице” бессмысленно. Россия разная по вертикали и по горизонтали», я понимаю как *принципиальное отрицание им важности, необходимости и возможности обобщений на уровне всей страны.*

Что же остается в сухом остатке от «рецензии» Роднова?

Чудная композиция – доктор исторических наук, который утверждает, что проблема достоверности имперской урожайной статистики «не стоит выеденного яйца», а установление общеимперских показателей развития народного хозяйства и благосостояния – «бессмысленно».

Комментарии тут действительно излишни.

Все остальное на этом фоне, конечно, не столь существенно.

То, что Россия в конце XIX – начале XX в. была именно «единым ры-

ночным пространством», – вовсе не умоуменьшающее обстоятельство, вопреки тому, что пишет Роднов. В стране еще существовали внутренние таможи? Кажется, их уничтожила Елизавета Петровна. Может быть, ему стоит перечитать И. Д. Ковальченко, Л. В. Милова и «пресловутого», по его выражению, Б. Н. Миронова?

А вот степень патриархальности деревни – большой вопрос, тут могут быть разные мнения. Голословными утверждениями такие проблемы не решаются. В моей работе немало информации, которая позволяет судить о темпах, с которыми размывалась патриархальность. Уфимская губерния, кстати, была далеко не отстающей, например, по темпам роста кредитной кооперации (если в 1905 г. в ней насчитывалось 23 кооператива с 9,7 тыс. участников и оборотным капиталом в 188,1 тыс. руб., то для 1913 г. соответствующие показатели составляли 249 кооперативов, 215,7 тыс. чел. и 6,1 млн руб., а для 1915 г. – 297 кооперативов, 278,2 тыс. членов и 9,6 млн руб.).

Мой оппонент считает, что «в предвоенной России одновременно происходили взаимоисключающие процессы. Наряду с несомненным прогрессом рыночной экономики, наблюдался регресс – в общинной зоне». Но перечисляемые им процессы в период модернизации являются абсолютно естественными, а не взаимоисключающими. Указанные негативные явления были к тому же неизбежны при том строе социально-экономической жизни российской деревни, который был создан Великой реформой.

Община не могла спасти Россию от пролетаризации, как на это надеялись реформаторы и большая часть общества в 1861 г. и позже. Однако мир активно менялся и менялись возможности крестьян. Модернизация Витте-Столыпина дала «потомственной бедноте», которая *действительно* этого желала, определенные шансы изменить судьбу. Советую Роднову в этом смысле посмотреть, например, статистику Крестьянского поземельного банка, деятельность которого в Уфимской губернии в годы реформы, как ему должно быть известно, была весьма интенсивной, узнать, кто покупал землю и т.д.

«Бедняцко-средняцкие массы, — пишет Роднов, — подпитываемые постоянным притоком новых поколений, уничтожали ростки частной собственности и предпринимательства в общине, утверждая уравниательные принципы распределения наделной земли и организации хозяйства. Община моментально поглотила столыпинских хуторян после 1917 г.». После этого фрагмента просто напрашивается продолжение — что-то вроде «и потому социалистическое переустройство сельского хозяйства было неизбежным и необходимым»!

Подобные песни с припевом о «бедняцко-средняцких массах» я слышу с детства, и они давно меня не убеждают. Я писал уже, что на наших глазах тают льды Антарктиды и Гренландии, но у Роднова и его единомышленников есть один синоним вечности — общинная психология крестьянства.

Да, в ряде губерний хутора уничтожались, но в ряде других — сохранялись (*Першин* 1922: 36–45). Да, в 1917 г. восторжествовала пугачевщина с трехлинейкой и пулеметами, которая поглотила не только хутора, но и поместья, а заодно и культуру и миллионы человеческих жизней. Но что это доказывает? Что частная собственность в российской деревне не имела перспектив? Что реформа Столыпина развивалась неудачно? Или то, что представители рода *Homo sapiens*, теряя человеческий облик, способны уничтожать все подряд, в том числе и то, что для них полезно? Так это не новость мировой истории, и не нужно под нее подводить квазитеоретический фундамент.

Человек может ошибиться, излагая чужую концепцию, и тем самым ненамеренно ввести читателей в заблуждение. Так бывает. Однако когда критик раз за разом перевирает твои тексты, приписывает тебе то, о чем ты не писал и не думал, становится понятно, что ты имеешь дело со своего рода лжецом. Так, мне было бы интересно узнать, чем Роднов подтвердит следующую изысканно оформленную мысль: «Сначала веривший в непогрешимость информации, которую волостные писаря и урядники брали с пальца, пола, потолка, М.А. Давыдов затем сам стал ее критиковать» (с. 229).

Он также настаивает на «нелюбви М.А. Давыдова к земской статистике» (с. 230). Это не так — я 20 лет весьма активно использую земские материалы. Как без них можно изучать, например, агрономическую помощь?

Роднов умышленно создает у читателей представление о том, что я работаю только с показателями по империи. Неправда, главный принцип моего анализа – погубернский, я не раз писал, что «средние цифры для России весьма напоминают грузовик, полученный из суммы паровоза и велосипеда, деленной пополам» (Давыдов 2016: 830). Вся моя книга – в числе прочего – о том, что Россия слишком велика, чтобы продуктивно описываться средними цифрами. В отдельной главе «Как нам измерить Россию?» я говорю о застарелых изъянах наших подходов к оценке положения страны до 1917 г., в том числе и об этом.

Вот еще одна из полемических вершин Роднова: «Второе. Теория. Как умилительно выглядят сравнения прогресса Российской империи по М. А. Давыдову... с 1913 г. (с. 373 и др.). Ничего не напоминает?»

Что читатель может понять из этого абзаца? Что хотел сказать автор?

Поясню. На с. 373 помещены две таблицы, в которых я сопоставляю средние вклады на 1 книжку в государственных сберегательных кассах по категориям вкладчиков в 1897 и 1913 гг., а также соотношение между средними вкладами сельских жителей и остальных категорий за те же годы.

А какое отношение к модернизации Витте-Столыпина имеет тот факт, что «тюменские историки уже выпустили карту многоукладности Тюменской области», а исследователь из Улан-Удэ рассказывает о пригородной революции “в многоукладной России”» (с. 232)? Все они говорят о XXI веке, о постсоветской, замечу, России!

Я мог бы продолжить, но, право, это скучно. Я и так потратил на этот текст время, которое мог использовать куда эффективнее. Могу только посоветовать Роднову оставить, наконец, в покое вполне фрейдистский символ «ключика», пусть и «золотого», о котором он вспоминал еще в 2000-х гг., и не писать впредь таких текстов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Давыдов 2011 – Давыдов М. А. Осторожнее со статистикой // Вопросы истории. 2011. № 3. С. 129–138. URL: publications.hse.ru/articles /79699743 (дата обращения: 29.09.2017).

Давыдов 2016 – Давыдов М. А. 20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-Столыпина. СПб.: Алетейа. 2016.

Захаров и др. 2006 – Захаров В. Н., Петров Ю. А., Шацкило М. К. История налогов в России. IX – начало XX века. М.: РОССПЭН, 2006.

Першин 1922 – Першин П. Н. Участковое млн. пуд. в России. Хутора и отруба, их распространение за десятилетие 1907–1916 гг. и судьбы во время революции. М.: Новая деревня, 1922.

ABOUT THE REVIEW BY M. I. RODNOV (LETTER TO THE EDITOR)

Davydov Mikhail A. — doctor of historical sciences, professor of the School of History, HSE (Moscow)

REFERENCES

Davydov M. A. *Ostorozhnee so statistikai. Voprosy istorii*. 2011. No. 3. P. 129–138. URL: [publications.hse.ru/articles /79699743](http://publications.hse.ru/articles/79699743) (data obrashcheniia: 29.09.2017).

Davydov M. A. *20 let do Velikoi voiny. Rossiiskaia modernizatsiia Vitte-Stolypina*. St. Petersburg: Aleteia. 2016.

Pershin P. N. *Uchastkovoe mln. pud. v Rossii. Khutora i otruba, ikh rasprostranenie za desiatiletie 1907–1916 gg. i sud'by vo vremia revoliutsii*. Moscow: Novaia derevnia, 1922.

Zakharov V. N., Petrov Iu. A., Shatsil'lo M. K. *Istoriia nalogov v Rossii. IX – nachalo XX veka*. Moscow: ROSSPEN, 2006.

Ю. В. Аксютин

СОВЕТСКИЙ СТУДЕНТ: ТАКОЙ ЖЕ «ВНУТРЕННИЙ ВРАГ», КАК И ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ?

Рец.: Герасимова О. Г. «Оттепель», «заморозки» и студенты Московского университета.
М.: АИРО-XXI, 2015. 608 с.

Студенчество, как определенная социокультурная прослойка общества, всегда вызывало у власть имущих настроенное к себе отношение. И в общем причины для этого были. Прodelки шаловливых «школяров», так красочно описанные еще Боккаччо и Чосером, сильно будоражили жителей городов и их ближайших окрестностей, вызывая сильное недовольство среди обывателей, так что те требовали примерного наказания «смутьянов», что чаще всего и происходило. Так, очень высоко отзываясь об успехах М. В. Ломоносова и двух его товарищей в изучении наук во время 5-летнего пребывания в Марбургском университете, их наставник профессор Вольф писал вместе с тем в Петербург: «Покуда они бы-

ли здесь, всякий боялся сказать хотя бы слово, ибо своими угрозами они держали всех в страхе. Отъезд их избавил меня от многих забот». И сетовал на то, что они не выдержали «испытания свободой».

«Испытания свободой» и сейчас трудно выдерживать многим российским студентам, попавшим в вуз сразу же после школьной скамьи. Правда, теперь студенческий праздник, отмечаемый в Татьянин день, не носит того скандального характера, как это было 100 лет тому назад, когда шествия множества студентов и курсисток вдоль Манежной и Тверской улиц, искавших места, где можно выпить кофе после торжественного акта, непременно сопровождалась нарядами полиции.

Особые условия, в которых развивалась российская государственность,

© Аксютин Ю. В., 2017

Аксютин Юрий Васильевич — доктор исторических наук, профессор МГОУ (Москва); aksyutin37@mail.ru

придавали всей этой беспокойной многотысячной массе специфический политический оттенок. Чуть ли не искони присущее ей антимищанское, то есть по сути антибуржуазное состояние духа дополнялось недовольством существующими порядками, так что антиправительственная пропаганда и умеренных реформаторов, и радикальных революционеров находила там благодатную почву. Наверху это прекрасно сознавали и потому не без оснований причисляли вузовскую молодежь к лагерю своих недоброжелателей. Вспомним, какие слова вкладывает А. Куприн в уста фельдфебеля, учившего солдат правильно отвечать на вопросы не только о том, что такое «сено» и «солома», но и о том, кого следует считать «внутренним врагом»; таковыми следовало без запинок назвать евреев и студентов.

Если после революции положение первых изменилось и даже коренным образом (правда, только на первые два-три десятилетия), то вторые, вкусив в 1917 г. отравляющий глоток свободы, никак не хотели примириться с «захватчиками власти», как они называли большевиков. Но что они могли тогда поделать, даже вместе с более широкой прослойкой интеллигенции в лице учителей, врачей и других служащих, пытавшихся протестовать путем забастовок и демонстраций?

Побывав на московской демонстрации в защиту Учредительного собрания 3 декабря 1917 г., профессор конституционного права Московского университета Н. Н. Алексеев так описывал ее участников: «Са-

мые настоящие “цензовики”, не ниже четырехклассного городского училища. А все остальные — имя им миллион — они с народными комиссарами и с настоящей “народной властью”». Оказавшись зорче многих своих коллег во взгляде на сложившуюся в стране ситуацию, он делился своим «лукавым» политическим прозрением: «Мне начинает казаться, что так называемый большевистский режим субстанционально есть более органическая вещь, чем нам это в ослеплении нашем кажется». Находя поистине трогательной веру, с какой темный народ русский принимал большевистскую хирургию, он делал вывод о том, что большевизм, пожалуй, прочнее, чем думают некоторые его противники. Но как долго может продержаться большевистский обман, который на руку самым дурным чувствам и инстинктам русского народа? Алексеев давал поразительно точный прогноз: «Большевистская хирургия в ее временном бытии может кончиться или тогда, когда воры перережут друг друга, или тогда, когда “цензовики” сумеют противопоставить большевизму физическую силу. Но в плане “нуменальном” большевизм кончится тогда, когда вся Россия получит образование не ниже городского училища и превратится в государство тех “цензовиков”, представители которых дефилировали по Тверской 3 декабря» (Алексеев 1917: 13).

Покончив с неграмотностью населения и дав значительной его части среднее и неполное среднее образование, создав свою, рабоче-крестьянскую, интеллигенцию, хоть и воспитанную в духе

марксизма-ленинизма, но по самой своей сущности настроенную критично и скептически ко всему окружающему, коммунисты породили в ее лице своего собственного могильщика. Но это случилось только в конце 80-х — начале 90-х гг., а те люди, возросшая активная деятельность которых способствовала крушению советского режима, учились и приобретали свой первый жизненный опыт в 50-е и 60-е гг., когда в СССР наблюдался переход от жесткого тоталитаризма к более мягкому авторитаризму.

Изменения в политической, экономической, социальной и культурной обстановке того времени сказались и на жизни студентов, в том числе тех, которые учились в Московском государственном университете имени Ломоносова. Изучению этих изменений и посвящена обширная (общим объемом 600 с лишним страниц) монография О. Г. Герасимовой «“Оттепель”, “заморозки” и студенты Московского университета». Общественно-политическая активность, поездки во время каникул на уборочные сельскохозяйственные работы (в том числе и на целине), а затем и на всесоюзные молодежные стройки, встречи с писателями и деятелями искусства в студенческих клубах — на все это обращается главное внимание. Учеба, отношения с преподавателями и обыденная (в том числе спортивная) жизнь затрагиваются прежде всего в той мере, в какой это нашло отражение в выступлениях на комсомольских собраниях, в диспутах и дискуссиях, в стенной печати, в деятельности клубов, кружков, коллективов художественной самодеятельности.

Следует отметить обширный и добросовестный, аналитичный историографический обзор, а также обширный и основательный анализ источниковой базы, который позволил автору успешно смоделировать и исследовать механизм взаимодействия власти и студенчества, равно как и формы проявления студенческого сознания.

Источники эти многочисленны. В работе использованы сведения, извлеченные из архивов как государственных (ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ, РГАЛИ, ЦГА Москвы), так и ведомственных (ФСБ, МГУ), общественных организаций («Мемориал» и Народный архив), личных. Привлечены и воспоминания современников. Обращает на себя внимание не только обилие использованных материалов, но и стремление критически осмысливать их, добившись точной датировки и верной передачи слов. Например, автор подвергает сомнению утверждение Е. Евтушенко о том, что выступление юного поэта Саша Чудакова в МГУ происходило в 1953 г. На самом деле, уточняет она, Евтушенко имел в виду вечер 14 апреля 1956 г. на филфаке, посвященный творчеству Маяковского. Действительно, будущий крупный филолог А. П. Чудаков только-только поступил туда учиться и раньше появиться там никак не мог.

Имеются, впрочем, и мелкие неточности. Так, вызывает сомнение утверждение А. П. Бутенко о подложности протокола партийного собрания на философском факультете от 15 марта 1955 г., где несколько студентов-коммунистов,

обсуждая отставку с должности председателя Совета министров СССР Г.М. Маленкова, негативно к этому отнеслись и даже говорили, что ЦК нельзя верить. Выступавшие на том собрании студенты 3-го курса З.Г. Апресян и П.В. Смирнов действительно говорили: «Мы привыкли доверять ЦК КПСС, а теперь неясна постановка некоторых вопросов», они также высказались за то, чтобы все решения Секретариата ЦК КПСС публиковались в печати, а избирательную систему неплохо было изменить. Я знал обоих довольно хорошо, делился с ними кое-какими документами самиздата, но ничего не ведал об описываемом эпизоде из их биографии. А когда во время перестройки этот эпизод стал всем известен из публикации журнала «Свободная мысль», я получил от них подтверждение о том, что действительно было принято решение об исключении их из партии (потом отмененное), но ни о какой фальсификации протокола и речи не было. Кстати, слова «ЦК — не икона» действительно были произнесены, но членом партбюро, преподавателем истории философии Арефьевой, когда она в парткоме защищала студентов, за что тоже подверглась гонениям. А скандал получился на самом деле большой. Им занимались и Фрунзенский райком, и Московский горком, и отдел науки и культуры ЦК КПСС.

Но это частность. А в общем О.Г. Герасимова прекрасно справилась с задачей поиска и отбора нужного материала. Особо следует сказать о той огромной работе, которую ей пришлось проделать, чтобы взять

массу интервью и обменяться письмами с участниками описываемых событий. Сбор такого рода информации (в предисловии приводится список персоналий, насчитывающий около 70 фамилий), разумеется, отнял много времени и сил, но здорово обогатил содержание книги, способствовал прояснению и уточнению приводимых в ней фактов. И еще одно похвальное замечание: даже примечания читать любопытно. В моем экземпляре книги около них проставлена масса карандашных отметок.

Из всего многообразия проблем, так или иначе затронутых в рецензируемой книге, в данной рецензии приходится ограничиться лишь теми, которые приобрели наибольшее общественно-политическое звучание.

МГУ всегда был известен как школа кадров. Оставался он ею и в 50-е — начале 70-х гг. Листая книгу, мы видим, как начала складываться профессиональная карьера многих ставших потом известными людей. Да, власть безжалостно ломала крылья тем, кого считала своими недругами, но помогала прокладывать дорогу наверх тем, кто активно участвовал в ее борьбе за утверждение коммунистических ценностей.

Для понимания атмосферы того времени весьма показательна описанная в книге история учившихся на биолого-почвенном факультете сестер Ляпуновых, которые осенью 1954 г. устроили у себя дома кружок по изучению проблем генетики, а их отец, профессор мехмата, организовал там же семинар,

на котором утверждал, что математическая статистика подтверждает верность законов Менделя. Год спустя занятия кружка, чуть ли не еженедельные, посещали 20–25 человек. Но вот о нем заговорили на партийном собрании, а одна из сестер, Наталья, получает незачет по истории КПСС, и ее не допускают к сессии, после чего появляется приказ с предупреждением об отчислении. И вот 25 февраля 1956 г. (в день, когда Н. С. Хрущев оглашал в Кремле перед делегатами XX съезда КПСС свой доклад о культе личности!) ее персональное дело слушается на комсомольском собрании в переполненной аудитории. Предложение об исключении не проходит, хотя без выговора, конечно, не обошлось.

Дело Ляпуновых вскрыло такое странное, казалось бы, явление: в МГУ поступали сливки школьной молодежи, любопытной и довольно критически настроенной, а в учебных аудиториях на лекциях и семинарских занятиях им приходилось слышать порой мракобесные утверждения преподавателей, состав которых, всегда отличавшийся (в силу целенаправленного отбора) известной «приблатненностью», был сильно разрежен идеологическими чистками предыдущих лет. Шло время, мастодонты дряхлели и оставляли кафедры более молодым. Но среди них тоже было много карьеристов и приспособленцев, людей не очень-то склонных к творчеству, но при этом «остепенившихся» в буквальном и переносном смысле этого слова. Обнаружившийся разрыв между потребностями студентов середины 1950-х гг.

и возможностями преподавателей подробно описывается в рецензируемой книге. Кое-кто из студентов того же биолого-почвенного факультета МГУ, желающих приобрести более широкие научные знания, стал ездить на летние каникулы на Урал, в Миассово, где располагалась биостанция, в которой работал опальный Н. В. Тимофеев-Ресовский.

А на факультете журналистики осенью 1956 г. группа студентов, как говорилось в одном из партийных документов, «используя недостатки в организации учебного процесса, низкое качество лекций по некоторым дисциплинам, встала на путь злопыхательской критики и отгульного и грубого охаивания преподавателей перешла к неправильным политическим обвинениям» (с. 78). На самом деле на журфаке, в Большой коммунистической аудитории состоялось студенческое собрание «О месте журналиста в общественно-политической жизни страны». И на нем студент Юрий Анохин прочитал свои стихи: «Мадьяры, мадьяры! Вы братья мои! Я с вами, ваш русский брат!» (с. 81). Тот же Анохин и другой студент, Н. Соломин, решили также выпустить листовки с кратким изложением событий в Венгрии и призывом к властям не вмешиваться в ее дела. Листовки схожего содержания печатали и распространяли в дни венгерского восстания и студенты-филологи. А печатная пропаганда — это уже не эмоциональный всплеск, а сознательное дело, причем непременно организованное! Стали возникать кружки, первоначально вроде бы сугубо научного типа, ста-

вившие своей целью разобраться в том, что же, наконец, происходит в стране, и по мере развития событий приобретающие все более политический, антиправительственный характер. Но как только они пытались переходить к действиям, начинали заниматься пропагандой, КГБ обнаруживал их и подвергал репрессиям их членов. Те же кружки, деятельность которых не вышла из зачаточного состояния, сами собой распались, прекратили свое существование. Рассказывая о возникновении и деятельности одного из таких кружков — группы «Sensus», возникшей как сугубо литературное объединение, О.Г. Герасимова небезосновательно сетует на то, что ее деятельность крайне скупо отражена в сохранившихся и доступных архивных материалах (см. с. 114).

Пик протестной активности студентов осенью 1956 г., которому в монографии уделяется довольно значительное внимание (правда, впечатление от прочитанного несколько ослабляется от того, что все это излагается в разных разделах монографии), являлся не только следствием XX съезда КПСС, но и был подготовлен появлением такого феномена, как «целинники»: тысячи людей, на два-три месяца оторвавшиеся от привычных условий существования. Значительная часть из них — не из общежитских, а из городских — на деле познала все прелести «идиотизма деревенской жизни» и своими глазами увидела, что из себя представляет социалистический аграрный сектор. Именно эта критическая масса если и не выделила из себя инициаторов осеннего протестного движения

в МГУ, то, во всяком случае, составила благоприятную почву для восприятия их лозунгов.

Феномену «целинников» в рецензируемой монографии посвящена специальная глава. Как непосредственный участник целинной эпопеи скажу: утверждение автора о том, что заработок там студентов был «в целом относительно невысоким» (с. 252) — чересчур мягко. Его просто не хватало на элементарнейшие траты, не говоря уже о жульничестве совхозных бригадиров при обмере стогов и пр. Помню, что возмущение таким бесчеловечным отношением вызвало невыход на работу в одном из пяти отрядов Историко-архивного института. Поводом послужила заметка в краевой газете, как нам здорово работается и живется. Слетелось встревоженное начальство и тут же обещало снизить нормы выработки, повысить расценки, освободить от работы двух девушек-поварих... Автор не приводит сведений о такого рода трудовых конфликтах у университетских студентов. Но вот устроенному студентами истфака капустнику все же пытались придать политический характер — задним числом, после ареста двух его участников — Л.Н. Краснопевцева и М.А. Чешкова (см. с. 253).

Не менее интересны главы, посвященные культурному досугу студентов МГУ. В то время как официальное руководство Союза писателей обрушилось с критикой на первые ростки оттепели, комсомольское собрание студентов-филологов без ведома парткома и ректората решило отправить в редакцию журнала

«Новый мир» коллективное письмо в защиту статьи В. М. Померанцева «Об искренности в литературе». 30 июня 1954 г. на шестичасовой встрече, куда приехали тогдашний редактор «Нового мира» К. М. Симонов, А. А. Сурков и другие начальствующие писатели, подписантам внушалась мысль, что они поступили совершенно неправильно, однако возгласы в зале демонстрировали недовольство студентов попытками притупить их общественную активность, в президиум посылались записки типа: «Считаете ли вы нормальным, когда наши писатели пишут по подсказке сверху?» (см. с. 291–292).

А два с лишним года спустя (буквально в канун венгерских событий) все в той же университетской Коммунистической аудитории в присутствии В. Д. Дудинцева, только что выпустившего свой нашумевший роман «Не хлебом единым», решено было выдвинуть этот роман на соискание Ленинской премии и написать соответствующее письмо в ЦК КПСС. Конечно, в тех условиях этого сделать не позволили. А вот собрание, посвященное обсуждению осенью 1958 г. романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», оказалось, как показывает автор, скомканным, Критика же поведения Н. С. Хрущева на художественной выставке в Манеже в декабре 1962 г. привела к исключению из университета 5 студентов (см. с. 381).

Обширный именной указатель — одно из несомненных достоинств работы О. Г. Герасимовой — поможет пытливому читателю найти информацию о тех, кто потом взобрался

на вершины научной, общественно-политической и культурной жизни, выяснить любопытные подробности студенческой юности многих достопримечательных персон. Например, внучки Н. С. Хрущева Юлии. Из книги узнаешь, что будущий известный литературный критик Игорь Дедков, один из инициаторов протестной демонстрации студентов журфака к французскому посольству в начале ноября 1956 г. в связи с Суэцким кризисом, отбросил все сомнения лишь после беседы с Юлей Хрущевой, сказавшей: «Он разрешил» (с. 83).

Прежде всего в книге говорится о людях, проявлявших свою жизненную активность в сфере сугубо общественно-политической, кто — достаточно вызывающе с точки зрения партийно-комсомольского начальства, а кто выплескивал свою энергию именно в комсомольской работе. Среди последних был истафовец Саша Рудь: его лицо «с яростным выражением счастья» среди ликующей толпы, приветствующей на Манежной площади полет Гагарина в космос, можно было увидеть на следующий день в газетах (см. с. 424). А спустя какое-то время он стал секретарем университетского комитета ВЛКСМ и не без удовольствия потом вспоминал, как к нему в кабинет робко входил Витя Садовничий — тогда аспирант и ассистент, возглавлявший комсомольскую организацию механико-математического факультета, а ныне ректор МГУ. Последний тоже упомянут в книге: по его докладу 14 ноября 1963 г. партбюро решило выступить с почином сократить срок пребывания студентов на це-

лине с трех до двух месяцев, с тем чтобы 1 сентября все могли приступить к занятиям (см. с. 273).

Из книги также узнаешь о проведенных КГБ в МГУ в 1967–1968 гг. примерно 60 профилактических мероприятий, когда из главного вуза страны исключали политически неблагонадежных. В справке КГБ, откуда автором взяты эти сведения, содержится поразительное признание: в студенческой среде по рукам ходят материалы сам- и тамиздата, а никто не сигнализирует органам об этом! Зато нашлись желающие навестить в Рязани А. И. Солженицына или снабдить «тенденциозной информацией» о жизни в СССР канадского стажера В. Павлова — потомка эмигрантов, в комнате которого в общежитии рядом с портретом Ленина висела фотография Николая II. Так что нет ничего удивительного в том, какой большой резонанс в студенческой среде вызвали события в Чехословакии: 25 августа было обнаружено 6 рукописных листовок, 6 сентября — еще одна, предпринята попытка начать сбор подписей. Наряду с демократическими, «конвергентными», то есть прозападными настроениями в студенческой среде того времени обнаруживался и крайне левый радикализм, ориентированный на Мао Цзэдуна; так, за изготовление прокитайских листовок был задержан студент III курса юридического факультета А. Румянцев — сын академика и главного редактора «Экономической газеты», человека сравнительно либеральных взглядов (см. с. 195–198 и 204).

Кстати, в книге мне не подалось ничего не только о валютчиках и фар-

цовщиках (это явно отклонялось бы от авторского замысла дать картину именно общественно-политических настроений), но и о стилягах. Неужели в МГУ таких не было?

Вызывает вопросы выбранный автором метод изложения — структурный, предметно-тематический. Хронологический подход отодвинут на второй план. Правда, иначе автору вряд ли удалось бы изложить все подробности, все детали описываемых явлений (если целину и стройотряды еще можно втиснуть в определенные временные рамки, то как быть с диспутами и стенгазетами?). И все же не удалось избежать некоторых повторов. Кроме того, не совсем понятно, почему абзац, в котором речь идет о приеме университетского начальства у секретаря ЦК КПСС Е. А. Фурцевой и у министра высшего образования В. П. Елютина в конце 1956 г., помещен в параграф, посвященный стенгазетам. Думается, что в монографии изложение всех событий, так или иначе связанных с XX съездом КПСС (заслушивание закрытого доклада о культе личности, первая целина и бойкот столовой на Стромынке, выставка осенью 1956 г. картин Пикассо в музее изобразительных искусств, обсуждение романа Дудинцева «Не хлебом единым», отклики на события в Польше и Венгрии, а также на Суэцкий кризис, снятие стенгазет), выглядело бы более логичным и понятным в одном месте, а не в нескольких. То же самое можно сказать о событиях лета и осени 1957 г., зимы 1962–1963 гг. Да и неоднократно упоминаемое посещение МГУ Н. С. Хрущевым вполне вписывается в хронологию

событий, в той или иной мере затронувших университет, его студентов и преподавателей – Нобелевская премия Пастернаку, XXI съезд КПСС с его директивой о переходе к строительству коммунизма.

Отдельно хочется поговорить о примечаниях. То, что издательствам удобнее помещать их в конце текста глав или даже всей книги, давно известно, хотя любой читатель скажет, что ему гораздо предпочтительнее взглянуть на них, если они находятся на той же странице. Что же касается примечаний в монографии О. Г. Герасимовой, то они заключаются не только в библиографических ссылках (к сожалению, не всегда развернутых), но и в текстовых уточнениях и пояснениях, что, несомненно, украшает их.

Хорошее впечатление производит и заключение. Обычно его редко кто читает, особенно если оно представляет собой сводку выводов, сделанных в конце каждой главы.

В данном случае мы имеем счастливое исключение, ибо знакомимся с общими соображениями автора по поводу реконструированной ею пестрой картины жизни студентов МГУ с 1953 по 1969 г., с постановкой ею вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения. Впрочем, можно было бы, мне кажется, перенести из заключения в основной текст любопытные суждения о социокультурной неоднородности студенчества МГУ (см. стр. 483–484), во многом свойственной, надо сказать, и другим вузам.

Особую благодарность хочется выразить издательству «АИРО-XXI», взявшему на себя бремя ознакомить массового читателя с результатами произведенного О. Г. Герасимовой исследования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Алексеев 1917 — Алексеев Н. Н. Современный кризис // Народопрáвство. 1917. № 17.

SOVIET STUDENT: THE SAME «INTERNAL ENEMY», AS THE PRE-REVOLUTIONARY ONE?

Rev.: Gerasimova O. G. «Ottepel'», «zamorozki» i studenty Moskovskogo universiteta. Moscow: AIRO-XXI, 2015. 608 p.

Aksyutin Yurii V. — doctor of historical sciences, professor of Moscow State regional University (Moscow)

REFERENCES

Alekseev N. N. Sovremennyi krizis. *Narodopravstvo*. 1917. No. 17.

И. В. Аладышкин

ARCTICA CASUS: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ДИСКУРСЕ РУССКОГО СЕВЕРА XXI В.

Ключевые слова: Арктика, историография, социогуманитарный дискурс.

В статье рассмотрены обстоятельства всплеска научного интереса к Арктике и роли исторического знания в наметившейся за последние десятилетия трансформации образа русского Севера. Автор пытается показать, что наблюдаемый рост интереса к региону носит искусственный характер, а новейшая социогуманитарная историография Арктики определяется, прежде всего, официальной позицией государства и курсом на ее символическое присвоение и географическое «приближение». В то же время историкам, в отличие от представителей многих иных областей научного пространства в России, пока удастся сохранить некоторый нейтралитет по отношению к идеологически ангажированному вектору анализа задач и перспектив освоения российской Арктики.

В России два десятилетия назад об Арктике мало кто вспоминал, а сам регион, казалось, был брошен на произвол социально-экономических коллизий. Русский Север в 1990-е рисовался чуть ли не бес-

перспективным наследием ушедшей эпохи, которое к тому же необходимо поддерживать вопреки здравому смыслу и законам рыночной экономики. В результате Арктика лишь подтверждала неэффективность советских методов территориально-отраслевого освоения региона. И, возможно, историки были как раз теми, кто, наоборот, сглаживал подобный негативный настрой, апеллируя к героическим страницам покорения северных

© Аладышкин И. В., 2017

Аладышкин Иван Владимирович – кандидат исторических наук, доцент Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург); safonova_alla@mail.ru

рубежей и продолжая, во многом по инерции, поднимать темы открытий и государственных завоеваний.

Неожиданно в начале тысячелетия сам образ Русского Севера, ютившийся на страницах прошлых побед и текущих разочарований, стал меняться. И в этом не последнюю роль играли представители социогуманитарного знания. Исследователи, будто спохватившись, по команде принялись живописать радужные перспективы развития Арктики. И чем дальше, тем радужнее рисовались перспективы, что преумножались вместе с числом тех, кто их декларировал. Сейчас складывается впечатление, что отечественная социогуманитарная мысль если и не открывала для себя проблемы Северного полярного круга, то как минимум неожиданно преисполнилась за последнее время живейшим к ним интересом, причем интересом на удивление согласованным и позитивно окрашенным.

Конечно, первыми на ниве создания позитивного образа Арктики оказались отнюдь не исследователи. Уже в начале нулевых официальные СМИ все чаще писали о новой Арктике, которая предлагалась в качестве одного из наиболее важных и перспективных направлений государственной политики (Ковригина 2015: 66–67). Вслед за добрым словом политического руководства потянулись и представители научного знания. С началом тысячелетия количество посвященных Арктике публикаций неуклонно росло, соответствующая проблематика ока-

зывалась все более востребованной в плане проведения научных конференций, круглых столов, форумов и совещаний. В результате образ Арктики за последние десятилетия преобразался на глазах.

Усиление исследовательской активности и актуализация проблематики становятся совсем очевидными вместе с оформлением новой концепции освоения арктической зоны, нашедшей отражение в утвержденных в 2008 г. «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В принципе, опираясь на официальные документы, нетрудно проследить этапы роста востребованности арктического макрорегиона. По крайней мере, следующий всплеск научного интереса наблюдался вслед за утверждением в 2013 г. «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» (Кондратов 2014: 120–121).

Количество специализированных периодических изданий, существующих на сегодняшний день, не считая отдельных, посвященных арктической проблематике выпусков журналов, сборников статей, осуществленных и осуществляемых исследовательских проектов, может изрядно удивить. А число научных работ по соответствующей тематике, кажется, просто не поддается подсчету. Если свериться с каталогами библиотек, то оказывается, что за последние два десятилетия публикаций, причем по большей части научных публикаций,

посвященных Арктике, вышло даже больше, чем за несколько предшествующих столетий освоения данного региона.

С момента утверждения главных документов по государственной политике в Арктике и декларирования последней в качестве одного из приоритетных ориентиров деятельности количество проводимых конференций, форумов, круглых столов только продолжает неумолимо расти, поражая тематическим разбросом и угрожая охватить все мыслимые сферы отечественного научного пространства. Вслед за утверждением «Стратегии развития Арктической зоны РФ...» только в следующем, 2014 г. было проведено как минимум шесть конференций и три круглых стола по вопросам социогуманитарного изучения Арктики (это не считая конференций по естественным и техническим наукам). И каждый следующий год проводилось не менее пяти-шести гуманитарных конференций разного уровня. Показательно, что преобладающая тематика проводимых мероприятий каждый раз оказывалась тесно связана с государственной официальной позицией и так или иначе обыгрывала стратегии, перспективы, тенденции развития и освоения макрорегиона либо его политико-правовой статус.

Политологи, социологи, философы и экономисты буквально соревнуются в обозначении новых перспектив и постановке новых задач развития Русского Севера. А вот историки и этнографы оказались несколько в стороне. Удивлять-

ся, собственно, нечему. По логике вещей история освоения региона оказывалась малоинтересна, а в некоторых случаях и откровенно неуместна, так как бросала тень на реализуемость новых задач и оправданность новых перспектив. Только логика вещей оказывалась не так однозначна. Да, исторических конференций по Арктике мало, но они все-таки проводятся. Только в Архангельске прошло три конференции: две по военной истории (в 2000 и 2008 гг.) (Лузин 2002; Данилов 2009) и одна обобщающая «История изучения и освоения Арктики – от прошлого к будущему» (в 2012 г.) (История изучения 2013). Темы историко-культурного наследия поднимались в 2015 г. на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы освоения и сохранения Арктики», состоявшейся в Норильске (Проблемы освоения 2015), а год назад в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) открылась межрегиональная (а фактически – международная) научная конференция «Мурман и Российская Арктика: прошлое, настоящее, будущее (к 100-летию Города-Героя Мурманска)» (Мурман 2016).

Конференции проходят отнюдь не только в северном регионе. Совсем недавно, 19–20 апреля 2017 г., на базе Санкт-Петербургского политехнического университета была успешно проведена уже вторая по счету международная научная конференция «Арктика: история и современность». Примечательно, что в организации обеих (первая состоялась 20–21 апреля 2016 г.) историки приняли самое активное

участие: им было отведено несколько секций, объем представленных ими материалов составил добрую треть от общих результатов работы конференций. Также впечатляет и спектр затронутых вопросов, начиная с традиционных, касающихся истории освоения Русского Севера, а также военной истории, и заканчивая сохранением культурного наследия региона или формированием его нового образа.

Во многом схожая ситуация складывается и в отношении научных публикаций. В общем потоке появившейся за последние десятилетия научной литературы по рассматриваемой тематике работы историков, как правило, не играют весомой роли. Подобный вывод напрашивается хотя бы в результате просмотра содержания появившихся за последние годы научных периодических изданий, посвященных или связанных с социогуманитарным анализом арктической зоны. Так, в альманахе «Российская Арктика – территория права» или журнале «Арктика: общество и экономика», выходящем с 2009 г., историческая проблематика вообще отсутствует. В журнале «Москва – Арктика – Антарктика», стартовавшем в 2014 г., заявленная рубрика «История освоения Арктики и Антарктики» так и осталась пуста. Схожая рубрика фигурировала и в журнале, выходящем с 2013 г., «Арктика. XXI век. Гуманитарные науки», но, полистав номера издания, мы увидим, что за все время существования издания в данной рубрике появилась лишь одна статья (Мартынов 2015). В то же время есть исключения. Например, в журнале

«Арктика. Экология и экономика», что стал выходить с 2011 г., насчитывается свыше десятка статей, посвященных самым различным аспектам истории Русского Севера.

Особо хотелось бы выделить журнал «Арктика и Север», который издает ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова». Редкий номер этого журнала обходится без рубрики «Исторические науки», иногда дополняемой этнологией и антропологией. Начиная с 2011 г., когда увидел свет первый номер этого издания, опубликовано несколько десятков в большинстве своем довольно качественных статей по самым различным вопросам истории арктических территорий.

И все же история освоения и культурное наследие Русского Севера со всей очевидностью остаются на периферии востребованных тем. Ведь даже в журнале «Арктика и Север» историческая проблематика отнюдь не превалирующая. С 2015 г. относительно постоянный раздел «История» в журнале «Арктика. Экология и экономика» сошел на нет, а ранее, на выпуске 2008 г., прекратил свое существование историко-краеведческий альманах «Живая Арктика». Очевидно, что история освоения региона плохо вписывается в приоритетные направления государственной поддержки исследований.

Безусловно, работы по историческим нюансам освоения Арктики печатаются и в иных изданиях, спорадично их можно увидеть и в профильных исторических изданиях

(Голдин 2012). Но статьи эти попросту теряются в массе юридических, политических и экономических публикаций, как правило, обыгрывающих темы правового статуса, а главное – задач и перспектив развития российской Арктики. Собственно, подобные исследования запросто обходятся без исторической составляющей, которая во многих случаях должна выступать в качестве фактологической основы как оценки наличного потенциала развития региона, так и возможностей РФ в реализации поставленных задач. В реалиях же история оказывается крайне неудобным компонентом, так как отнюдь не дает оснований для оптимистичных прогнозов, широких перспектив и смелых задач.

В общей нарастающей арктической «лихорадке» как-то оттеняются продолжающееся старение арктического флота и авиации, проблемы с арктической навигацией и со снабжением регионов Крайнего Севера, депопуляция арктических поселений, тяготы работы полярников, убыточность арктической инфраструктуры и экономики в целом. Вместо этих вопросов на первый план выходят поразительно радужные прогнозы использования социально-экономического потенциала Севера России, перспективы развития Северного морского пути, далеко идущие стратегии формирования нового порядка международных отношений и навязчивые доказательства возможностей России.

Впрочем, признание РФ «великой арктической державой» не требует документальных подтверждений, как и отстаивание русской

арктической миссии, указующей и движущей силы гармоничного развития данной части света. Хуже другое. С чем связан столь беспрецедентный интерес к Арктике – ни для кого не секрет. Обращаясь к положению арктической тематики в отечественном социогуманитарном дискурсе, остается только изумляться согласованности линии правительства и интересов исследователей, насколько совпадают их точки зрения, выводы и заключения. Отечественные исследователи согласованно пишут о противоречиях политико-правового режима, развития судоходства Северного морского пути и повышения его значимости как кратчайшего морского расстояния между Европой и Азией, о глобальном потеплении и росте цен на энергоресурсы с техническим прогрессом в их добыче и пр. Как-то уже даже рутинно выглядят откровенные политические реверансы, когда исследователи ретиво соглашаются с тем, что арктический вектор политики России начинает наполняться реальным позитивным содержанием только после утверждения президентом РФ новых стратегических задач освоения Арктики. И неудивительно, что авторы, буквально соревнующиеся в апологии позиции правительства, довольно скромные достижения России в разрешении проблем арктического региона последних лет именуют «арктическим прорывом политики В. В. Путина» (Лукин 2013).

В сложившейся ситуации есть немало позитивных моментов. Все-таки возрастает финансирование и поощрение соответствующих

направлений исследовательской активности, формируются благоприятные условия для изучения региона, который становится все более привлекательным, хотя бы в глазах исследователей, что как раз и находит отражение в беспрецедентном росте количества публикаций. Арктика – многослойное и многомерное пространство, включающее в себя физико-географический, административно-правовой, геополитический, экологический, геоэкономический, геокультурный ландшафт макрорегиона. И под общий нарастающий шум защиты государственных интересов от внешнеполитических угроз, далеких экономических перспектив и близких геополитических реалий расширяется и углубляется изучение культуры коренных народов Севера, текущей экологической ситуации, реальных проблем институциональной среды северных территорий и прочих, действительно насущных и вполне реальных проблем, а не декларативных и различаемых лишь в сомнительных перспективах стратегических задач. То же можно сказать и об исторических исследованиях. Ведь круг вопросов, затрагиваемых в исторических исследованиях последних десятилетий, заметно расширился за счет новых ориентиров и моделей ретроспективного анализа. Происходит это и благодаря стараниям тех исследователей, чья область научных интересов изначально была далека от арктической проблематики, и они привносят свои наработанные принципы и проверенные подходы исторической аналитики в область изучения истории освоения Русского Севера.

Следует признать, что обращение многих историков к проблемам Арктики и появление в печати их работ за последние годы, включая фундаментальные исследования, в значительной степени обусловлены поддержкой разноуровневых государственных структур. Благодаря подобному «патронажу» появляются новые (Беляев 2013; Коровин 2013; Притяжение Арктики 2013) и переиздаются исследования (Старков 1998; 2009), публикуются мемуары и другие исторические материалы по истории изучения и освоения Арктики (Чукова 2015; Копытов 2009). В последние годы появляются и научные пособия по истории изучения и освоения Арктики (Беляев 2013).

Однако в официальной поддержке есть и негативный аспект. За обилием прикладных и фундаментальных исследований, авторских моделей анализа, практических предложений относительно перспектив освоения Арктики и развития арктической зоны РФ, декларируемых опытов обобщающего концептуального осмысления освоения данного региона проступают общие контуры политико-государственных высот, тех целей и задач, что прописаны в «Основах...» и «Стратегии...» РФ. История освоения Арктики тесно переплетается с текущей геополитической ситуацией, правовым статусом макрорегиона и территориальными претензиями арктических государств, подталкивая исследователей к идеологически выверенным выводам и завуалированному, а подчас и открытому (Шифокорад 2015) отстаиванию национальных интересов. Конкретно-исторический и тео-

ретико-методологический уровни исследований сплетаются воедино с политическими реалиями, предопределяя модальность ретроспективного анализа. Как следствие, военная история служит вопросам отстаивания Россией своих интересов в арктической зоне, а история освоения подкрепляет территориальные претензии и общие представления о возможностях страны. В итоге получаем, например, концепцию беломорских начал Руси (*Галанин 2011*), которая, несмотря на всю свою эксцентрику, в известной степени служит должному восприятию Русского Севера.

В конце концов, славословие исторических оснований так называемой «арктической солидарности» оборачивается зачастую отстаиванием конкурентных преимуществ РФ в освоении арктической зоны. А рассуждения о том, что имеющиеся и прогнозируемые арктические ресурсы любой страны трудно освоить в одиночку, без необходимой международной интеграции, нередко прикрывают претензии на привилегированное положение России. О теоретической и практической ценности значительной части подобной литературы говорить не приходится. Впрочем, то же можно сказать и о научной новизне стандартных выводов о необходимой связи дальнейшего освоения северных территорий с мероприятиями по сохранению природной среды и экологического равновесия Арктического бассейна, которое должно быть достигнуто «в духе партнерства, путем переговоров и на основе действующих международно-правовых норм» (*Мазур 2010*:

93). Эта бесконечная «научная» риторика лишь задает тон текущего социогуманитарного дискурса Арктики в России и оказывается своего рода сопровождением государственной политики.

Отечественное научное пространство уже переполнено работами, апеллирующими преимущественно к максимально востребованным перспективам освоения и правового регулирования Русского Севера, внешнеполитической конъюнктуре либо обеспечению устойчивого развития региона. Эти работы, как правило совпадающие с официальной линией правительства не только по выводам, но и по своему столь же декларативному и абстрактному характеру, играют свою, довольно специфическую роль. Они создают информационный шум, занимая страницы периодических изданий, полки книжных магазинов, графы электронных каталогов, программы конференций и круглых столов. В результате из общего потока публикаций очень сложно вычлениить действительно качественные работы, а задача составления историографии истории освоения Арктики может оказаться уже просто невыполнимой.

При изучении массива литературы последнего десятилетия по Арктике бросается в глаза, что определенный набор исторических фактов, документов, как и сведений о природных, человеческих, социокультурных ресурсах, кочует из одной работы в другую, создавая эффект публикационной эстафеты. Постоянно повторяются и интерпретации приведенных материалов,

подкрепляемые расхожими и далекими от оригинальных разработок сценариями развития международных отношений в регионе, описаниями столкновений интересов и перспектив РФ. Поверхностный характер исследовательских практик нередко объясняется еще и тем, что большая часть социогуманитарной литературы по данной тематике, увидевшая свет за последние десятилетия, носит «отработочный» характер, это отчетная литература по грантам и конкурсам, закрывающая брешь в освоении средств. Публикации готовятся на скорую руку, в спешке конференций, грантов, попытках использовать удачный момент и стремлении соответствовать наличным трендам, а нередко и угодить очередным изменениям официальных приоритетов.

Одним из суммарных следствий той атмосферы, что сложилась в отечественном научном пространстве вокруг вопросов арктического региона, становится общее снижение научного уровня исследовательских практик. Речь идет о приумножающейся массе сомнительных публикаций, попросту не соответствующих научным требованиям, в том числе и в области изучения истории Русского Севера. В который раз открывают некие следы древних цивилизаций (*Бородин* 2006), вновь описывают Гиперборею и ее древних жителей арктов, что так повлияли на культуру древних славян (*Виолева* 2008), все это, включая сверхсекретные немецкие опорные пункты в Советской Арктике и Антарктиде (*Ковалев* 2003), только добавляет пикантности и без того нездоровому ажиотажу. Хотя, в силу меньшей

востребованности, сферу исторического анализа подобные тенденции коснулись в незначительной степени. Но и здесь с завидной регулярностью появляются монографии и статьи, претендующие на исторический анализ тех или иных вопросов, ответы на которые заведомо вписываются в проправительственные и востребованные параметры, либо статьи, не соответствующие научному уровню.

Примечательно, что интенсификация исследовательских практик за последние годы не привела к каким-либо качественным изменениям в изучении истории освоения Арктики и культурного наследия коренных народов. Как, впрочем, и вся шумиха вокруг Арктики не привела к новому ее пониманию или переосмыслению способов продвижения в ней интересов России. В современном социогуманитарном дискурсе северные рубежи по-прежнему распадаются на ряд довольно локальных нарративов и брендов (*Дидык* 2012: 40–41), которые задаются не исследователями, а властными структурами. Именно последние порождают сюжеты, обладающие в научной среде высокой степенью институциональной и смысловой инерции, постоянно воспроизводящиеся во временной динамике, разве что с разной степенью интенсивности обращения к ним. По сути, внутри сложившегося и крайне устойчивого к любым научным инновациям нарративно-символического комплекса российской Арктики меняется лишь относительный вес его отдельных элементов в зависимости от трансформаций российской и глобальной политической повестки (*Мартынов* 2013: 86).

Основное смысловое смещение в исследованиях последних десятилетий связано лишь с переориентацией государственной стратегии в отношении Арктики, которая из стратегического плацдарма времен холодной войны превратилась в экономически недооцененный регион, своего рода северное Эльдорадо, способное обогатить ресурсную базу российской экономики. В любом случае Арктика, благодаря кульбиту взглядов российских чиновников, преподносится чуть ли не одной из главных экономических и геополитических надежд РФ, а освоение Русского Севера вписывается в ряд приоритетных направлений экономического развития. На том славословие не так давно бесперспективных территорий не останавливается. Отечественные представители социогуманитарной мысли, подхватив новые ориентиры, подчас превосходят даже официальные СМИ в своих оценках. Арктика рисуется подчас, как ни странно, «новым регионом мира» с поразительно широкими «возможностями поддержания баланса на Земле и открытия резервов человечества» (*Харламтьева* 2011: 101), а то превращается в точку его бифуркации (*Мазур* 2010) и в конечном итоге представляется «той ключевой геополитической точкой, концепт-районом, на котором человечество сейчас будет оттачивать свои способности к международному компромиссу и взаимному согласию» (*Воронов* 2010: 61).

Что же в сложившейся обстановке делать историкам? Ясно, что пусть и во многом искусственный, но все же всплеск научного интереса к се-

верным территориям последних лет во многом способствует возможностям расширения тематического поля исторических исследований, осуществлению исследовательских проектов и публикации их результатов с поддержкой равноуровневых институций, проведению научных конференций, круглых столов и изданию журналов. Согласие авторов с официальным политическим дискурсом Арктики способствует преодолению негативного реноме региона, которое закрепилось за последним в 1990-е гг. С другой стороны, усиливается опасность заметного снижения качества исследовательской литературы, сдающей позиции количественным показателям и заданным параметрам анализа. К тому же высока вероятность превращения истории освоения региона в своеобразный фактологический резерв нового витка символического присвоения и «приближения» северных территорий, в котором аргументированность заключений, оригинальность подходов заведомо уступит место обезличенному набору повторяющихся и по сути универсальных чиновничьих лексем.

Конечно, проще всего дать какой-либо ответ, обыгрывающий требования «чистоты» исторической науки и необходимости служения государственным интересам. Однако наивно будут звучать рекомендации держаться в стороне от идеологических поворотов либо не размениваться на востребованные темы. Подобные требования и рекомендации будут лишь подтверждать преобладание риторики и отвлеченных умозрительных конструкций в текущем социогуманитарном

дискурсе Русского Севера. Может быть, вполне реально то, что столь нездоровый ажиотаж может привести к обратному эффекту – дискредитации в целом научного направления? В любом случае становится уже интересно, насколько «страсти» по Арктике смогут изменить сложившиеся направления и уровень соответствующих исторических исследований?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

Беляев 2013 – *Беляев Д. П.* Очерки по истории изучения и освоения Арктики: учебное пособие. Мурманск: Мурманский гос. гуманитарный ун-т, 2013. 107 с.

Бородин 2006 – *Бородин С.* Новое открытие Русского Севера // *Экология и жизнь: научно-популярный и образовательный журнал.* 2006. № 10 (59). С. 52–54.

Виольева 2008 – *Виольева Л.* Купальский сказ // *Наука и религия: ежемесячный научно-популярный журнал.* 2008. № 6. С. 17–20.

Воронов 2010 – *Воронов К.* Арктические горизонты стратегии России: современная динамика // *МЭиМО: Мировая экономика и международные отношения.* 2010. № 9. С. 54–65.

Галанин 2011 – *Галанин А. В.* Vjarnland – Русь Беломорская // *Арктика и Север.* 2011. № 2. С. 128–161.

Голдин 2012 – *Голдин В. И.* Геополитика и международные отношения в Арктике: уроки истории, современные процессы и тенденции // *Клио.* 2012. № 5 (65). С. 129–133.

Данилов 2009 – *Данилов Н. А.* Международная научная конференция «Холодная война» в Арктике // *Н. А. Данилов, Д. С. Козлов // Новая и новейшая история. Российская академия наук.* 2009. № 2. С. 218–220.

Дидык 2012 – *Дидык В. В.* Север и Арктика в новой парадигме мирового развития: актуальные проблемы // *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.* 2012. Т. 21. № 3. С. 37–42.

История изучения 2013 – *История изучения Арктики – от прошлого к будущему: труды научной конференции / Государственный научный центр Российской Федерации. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт [и др.]; [под ред. В. Г. Дмитриева]; [сост. Е. В. Антипина, Е. И. Иляхунова].* СПб.: ААНИИ, 2013. 366, [1] с.

Ковалев 2003 – *Ковалев С.* Тайные базы Гитлера в Советской Арктике и Антарктиде // *Наш современник: журнал писателей России: литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал.* 2003. № 1. С. 221–227.

Ковригина 2015 – *Ковригина Т. А.* Проблематика темы «Арктика» в российских и зарубежных СМИ: управленческий аспект // *Вопросы управления.* 2015. № 1 (13). С. 65–72.

Кондратов 2014 – *Кондратов Н. А.* Освоение Арктики: стратегические интересы России // *Arctic Environmental Research.* 2014. № 1. P. 120–126.

Копытов 2009 – *Копытов Ю. П.* Разведчики ледовых морей: о гидрографах Арктики. Архангельск: Архангельский литературный музей, 2009. 350 с.

Коровин 2013 – *Коровин В. П.* История исследования и освоения Арктики. СПб.: РГГМУ, 2013. 427 с.

Лузин 2002 – *Лузин Д. Ю.* Международная конференция «Война в Арктике. 1939–1945» // *Отечественная история.* 2002. № 4. С. 210–212.

Лукин 2013 – *Лукин Ю. Ф.* Российская Арктика в изменяющемся мире. Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. 281 с.

Мазур 2010 – *Мазур И. И.* Арктика – точка бифуркации в развитии глобального

мира // Век глобализации. 2010. № 2. С. 93–104.

Мартынов 2015 — *Мартынов В. Л.* «Холодная война» в Северном Ледовитом океане: войска ПВО страны в Арктике (50-е – 90-е годы XX века) // Арктика. XXI век. Гуманитарные науки. 2015. № 1(4). С. 75–85.

Мартынов 2013 — *Мартынов В. С.* Переосмысления Арктику: Динамика российских приоритетов // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН. 2013. Т. 13. № 1. С. 83–96.

Мурман 2016 — *Мурман и Российская Арктика: прошлое, настоящее, будущее: материалы межрегиональной научной конференции, 26–28 сентября 2016 года* / [редакционная коллегия: С. А. Никонов, к.ист.н., доц. (отв. ред.) и др.]. Мурманск: Мурманский арктический государственный университет, 2016. 356 с.

Притяжение Арктики 2013 — *Притяжение Арктики: от поморов до наших дней* / [С. Ю. Шокарев, Е. В. Гаранкина, Д. А. Миндич и др.]; Российский гос. музей Арктики и Антарктики, ОАО «Совкомфлот». М.: [б. и.], 2013. 206 с.

Проблемы освоения 2015 — *Проблемы освоения и сохранения Арктики: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 20 марта 2015 г., г. Норильск* / [редкол.: В. В. Гончаров (гл. ред.) и др.]. СПб.: Редакционно-издательский отдел ГУАП, 2015.

Старков 1998 — *Старков В. Ф.* Очерки истории освоения Арктики / Ин-т археологии РАН, М-во науки РФ. М.: Научный мир, 1998. 94 с.

Старков 2009 — *Старков В. Ф.* Очерки истории освоения Арктики / Рос. акад. наук, Ин-т археологии. 2-е изд. М.: Научный мир, 2009.

Харламьева 2011 — *Харламьева Н. К.* Арктика новый регион мира // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2011. Т. 11. № 1. С. 97–101.

Чукова 2015 — *Чукова Ю. П.* Женщина в Арктике (утраченные в буднях): сборник документальных рассказов и очерков. М.: Мегapolis, 2015. 386 с.

Ширококорд 2015 — *Ширококорд А. Б.* Битва за русскую Арктику. М.: Вече, 2015. 381, [2] с.

ARCTICA CASUS: HISTORICAL RESEARCH IN THE SOCIO-HUMANITARIAN DISCOURSE OF THE RUSSIAN NORTH OF THE XXI CENTURY

Aladyshkin Ivan V. — candidate of historical sciences, associate professor of the Higher School of Social Sciences, Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University (St.Petersburg)

Key words: the Arctic, historiography, socio-humanitarian discourse.

The article discusses the circumstances of the burst of scientific interest in the Arctic and the role of historical knowledge in the transformation of the image of the Russian North that has taken shape over the past decades. The author tries to show that the observed growth of interest in the region is of an artificial nature, and the newest socio-humanitarian historiography of the Arctic is determined, first of all by the official position of the state and the course toward its symbolic appropriation and geographical «approximation».

At the same time historians in contrast to the many other areas of scientific space in Russia so far managed to maintain a certain neutrality towards the ideologically biased vector analysis tasks and prospects of development of the Russian Arctic.

REFERENCES

- Beliaev D.P. *Ocherki po istorii izuchenii i osvoeniia Arktiki: uchebnoe posobie*. Murmansk: Murmanskii gos. gumanitarnyi unt, 2013. 107 p.
- Borodin S. Novoe otkrytie Russkogo Severa. *Ekologiia i zhizn'*: nauchno-populiarnyi i obrazovatel'nyi zhurnal. 2006. No. 10 (59). P. 52–54.
- Chukova Iu.P. *Zhenshchina v Arktike (uteriannye v budniakh): sbornik dokumental'nykh rasskazov i ocherkov*. Moscow: Megapolis, 2015. 386 p.
- Danilov N.A. Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia "'Kholodnaia voina" v Arktike' / N.A. Danilov, D.S. Kozlov. *Novaia i noveishaia istoriia*. Rossiiskaia akademiia nauk. 2009. No. 2. P. 218–220.
- Didyk V.V. Sever i Arktika v novoi paradigme mirovogo razvitiia: aktual'nye problem. *Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz*. 2012. Vol. 21. No. 3. P. 37–42.
- Galanin A.V. Bjarmland – Rus' Belomorskaia. *Arktika i Sever*. 2011. No. 2. P. 128–161.
- Goldin V.I. Geopolitika i mezhdunarodnye otnosheniia v Arktike: uroki istorii, sovremennye protsessy i tendentsii. *Klio*. 2012. No. 5 (65). P. 129–133.
- Istoriia izuchenii Arktiki – ot proshlogo k budushchemu*: trudy nauchnoi konferentsii / Gosudarstvennyi nauchnyi tsentr Rossiiskoi Federatsii. Arkticheskii i Antarkticheskii nauchno-issledovatel'skii institut [i dr.]; [pod red. V.G. Dmitrieva]; [sost. E.V. Antipina, E.I. Iliakhunova]. St. Petersburg: AANII, 2013. 366, [1] p.
- Kharlamp'eva N.K. Arktika novyi region mira. *Izvestiia Saratovskogo universiteta*. Novaia seriia. Seriia: Sotsiologiia. Politologiia. 2011. Vol. 11. No. 1. P. 97–101.
- Kondratov N.A. Osvoenie Arktiki: strategicheskie interesy Rossii. *Arctic Environmental Research*. 2014. No. 1. P. 120–126.
- Kopytov Iu.P. *Razvedchiki ledovykh morei: o gidrografakh Arktiki*. Arkhangel'sk: Arkhangel'skii literaturnyi muzei, 2009. 350 p.
- Korovin V.P. *Istoriia issledovaniia i osvoeniia Arktiki*. St. Petersburg: RGGMU, 2013. 427 p.
- Kovalev S. Tainye bazy Gitlera v Sovetskoi Arktike i Antarktide. *Nash sovremennik: zhurnal pisatelei Rossii: literaturno-khudozhestvennyi i obshchestvenno-politicheskii ezheмесяchnyi zhurnal*. 2003. No. 1. P. 221–227.
- Kovrigina T.A. Problematika temy "Arktika" v rossiiskikh i zarubezhnykh SMI: upravlencheskii aspect. *Voprosy upravleniia*. 2015. No. 1 (13). P. 65–72.
- Lukin Iu.F. *Rossiiskaia Arktika v izmeniaushchetsia mire*. Arkhangel'sk: IPTs SAFU, 2013. 281 p.
- Luzin D.Iu. Mezhdunarodnaia konferentsiia "Voina v Arktike. 1939–1945". *Otechestvennaia istoriia*. 2002. No. 4. P. 210–212.
- Mart'ianov V.S. Pereosmysliia Arktiku: Dinamika rossiiskikh prioritov. *Nauchnyi ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniia RAN*. 2013. Vol. 13. No. 1. P. 83–96.
- Martynov V.L. "Kholodnaia voina" v Severnom Ledovitom okeane: voiska PVO strany v Arktike (50-e – 90-e gody KhKh veka). *Arktika. XXI vek*. Gumanitarnye nauki. 2015. No. 1 (4). P. 75–85.
- Mazur I.I. Arktika – tochka bifurkatsii v razvitiu global'nogo mira. *Vek globalizatsii*. 2010. No. 2. P. 93–104.
- Murman i Rossiiskaia Arktika: proshloe, nastoiashchee, budushchee: materialy mezhhregional'noi nauchnoi konferentsii, 26–28 sentiabria*

- 2016 goda / [redaktsionnaia kollegiia: S.A. Nikonov, k.ist.n., dots. (otv. red.) i dr.]. Murmansk: Murmanskii arkticheskii gosudarstvennyi universitet, 2016. 356 p.
- Pritiazhenie Arktiki: ot pomorov do nashikh dnei* / [S. Iu. Shokarev, E. V. Garankina, D.A. Mindich i dr.]; Rossiiskii gos. muzei Arktiki i Antarktiki, OAO "Sovkomflot". Moscow: [b. i.], 2013. 206 p.
- Problemy osvoeniia i sokhraneniia Arktiki: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, 20 marta 2015 g., g. Noril'sk* / [redkol.: V.V. Goncharov (gl. red.) i dr.]. St. Petersburg: Redaktsionno-izdatel'skii otdel GUAP, 2015.
- Shirokorad A. B. *Bitva za russkuiu Arktiku*. Moscow: Veche, 2015. 381, [2] p.
- Starkov V. F. *Ocherki istorii osvoeniia Arktiki* / In-t arkheologii RAN, M-vo nauki RF. Moscow: Nauchnyi mir, 1998. 94 p.
- Starkov V. F. *Ocherki istorii osvoeniia Arktiki* / Ros. akad. nauk, In-t arkheologii. 2-e izd. Moscow: Nauchnyi mir, 2009.
- Viol'eva L. Kupal'skii skaz. *Nauka i religiiia: ezhemesiachnyi nauchno-populiarnyi zhurnal*. 2008. No. 6. P. 17–20.
- Voronov K. Arkticheskie gorizonty strategii Rossii: sovremennaia dinamika. *MEi-MO: Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia*. 2010. No. 9. P. 54–65.

А. И. Аврус, Т. Н. Жуковская

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ¹

Ключевые слова: классическое университетское образование, университетская наука, национальная модель университета

Статья посвящена анализу современного состояния классического университетского образования в России, который невозможен без экскурса в историю формирования национальной модели университета и обзора основных трендов в совершенствовании университетской организации в мире. Не только исторический опыт, но и неудачи поспешных реформ современной российской высшей школы указывают на необходимость восстановления и расширения академической свободы и самоуправления и пересмотра утвердившейся бюрократической модели внешнего администрирования университетской науки и преподавания. Назревшая корректировка целей и механизмов идущей уже второе десятилетие реформы высшей школы требует возвращения к апробированным десятилетиями практикам организации академического взаимодействия между преподавателями и студентами, адаптации системы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры к особенностям рынка труда, социальному заказу и научной традиции, в частности, в системе исторического образования.

Существует два противоположных мнения относительно оценки состояния и перспектив современных университетов, причем распространены они как в России, так и в мире. Первое мнение, своеобразная *apologia universitatis*, исходящее в первую очередь от самих

© Аврус А. И., Жуковская Т. Н., 2017
Аврус Анатолий Ихильевич — доктор исторических наук, профессор (Саратов)

Жуковская Татьяна Николаевна — кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург); tzhukovskaya@yandex.ru

¹ В начале 1990-х гг. на территории Российской Федерации насчитывалось всего 40 классических университетов, не считая Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Затем статус и наименование «университет» были распространены на педагогические, медицинские институты и технические вузы. В мире наблюдается та же тенденция: название «университет»

университетских интеллектуалов и бытующее в широкой околоуниверситетской среде. Его сторонники утверждают, что университеты в современном мире остаются важной общественной и государственной институцией, одновременно являясь сообществами, формирующими облик наций, а потому связь экономического, политического и социального процветания с состоянием университетов в той или иной стране – непосредственная. Второе мнение прямо противоположно первому. Те, кто придерживаются его, считают, что университеты «никогда прежде в человеческой истории не были столь многочисленны и столь значимы, но никогда прежде они так не страдали от недостатка доверия и утраты идентичности» (Collini 2012: 106; Риддингс 2010), то есть деформации прежнего классического облика и прежнего назначения. Университеты получают больше общественных денег, чем когда-либо прежде, однако их репутация в обществе крайне неустойчива. Сегодня ко-

распространяется на вузы с преимущественно негуманитарным профилем, а также на так называемые «исследовательские университеты» и на тип «массового» университета, цель которого – подготовка дипломированных специалистов (бакалавров и магистров) для конкретного региона. Таким образом, понятия «университет» и «высшая школа» давно употребляются как синонимы. Тем не менее академический профиль старых классических университетов в России, который предполагает полный комплекс, восходящий к известной триаде: право, естественные и точные науки, гуманитарные и общественные, а также их социальный облик, отражающий модель классического немецкого университета и собственные двухвековые традиции, до сих пор позволяет не смешивать их со специальными высшими учебными заведениями.

личество студентов по всему миру в несколько раз больше, чем это было поколение назад, тем не менее в обществе и в бизнесе нарастает скептицизм в отношении преимуществ (как интеллектуальных, так и материальных), которые дает университетское образование.

Авторы настоящей статьи принадлежат к разным поколениям университетских преподавателей, но всю свою жизнь были тесно связаны с российскими классическими университетами: Саратовским, Петрозаводским, Марийским, Санкт-Петербургским. Пройдя все ступени вузовской иерархии: студент – аспирант – ассистент – доцент – профессор, мы имеем основания сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что собой представляло университетское образование 20–40–60 лет назад, причем в различных по статусу и местоположению университетах страны. Благодаря Интернету и возможности общения на специальных конференциях и форумах наш личный опыт и наблюдения дополняются информацией, полученной от коллег из других российских университетов, а также от представителей университетских сообществ разных стран. Кроме того, мы уже более 20 лет занимаемся изучением истории российских университетов и университетских традиций. Наши наработки в этой области отражены в книгах и статьях (Аврус 2001; 2003: 207–218; Жуковская 2012: 199–205; и др.), используются в преподавании, чтении студентам авторских курсов по истории университетов (Аврус 2007; 2011; Жуковская 2011), публичных выступлениях. Разумеется, будучи историками,

лучше всего мы представляем облик исторических факультетов классических университетов, как бы они сейчас ни именовались. Нам не безразлично то, что происходит в последние два десятилетия с отечественными классическими университетами и, в частности, с университетским историческим образованием, что и стало поводом к написанию этой статьи.

Главная проблема университетов, которая фиксируется во всем мире, особенно в «молодых» или «корпоративных» университетах, но в России приобретает особенно уродливые формы, состоит в том, что «набирает обороты процесс отчуждения профессоров и преподавателей от управления университетом», менеджеризация университета (Борьба за профессию 2015). Менеджеры, стоящие во главе университета, исторически не связанные с корпорацией и факультетами, приходят на смену выборным ученым советам университетов и факультетов с широкими полномочиями. Выборные деканы, представлявшие свои факультеты, замещаются назначаемыми директорами институтов, в которые для усиления вертикальной подчиненности трансформируются факультеты. Выборные ректоры, которые хотя бы формально соответствовали старой университетской традиции быть «первыми среди равных», представлять «ученое сословие» во власти и отстаивать его интересы, — сменяются ректорами, назначенными президентом (как в СПбГУ и МГУ), пришедшими из бизнеса или партийно-административной вертикали, как в ряде других университетов.

Общемировая ситуация девальвации университетских ценностей усугубляется в России отсутствием последовательной и продуманной программы действий у руководства высшей школой и образованием, недостатком финансирования, коррумпированностью высших эшелонов управления, деградацией гражданского общества и профессионального университетского сообщества, которое оказалось неспособно отстоять даже свои прежние права и оппонировать управленцам. Это происходит на фоне свертывания публичной сферы и возможности открытых общественных дискуссий о путях реформ высшего образования.

Новый менеджмент создает чисто бюрократические формы университетского управления. Цель реформы, продиктованная Министерством образования и науки, — повысить «эффективность» университетов, которая выводится из количественных показателей научной и образовательной активности. Такой стиль управления ломает прежние представления об академической свободе и идентичности, академическом профессионализме, дезавуирует корпоративные традиции и профессиональную этику университетских ученых и преподавателей. При этом менеджеры сочиняют пафосные документы вроде «Кодекса универсанта СПбГУ» (который, в частности, содержит требование «читать учителей, уважать коллег и учеников... способствовать созданию обстановки взаимопонимания и сотрудничества» и еще несколько столь же пустых благопо-

желаний)² и одновременно вносят бесконечные поправки в университетский устав, в общем, обращаются с традицией так, как им удобно.

Болезненное состояние отчуждения самих универсантов от управления университетом углубляется с каждым годом. Превращение университетов в закрытую бюрократическую структуру дополнено их пространственной изоляцией вследствие введения повсеместно сурового пропускного режима. Службы охраны препятствуют свободному проходу заинтересованных людей и не работающих в университете ученых на конференции, открытые лекции, торжественные мероприятия. Согласования пропускного режима и режима информатизации (оповещения о мероприятиях) становятся отдельным направлением администрирования, источником новых должностей и зарплат. Причем эта деятельность по обеспечению безопасности и контролю за университетскими репрезентациями не облегчает, а осложняет научные и общественные коммуникации университета. Ни в одном европейском университете свободный проход на его территорию не ограничивается со времен Средневековья, за исключением отдельных музеефицированных пространств. А чего стоит создание личной охраны ректоров университетов!

Поспешные и противоречивые реформы «сверху», результаты которых еще предстоит объективно оценить, коснулись всех сторон университетской жизни и имеют

следствием поглощение самоуправляющейся прежде профессорской корпорации разросшейся бюрократией, не связанной с наукой и преподаванием. Однако за годы реформ — время министерств А. А. Фурсенко (2004–2012) и Д. В. Ливанова (2012–2016) — не произошло ожидаемого роста экономической и научной «эффективности» университетов, даже в формальных наукометрических показателях, хотя подлинное развитие к этим показателям свести невозможно. В мировых рейтингах наши университеты (за исключением МГУ) занимают позиции в пятой-седьмой сотне. Российский сегмент в мировом потоке научных публикаций продолжает сужаться. Причем университетские ученые, с точки зрения наукометрии, по-прежнему существенно проигрывают ученым, представляющим РАН, хотя многие университетские центры в последние годы получали мощные финансовые вливания, а РАН — нет.

Работающие преподаватели университетов встревожены больше всего тем, что далеко зашедшая перестройка управления университетом, коснувшаяся всех форм и направлений деятельности (на примере СПбГУ — флагмана этого процесса) грозит потерей управляемости и в то же время профессиональной и этической деградацией сообщества «учащих и учащихся». Недостаток финансирования и одновременное усиление идеологического и дисциплинарного контроля за преподавателями имеют следствием увольнения, часто незаконные и оспариваемые в суде³.

² URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1475595819_0776.pdf.

³ См. материалы сайта Межрегионального профсоюза работников высшей школы

При этом все понимают, что приказами и распоряжениями, запретами и наказаниями нельзя заставить людей работать творчески, если они морально и материально демотивированы, если от них перестало что-либо зависеть в ключевых вопросах, которые делали университет университетом, или, если отталкиваться от исходного значения латинского *universitas*, — сообществом учащихся и учащихся, корпорацией. Это вопросы выбора руководителей всех подразделений, начиная с ректора, вопросы кадровой ротации, разработки программ обучения, организации процедур самопополнения корпорации, вопросы комплектования аудиторий подходящим составом абитуриентов через процедуру собственных экзаменов, а не сдачи ЕГЭ, вопросы распределения учебной нагрузки и т.д. Ныне даже проблема составления расписания занятий выведена из компетенции тех, кто учит, и передана в руки многоуровневому и обезличенному административному механизму, что порождает дикую ситуацию, когда студенты и преподаватели, приходя в университет... не находят друг друга в указанных аудиториях. Из-за бюрократических проволочек элективные курсы, призванные обеспечить студенту «свободу выбора», открываются через две недели после официального начала семестра, после того как службы закончат оформление записавшихся на них студентов согласно письменным заявлениям, все подсчитают и согласуют.

«Университетская солидарность»: URL: unisolidarity.ru/.

Преддипломная практика в прежнем виде аннулирована, сроки представления дипломных работ, учитывая оформление их и сопроводительных экспертных заключений в системе Blackboard, приближены более чем на месяц. Качество таких «дипломов» заранее ограничено установленным максимумом объема текста по каждой специальности (по истории — не более 40–50 страниц!). Это превратило диплом бакалавра по истории содержательно — в «курсовик» очень среднего второкурсника, при огромных бессмысленных затратах времени на согласование темы (за год до защиты), представление текста, организацию экспертизы и процедуры защиты. Не нужно добавлять, что все эти стадии индивидуальной научной работы студента развернуты в сторону контролирующего администратора, а не в сторону науки. Зато это умножило и украсило отчетность, стремящуюся стать главным результатом академических усилий студентов, их руководителей, экспертов. О невероятных объемах этой «отчетности», уродливом языке коммуникации, который она задает, особом дискурсе, в который административный аппарат университета насильственно вовлекает его ученых и преподавателей, уже сейчас можно думать только с ужасом, предвидя муки будущих историков-архивистов, которые возьмутся писать историю какого-нибудь российского университета через 100 лет...

Определение желаемых (для эффективного «работодателя»?) компетенций выпускников, регламентация объема, качества, сроков представления дипломных работ, самой

процедуры проведения госэкзаменов и защит, содержания учебного плана в его основной и вариативной части – все эти вопросы уже несколько лет решаются не профессиональным сообществом (факультетом), а чиновниками многочисленных административных служб в процессе многоуровневых согласований. В результате реальные границы свободного выбора студентами специализации и дополнительных программ (что было условием обучения в университете даже в советские годы) не раздвинулись, а сузились. Менеджеры образования (непрофессионалы) навязывают методическим комиссиям с участием профессоров-предметников (профессионалам) требования к учебному плану по направлениям подготовки и отдельным специальностям, причем эти требования почти ежегодно меняются вслед за ФГОС, как и требования к оформлению РПУД⁴. Сами РПУД становятся шедевром обезличенного планирования учебной деятельности, поскольку при наличии РПУД предмет может читать кто угодно. Личная форма трансляции знаний и обучения приемам научной деятельности, на которой 200 лет зиждилось российское университетское преподавание, таким образом, рассыпается на наших глазах вместе с остатками представлений о необходимости «свободы преподавания» как условия поддержания его качества и конкурентного уровня. Бюрократия не допускает деятельности, которую невозможно контролировать, обсчитывать и за

которую нельзя отчитаться по заранее составленному шаблону.

Обезличенность руководства учебным процессом доходит до того, что нередко группы первокурсников распределяются по кафедрам... по алфавиту. Студенты, чьи фамилии стоят в начале алфавита, отправляются, к примеру, на кафедру истории России до XX в., а тех, чьи фамилии, условно, начинаются с буквы «С», прикрепляют к кафедрам новистики, славяноведения и пр. Теоретически студенты через год могут «открепиться» и перейти на другую кафедру, к другому научному руководителю. Но для молодого человека 18–19 лет, потерявшего один год из четырех на «нелюбимой» отрасли истории и поэтому сильно отставшего (это видно преподавателю, ведущему семинары в разных группах) от тех, кто попал на нужную программу обучения и учится с энтузиазмом, наступает кризис выбора. Хаотичное движение между обязательными и элективными курсами, недостаток времени на работу с руководителем по индивидуальной научной теме быстро отбивают у студента интерес к учебе, к углубленным творческим занятиям, съедают его время. Такой студент никогда не станет магистрантом, ему лишь бы до диплома бакалавра дотянуть. Поступающие же на магистерскую программу по истории оказываются на 3/4 людьми пришлыми (юристами, экономистами, социологами), не прошедшими даже программу бакалавриата по истории, их еще труднее обучить азам профессии, чем вчерашних школьников. Да они и сами это понимают. Такая магистратура

⁴ РПУД – рабочая программа учебной дисциплины.

аналогична второму образованию, которое взрослый человек получает «для себя», но ужатому и фрагментированному.

При этом в отчетах предстает цветущее разнообразие: по 300 читаемых на факультете курсов на 400 студентов. Программы ежегодно обновляются вслед за меняющимися требованиями к отчетности. Каждые два года, между конкурсами на должность, доказывая свою профпригодность, профессора заявляют по 5–7 новых курсов – просто потому, что старые вычеркиваются из расписания новым составом учебно-методической комиссии, следующей новому стандарту. Почти всем понятно, что это броуновское движение, эта «презентация роста» адресуется в основном университетской администрации и Рособнадзору, а не учащимся и является красочной имитацией деятельности. Только в аудитории, где преподаватель остается один на один со студентами, происходит та настоящая работа по обучению профессии, целям и методам которой, как клятве Гиппократа для медиков, еще следуют те, кому просто стыдно работать плохо. Иных способов получения «эффективного» образования и одновременного обучения науке, кроме создания обстановки свободы учить и учиться, не выдумали со времен Александра Гумбольдта.

Островки академической свободы удерживались вокруг отдельных центров, кафедр, научных школ даже в глухие советские годы благодаря преимущества университетской культуры, самовоспроизводству университетской среды

с присущим ей демократизмом взаимоотношений. Но сейчас академическая свобода кажется окончательно побежденной внеакадемической бюрократией. Следствием этого является демотивация учащихся и учащихся, падение авторитета профессии и университетского диплома, снижение знаний студентов и критериев их оценивания. Все это происходит независимо от объема средств, избирательно вливаемых в университеты (включенные, к примеру, в программу 5–100), или от наличия административного карт-бланш, выданного руководителям ведущих вузов. Много сил оттянуто на создание имитационного продукта, прохождение конкурсов, выполнение условий «эффективных» контрактов, повышение «рейтинговых показателей» по публикациям и цитируемости. Не меньше сил уходит на естественное сопротивление живого организма, каким является профессиональная корпорация преподавателей в рамках любого факультета и кафедры, обесмысливающему труд и творчество бюрократическому давлению. Но число менеджеров на одного работающего профессионала в университетах неуклонно увеличивается, образуя «третью корпорацию», третье сословие рядом с «сословиями» учащихся и учащихся – корпорацию управленцев, с собственными стратегиями, интересами и даже с собственным языком коммуникации, который не всегда можно понять и однозначно истолковать в ежедневно рассылаемых ею приказах и распоряжениях. Эта структура развивается согласно 1-му закону Паркинсона, воспроизводя, умножая себя, занимая себя

работой. Каждый ее элемент оправдывает собственное существование нарастающим бумаготворчеством, вовлекая в него все живое... Неудивительно, что, после короткого роста в 2012–2014 гг. показателей публикационной активности университетской профессуры (за счет чисто технических резервов существующих баз данных), академической мобильности учащихся и уровня адаптации выпускников университетов на рынке труда, эти показатели снова пошли вниз. Моральные ресурсы профессорской корпорации близки к исчерпанию, аудитории неизбежно пустеют. Сильнее всего заметна деградация на гуманитарных факультетах классических университетов, которые стали париями для управленцев. Ведь индекс Хирша историка-русиста при всех ухищрениях, известных мастерам приписок, никогда не дотянется до показателей физика-теоретика или химика-технолога, который всю свою научную карьеру публиковался в международных журналах с высоким рейтингом.

Что делать? Может быть, отступить назад, хотя бы на несколько лет, прошедших со времени принятия Федерального закона об образовании в декабре 2012 г., и взглянуть на мировой и отечественный опыт университетского строительства более внимательно, чем это сделали идеологи новейших реформ?

То, что творится с классическими университетами в последние полтора десятилетия, в какой-то степени напоминает ситуацию конца 1920-х — начала 1930-х гг., когда предпринималась попытка их полной

ликвидации. Тогда Ленинградский университет лишился юридического и гуманитарных факультетов, выделенных в ЛИФЛИ. Вместо естественнонаучных факультетов были созданы институты. Число студентов, несмотря на открытие новых факультетов и кафедр, в начале 1930-х гг. резко упало, а накануне войны едва достигло показателей предреволюционного 1915 г. В Саратовском университете с 1930 по 1933 г. число студентов сократилось в 5 раз, а из 54 профессоров осталось 13 (Отчет 1915: 123; История Ленинградского университета 1969: 337; *Аврус* 2001: 126), университет оказался на грани выживания. С 1934 г. пришлось спешно восстанавливать университетскую историческую науку, вновь вводить ученые степени и звания, объявлять конкурсы написание вузовских учебников по гражданской истории (*Жуковская* 2013: 10–21). В начале 1920-х гг. наши университеты пережили так называемую «советизацию», сочетавшую идеологическое подчинение, кадровую чистку от «старой профессуры» и бюрократическое включение в систему Наркомпроса. Но и после этого академические традиции не пресеклись, хотя были надолго заглушены многие научные направления, например фольклористика, этнология, новая и новейшая история Европы и России.

Знание последствий университетских реформ и контрреформ XX в. вселяет определенный оптимизм и при взгляде на современный университет: если он уже не раз находился в критическом состоянии, выходил из него обновленным и развивался дальше, то и ныне-

шние вызовы он, скорее всего, переживет. Однако прежние испытания несли за собой немалые жертвы для университета: материальные разрушения, невосполнимые потери в кадрах, разрыв научных традиций, а часто и гибель представителей университетского сообщества. Поэтому очень хотелось бы, чтобы современный кризис был преодолен с наименьшими потерями. Для этого нужно только одно: руководителям науки и образования следует, наконец, прислушаться к университетскому сообществу и взглянуть на мировой опыт не избирательно, а объективно. Звучавшие не так давно заявления, вроде сделанного бывшим министром науки и образования А. А. Фурсенко о том, что университеты призваны выпускать не творцов, а квалифицированных потребителей, что вуз предлагает «образовательные услуги», дискредитируют многовековую идею и практику университета, который призван не «продать» готовые знания, а сформировать интеллектуалов-творцов, обладателей универсальных методов познания, людей гибких, способных перестраиваться под любые задачи.

Анализируя решения Министерства образования и науки, касающиеся, в частности, классических университетов, и ощущая их на себе, невольно задаешься вопросом: понимали ли «реформаторы», что делают, продумывали ли последствия реформ? Очевидно при этом, что все или почти все нововведения последних лет разрабатывались без участия широкой университетской общественности и всестороннего мониторинга, несмотря на наличие

хорошо оплачиваемых творческих лабораторий, которые специализируются в области практики образования и образовательного менеджмента, а также наличие площадок для дискуссий⁵. Неплохо было бы экспертам и министерскому аппарату познакомиться с тем, как готовили и проводили университетскую реформу в России в начале 1860-х гг. или как организовал в 1905 г. выработку нового университетского устава министр народного просвещения И. И. Толстой. Все изменения в жизни университетов тогда предварительно широко обсуждались, и мнение профессорско-преподавательского состава обязательно учитывалось.

Как возникла идея трансформации классических университетов в «современные», т. е. «массовые», в сжатые сроки? Мы помним, что импульс к трансформации классических университетов, созданных в России по немецкой модели второй половины XVIII — начала XIX в., в современные был задан желанием «войти» в Болонский процесс в пору относительной открытости экономических и интеллектуальных границ между Россией и Европой. Эта перспектива казалась неизбежной и оправданной, хотя многие национальные университеты Европы, например герман-

⁵ Таков, например, ежегодный (с 2008 г.) международный форум Российской ассоциации историков Высшего образования (РАИВО) в Москве на базе Института образования НИУ ВШЭ (своеобразного придворного института Минобра). К сожалению, историки образования и науки в дискуссиях форума, как и в составе самого Института, не представлены. Сайт форума: URL: <https://ioe.hse.ru/announcements/178885307.htm>.

ские, приняли Болонскую систему очень избирательно. Еще раньше, в начале 1990-х гг., происходило ничем не оправданное и очень поспешное преобразование узко специализированных вузов в университеты, что уже дезавуировало исправно работавшую в предшествующее столетие модель «немецкого» университета, сочетавшего трансляцию знаний с «деланием» науки при участии студентов и аспирантов. Было нарушено прежнее четкое разделение, себя полностью оправдавшее, на университеты, дававшие фундаментальные знания в области естественных, гуманитарных, юридических и медицинских наук, и академии, институты, высшие технические и коммерческие училища, готовившие прекрасных специалистов узкого профиля. Университет тогда соответствовал своему названию. Невозможно было себе представить в Российской империи технический, аграрный, педагогический, юридический университет. Кроме того, европейские и российские университеты имели еще ряд отличий: наличие автономии, за которую приходилось постоянно бороться с бюрократическим аппаратом, обязательное участие всего профессорско-преподавательского состава в научно-исследовательской деятельности (великие русские ученые Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский и др. постоянно подчеркивали, что в университетах не имеет права преподавать человек, не занимающийся наукой), широкое привлечение к ней студентов.

Исследователи истории российских университетов отмечают, что в их стенах зарождались элементы

гражданского общества, своеобразная «дорожная карта» политических и социальных преобразований, многие преподаватели и студенты университетов были в числе самых активных борцов за демократические свободы и гражданские права соотечественников. Современное академическое сообщество разобщено и не в состоянии отстаивать даже собственные права. Общественное уважение к научной и вузовской интеллигенции (бывшее нормой даже в советские времена) рассеялось вместе с понижением ее материального статуса и влияния.

Превращение специальных вузов в университеты повредило, в частности, педагогическому образованию. Несколько педагогических институтов, со сложившимися научными школами по педагогике, психологии, методике преподавания, спешно превращенные в университеты и «обросшие» множеством новых факультетов, не приобрели авторитета, а прежние позиции и ориентацию на подготовку учителей ослабили, ликвидировали соответствующие подразделения. От этого проиграла и школа. Даже среди выпускников одного из крупнейших педагогических вузов страны, Педагогического университета им. А.И. Герцена в Петербурге, менее 15 % остается работать в школе, с недавнего времени приходится вводить специальные условия: обучение за бюджетные деньги в обмен на обязательное распределение в школу на несколько лет. Такая практика применялась еще в первой половине XIX в. к казеннокоштным студентам, обязанным службой

по Министерству народного просвещения, была нормой в советские годы. Но в 2010-х гг. она выглядит как архаика, как «непредвиденные» издержки реформ, дискредитировавших профессию учителя и при этом оставивших молодого специалиста без должной практической подготовки к этой профессии. Выпускники университетов – бакалавры, имея в программе всего около 30 часов «методики преподавания» своего предмета и одну короткую ознакомительную педпрактику, слабо подготовлены преподавать в школе и, как правило, не задерживаются там более 1–2 лет.

В то же время мировые тренды в развитии передовых университетов, так называемых «университетов мирового класса», на которые, казалось бы, должны ориентироваться идеологи реформ, существенно отличаются от тех целей, которые поставлены перед российскими университетами. И, конечно, существенно различаются источники развития и пути, определенные для достижения «академического совершенства» мировых лидеров и российских университетов. Источники динамичного развития мировых лидеров, внимательно изученные, лежат в соединении нескольких важнейших условий. Все они работают, как и в Геттингенском университете XVIII в., на создание имиджа научного флагмана, на привлечение наилучших профессорских кадров и лучших студентов, создание необходимых материальных и моральных условий для творческой деятельности. При этом принципы основателя Берлинского универси-

тета Александра Гумбольдта «свобода и уединение» не потеряли своей актуальности. Под «уединением» следует понимать комфортные физические и нравственные условия научной деятельности, невмешательство в нее со стороны «кураторов», властей и общества. Условиями динамичного развития передовых университетов сегодня являются:

– *Открытость и мобильность*, допускающая перемещение университета, строительство новых кампусов для его филиалов. Вот почему «старые» университеты, отягощенные традициями, неповоротливые с устоявшимися структурами и окостеневшими внутрикорпоративными связями, «отстают» и постепенно уступают мировое лидерство по всем рейтингам (пример – Сорбонна, выбывшая из первой десятки). Мобильные, относительно компактные и молодые университеты имеют больше преимуществ. Пока в первой мировой десятке нет ни одного университета, который был бы моложе 100 лет, но это ненадолго. В то же время в России особый статус получили два старейших университета – МГУ и СПбГУ, имеющие привилегии в государственном финансировании, тяготеющие к территориальному и структурному расширению. Даже ректура в них сегодня – институт политический, поскольку с 2009 г. ректор МГУ и СПбГУ назначается президентом РФ. Такая практика противоречит мировому опыту, одновременно являясь архаичной даже для России, где прямое назначение ректора вошло лишь дважды: при Николае I после революционного европей-

ского кризиса 1848 г. и в советских университетах. В предвоенные годы ректор именовался директором университета и являлся типичным партийным назначенцем, а не ученым.

– Создание консорциумов университетов или сетевых университетов (объединений исследовательских университетов по направлениям деятельности, по территориальной близости, сетям обмена). Таким является, например, консорциум университетов в Аризоне, к которому присоединяется Сычуаньский университет (КНР). На этом фоне слияние наших разнокалиберных вузов на базе одного из «крепких» классических университетов, развернутое с 2011–2012 гг. и происходящее как бы в интересах развития регионов, в мировой тренд также не вписывается. Так называемые «федеральные» университеты России, которых создано 10, становятся неуправляемыми гигантами, внутри них происходит столкновение интересов и влияний различных групп из объединившихся, но разнородных вузов. Объединение чаще всего происходит на территориальной основе, но не на общности профиля и интересов. Создание административным путем таких неустойчивых конструкций, как в свое время совхозов-гигантов, не решает проблем конкурентоспособности для самого гиганта, но понижает уровень управляемости. Бюрократическим путем отнюдь не решается конфликт интересов бывших «частей» вуза-гиганта, конфликт их собственной клиентелы, руководителей подразделений и внеуниверситетских групп влия-

ния⁶. Борьба за административное влияние и финансирование осложняет естественную научную конкуренцию. Научные и производственные связи между разнородными частями федеральных «гигантов» очень трудно отрегулировать, это снижает их управляемость, а значит, и реальную «эффективность».

Попытки наших университетов войти в существующие в мире университетские консорциумы или сетевые объединения пока в основном ограничиваются демонстрацией намерений. Примером может служить соглашение в Тромсе в июне 2012 г., заключенное бывшим геологическим факультетом СПбГУ, о вхождение в «Университет Арктики», консорциум из 140 университетов 8 стран мира. В 2016 г. СПбГУ даже провел у себя Конгресс Университета Арктики⁷. Петрозаводский университет включился в это объединение на много лет раньше, но на его развитии это сказалось мало. Показателем включенности наших

⁶ Весьма проблемным образованием стал Приволжский федеральный университет, созданный на базе одного из старейших российских университетов, Казанского, к которому присоединены на основании приказа Минобрнауки РФ от 2 февраля 2011 г. Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (состоящий из бывших ТАРИ, КГПУ, ТГГИ), Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ) и Елабужский государственный педагогический университета (ЕГПУ). Во главе ПФУ в 2010 г. оказался бывший мэр г. Елабуга И. Р. Гафуров, человек не только посторонний для университетского сообщества, не имеющий научных заслуг, но и с сомнительной деловой репутацией. См.: (Муртазин 2012).

⁷ См. URL: spbu.ru/news-spsu/26937-my-sozdaem-novyj-sever-v-spbgu-otkrylsya-pervyj-istorii-kongress-universiteta-arktiki.html.

университетов в мировые консорциумы мог бы стать интенсивный и систематический (а не индивидуально организованный) студенческий и преподавательский обмен и совместные научные разработки. Но тенденция к интенсификации академического обмена за 10 лет не просматривается. Зато профессиональная эмиграция (отъезд без возвращения) студентов и преподавателей из России исчисляется тысячами — достаточно перебрать в памяти имена коллег и учеников. Такие переезды, разумеется, не результат действия академической программы, а личный выбор уехавших. Многие ученые живут «на два дома», работая на Западе (вариант: в Японии или в Китае), летние месяцы проводя в России. При этом, в отличие от Китая, Россия не имеет программы по возвращению своих студентов, уехавших на Запад по обмену или для постоянного обучения. Таким образом, следствием установления «сетевых связей» становится академическая миграция из России.

— Определение университетом собственного *уникального профиля и миссии*, имеющих индивидуальную привлекательность для соискателей кафедр или для студентов. Люди едут учиться и работать не просто в университет, но в конкретный университет. Желаемый образ легче построить молодым, открытым к изменениям университетам, основанным в мире в последние 30–40 лет, они быстро меняются и перестраиваются. При этом реализуется тренд на *профиллизацию*. В среднем в таких динамично развивающихся университетах всего 5–6 факульте-

тов, а не 41, как в МГУ (включая факультет военных наук), и не 23, как в СПбГУ. Типичный пример — *университет Помпеу Фабра* (Барселона), «средний» по размеру и молодой по возрасту. Он входит в двадцатку европейских университетов, получающих наибольшее число грантов. Здесь определено всего 3 профиля: гуманитарные науки, биомедицина, технические науки⁸.

— *Интернационализация* процесса обучения и состава студентов и преподавателей. В большинстве вузов Китая преподавание переведено на английский язык, не говоря о Южной и Северной Европе. Университеты Греции, Испании, Турции, Латинской Америки (Чили) — переходят на единый язык преподавания, хотя у этого процесса есть свои издержки в виде, например, стандартизации языка и оформления научных работ под требования рейтинговых журналов. В европейских университетах «второй-третьей сотни» не менее 20 % студентов — иностранцы. У нас же в последние несколько лет сокращается количество студентов и стажеров даже из Китая и Турции. В МГУ в 2003 г. было около 5 тыс. китайских студентов, в 2010 — всего 1 тыс. Вероятно, китайские студенты окончательно переориентировались на университеты Европы и США (Машкина 2013). В Институте истории СПбГУ с 2017 г. собираются предложить специально для иностранных учащихся программу «Россиеведение», но она запоздала по крайней мере на десятилетие, когда поток студентов из Китая

⁸ См. URL: educonf.hse.ru/2012/Moreso%20Mateos.

в Россию был наибольшим. В то же время в нескольких университетах Европы, США, Японии традиционно существуют институты русистики и славистических исследований (как научные и образовательные подразделения), с которыми возможно установить адресные сетевые контакты и разработать программы обмена.

– *Ориентация на ранжирование, встраивание в системы рейтингования или тестирования, что создает мотивацию для развития.* Поскольку этих систем несколько, они дополняют друг друга, что в целом дает более объективную картину⁹. С другой стороны, самооценка вуза, традиционно высокая для старейших университетов России, корректируется весьма скромной внешней оценкой. Однако стремление занять в рейтингах более почетную позицию не должно быть самоцелью и реализоваться как

⁹ До 2010 г. авторитетной была так называемая репутационная оценка вуза, по которой по крайней мере МГУ и СПбГУ занимали неплохие позиции. Затем были введены другие показатели – количество публикаций в международных журналах и индексы цитируемости. В результате по этим показателям ни один российский вуз не попал в первые две сотни. По версии Шанхайского университета Цзяотун МГУ и СПбГУ вошли в 500 лучших, но их позиции определяются соответственно в третьей и четвертой сотне. Других российских вузов в рейтинге не оказалось, тогда как американских было 151, китайских – 35. (См.: (Казанцев 2012: 12–13)). В последние годы ситуация по объективным показателям несколько улучшилась, но источники роста по таким позициям рейтингования, как «академическая мобильность» и «кадровый потенциал», близки к исчерпанию. Условия для их непрерывного роста создаются десятилетиями, как авторитетные научные школы, комфортная среда для жизни и работы, социальная среда.

«поручение правительства», поскольку это напоминает одноразовую кампанию и часто не учитывает историю, традиции, местоположение вуза, состояние его научных кадров и базы.

– *Создание целевого капитала (endowment), направленного на развитие.* Например, в частном университете Bilkent («город знаний») в Анкаре 40% капитала направляется на развитие. Основатели университета убедили правительство Турции внести изменения в конституцию, стимулирующие целевую благотворительность на образование. Вообще в Турции 62 частных университета, многие из которых существуют по этой схеме. Среди учредителей и спонсоров Билкента строительные компании, в том числе строившие новейший аэропорт в Медине, авиаперевозчики¹⁰. Установка на создание «целевого капитала» осуществляется и вузами, имеющими большое государственное финансирование.

– *Разделение на «массовый» и исследовательский (элитный) университет.* Движение к обретению статуса «исследовательского» продолжается годы и завершается признанием этого статуса на мировом уровне. Мы же видим, что те 30 национальных исследовательских университетов, которые созданы в России в 2011–2012 гг. вне конкурса (как в случае с МИСиС и МИФИ) или на основании формального «конкурса», определились исходя из внешних и часто второстепенных соображений.

¹⁰ Доклад президента университета Билкент Абдуллы Аталара. URL: <https://educonf.hse.ru/2012/Abdullah%20Atalar>.

Вновь произошло назначение вузов «исследовательскими» университетами решением «сверху», далеко не все университеты этого списка, несмотря на их размеры, имеют соответствующий научный парк или кадровый потенциал. Успех на этом пути может обеспечить собственный исследовательский профиль, но вся прежняя история российских классических университетов, разраставшихся «вширь», этому сопротивляется. На наш взгляд, число университетов, определенных как «исследовательские», сильно завышено. В том же Китае, осуществляющем последовательную стратегию на создание национального списка из 100 лучших вузов уже 20 лет, статус «исследовательского» университета имеют всего 20 (на 1,5 млрд населения). При этом сами создатели «шанхайского рейтинга» признают, что китайские университеты находятся «в начале пути»¹¹.

— Создание *идеальной среды для науки и жизни*: кампусов, библиотек, выведение их из больших городов с поддержанием всех коммуникаций. К элементам комфортной для науки и образования среды как раз относится оптимизация управления, подчинение администрирования задачам развития университета, а не наоборот. Мировое университетское сообщество, так же как и российское, обеспокоено минимизацией последствий неизбежного «воспроизводства себя», которое осуществляет разветвленная администрация как любая замкнутая структура. Поэтому важно, как

¹¹ Nian Cai Liu, Changhai Jiao Tong University. Выступление на пленарном «круглом столе». URL: iro.hse.ru/rahsr/universities.

и в XIX в., присутствие в системе администрирования в качестве основного звена не внешнего менеджера, а, так сказать, «администрирующего профессора», который в своих действиях отстаивает интересы науки напрямую и квалифицированно.

Что бы ни говорили о том, что модель «классического» университета как университета для избранных устарела еще в 60–70-е гг. XX в. и не отвечает потребностям «массовизации» высшего образования, доставшийся от классического университета принцип автономии и его производная — академическая свобода — остаются одним из условий развития университетов «нового типа» в современном мире. Академическая свобода и комфортная интеллектуальная среда так же востребованы в «молодых» университетах (основанных позже 1962 г.)¹², как и в старейших. Особенно важно это для исследовательских университетов, для которых основным стимулом развития является интеллектуальная конкуренция. А она эффективно работает только в условиях свободы и саморегулирования и, наоборот, теряется или имитируется в условиях бюрократизации, навязывания количественных показателей. Нехватка академической свободы (а не ее избыток, как думают бюрократы) позволяет воспроизводить старые и накапливать новые пороки внутри университетских сообществ.

¹² Топ-50 молодых университетов мира включает широкую географию, от Сингапура до финского Тампере. Российские университеты в этом рейтинге не представлены. См. URL: www.topuniversities.com/university-rankings/top-50-under-50/2016.

Что же произошло у нас за последние 10–15 лет под лозунгом перехода к Болонской системе? На деле развернулось разрушение национального типа университета, в котором не только аспиранты, но и студенты старших курсов вовлекались в научную деятельность. Еще недавно уровень дипломных работ «специалистов», обучавшихся 5 лет, позволял им публиковаться в серьезных научных журналах и, разумеется, в сборниках для молодых ученых, участвовать во «взрослых» научных конференциях. Именно в годы обучения закладывалась основа будущих диссертационных исследований. Имела место последовательность и преемственность в разработке индивидуальных научных тем, основанная на научной традиции коллективных исследовательских лабораторий («семинариев»), заимствованной опять же из немецкого классического университета второй половины XIX в. (Антощенко 2009: 263–278). Научный семинар следовал принципу: один студент – один научный руководитель на 3–4–5 лет, с логичным переходом этого научного сотрудничества в стадию подготовки кандидатской диссертации. В 90 % случаев наши собственные аспиранты защищали диссертации по темам, которые начали разрабатываться ими еще в студенческие годы.

Разделение процесса «посвящения в профессию» на два этапа: бакалавриат и магистратура – оказалось абсолютной ошибкой для таких гуманитарных специальностей, как отечественная и всеобщая история, литературоведение, лингвистика,

социология, а возможно, и для других. Если программисты, физики, математики добивались открытия у себя магистратур еще в 1990-е гг., поскольку в этом были заинтересованы сами обучающиеся, работодатели и рынок труда, то распространение двухуровневого обучения на все вообще университетские специальности по единому шаблону, практически без вариантов, представляется дорогостоящей ошибкой. Только возвращение к классической схеме 5-летнего обучения на гуманитарных факультетах займет столько же времени, сколько заняло ее разрушение, т.е. не менее 7–10 лет. Притом никто нас к этому разрушению «извне» не подталкивал, наоборот, в документах, принятых европейским университетским сообществом в отношении Болонской системы, подчеркиваются два принципиальных положения: 1) необходим учет национальных традиций и сохранение наиболее полезных из них; 2) выпускники университетов должны быть подготовлены к ведению научно-исследовательской работы. Ни то, ни другое положение в России не было соблюдено. Реформа пошла как каток по совершенно надуманной «дорожной карте», напоминая попытку выполнить программу известного партсъезда о построении коммунизма к 1980 г. Зато на разработке модели перехода к Болонской системе, мониторинге и аналитике ее местами сомнительных результатов много лет кормились и кормятся научные лаборатории, работающие в области образовательного менеджмента.

За 10 лет не произошло корректировки реформы высшей школы.

Давно появились вопросы: по всем ли специальностям нужно готовить магистров? Не пора ли определить, для каких профессий достаточен на первых порах бакалавриат? Как разумно регламентировать переход с одного уровня обучения на другой, если происходит перемена специальности? Какие требования предъявлять к магистерской диссертации? Нужна ли имитация «исследовательской работы» у нынешних бакалавров (тех же историков), если для них не предусмотрены теперь ни исследовательские семинары, ни спецкурсы и даже объем преподавания общеисторических фундаментальных дисциплин сокращен более чем на треть? Вот почему на государственных экзаменах часто звучат слабые ответы, проявляется незнание обязательных для историка вещей. Выпускник-бакалавр не обладает и половиной тех «компетенций», которые включены во ФГОС. Сам ФГОС, как мы знаем, пересмотрен уже трижды.

Излишне говорить, что, не будучи историками образования, реформаторы оторвались и от российской национальной традиции, в том числе от традиции разработки и апробации реформ в высшей школе. Эту работу чиновники дореволюционного МНП с 1850-х гг. вели с привлечением в качестве экспертов практикующих профессоров разных университетов, в диалоге с университетскими сообществами, чутко прислушиваясь к настроениям и протестам студенчества.

Российские университеты, существовавшие при своем создании немецкую классическую университет-

скую модель, уже в середине XIX в. давали своим выпускникам солидную подготовку по фундаментальным наукам, помогавшую им легко адаптироваться к практической работе и быстро осваивать новации. Вспоминается, как один выпускник физического факультета Саратовского университета рассказывал, что, поработав более 10 лет в США в фирме, занимавшейся инновациями (know-how), он не освоил так хорошо английский язык и компьютер, как выходцы из азиатских, других европейских и латиноамериканских стран, но, когда нужна была свежая идея, все обращались к нему. Вот что значит фундаментальное университетское образование, заключал он.

Если учесть, что Санкт-Петербургский университет, наряду с Московским, занимает особое положение в отечественной университетской системе, а Саратовский университет имеет статус национального исследовательского университета, то, казалось бы, в них должна быть большая аспирантура: где же еще готовить кадры высшей квалификации? Во многих странах не только ведущие университеты, но и средние по численности имеют многочисленную аспирантуру. Один из авторов статьи был поражен, когда в 1994 г., знакомясь с университетом Северной Каролины (Чапел Хилл), узнал, что в нем 15 тыс. студентов и 10 тыс. аспирантов. А в Саратовском университете аспиранты в лучшем случае исчисляются сотнями при десятках тысяч студентов. В Санкт-Петербургском университете в 2016/2017 учебном году на 18500 студентов-бакалавров

и магистрантов приходится всего 2200 аспирантов, т.е. людей, которые действительно способны заниматься научными исследованиями¹³. Число студентов и магистрантов также невелико для вуза-гиганта с 23 факультетами и институтами. Число обучающихся в СПбГУ по истории после закрытия вечернего и заочного отделений сократилось более чем в два раза. Еще большие потери несут университетские историки нестоличных университетов после «оптимизации» и слияния вузов, факультетов и кафедр. Количество очных аспирантов-историков, набираемых на основе общеуниверситетского конкурса со сложным подсчетом конкурсных баллов, но с ограниченным количеством мест, также уменьшается с каждым годом. Сокращение профессорско-преподавательского состава становится следующим шагом «оптимизации» истории как профессии.

В то же время аспирантуры по гуманитарным наукам, открытые в 1990-е гг., продолжают существовать в технических, медицинских, сельскохозяйственных вузах. Аспирантские вакансии здесь не всегда удается заполнить даже слабыми собственными выпускниками. К тому же аспирантская стипендия настолько мала, что вынуждает молодого человека отвлекаться на подработку. Отсюда низкий уровень диссертаций, многочисленные случаи плагиата, потому что многие соискатели даже к концу аспирантуры не способны что-либо создать самостоятельно.

Российские университеты с середины XIX в. славились тем, что здесь вокруг крупных ученых создавались научные школы, которые существовали десятилетиями, а такие, как школа химиков-органиков в Казанском университете, и более 150 лет. Именно в таких школах совершались выдающиеся научные открытия, складывались лучшие университетские традиции. Для того чтобы создать научную школу, профессор должен иметь многочисленных учеников, из которых он отбирает тех, кто способен продолжить его научные изыскания. В нынешних университетах многие профессора, даже крупные ученые, годами не имеют аспирантов из-за малочисленности аспирантуры. Последней новацией в СПбГУ стала фильтрация ученых, «уполномоченных осуществлять научное руководство аспирантами»¹⁴ по наукометрическим показателям. Ученые старшего поколения, не гоняющиеся за рейтинговыми журналами, но имеющие в учениках десятки докторов и кандидатов наук, таким образом оставлены без аспирантов. Никто даже не принял в расчет наличие методики и опыта работы с аспирантами. Вспомним, кстати, что у Т.Н. Грановского не было опубликованных при жизни работ, кроме одной. Однако он был «властителем дум» университетской молодежи. Основателей трех исторических научных школ в Императорском Петербургском университете: византистики, источниковедения, исторической урбанистики (А.С. Лаппо-Данилевского, В.Г. Васильевского, И.М. Гревса) –

¹³ Официальный сайт СПбГУ. URL: edu.spbu.ru/files/chislnnost_20161001.pdf.

¹⁴ Там же. URL: spbu.ru/images/orders/2016/3107_1.pdf.

называли «учителями науки», при очень немногочисленных публикациях. Они учили всем своим профессиональным обликом, отдавая ученикам то время, которое другие тратили на писание книг.

Пора, наконец, определиться с аспирантурой, ее надо сосредоточить в МГУ, СПбГУ, федеральных и национальных исследовательских университетах, имеющих для этого наилучший научный парк и кадровый потенциал. Во всех этих университетах аспиранты должны составлять не менее 20% обучающихся. Для того чтобы в аспирантуру шли лучшие выпускники, необходимо продумать систему их материального обеспечения: многократно повысить стипендии, зачислять их на полставки научного сотрудника, возложив выполнение соответствующих обязанностей. Такая система существует в академических институтах, но там число аспирантов невелико.

После введения магистратуры сложилась алогичная система ученых степеней: после защиты магистерской диссертации, означающей, что ее обладатель стал мастером, учителем, он попадает в аспирантуру и должен защищать кандидатскую диссертацию, которая свидетельствует, что он еще только ищущий. В гуманитарных науках, в частности в истории, магистратура не пользуется большой популярностью и остается «изящной ненужностью», что чувствуют обучающиеся. Вовлечь магистрантов, не имеющих базового диплома бакалавра-историка, в научные исследования труднее, чем старшекурс-

ников-бакалавров. Говоря о необходимых этапах профессионализации универсанта-историка, считаем, что магистратура должна восприниматься не как конечный этап, а только как подготовка к аспирантуре, при условии преемственности тематики исследований. Математики также считают, что имеет смысл «выстроить магистратуру и аспирантуру в единый трек, то, что в западных университетах называется PhD-программой»¹⁵. Или же следует ликвидировать ученую степень кандидата наук, соответственно повысив требования к магистерским диссертациям, а аспирантуру довести до 5 лет и готовить в ней докторские диссертации. Так можно было бы добиться омоложения возраста докторов наук и решить важную социальную проблему: на рынок труда значительная часть молодых людей выходила бы на 5 лет позже и в более высоком профессиональном статусе.

В Болонской программе большое внимание уделено тому, чтобы обеспечить свободное передвижение преподавателей и студентов внутри мирового университетского пространства, т.е. преподаватель и студент должны иметь возможность получать образование и преподавать в нескольких университетах и в разных странах. В СПбГУ существует программа студенческого академического обмена с теми университетами, с которыми у СПбГУ подписаны многосторонние договоры. Но получить поддержку хотя бы для семестрового «академического

¹⁵ Математические прогулки: Игорь Кричевер. URL: postnauka.ru/talks/70558. (дата обращения: 30.01.2017).

путешествия», которая выделяется из незначительного «эндаумент-капитала» СПбГУ, могут единицы. Студенты, занимающиеся историей отдельных стран Западной и Центральной Европы, иногда выезжают на молодежные конференции при поддержке коллективных грантов, но заслуга организации таких турне всецело принадлежит их научным руководителям и кафедрам. То есть обычное для Средневековья и Нового времени, а также для университетов императорской России *peregrinatio academica* (академическое путешествие) все еще является редкостью. Для преподавателя отбыть даже на семестр по приглашению иностранного университета сейчас едва ли не сложнее, чем в 1990-е гг., поскольку согласовать за полгода до отъезда замены в сетке читаемых им курсов практически невозможно. Отъезжая даже на трехдневную конференцию без многочисленных согласований (которые прежде не требовались), преподаватель рискует быть уволенным за нарушение локального трудового законодательства.

Не стали интенсивнее, а, наоборот, сократились внутрироссийские академические миграции, когда в поисках лучших условий наиболее амбициозные преподаватели уезжали из провинциальных центров в столичные университеты. Причина — в разнице стоимости жизни в мегаполисах и менее крупных городах при примерно равном уровне университетских зарплат. Переезжать с семьей — значит продавать жилье, которое в столицах и иных городах не равноценно. Обещание администрации СПбГУ выделять про-

шедшим конкурс перспективным молодым профессорам из других городов служебное жилье не подкреплено пока никакими гарантиями. И, кроме того, это жилье по определению — временное, до следующего конкурса, который объявляется не раз в 5 лет, как раньше, а каждые 1,5–2 года. Работа по «короткому» контракту не может быть привлекательной, ибо держит специалиста (в том числе автохтонного) в постоянном напряжении, что не является хорошим стимулом настоящей академической активности. Необходим возврат к 5-летним контрактам при выборах на должности. Этот вопрос не случайно остро встал во время форума «Развитие высшего образования» с участием министра науки и образования и председателя правительства в августе 2016 г. Тогда обсуждалось предложение ввести для ведущих профессоров бессрочные контракты¹⁶.

Таким образом, российский университетский профессор, как и студент (аспирант), остается мало мобилен и нередко на всю свою «академическую» карьеру прикован к одному вузу. Этот тип отношений в университетской среде называется *академическим инбридингом* и имеет следствием снижение уровня научных притязаний и реальных достижений, воспроизводство кланово-клиентских связей в отношениях между коллегами, учителями-учениками, далекими от академизма. Количественные показатели этот процесс никак не отражают, замыкаясь в среде «своих», далекой

¹⁶ URL: spbu.ru/structure/dekanskie/26867-267-materialy-rektorskogo-soveshchaniya-ot-29-08-2016.html.

от реальной конкуренции, эти показатели нетрудно искусственно наращивать.

Проблема зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов остается острой и неразрешимой уже десятилетиями, больно ударяя по престижу российских университетов, да и по самолюбию профессуры. Сведения же о том, что средняя зарплата профессора, к примеру, в СПбГУ в 2015 г. составила 102, доцента – 65 тыс., приукрашивают действительность более чем в 2,5 раза¹⁷. Средний преподаватель так же беден, как и 10–15 лет назад, но тогда при годовой учебной нагрузке в 600 часов и минимальной бюрократической загруженности он успевал заниматься наукой. Теперь же времени на науку остается все меньше, а формальные наукометрические требования к профессорской должности становятся все жестче.

Как показал в недавней работе профессор-математик из Пензы В. И. Левин, средняя зарплата профессорско-преподавательского состава государственных университетов в 2 раза меньше той, которую объявляют руководители министерства. То есть даже давний Указ президента РФ 1992 г., которым правительство распорядилось довести зарплату преподавателей вузов до средней зарплаты работников бюджетной сферы, далек от выполнения (*Левин 2013: 64–73*). При этом официальные зарплаты руководителей университетов

¹⁷ URL: spbu.ru/structure/dekanskie/25400-236-materialy-rektorskogo-soveshchaniya-ot-25-01-2016.html.

возросли до небес, демонстрируя аморальный разрыв между немногими академическими «патрициями» и основной массой «плебеев»¹⁸. В. И. Левин показал, что кроме надводной части айсберга ректорской зарплаты есть еще и подводная, образующаяся из поступлений от обучающихся на коммерческой основе. Огромные зарплаты получает не только ректор, но и проректоры, и некоторые другие работники ректората. При увольнении в 2012 г. заведующей юридическим отделом Саратовского университета Е. Л. Сергун, в течении ряда лет верой и правдой служившей ректору, защищавшей и оправдывавшей его противоправные действия, выяснилось, что ее зарплата составляла более 200 тыс. руб. в месяц, т. е. была почти в 10 раз больше, чем у профессора.

Сокращение штатов преподавателей идет параллельно с раздуванием штатов администрации. Так, в СПбГУ только с 2013 по 2016 г. количество административных работников выросло почти на 500 человек (до 2,5 тыс.). Теперь соотношение профессионалов (преподавателей, научных сотрудников)

¹⁸ Никогда в истории университетского образования не было такой пропасти в официальных зарплатах. В Российской империи ректор получал 4500 руб. в год, если был действующим профессором и продолжал читать лекции, а ординарный профессор – 3000 руб. В советские времена ректор получал примерно вдвое больше рядового профессора. А что мы имеем в настоящее время? Читая в саратовской газете, что в 2013 г. ректор СГУ Л. Ю. Коссович официально отчитался о доходе почти в 5 млн руб. Зарплату почетного профессора с 50-летним стажем работы эта сумма превышала в 10 раз, зарплату ассистента в 50 раз.

и администраторов здесь 3:1. В Саратовском университете, когда в 2000 г. вступил в строй новый административный корпус, многие его помещения использовались для проведения лекций и семинарских занятий. Теперь не только все помещения заняты администрацией, но в ее распоряжение передано немало помещений и в других корпусах.

В.И. Левин подсчитал, что если сократить на 50 % зарплату ректорам и их окружению (она все равно останется непомерно высокой), то можно сразу на 50 % поднять оплату труда профессорско-преподавательского состава, ничего не требуя из бюджета.

В последние годы остро встал вопрос об учебной часовой нагрузке преподавателей, она постоянно повышается и доведена теперь до минимума в 900 часов даже у профессоров, что в 2–3 раза превосходит нагрузку в других странах. Что значит иметь нагрузку в 900 часов? Учитывая, что учебных недель около 40, получается более 20 часов в неделю. Притом в настоящее время это в основном аудиторная нагрузка, к которой преподаватель должен постоянно готовиться. Когда же ему заниматься исследовательской работой? Читать новую литературу? А многие молодые преподаватели, чтобы обеспечить минимальное материальное благополучие своей семьи, вынуждены работать по совместительству, иногда в 2–3 местах, занимаясь репетиторством. Таким образом, они трудятся на износ и остаются низкооплачиваемой категорией работников.

Младший лейтенант после окончания военного училища получает зарплату в 50 тыс. руб., после 6-месячных курсов машинист метропоезда может зарабатывать 80–100 тыс. руб., и мы радуемся за представителей этих профессий. Они заслуживают высокой зарплаты, их служба и опасна, и тяжка. Но не понимаем, почему профессор должен получать намного меньше. Разве его работа менее ответственна или он приносит стране меньше пользы? Как известно из открытых источников, столь низкой оплаты преподавательского труда в вузах, как в РФ, нет фактически ни в одной стране в мире, почти во всех странах СНГ она выше. Как можно при таком отношении к вузовским преподавателям претендовать на звание передовой научно-технической державы, надеяться на прорыв в разработке современных технологий? Впрочем, эти надежды с каждым годом все менее основательны. Продолжается падение цитируемости российских ученых, по этому показателю уже сейчас Россия отстает от научно развитых стран в 20 раз, а по приросту количества публикаций — в 115 раз. В 2018 г. процитированная доля России в мировой научной продукции составит не более 0,4 % (Левин 2014: 100–102). В этом катастрофическом падении повинна не лень ученых, в том числе университетских, а недофинансирование науки *в разы* в сравнении не только с ведущими научными державами, но и со странами, отнесенными к «научно развивающимся»: Индией, Китаем, Ираном, Турцией.

Мы уже отмечали, что российские университеты пользовались

определенными академическими правами и свободами, которые были отняты в советский период, но в какой-то мере восстановлены в 1990-е гг. Эти свободы способствовали формированию у студентов университетов необходимых качеств гражданина, чувствующего свою причастность к решению больших общественных проблем. Выборность ректоров, деканов, заведующих кафедрами на основе конкурентной борьбы делала атмосферу в университетах более демократической, чем в обществе в целом, что имело большое значение для воспитания студентов в духе гражданского общества. Только изменение социального и административного климата в университетах тогда подстегнуло научное творчество, резко выросло число публикаций, научных конференций, новых читаемых курсов.

В последнее 10-летие идет обратный процесс централизации власти в руках ректоров и послушных им ученых советов. Ярким примером в этом отношении явились события в Саратовском университете в годы ректорства профессора Л. Ю. Косовича. Встретив сопротивление своему авторитарному стилю руководства со стороны ряда факультетов, ректор взял курс на устранение из коллектива неудобных ему лиц, не останавливаясь при этом перед прямым нарушением университетских традиций и изменением Устава СГУ в своих интересах. Так, не сумев избавиться от декана исторического факультета профессора В. С. Мирзеханова законным путем, т.е. в результате перевыборов, администрация избрала иезуитский метод: под видом расширения прав

факультета его преобразовали в институт, во главе которого поставили не избранного коллективом декана, а назначенного ректором директора, которого можно было на законном основании в любой момент заменить (что и было вскоре проделано с профессором В. Н. Даниловым). Чтобы прикрыть подлинную причину этого преобразования, одновременно преобразовали в институт и филологический факультет. Эта комбинация так понравилась ректору, что процесс преобразования факультетов в институты начал развиваться дальше.

Но даже после этого освободиться от бывшего строптивного декана не удалось: коллектив кафедры новой и новейшей истории, несмотря на давление ректората, раз за разом избирал профессора В. С. Мирзеханова заведующим кафедрой. И тогда в Устав СГУ было внесено положение о новом порядке выборов заведующих кафедрами: на голосование ученого совета СГУ вносится не только кандидатура, поддержанная самой кафедрой и ученым советом факультета (института), но все выдвигающиеся кандидатуры. Естественно, члены ученого совета большинством голосов утверждают креатуру ректората, хотя она была отвергнута и кафедрой, и факультетом (институтом). О какой университетской демократии может идти речь? Затем начинается выживание неудобных заведующих кафедрами и других неприемлемых для ректора лиц. Так исторический факультет СГУ, один из ведущих в стране, был превращен в институт истории и международных отношений

(ИИиМО) и лишился значительной части своих высококвалифицированных кадров, покинувших не только университет, но и г. Саратов. Вынужденно ушли из СГУ и несколько ведущих профессоров физического, геологического и других факультетов. Вертикаль власти была выстроена! Но «университету противопоказана вертикаль»¹⁹.

К настоящему времени большая часть исторических факультетов классических университетов стали институтами или вообще не существуют отдельно, а слиты с факультетами политологии и социологии. В 2013–2014 гг. этап демонтажа факультетской системы захватил Санкт-Петербургский университет, где химический факультет трансформировался в институт химии, географический и геологический факультеты были слиты в институт наук о Земле. Исторический факультет СПбГУ тоже должен был объединиться с философским в один институт, помешали студенческие протесты и открытое возмущение профессионального сообщества историков.

Опыт СГУ показывает, что надо запретить внесение в устав университетов положений, ограничивающих демократические права коллектива. Это приводит к тому, что ректор считает себя чуть ли не самодержцем, которому не писаны даже Постановления правительства РФ. Многие ректоры государственных университетов чувствуют и ведут себя так, как будто вуз — их частная собственность. Отсюда

еще одна тенденция в кадровой политике ректоров, которая очень явственно обозначилась в деятельности Л. Ю. Коссовича: назначать на должность проректоров, директоров институтов и протаскивать в деканы факультетов кандидатов наук при наличии в СГУ более 200 профессоров. Ими легче командовать.

Размышляя над сегодняшним трудным положением классических университетов, мы все же надеемся, что правительство учтет опыт начала 1930-х гг., когда, после почти полной ликвидации университетов и факультетов в их прежнем качестве, падения числа студентов до уровня 1860-х гг., произошло восстановление университетской системы и возрождение университетских традиций и сообществ. Именно поколение советских ученых, которые оканчивали университеты во второй половине 1930-х гг. и в послевоенные годы, обеспечило успехи во многих областях науки и техники, сделавшие СССР сверхдержавой.

Исторические традиции и историческая память поддерживают сохранение университета как сообщества, а не только как супермаркета образовательных услуг или фабрики новых технологий. Модель классического университета, перенесенная в Россию из Германии в XIX в., обладает достаточной гибкостью и жизнеспособностью, известны пути ее модернизации. Основные черты классического университета отвечают новейшим мировым тенденциям. Именно внутри классической модели были выработаны

¹⁹ См. подробнее: (Ректорида 2009; 2014).

в качестве необходимых условий воспроизводства и развития знаний формы «обучения науке», в условиях академической свободы сложилась интеллектуальная конкуренция, развитие научных связей привело к слиянию университетских центров в единое интеллектуальное пространство. Россия была на нем равноправным игроком в XIX и даже в XX в.

5.07.2017 г. в Саратове умер Анатолий Ихильевич Аврус, один из ведущих историков российского университетского образования. Анатолий Ихильевич успел увидеть интернет-версию этой статьи и кое-что поправить. Был расстроен тем, что статья напечатана не там, куда отдавалась первоначально, беспокоился о том, как ее воспримет наше университетское сообщество, вполне ли отразили мы его основные проблемы. Но не боялся писать об этом резко. 28 июня в Москве он сдал в печать второй том своих мемуаров, в общем, сделал все, что планировал, и ушел от нас... Мистика какая-то.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Аврус 2001 — Аврус А. И. История российских университетов. Очерки. М., 2001.
- Аврус 2003 — Аврус А. И. Власть и университеты в России // Диалог со временем. Вып. 10. М., 2003. С. 207–218.
- Аврус 2007 — Аврус А. И. История российских университетов. Курс лекций. Изд-е 2-е. Саратов, 2007.
- Аврус 2011 — Аврус А. И. История Саратовского университета. Курс лекций. Саратов, 2011.

Антощенко 2009 — Антощенко А. В. Das Seminar: немецкие корни и русская крона (о применении немецкого опыта «семинариев» московскими профессорами второй половины XIX в. // «Быть русским по духу и европейцем по образованию». Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII — начала XX в. М.: РОССПЭН, 2009. С. 263–278).

Борьба за профессию 2015 — Борьба за профессию. Угрозы академической корпорации: дискуссия профессионалов [Стенограмма круглого стола «Депрофессионализация академического труда: симптомы, тенденции и перспективы» (22.06.2015, Институт образования НИУ ВШЭ)] // Gefter. URL: gefter.ru/archive/15636 (дата обращения: 27.02.2017).

Жуковская 2011 — Жуковская Т. Н. Университеты и университетские традиции в России. Курс лекций. Петрозаводск, 2011.

Жуковская 2012 — Жуковская Т. Н. Основные тренды развития университетов мирового класса и проблемы реформирования российской высшей школы // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции, инновации. Петрозаводск, 2012. Ч. 2. С. 199–205.

Жуковская 2013 — Жуковская Т. Н. Павел I и Александр I в лекционных курсах 1930–1950-х гг. А. В. Предтеченского и С. Б. Окуня // Власть, общество, армия: от Павла I к Александру I. Сборник научных статей / сост. и отв. ред. Т. Н. Жуковская. СПб., 2013. (Труды исторического факультета. Т. XI). С. 10–21.

История Ленинградского университета 1969 — История Ленинградского университета. Очерки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1969.

Казанцев 2012 — Казанцев А. К. Инновационное развитие университетов: аналитический обзор ведущих российских вузов // СПбГУ. Высшая школа менеджмента. Научные доклады. № 6. (R). СПб., 2012. С. 12–13.

Левин 2013 — Левин В.И. Откуда в богатых университетах бедные профессора? // Вестник высшей школы. 2013. № 9. С. 64–73.

Левин 2014 — Левин В.И. Есть ли сегодня наука в России? // Вестник высшей школы. 2014. № 1. С. 100–102.

Машкина 2013 — Машкина О.А. Развитие высшего образования в современном Китае. Высшая школа в условиях развития инновационной экономики. М., 2013.

Муртазин 2012 — Муртазин И. Комплекс возвращается // Новая газета. 3 октября 2012. № 112. URL: www.novayagazeta.ru/articles/2012/10/03/51714-kompleks-vozvrashaetsya.

Отчет 1915 — Отчет императорского Петроградского университета за 1914 г. Пг., 1915.

Ректориада 2009 — Ректориада: хроника административного произвола (2003–2008) / сост. А. Колобродов и Д.М. Фельдман. Саратов: Наука, 2009. 424с.

Ректориада 2014 — Ректориада: хроника административного произвола в новейшей истории Саратовского государственного университета (2003–2013). New Providence: Bowker, 2014. Т. I. 390 с.

Риддингс 2010 — Риддингс Б. Университет в руинах. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010.

Collini 2012 — Collini S. What are Universities for? London: Penguin, 2012.

REFLECTIONS ON THE STATUS AND PROSPECTS OF RUSSIAN CLASSICAL UNIVERSITIES

Avrus Anatoly I. — doctor of historical sciences, professor (Saratov)

Zhukovskaya Tatyana N. — candidate of historical sciences, associate professor, St. Petersburg State University (St. Petersburg)

Key words: classical University education, University science, the national University model

The article is devoted to analysis of the current state of classical University education in Russia, which is impossible without insight into the history of the formation of the national University model, and review of the main trends in the improvement of University organization in the world. Not only historical experience, but also the failures of hasty reform of the modern Russian higher school indicate the need for rehabilitation and expansion of academic freedom and self-government and revision of the established bureaucratic model of public administration of the University science and teaching. The necessary adjustment of the objectives and mechanisms of the higher school reform, lasting two decades, requires a return to the approved practices of academic interaction between teachers and students, an adaptation of the system of bachelor, master and PhD programs to the characteristics of the labour market, social order and scientific traditions, in particular, in the system of historical education.

REFERENCES

Antoshchenko A.V. Das Seminar: nemetskie korni i russkaia krona (o primenenii nemetskogo opyta "seminariiev"

moskovskimi professorami vtoroi poloviny XIX v. "Byt' russkim po dukhu i evropeitsem po obrazovaniuu". *Universitety Rossiiskoi imperii v obrazovatel'nom prostranstve Tsentral'noi i*

- Vostochnoi Evropy XVIII – nachala XX v.* Moscow: ROSSPEN, 2009. P. 263–278.
- Avrus A. I. *Istoriia rossiiskikh universitetov*. Ocherki. Moscow, 2001.
- Avrus A. I. *Istoriia rossiiskikh universitetov*. Kurs leksii. Izd-e 2-e. Saratov, 2007.
- Avrus A. I. *Istoriia Saratovskogo universiteta*. Kurs leksii. Saratov, 2011.
- Avrus A. I. Vlast' i universitety v Rossii. *Dialog so vremenem*. Vyp. 10. Moscow, 2003. P. 207–218.
- Bor'ba za professiiu. Ugrozy akademicheskoi korporatsii: diskussiiia professionalov [Stenogramma kruglogo stola "Deprofessionalizatsiia akademicheskogo truda: simptomy, tendentsii i perspektivy" (22.06.2015, Institut obrazovaniia NIU VShE)]. *Gefter*. URL: gefter.ru/archive/15636 (data obrashcheniia: 27.02. 2017).
- Collini S. *What are Universities for?* London: Penguin, 2012.
- Istoriia Leningradskogo universiteta*. Ocherki. Leningrad: Izd-vo LGU, 1969.
- Kazantsev A. K. Innovatsionnoe razvitie universitetov: analiticheskii obzor vedushchikh rossiiskikh vuzov. *SPbGU. Vysshaia shkola menedzhmenta. Nauchnye doklady*. No. 6. (R). St. Petersburg, 2012. P. 12–13.
- Levin V. I. Est' li segodnia nauka v Rossii? *Vestnik vysshei shkoly*. 2014. No. 1. P. 100–102.
- Levin V. I. Otkuda v bogatykh universitetakh bednye professora? *Vestnik vysshei shkoly*. 2013. No. 9. P. 64–73.
- Murtazin I. Kompleks vozvrashchaetsia. *Novaia gazeta*. 3 oktiabria 2012. No. 112. URL: www.novayagazeta.ru/articles/2012/10/03/51714-kompleks-vozvrashchaetsya.
- Mashkina O. A. *Razvitie vysshego obrazovaniia v sovremennom Kitae. Vysshaia shkola v usloviakh razvitiia innovatsionnoi ekonomiki*. Moscow, 2013.
- Otchet imperatorskogo Petrogradskogo universiteta za 1914 g.* Petrograd, 1915.
- Rektoriada: khronika administrativnogo proizvola (2003–2008)* / sost. A. Kolobrodov i D. M. Fel'dman. Saratov: Nauka, 2009. 424 p.
- Rektoriada: khronika administrativnogo proizvola v noveishei istorii Saratovskogo gosudarstvennogo universiteta (2003–2013)*. New Providence: Bowker, 2014. Vol. I. 390 p.
- Riddings B. *Universitet v ruinakh*. Moscow: Izd. dom GU VShE, 2010.
- Zhukovskaia T. N. Osnovnye trendy razvitiia universitetov mirovogo klassa i problemy reformirovaniia rossiiskoi vyshei shkoly. *Universitety v obrazovatel'nom prostranstve regiona: opyt, traditsii, innovatsii*. Petrozavodsk, 2012. Ch. 2. P. 199–205.
- Zhukovskaia T. N. Pavel I i Aleksandr I v leksionnykh kursakh 1930–1950-kh gg. A. V. Predtechenskogo i S. B. Okunia. *Vlast', obshchestvo, armia: ot Pavla I k Aleksandru I*. Sbornik nauchnykh statei / sost. i otv. red. T. N. Zhukovskaia. St. Petersburg, 2013. (Trudy istoricheskogo fakul'teta. Vol. XI). P. 10–21.
- Zhukovskaia T. N. *Universitety i universitetskie traditsii v Rossii*. Kurs leksii. Petrozavodsk, 2011.

П. Ю. Уваров

СТРАНА СОВЕТОВ

Еще с советских времен словом «ВАК» пугали неразумных диссертантов. «Мы-то хорошо понимаем мысль автора, но в ВАКе сидят такие люди, что для них надо писать гораздо понятнее», — так часто говорили на защите, требуя переработать заключение к диссертации. Часто слышались высказывания в жанре рессентимента: «Куда смотрит ВАК?» Иногда встречались рассуждения в духе Понтия Пилата: «Я, конечно, не мог дать отрицательный отзыв, но я высказал все, что думаю об этой работе, а уж там пусть ВАК сам разбирается. Если его все устраивает, то я умываю руки». Среди соискателей, томящихся в ожидании заветных «корочек», ходили слухи о пропавшей диссертации, обнаруженной много лет спустя, когда уволилась машинистка, которая подложила этот том под сидение стула, чтобы было удобнее печатать. А позитивных откли-

ков об этой организации я что-то не припомню.

Зато вот уже пять лет, как *Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Российской Федерации* примерила на себя роль нюсмейкера. Время от времени журналисты осаждают сотрудников этой почтенной организации, требуя интервью, и тогда не только социальные сети, но и официальные информационные ленты взрываются новостями с полей диссертационных баталий. К сожалению, для средств массовой информации ВАК интересен в основном как источник скандалов. Нормальный ход его работы не вызывает любопытства у широкой публики. Но научное сообщество в принципе должно быть заинтересовано в работе этой организации, ведь функционирование науки и образования как социальных институтов по-прежнему основано на системе присуждения степеней, или «ученых градусов», как говорил М. В. Ломоносов.

Во втором номере «Исторической экспертизы» был помещен материал секретаря Диссертационного совета института истории в Санкт-

© Уваров П. Ю., 2017

Уваров Павел Юрьевич — доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН, заведующий кафедрой Социальной истории Факультета истории Высшей школы экономики, профессор РГГУ (Москва); ouprav@mail.ru

Петербурге об одной нашумевшей защите и мое интервью как председателя Экспертного совета ВАК по истории. Там я посетовал, что у нас нет самостоятельных каналов связи ни с диссертационными советами, ни с научной общественностью. Все предусмотренные формы «диалога» с советами сводятся к возможности вынести им замечание или предупреждение за то или иное нарушение. Два таких предупреждения — и совет закрывают. А что делать, если мы не хотим его закрывать, а просто дать какую-нибудь рекомендацию, если у нас возникают замечания или вопросы? Мы, правда, можем вызывать диссертанта в сопровождении представителя совета к нам на заседание. Эту форму, казалось бы, можно использовать как способ научной коммуникации. Но если мы часто будем вызывать диссертантов на свои заседания и отпускать домой без каких-либо карательных мер, то в нашем либерализме могут усмотреть коррупционную составляющую и вновь лишат права приглашать «вызывников»¹.

На самом деле, на заседаниях нашего совета говорят интересные вещи, порой уточняются те или иные аспекты научных конвенций.

¹ Эти права были в 2014 г. переданы от экспертных советов — Президиуму ВАК. Вероятно, таким образом хотели исключить возможность коррупции. Но, поскольку всех гуманитариев рассматривали в один день, а только экономистов вызывали человек по 15–20, в итоге на рассмотрение каждой диссертации отводилось не более 10 минут. И все равно заседание растягивалось на шесть-семь часов, причиняя страдания как «вызывникам», так и членам Президиума. И только в конце 2016 г. вернулись к прежней практике.

В отличие от многих собраний заседания ЭС ВАК по истории — это место для дискуссий, ученые собраны в основном опытные и яркие, и порой бывает очень обидно, что все сказанное так и остается лишь нашим достоянием.

Поэтому хотелось бы найти подходящую трибуну для обращения «городу и миру». А к кому обратиться экспертному совету, как не к «Исторической экспертизе»? Надеюсь, что диалог у нас получится.

Для начала мы разослали всем членам ЭС ВАК немудреную анкету с вопросами. Пока на призыв ее заполнить откликнулись три человека. Мы начинаем знакомство с нашим советом с этих текстов.

Но предварительно надо напомнить о формах и условиях нашей работы.

Экспертный совет формируется на сугубо добровольной основе. Правила ротации строго не прописаны, считается, что минимальный срок пребывания в совете составляет четыре года, но на самом деле можно оставаться в его рядах намного дольше. В нынешнем составе (с которым можно ознакомиться на сайте ВАК) совет функционирует с начала 2014 г. Мы заседаем два раза в месяц, заседания должны длиться часа три, но часто они растягиваются еще на час-два.

За эту работу не платят. И даже командировочные расходы иногородним членам экспертного совета оплачивает не ВАК, а те университеты, в которых они работают, чему

их руководство не очень радо. Действительно, эта ситуация выглядит странно. Но, с другой стороны, мы можем чувствовать себя более независимо.

К нам поступают диссертационные дела. В случае кандидатских диссертаций — авторефераты, заключения совета, стенограммы заседаний. Доктора наук вдобавок к этому присылают еще и тома самих диссертаций.

Каждый из присутствующих выбирает сам или получает «в нагрузку» две-три диссертации. Он знакомится с ними, проверяет документацию, затем выступает с кратким резюме и озвучивает свое предложение. Иногда докладчику задают вопросы уточняющего характера, но порой разворачивается полемика. В результате принимается коллективное решение — поддержать или не поддержать заключение Диссертационного совета. Можно выносить вопрос на голосование, но подобное случается довольно редко.

За один день мы рассматриваем обычно четыре-пять докторских диссертаций и 10–15 кандидатских.

Кроме этого мы проверяем заявки на открытие новых советов и внесение частичных изменений в состав советов действующих. Учитывается, насколько предложенные кандидатуры соответствуют требованиям, которые год от года становятся все более строгими. Теперь к нашим обязанностям добавилась и экспертиза научных журналов из «перечня ВАК», но это — отдельный предмет

для разговора. Иногда мы заслушиваем тех, кого ранее вызвали на наше заседание — самого диссертанта и представителя совета, в котором происходила его защита. По результатам мы можем либо отпустить «вызывников» с миром, либо не согласиться с решением Диссертационного совета и не рекомендовать Президиуму ВАК присваивать искомую степень. Впрочем, Президиум может и не принять нашу рекомендацию. Есть и другой вариант — мы можем отправить диссертацию на дополнительное заключение в другой диссертационный совет данного профиля. Но это сейчас считается исключительной мерой, применяемой в редких случаях.

Под нашу «юрисдикцию» попадают все диссертационные советы России, а также ДС республики Таджикистан². Но совсем скоро советы СПбГУ и МГУ выйдут из-под нашего контроля.

Как становятся членами ЭС? Правила здесь год от года усложняются. Но дело не в повышении научной требовательности, а в сложности заполнения электронных форм для онлайн-регистрации в министерском компьютере. Из кандидатов, успешно прошедших эту процедуру, мы отбираем тех, кто нам действительно нужен. Сейчас нам очень не хватает востоковедов, однако они вот уже два года подряд посылают свои анкеты по почте, а электронную регистрацию пройти либо

² Совсем забыл — мы еще рассматриваем дела по нострификации — признанию иностранной степени нашим ВАК. Чаще всего речь идет о казахских, армянских и украинских работах.

П. Ю. Уваров

не могут, либо не хотят. Приходится обходиться собственными силами.

Ну, пожалуй, о нас — все.

Передаю слово моим коллегам. Первыми откликнулись самые надежные — «старожилы» нашего совета Алексей Владимирович Чернецов, главный научный сотрудник

Института археологии РАН, и Ирина Александровна Хормач, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН. К ним вскоре присоединился и Игорь Константинович Кирьянов, профессор Пермского государственного университета.

За что им большое спасибо.

THE LAND OF THE SOVIETS

Uvarov Pavel Yu. — doctor of historical sciences, corresponding member of RAS, head of the Department of Western European Middle Ages and early Modern Times of the Institute of General History, RAS, head of the Department of Social History, Faculty of History, HSE, Professor Russian State Humanitarian University (Moscow)

И. К. Кирьянов

Какие тенденции можно выделить, наблюдая за потоком диссертаций за последние годы?

1. Сокращение количества докторских диссертаций (в немалой степени из-за требования опубликовать соискателю не менее 15 статей в изданиях, включенных в перечень ВАК).
2. Увеличение количества кандидатских диссертаций, в которых анализ той или иной проблемы ограничен рамками одной административно-территориальной единицы.
3. Увеличение количества диссертаций, посвященных самой «горячей» современности.

Какие ошибки и недочеты являются характерными как для диссертантов, так и для диссертационных советов?

1. Отсутствие системного подхода при формулировании научной актуальности, проблемного поля, объекта и предмета, цели и задач исследования, выборе методологии и характеристике источниковой базы — эти разделы во введении во многих случаях сепаратны по отношению друг к другу.

© Кирьянов И. К., 2017

Кирьянов Игорь Константинович — доктор исторических наук, профессор, Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь); ikiryanov@yandex.ru

2. Достаточно часто в докторских, еще чаще в кандидатских диссертациях при формулировке цели исследования акцент делается на процессе («провести комплексный анализ», например), а не на результате.

3. Нередко историографический сюжет в диссертациях, особенно кандидатских, носит характер развернутого библиографического описания, а не характеризует процесс приращения исторического знания по исследуемой проблеме, а в диссертациях по отечественной истории просто беда с анализом зарубежной историографии — в лучшем случае ритуально и внесистемно упоминаются одна-две работы.

4. Во многих диссертациях, особенно кандидатских, методологический сюжет во введении носит ритуальный характер: упоминаются принципы «историзма и научной объективности», хотя, на мой взгляд, историки занимаются интерпретацией исторического процесса исходя из определенного концептуального подхода. Тот или иной концептуальный подход неразрывно связан с определенными (подчас специфическими) методами и техниками исследования, между тем в редких диссертациях можно проследить взаимосвязь между концептуальным обоснованием исследования и применяемыми методами, развернутую характеристику конкретных техник исследования.

5. Едва ли не самое слабое место в большинстве диссертаций (а в авторефератах и подавно) – характеристика источниковой базы исследования. Типология и ранжирование групп источников должны быть связаны с их информативным потенциалом для достижения цели и задач исследования, с избранной методологией исследования, т.е. здесь нет места трафаретному подходу.

6. Диссертационным советам следовало бы ответственнее подходить к подготовке заключений, а не ограничивать свою роль редактированием «рыбы», написанной самим соискателем или его научным руководителем.

Какие можно высказать пожелания диссертантам, диссертационным советам, экспертному совету, ВАК в целом?

1. Диссертационным советам, прежде всего работающим в региональных институтах, меньше перестраховываться в своих требованиях к соискателям и их диссертациям, особенно при отборе оппонентов.

2. Сократить количество требуемых для защиты докторских диссертаций статей, но обязать соискателей опубликовать полноценную монографию в вузовских и академических издательствах.

3. Даже при положительном результате экспертизы кандидатской диссертации предусмотреть возможность экспертному совету в своих заключениях обращать внимание на те или иные недостатки (конечно же, в пределах гуманизма).

4. Хорошо бы подумать о дате «конца истории». Вряд ли инструментарий историка подходит для анализа проблем сегодняшнего дня, в этом случае не получается оглянуться.

5. Необходимо решить проблему с финансированием деятельности диссертационных советов. Не секрет, что сегодня практически все затраты оплачиваются соискателем, а современные бюджеты большинства вузов просто не позволяют финансировать эту деятельность.

Kiryayov Igor K. – doctor of historical sciences, professor, Perm State national research University (Perm)

А. В. Чернецов

Работая в экспертном совете ВАК уже довольно давно, считаю в целом деятельность этого органа позитивной, а коллектив, принимающий участие в его работе, достаточно квалифицированным. Отмечу, что в самом общем плане положение дел в академической науке (прежде всего в институтах РАН) представляется мне более благополучным, чем ситуация в вузах и вузовской науке, а в обеих названных сферах — более благополучной, чем в министерствах и ведомствах. Я имею в виду прежде всего проблемы профессиональной квалификации кадров и коррупцию.

Обращаясь к рассмотрению проходящих через наш совет диссертаций и процесса экспертизы, считаю необходимым отметить в первую очередь отсутствие случаев, когда эксперты в угоду конъюнктурным соображениям или какому-либо давлению препятствовали присвоению той или иной серьезной научной работе заслуженной степени. Возможно, такие эпизоды имели место в отдаленном прошлом, но на моей памяти их не было.

Скорее можно обвинить наш экспертный совет (и меня в том числе) в излишней мягкости, в поддержке работ, которые следовало бы забраковать. Это явление связано

с наследием советской эпохи, когда демократизация научного сообщества сопровождалась понижением планки для квалификационных работ. В результате 20–30 % успешно защищенных и утвержденных диссертаций, на мой взгляд, следовало бы отвергнуть. Но мы последовательно переводим «троечников» в «четверочки» и, что еще хуже, многих «двоечников» превращаем в «троечников». В нашем научном сообществе сложились заниженные стереотипы, причем пытаюсь отказать в поддержке той или иной работе, эксперты сталкиваются с вопросом: «Как мы объясним диссертанту и представителям его совета наше решение, если в научной среде стало привычным рассматривать подобные работы как кондиционные?»

Казалось бы, на этот вопрос легко ответить — «мы руководствовались утвержденными нормативными требованиями». Но на самом деле эти требования существуют, но фактически игнорируются и учеными советами, и экспертным советом ВАК. Дело в том, что оставившая свое живучее наследие советская эпоха отличалась любовью к напыщенным рапортам о достижениях и успехах. Соответственно, от докторской диссертации официально требуется, чтобы она решала крупную научную проблему и создавала новое направление в исследовательской деятельности. Не секрет, что среди успешно защищенных докторских диссертаций не более

© Чернецов А. В., 2017

Чернецов Алексей Владимирович — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института археологии РАН (Москва); avchernets@yandex.ru

10 % соответствуют этим требованиям. В результате основным критерием добротности докторской диссертации реально оказывается объем вновь вводимого в науку (или по-новому осмысляемого) материала, а для исторических работ также широта географического и хронологического охвата. Среднестатистический российский доктор наук, каков он есть на сегодняшний день, — не генератор идей и не лидер научного направления, а ординарный научный работник, проявивший достаточные трудолюбие и эрудицию. Подчеркну, что тем не менее и такой доктор наук — гораздо более солидная научная величина, чем рядовой западный PhD, и нам следовало бы сохранять хотя бы такой уровень. Реальному положению дел более соответствовало бы некоторое снижение требований к докторским диссертациям в инструктивных документах. При этом, возможно, к указанным выше показателям следовало бы прибавить такие требования, как «способность готовить аспирантов, а также выступать в качестве эксперта в рамках своей специализации». Иными словами, «на бумаге» следует смягчить излишне высокие требования к докторским диссертациям (коль скоро они вообще не выполняются).

В кандидатских диссертациях часто приходится сталкиваться с заявлением, что рассматриваемая работа является первым подлинно научным исследованием на данную тему (более скромные диссертанты пишут, что научное изучение данной темы было начато их научным руководителем). Такие заявления, равно

как и сообщения о том, что данная работа поднимает рассмотрение исследуемого вопроса на «новый уровень», обычно являются не соответствующими действительности декларациями. На необходимость избегать подобных ошибок следует указывать будущим диссертантам; от них должны очищать работы своих учеников научные руководители, а также ученые советы, принимающие диссертации к защите. Отмечу, что мой опыт работы в диссертационных советах свидетельствует об ослаблении внимания научных руководителей к диссертациям их аспирантов. На защитах порой выявляются столь явные огрехи, каких никак не мог бы допустить научный руководитель, если бы он внимательно прочитал диссертацию. Представляется, что подобное отношение научных руководителей к своим обязанностям не должно оставаться безнаказанным.

Говоря конкретно о своей специальности, отмечу, что от начинающего ученого (кандидата наук) в нашей специальности в принципе ожидается: 1) способность самостоятельно проводить полевые исследования и 2) стать экспертом по источниковедческой интерпретации той или иной группы древностей (периодов и территорий или, скажем, керамики, украшений, оружия). В последнее время вместо этого нам часто предлагают исследования по истории археологической науки. Создается впечатление, что для начинающих кадров трудно выбрать тему, обеспеченную материалом. Между тем новый материал накапливается ежегодно в таких количествах, что с ним не удастся

справиться существующим научным коллективам. Будет ли соискатель, специализирующийся по историографии, целенаправленно накапливать полевой опыт? Кто и с какими специальными вопросами будет в дальнейшем к нему обращаться? На эти вопросы ясных ответов нет. Кроме того, очевидно, что неправильно защищать подобные темы по рубрикации «археология». Все это должно находить свое место в «истории науки». Точно так же представляется неправильным, что по специальности «археология» защищаются довольно многочисленные диссертации по геофизическому или палеозоологическому изучению археологических материалов. В диссетах, где проходят подобные защиты, нет или практически нет специалистов, способных оценить достоинства диссертации, ее специфическую методiku и аргументацию. В результате мы получаем дипломированных специалистов по историческим наукам, зачастую незнакомых с азами исторической проблематики. Думаю, что со сходными проблемами встречаются представители других исторических (и не только исторических) наук.

Научная общественность не может оставаться равнодушной к переменам в сфере высшего образования, поскольку именно там готовятся новые кадры. В этой связи большое недоумение вызывает введение дополнительной ученой (?) степени — магистра. Очевидно, что магистерская диссертация должна быть слабее слабой кандидатской (т.е. совсем ни к чему не пригодной «исследовательской» работой). Вся

эта реформа сопровождается широковещательной кампанией, призывающей к превращению студенческих дипломов в полноценные научные исследования. Но это уже чистая демагогия, никак не соответствующая реальности.

В послереволюционные годы и даже в послевоенные очень многие крупные ученые совмещали исследовательскую деятельность с преподавательской. Отчасти это было связано с нехваткой квалифицированных кадров. Сейчас ситуация иная — в системе вузов решительно преобладают профессиональные преподавательские кадры (как правило, сильно уступающие по квалификации академическим ученым). Здесь, как представляется, нужна крупная реформа — необходимо восстанавливать практически разрушенные связи; академическим институтам нужна прямая связь с образовательными центрами, откуда им предстоит получать пополнение.

Деструктивная роль советских традиций особенно сильно проявляется в работах на политизированные, актуальные темы. Здесь были в ходу наукообразная журналистика и политорректные декларации, подменявшие исследования.

Между тем многие весьма важные и актуальные темы не могут полноценно изучаться в рамках академической науки до тех пор, пока основной фонд источников по проблеме не будет рассекречен. Если, работая над подобной темой, исследователь пользуется только открытыми материалами, тогда

как наиболее важные источники ему недоступны, его исследование не может быть названо фундаментальным, страдает неполнотой. Если он имеет доступ к секретным материалам, недоступным его коллегам и возможным критикам, оппонентам и экспертам, исследование не может считаться академическим и должно быть отнесено к числу ведомственных. Вышесказанное касается исследований в области международных отношений или, например, работ, посвященных нелегальной деятельности исламистов наших дней.

Вопрос о защите и экспертной оценке диссертаций требует внимания к соблюдению различных формальных требований. Очень хорошо, что в авторефератах появились такие обязательные рубрики, как «новизна», «источниковая база» и т.п. К сожалению, они не всегда раскрываются должным образом (в рубрики включаются данные, не соответствующие заголовкам, или сведения, отмеченные неполнотой). К сожалению, в последнее время нормативные требования к авторефератам диссертаций утратили свою определенность. Когда-то в авторефераты не разрешалось включать библиографию (кроме списка работ самого соискателя по теме); на других авторов ссылались, указывая только фамилию исследователя и год публикации. Теперь встречаются авторефераты, перенасыщенные библиографией (до 1/3 объема); появляются авторефераты с таблицами и иллюстрациями. На мой взгляд, ВАКу следовало бы внести какую-то ясность в вопрос о стандартах оформления авторефератов.

К числу негативных проявлений наследия советской эпохи следует отнести плохое владение рядом диссертантов иностранными языками, а порой пренебрежение зарубежной научной литературой. К сожалению, встречаются даже докторские диссертации, в которых нет или почти нет ссылок на литературу на иностранных языках. Между тем доктора наук по определению должны заниматься фундаментальной проблематикой и, соответственно, знать базовые зарубежные работы по данному вопросу и смежной проблематике. В кандидатских работах подобный недостаток встречается еще чаще. При этом всегда можно найти работы зарубежных авторов, писавших на сходную тему или решавших аналогичную задачу на другом материале. К сожалению, и в кандидатских, и в докторских работах нередко встречаются безграмотно оформленные сноски на иноязычные публикации. Особенно часто страдают акцентные знаки в названиях литературы на польском, румынском и прибалтийских языках. К сожалению, многие российские авторы не способны правильно передавать имена и названия работ своих украинских и белорусских коллег. Все это производит соответствующее впечатление на научную общественность этих стран. Полагаю, что диссертанты, научные руководители и ученые советы должны уделять больше внимания устранению подобных погрешностей. Завершая пассаж, посвященный языковым проблемам, необходимо указать, что в экспертный совет не должны поступать работы на ломаном русском языке, в авторской версии,

содержащей грубые ошибки. К сожалению, это встречается в ряде работ, подготовленных в Таджикистане. Эти работы должны поступать в ВАК только после профессионального редактирования (за счет диссертантов или представляющих диссертации учреждений).

При рассмотрении работ, в которых рассматриваются проблемы, освещаемые в литературе и источниках на малораспространенных языках, экспертному совету необходима в каждом случае полная информация о языковой подготовке диссертанта. Обращение к обширному корпусу древнерусских переводных текстов или, например, к деятельности такой фигуры, как Максим Грек, требует от диссертантов, на мой взгляд, основательного знакомства со средневековым греческим языком. Если дело идет об этнографии или фольклоре того или иного народа, необходимо опять-таки указывать, владеет ли диссертант языком (диалектом, диалектами) изучаемого народа или нет.

Мне представляются неоправданно завышенными наукометрические

требования, предъявляемые к диссертантам, диссоветам, оппонентам и экспертам. Кроме того, мне видятся в них некоторые перекосы. На мой взгляд, положение, что ученые не должны в списках трудов представлять научно-справочные и учебные материалы вместо научно-исследовательских, в принципе справедливо. С другой стороны, ученый, претендующий на докторскую степень, на широкую эрудицию, должен иметь в списке трудов и такие работы. Если у него их совсем нет, это все-таки определенный минус.

Распространившаяся практика «набирания» необходимых для защиты публикаций в срочном порядке за плату представляется недопустимой. Это откровенная коррупция (в нее прямо или косвенно вовлекаются сами диссертанты, ученые советы и редакции научных журналов). Подобная практика ставит защиту диссертаций в зависимость не от труда и способностей соискателей, а от денег. Полагаю, что все научные издания, открыто берущие деньги за публикации, должны быть исключены из списка ВАК.

Chernetsov Alexey V. – doctor of historical sciences, professor, chief researcher of IA RAS (Moscow)

И. А. Хормач

1. Какие тенденции можно выделить, наблюдая за потоком диссертаций за последние годы?

1. Поток диссертаций на порядок сократился. Хотелось бы надеяться, что к вопросу о защите любой диссертации стали относиться серьезнее.

2. Стало значительно меньше докторских диссертаций, полностью поглотивших кандидатскую диссертацию того же исследователя. Очевидно, повлиял запрет на самоцитирование, хотя он не касался таких форм использования собственного материала.

3. Научные руководители соискателей ученой степени кандидата исторических наук при подготовке одновременно нескольких аспирантов стали реже предлагать своим ученикам единый шаблон при написании авторефератов.

4. Стало меньше откровенно слабых и беспомощных работ, но, возможно, это связано с общим сокращением количества защищаемых диссертаций.

5. Стали гораздо лучше подбираться оппоненты.

6. Кандидатские и докторские диссертации стали защищаться при

значительном количестве публикаций. Однако объем публикаций большинства соискателей уменьшился пропорционально росту их числа. Подчас соискатель степени доктора исторических наук имеет 15 статей объемом 0,3–0,4 п.л. и одну-две монографии в соавторстве. Это очень опасная тенденция.

2. Какие ошибки и недочеты являются характерными как для диссертантов, так и для диссертационных советов?

1. Одна из самых распространенных ошибок — неправильная формулировка в заключении советов о вкладе соискателя в разработку изучаемой проблемы.

2. Мелкотемье и отсутствие проблемы в формулировке темы диссертации, а следовательно, и в самом исследовании. К сожалению, эксперту часто самому приходится додумывать за соискателя, какую же именно проблему он хотел осветить и проанализировать в своем труде.

3. Отсутствие во многих диссертациях грамотного обзора источников. Некоторые соискатели не в состоянии объяснить, чем отличается источник от исторического исследования, а тем более проанализировать разного вида источники.

4. Недостаточное внимание многих диссертационных советов к составлению одного из важнейших документов защиты — заключения.

© Хормач И. А., 2017

Хормач Ирина Александровна — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИРИ РАН (Москва); irinakhormach@yandex.ru

5. Немалое количество авторефератов написано небрежно: нечетко поставлены цели исследования, плохо или слишком кратко изложено содержание диссертации, полностью отсутствуют выводы или подменяются резюме по главам. Такой подход не дает возможности эксперту адекватно оценить кандидатскую диссертацию, так как автореферат – это единственное сочинение соискателя, с которым может ознакомиться эксперт при вынесении своего решения.

3. Какие можно высказать пожелания диссертантам, диссертационным советам, экспертному совету, ВАК в целом?

1. Установить определенную допустимую норму использования в тексте докторской диссертации уже защищенной кандидатской диссертации соискателя – хотя бы 20 %.

2. Ввести правило об обязательной публикации единоличной полноценной монографии (а не брошюры) для соискателя степени доктора исторических наук и 7–8 статей объемом не менее 1 п.л. (вместо нынешней нормы 15 статей без указания нижней границы объема публикации).

3. Дать возможность экспертному совету вызывать соискателей для выяснения таких вопросов, как владение материалом, степень авторства, знание источников и историографии, а также запрашивать тексты кандидатских диссертаций авторов, не проявивших в автореферате глубокого знания предмета.

4. Диссертационным советам следует готовить свое заключение не по шаблону, а в соответствии с индивидуальными особенностями каждой работы.

Khormach Irina A. – doctor of historical sciences, leading researcher of the Institute of Russian history, RAS (Moscow)

О. В. Бодров

НОВЫЙ ПРОФЕССОРСКИЙ КУРС ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Рец.: *Ермолаев И. П.* Полный университетский курс лекций по истории России. Том 1. Русь до воцарения Романовых (с древнейших времен до 1613г.). СПб.: Издательство Олега Абышко, 2017. 704 с.

Вышел в свет первый том фундаментального четырехтомного издания по истории России, которое полностью охватывает все основные периоды ее развития от общинного строя восточных славян и их соседей до начала XXI в. Его автор, известный советский и российский историк, из-под чьего пера вышел не один десяток монографий и учебных пособий, заслуженный профессор Казанского университета Игорь Петрович Ермолаев в канун своего 85-летия обобщил результаты своей многолетней научной и преподавательской деятельности. В научной среде достаточно редким явлением бывают факты, когда один автор берет за столь масштабное издание, тем более что трудно выдержать добротный и ровный уровень из-

ложения материала на протяжении всех четырех томов, — но это как раз тот случай.

Как можно охарактеризовать жанр данного издания? В своем авторском вступительном слове профессор И. П. Ермолаев дает предельно ясную, но скромную оценку своего детища: «Предупреждаю читателя, что я не преследовал научно-исследовательских целей. Это не монографическая работа по какой-то проблематике или конкретной научной теме. Это именно курс лекций в объеме университетского учебного плана советского периода. Книга предназначена для всех интересующихся как отдельными вопросами отечественной истории, так и для изучающих процесс исторического развития нашей страны. Это итог многолетней работы над лекционными курсами для студентов Казанского университета, а в последние 15 лет одновременно и для студентов Казанской Духовной

© Бодров О. В., 2017

Бодров Олег Вячеславович — кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань); ovbodrov@mail.ru

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

семинарии» (Ермолаев 2017: 17). Далее автор уточняет, что материал «Курса» намного перекрывает возможности учебного плана, недостаточного для «полноценного обучения истории», а само издание скорее является чем-то вроде «обширного дополнительного материала к учебным занятиям». Однако, как подчеркивает автор, хотя книга и не является строго научным исследованием, она «отражает итог моих научных занятий, особенно древнего и средневекового периодов российской истории, а также периода оформления Российской империи в XVIII в.» (Там же).

Каким образом можно суммировать особенности авторской концепции «Курса»? Ответ дается в предисловии к изданию.

1. «Курс» основан на марксистской методологии и построен на учете достижений советской исторической науки ее лучшего периода 50–70-х гг. XX в. При современном мозаичном взгляде на исторический процесс подход профессора И.П. Ермолаева является скорее важным достоинством в цельном восприятии хода истории.

2. «Курс» не является строгим научным исследованием, ибо исследователю рассмотреть весь процесс развития с возникновения общества и государства до сегодняшнего дня невозможно одному человеку в одном произведении. Это именно «курс лекций», точнее — материалов к ним, ибо прочитать его текст невозможно в любое допустимое время в самом обширном по объему учебном плане.

3. Автор рассматривает, в отличие от общепринятой в советской историографии преимущественного интереса к социально-экономической стороне исторического процесса, историю развития России с социально-политической точки зрения.

4. Обращает на себя внимание и другая сторона вопроса — история России рассматривается на широком историческом фоне международных отношений и связей русской истории с историей как соседних народов, так и других государств. В связи с этим в тексте часто присутствуют исторические справки по тому или иному государству, которые помогают лучше понять конкретный историко-международный и внутренний процесс самой России. Профессор И.П. Ермолаев умно и тонко «вписал» историю России в мировую историю.

5. Периодизация исторического процесса в целом повторяет общепринятую и устоявшуюся в советской историографии систему, но вместе с тем в нее нередко вносятся уточнения, иногда имеющие принципиальный характер. Так, период «Киевской Руси» рассматривается фактически как предгосударственный, как начальный период развития русской (славянской) государственности, который приводит к образованию в Восточной Европе 12–13 самостоятельных политических обществ, впоследствии в процессе объединения создающих два государственных организма: Великое княжество Литовско-Русское и Московскую Русь.

6. На начальном периоде политического развития России

определенную организующую роль автор видит в участии в истории восточного славянства норманнов (варягов), которые и создают первоначальное политическое объединение в виде Древнерусского государства («Киевской Руси»). Первоначальным ядром этнополитического объединения в Восточной Европе называется Новгород, а не Киев, как обычно провозглашается в большинстве учебников по истории России.

7. Большое значение в начальной истории России придается роли монгольского завоевания и участия Золотоордынского государства в становлении Русского национального государства. Собственно восточнославянские земли никогда не были частью Золотой Орды, но они жили в тесном сотрудничестве и взаимодействии с ней. Версию о «татаро-монгольском иге» автор отмечает. По этому вопросу им проведено отдельное исследование в работе «Становление Российского самодержавия» (Ермолаев 2004).

8. Несколько по-новому рассматривается проблема «Двух России» — «литовской» и «московской». Подчеркиваются не противоречия и враждебность между ними, а политическое соперничество в организации единой России. Историческая обстановка и логика событий привела к победе в этом процессе Москвы.

9. Развитие Московской Руси в XVI–XVII вв. рассматривается в свете борьбы «старого» (боярско-вотчинного) с «новым» (дворянско-поместным) началом, итогом чего явилась победа последнего. В связи с этим

террор Ивана Грозного рассматривается как сложное явление, где наряду с жесточайшими злодеяниями просматривается их историческая логика и объективная необходимость.

10. В политике Петра I, наряду с прогрессивностью преобразований, подчеркивается деспотический характер организации правления самодержца и тяготы, испытанные народными массами по пути «вхождения страны» в систему европейских государств.

11. Политика ближайших наследников Петра I (Екатерины I, Анны Ивановны, Елизаветы Петровны, Петра III) показана в свете противоречивых тенденций, выражающих интересы разных слоев господствующего класса.

12. Екатерина II рассматривается как политический деятель, завершающий логический смысл и цели преобразований, начатых вторым царем из династии Романовых, Алексеем Михайловичем и продолженных его сыном — императором Петром I.

13. Первая половина XIX в. показана как процесс постепенного «гниения» крепостнической системы, понимание необходимости ликвидации которой было характерно еще для начального периода деятельности Екатерины II. Это вызвало взрыв возмущения передовой части дворянского общества, неправильно понятой и оцененной правителями России.

14. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие

страны после серии «великих реформ» Александра II характеризуется как противоречивая и непоследовательная политика, фактически углубляющая критическое состояние политической системы Российского государства.

15. Революции начала XX в. («Первая русская революция» в 1905–1907 гг. и «Февральская» в 1917 г., а затем «Октябрьская») показаны как логическое и неизбежное завершение социально-политического развития страны в предшествующие 2–3 века.

17. «Советский период» истории России представлен вполне объективно, без злобного отношения к большевикам, так характерного для постсоветского исторического дискурса 1990-х гг. Достаточно объемно показаны реальные достижения социалистической системы и образа жизни. При этом автор по-настоящему, вдумчиво и критически пытается понять истоки и причины допущенных ошибок и их последствий.

18. По большинству крупных персоналий исторических событий профессор И. П. Ермолаев представил краткие биографические справки, которые, несомненно, обогатили канву исторического изложения (Ермолаев 2017: 12–15).

На примере первого тома «Курса» можно представить конструкцию всего издания, выдержанного в последовательно единообразном учебно-методическом подходе. Так, во введении четко прописаны принципиальные позиции авто-

ра в отношении учебного издания и сформулированы такие понятия, как предмет исторической науки, ее марксистское понимание с точки зрения соотношения базиса и надстройки, роль народных масс и личности в истории, классовая борьба и влияние социальных теорий, а также неизбежная политизация исторической науки. Определены три основные задачи «Курса» — эпистемологическая, дидактическая и мировоззренческая и даже его традиционная периодизация от догосударственного периода (до середины IX в.) до постсоветского (конец XX в.).

Первый том «Русь до воцарения Романовых» состоит из трех частей, каждая из которых делится на разделы, а они, в свою очередь, на темы. Первая часть озаглавлена «Домонгольская Русь» и включает в себя четыре раздела, хронологически охватывающие первые тринадцать веков нашей эры.

Раздел 1 «Древнейший период» дает краткую предысторию восточнославянских земель и народов, их населявших, до образования государственности у славян. Так, автором выделяются крупные государствообразующие объединения из числа соседей, среди которых Скифское и Боспорское царства на территории Крыма, Гуннская держава и Тюркский каганат в степях Восточной Европы, Хазарский каганат на Северном Кавказе и Великая Болгария в Приазовье, а также редко упоминаемое тюркское государство Волжская Булгария в Среднем Поволжье. Именно в окружении таких серьезных этнополитических

образований, в основном кочевых, шел процесс распада кровнородственных отношений, роста имущественного неравенства и военной демократии, а вместе с тем и первых попыток политического объединения славянских племен в союзы. Автор делает вывод о сложном этногенезе тюркских, алтайских, финно-угорских и славянских племен на обширной территории от Балтики до Черного моря и считает именно многоэтнический характер российского менталитета залогом прочности современной государственности (Ермолаев 2017: 70).

В разделе 2 «Древняя Русь в IX – начале XII вв.» рассматривается период становления и развития Древнерусского государства, хронологически охватывающий примерно 300 лет – с середины IX в. и до 30-х гг. XII в. Автор подчеркивает раннефеодальные черты и хозяйственную сущность государственности восточных славян, носивший характер не столько земледельческого, сколько торгово-посреднического объединения, возникшего на основе контроля торгового пути «из варяг в греки», а также борьбы за Волжско-Камский («сарацинский путь») и торговые пути на Балканах (Ермолаев 2017: 75). При этом государство формировалось первоначально с центром не в Киеве, а в Новгородских землях при активном участии варягов (русов), которые создали надплеменную территориально-политическую структуру с опорой на торговлю и местные промыслы. Прослеживается автором и этногенез термина «русь», который, будучи норманнским по происхождению, постепенно переносится

на восточных славян и их землю (Ермолаев 2017: 86). Расцвет Древнерусского государства автор связывает с правлением Владимира I и Ярослава Мудрого и укреплением единства славянских племен посредством их христианизации, созданием первого законодательного правового поля («Русской Правды») и приверженности правящей династии Рюриковичей. Однако рост феодальной собственности на землю приводит к укреплению местной знати (боярства), росту городов и в конечном итоге обособлению и распаду государства на княжества («отчины»).

Раздел 3 «Русские княжества в XII – начале XIII вв.» показывает необратимость процесса распада Древней Руси и его причины, среди которых одной из важнейших стала постепенная ликвидация торгового транзита «из варяг в греки» в связи с упадком Византийской империи. Автор отмечает, что на обломках Киевской Руси возникли два государства: Московская Русь и Великое княжество Литовское, или Русско-Литовское государство (Ермолаев 2017: 126), а Киев превратился в столицу одного из небольших княжеств. К середине XII в. образовалось 13 самостоятельных государств на месте бывших 12 племенных объединений, основная часть которых в XIII–XIV вв. (9 бывших княжеств, т.е. не менее 60 % территории Киевской Руси) вошла в состав Великого княжества Литовского (основанного в XIII в.) и Польши. В то время как территория, находившаяся под властью Золотой Орды, к середине XIV в. составляла не более 25–30 % земель бывшей «державы

Рюриковичей» (всего 3 русских государства) (Ермолаев 2017: 128, 130). Следует заметить, что автор оценивает феодальную раздробленность не столько негативно, как регресс в развитии Древнерусского государства, но как его закономерный этап, через который прошли все крупные державы средневековой Европы, пишет о превращении его в своеобразную федерацию княжеств с номинальным главой — киевским князем. В борьбе за великокняжеский престол двух основных территориальных объединений юго-западные князья (галицко-волынские) стремились опереться на поддержку европейских стран и на католическую церковь, в то время как северо-восточные князья получили неожиданную помощь от восточных завоевателей — золотоордынских правителей, что, по мнению автора, указывает на спорность утверждения о «монгольском иге» на Руси (Ермолаев 2017: 146).

Раздел 4 «Русь в XIII в.» интересен не только тем, что в нем повествуется о самоотверженной борьбе русских княжеств против экспансии западных феодалов (немецких, шведских, датских, венгерских и польских), а также с монгольским нашествием. Автор включает сюда необходимый материал об образовании государства Золотой Орды, взаимоотношениях с ним русских северо-восточных земель на правах вассалитета и значении геополитического выбора в пользу русско-ордынских отношений в противовес проевропейским и прокатолическим галицко-волынским и русско-литовским связям (Ермолаев 2017: 202, 212–213, 228–232).

Вторая часть тома носит название «Объединение русских земель и образование единого Русского государства» и состоит из двух разделов, хронологически охватывающих период со второй трети XIII в. до второй трети XVI в., и завершается правлением Василия III.

В разделе 5 «Объединение русских земель» подробно освещается процессе объединения с момента перехода Великого княжения во Владимиро-Суздальскую Русь, а после ее удельного дробления и возвышения московских князей изложение доводится до окончания феодальной войны второй четверти XV в. Автор прослеживает сложный путь борьбы за великокняжеский титул в условиях продолжающейся политической раздробленности северо-восточных княжеств, в котором переплетались экономические, социальные, церковные и престолонаследные проблемы, рассматривает различные формы земельной собственности, феодальной иерархии и вассалитета («служебные князья», бояре и «дети боярские», «слуги под дворскими», «закладни» и т.д.), а также систему управления все более усложнявшегося политического государственного механизма (Ермолаев 2017: 248–261).

Не совсем традиционной является точка зрения И.П. Ермолаева на роль Великого княжества Литовского в процессе объединения русских земель в период безвременья и раздробленности XIII–XIV вв. Он указывает на то, что обычно в отечественной научной литературе московские князья предстают «собираателями», а литовские —

чужеземными завоевателями, разорителями. Однако при этом забывается, что Русью в XIII–XIV вв. чаще всего называли не Северо-Восток, а земли в составе Великого княжества Литовского, в котором в период расцвета славянские земли составляли около 90 % его территории, а собственно «литва» была этническим привилегированным меньшинством. Жителей же Северо-Востока именовали по столицам земель: «тверичи», «москвичи», «суздальцы», «рязанцы» и т.д. А в дальнейшем за подданными Московского государства прочно закрепилось название «москвитян», «москвитов». Поэтому автор делает, вслед за академиком И. Б. Грековым, количественный вывод о том, что до 80-х гг. XIV в. Литовское княжество выступало с общерусской программой и фактически вело процесс объединения всей Русской земли, а Москва активно продолжила (перехватила) его лишь после Куликовской битвы (Ермолаев 2017: 261–263). Историческое значение этого сражения огромно, поскольку была одержана первая внушительная победа Руси над Золотой Ордой. Вместе с тем И. П. Ермолаев уточняет, что, выступая против Мамаю, Дмитрий Донской формально боролся не против врага Золотой Орды как государства, а как бы выступал в защиту золотоордынского трона против восставшего сепаратиста «Мамаю, врага законного хана». Характерно, что, придя к власти после Куликовской битвы, хан Тохтамыш объявил, что он победил общего с Русью врага. Дальнейшие события (поход Тохтамыша на Москву и отъезд из нее Дмитрия Донского без сопротивления) под-

тверждают тот факт, что русские земли продолжали находиться в вассальной зависимости от Орды, однако уменьшилась тяжесть подачек и резко возросла степень самостоятельности Руси (Ермолаев 2017: 306–307). Автор также прослеживает историю Золотой Орды в завершающий период ее существования, а после распада вся ее территория постепенно войдет в состав России (Ермолаев 2017: 320). Особое место в политике объединения русских земель вокруг Москвы, по мнению автора, принадлежало явлению, получившему наименование феодальной войны второй четверти XV в., основные причины которой заключались уже не в противостоянии Москвы и Твери, как в XIV в., а в личных противоречиях среди потомков Ивана Калиты внутри Московского княжества. Выделяются фактически пять этапов войны и причины победы в ней Василия II «Темного», фундаментом которой стал т.н. «государев Двор», опиравшийся на служилое дворянство и золотоордынские связи (Ермолаев 2017: 338–339).

Раздел 6 «Образование единого Русского государства» демонстрирует завершение процесса политического объединения Северо-Восточной Руси и образования Московского государства. Автор отмечает, что к середине 1480-х гг., после «Великого стояния» на реке Угре, фактически завершается объединительный процесс разнородных северо-восточных и северо-западных земель и на карте мира впервые появляется единое Русское государство. Происходит это в период правления Ивана III, и отныне главная задача

русских государей вплоть до середины XVI в. — его централизация, т.е. приведение к единому целому в хозяйственном, военном, управленческом, идеологическом и законодательном планах. Автор простым и доступным языком излагает сложные проблемы государственного строительства, начиная с изменения титула, к которому («Великий князь») отныне добавляются слова «вся Руси» с перечислением земель, затем принятия нового герба (перенятого из Твери) и государственной печати, на которой к прежнему московскому гербу св. Георгия Победоносца присоединяется византийский герб — двуглавый орел, возникновения пышного придворного церемониала коронации с бармами и шапкой Мономаха (Ермолаев 2017: 366–369). Затем автор анализирует изменение роли «Боярской думы» в управлении неоднородностью ее состава, появление «Ближней думы» и Большого Дворца, в недрах которого начинают формироваться первые приказы (казенный, посольский, ямской, разрядный, поместный и т.д.) Не менее сложной и пестрой предстает и социально-экономическая структура Московской Руси при Иване III. Автор дает исчерпывающую характеристику основным категориям зависимого сельского населения, от «черных людей» до холопов, а также классифицирует привилегированную часть господствующего класса на 2 слоя: родовитое боярство и «рядовое» (служилое дворянство). Акцентируется внимание также на формах феодального владения, росте повинностей крестьян и, как следствие, возрастание разных форм классовой борьбы в ответ

на жесткое оформление поместной системы как основной формы феодального хозяйства в последующие столетия (Ермолаев 2017: 388–397).

Наконец, в подтверждение факта централизации Московского государства автор впервые включает главы по внешней политике Ивана III и его сына Василия III, поскольку говорить о единой внешней политике в прежней Московской Руси не представлялось возможным в условиях политической раздробленности и внутренней вражды. Выделяются главные направления внешнеполитической деятельности, среди которых русско-литовские, русско-датско-шведские, московско-казанские и взлет сношений с Западной Европой (Ермолаев 2017: 418–427). Дело основателя единого Русского государства продолжил Василий III, который впервые, по завещанию своего отца, был назначен государем, а братья и прочая родня стали его подданными. Правление Василия III, согласно автору, стало продолжением и полной преемственностью политики Ивана III (Ермолаев 2017: 431). Объединительная политика охватывала внутренние и внешние направления, концептуальное оформление доктрины «Москва — Третий Рим» преследовало те же цели, как и усиление контроля над Церковью, сокращение привилегий боярской аристократии, и практически те же направления внешней политики подтверждают целенаправленное усиление централизации молодого государства. Вторая часть тома завершается четкими выводами об источниках правления Василия III и рождении (после долгих

лет бездетности и различных слухов) следующего законного наследника единого государства Ивана IV (Ермолаев 2017: 452).

В третьей части первого тома «Иван IV и Смута» речь идет о самом, пожалуй, драматичном периоде русской средневековой истории, когда прервалась династическая линия Рюриковичей и наступило безвластие и безвременье, а судьба молодого государства висела на волоске.

Раздел 7 «Иван Грозный» целиком посвящен эпохе правления одного из самых сложных и противоречивых русских царей и хронологически доводится до Земского собора 1598 г. и избрания Бориса Годунова на царство. Интересным представляется оценка автором периода пятилетнего регентства Елены Глинской при малолетнем царе и правления Боярской думы («своеволие бояр») вплоть до воцарения Ивана IV в 1547 г. В отличие от долгое время бытовавшей в историографии точки зрения о том, что все правление «боярского периода» шло по пути разрушения централизованной системы управления, укрепления власти наместников и усиления эксплуатации простого народа, автор пишет, что она «не может быть принята, так как она не подтверждается даже внешним перечислением осуществленных мер в 1538–1547 гг.» (Ермолаев 2017: 468). Напротив, боярские группировки боролись не за ослабление центральной власти, а за обладание ею. Политика централизации и насущные реформы продолжались как при Елене Глинской (единая монетная система, венчание на царство Ивана IV

и реорганизации местного управления), так и при Шуйских (введение губных учреждений, укрепление дворянства, строительство Китай-города и др.).

Первый этап правления Ивана IV был связан с реформами «Избранной рады» в конце 1540–1550-х гг. и оценивается в «Курсе» позитивно, т.к. последовательно решались две главные задачи: усиление центральной власти и укрепление социальной опоры русского самодержавия (Ермолаев 2017: 473). Целенаправленно, без эксцессов были осуществлены важнейшие государственные мероприятия: принят новый Судебник 1550 г., введено земское самоуправление, проведен Стоглавый собор в 1551 г., «изба» вытеснялась «приказами», появилось первое регулярное стрелецкое войско, единое налогообложение с «сохи» и др. Не менее впечатляющей была и внешняя политика, проводимая окружением молодого царя, особенно ее восточное направление. Так, окончательно был решен болезненный и крайне важный «Казанский вопрос», историческое значение которого автор видит в том, что с присоединением Казани «верховенство политической власти на всей основной территории Восточной Европы и Приуралья из рук золотоордынских Чингизидов перешло в руки московских Рюриковичей» (Ермолаев 2017: 493). Кроме того, открылась дорога для колонизации Сибири. Подробно освещается и западный вектор внешней политики, который, пожалуй, впервые так ясно и агрессивно проявился именно у Московского государства и объединил в одно целое

неудачную Ливонскую войну, борьбу со Швецией, Литвой, Данией, Польшей. В целом прогрессивный и плодотворный период правительства «Избранной рады» завершился к 1559 г., когда прекратились сколько-нибудь заметные реформы во внутренней жизни страны и начались опалы на ее членов. Тем не менее автор подчеркивает, что удачи и неудачи внешней политики Ивана IV во многом определили ориентацию России на последующие полтора столетия. Если на западном направлении его ждала изоляция, а вопрос о воссоединении западнорусских земель в едином Русском государстве был отложен на долгие десятилетия в связи с объединением Польши и Литвы, то на восточном векторе Московская Русь оставалась практически единственным наследником огромной былой Золотоордынской державы XIII–XV вв. (Ермолаев 2017: 521–522).

Второй этап в правлении Ивана IV (получившего тогда же прозвище Грозный), или опричнину, автор оценивает как репрессивный, но при этом не отказывает ему в социально-политической целесообразности. И. П. Ермолаев указывает на пролог последующего кровавого террора, а именно кризис 1553 г., когда молодой царь Иван заболел «тяжким огненным недугом». Во время его болезни обнажились противоречия в элите и часть ее присягнула двоюродному брату царя Владимиру Старицкому. Кризис власти совпал с начавшейся «скудностью» в государстве: массовые выступления крестьян и посадских людей, распространение ереси, большая война с Казанским ханством

уже после взятия Казани (1552–1557) (Ермолаев 2017: 523). В самой политике опричнины автором выделяются 6 этапов, которые, помимо самой опричнины (1565–1572), охватывают более длительную эпоху 1560–1584 гг. При оценке итогов опричнины подчеркивается, что наряду с рациональными политическими мероприятиями, направленными на усиление централизации, преодоление сопротивления родовитых бояр и укрепление служилого дворянства за счет крестьянского закрепощения, присутствовала и ярко выраженная иррационально-эмоциональная составляющая, которая порождалась в том числе неуравновешенной психикой царя и привела к тяжелым и разорительным последствиям для страны, породив эпоху беззакония, что, в свою очередь, привело к Смутному времени (Ермолаев 2017: 541).

Подводя итоги правления Ивана Грозного, автор аккуратно суммирует долгие 37 лет в конкретные позитивные результаты внутренней и внешней политики (Ермолаев 2017: 549). Интересными и уместными представляются приведенные автором многочисленные и противоречивые историографические оценки самого Ивана Грозного как личности высокообразованной и незаурядной, однако глубоко трагичной в силу патологической жестокости и царившего культа насилия, пронизавшего все европейское средневековье и давшее ему эпитет «мрачное» (Ермолаев 2017: 549–561).

В разделе 8 «Смутное время» освещается эпоха безвременья, связанная с прекращением правящей ди-

насти Рюриковичей, гражданской войной и народной консолидацией против иностранной интервенции. Автор формулирует основные причины возникновения, сущность и дает периодизацию «Смутного времени». К причинам он относит политику закрепощения крестьян помещиками, реваншистские настроения боярства и возвышение дворянства, обострение отношений правительства со служивыми людьми «по прибору», особенно с казачеством, хозяйственный кризис после «опричных лет» и голод 1601–1603 гг., а также династический кризис 1598 г. «Смуту» автор определяет как сложное явление российской истории, в котором переплелись различные векторы и движущие силы и понять которую можно только «при синтезе всех противоречивых явлений» (Ермолаев 2017: 581). Что касается периодизации, то автор указывает на отсутствие общепринятого деления «Смутного времени» в исторической науке. Вместе с тем наиболее распространенным является выделение трех основных периодов, каждый из которых подразделяется на 2 этапа: «династический» (1598–1606); «социальный» — подъем классовой борьбы и гражданская война (1606–1609); «патриотический» (освободительный) против иноземцев (1610–1618) (Ермолаев 2017: 583).

Анализируя сложные перипетии эпохи, когда правда и вымысел шли рука об руку, автор выделяет новый для Руси феномен «самозванства», который появляется в обстановке неопределенности сразу же после смерти последнего царя из Рюрико-

вичей — Федора Ивановича в январе 1598 г. и становится важным орудием в политической борьбе разные влиятельных групп за власть (Ермолаев 2017: 586–587). Автор ярко описывает политическую авантюру обоих Лжедмитриев, более подробно останавливаясь на фигуре первого из них. Интересным представляется трактовка И. П. Ермолаева малоизученной «проблемы Георгия» (Григория Отрепьева), когда автор шаг за шагом разбирает его мотивы, поступки и соотносит их с возможностями исторической эпохи, подчеркивая при этом, что основные просчеты Григория Отрепьева лежали в области социальной психологии. Он оставался «несистемным» человеком, не смог вписаться в жесткие реалии политической системности «Смутного времени», но неожиданно открыл собою целую плеяду самозванцев в последующей российской истории (Ермолаев 2017: 607).

Автор убедительно показывает, как «Смута», охватившая Московское государство, периодическая смена лиц и форм правления (царь В. Шуйский, «семибоярщина», двоевластие, «правительство Владислава» во главе с М. Г. Салтыковым, явление Лжедмитрия III) привела страну в состояние многовластия и, значит, неуправляемости, а отъезд «Великого посольства» к Сигизмунду III с последующим пленением, казалось, обезглавил русскую элиту и лишил ее воли к сопротивлению. Но в момент наивысшего губительного кризиса «верхов» в Москве вектор самовывживания и самосохранения перешел по призыву патриарха Гермогена

к народным (посадским) низам в регионах, где и было создано из местных «лучших людей» временное общерусское правительство «Совет всея земли». Именно второе временное правительство во главе с купцом Мининым и князем Пожарским, сформированное в Ярославле, и его ударная сила – Второе («общенародное») ополчение разгромили поляков, освободили столицу страны и собрали Земский собор 1613 г., на котором была основана первая (и она же последняя) собственно русская династия Романовых (Ермолаев 2017: 630–644).

В завершение хотелось бы особо отметить материал о культуре, который не всегда встретишь даже в общеисторической научной литературе, а в учебной он если и представлен, то в крайне усеченной форме. Но для автора проблема развития русской культуры является не просто данью традиции и не столько «культурной» иллюстрацией политического и социального вектора истории, но важным самоценным повествованием, имеющим задачу понимания домонгольской культуры как культуры Киевской Руси, сформировавшейся на основе восточнославянского этноса с включением варяжского и степного (тюркского) элементов. Именно об этом идет речь в разделе 3 (тема 3.6) «Русская культура домонгольского периода», в котором автор прослеживает постепенное складывание разрозненных, разноязыких, синкретичных элементов материальной и духовной жизни славянских племен в более-менее стройную, самостоятельную и открытую для контактов древнерусскую

культуру. Составив собственное ядро первоначально из славянской языческой традиции и письменности, она активно видоизменяется с принятием православного христианства из Византии и алфавита кириллицы из Болгарии. Христианская идеология отныне становится цементирующим фактором в становлении единого древнерусского этноса, в культурный багаж «которого органично вливались разнохарактерные достижения» более и менее «продвинутых» соседей: Византии, Болгарии, стран Западной Европы, южных и западных славян, Скандинавии, кочевой степи и Ближнего Востока (Ермолаев 2017: 193). Что касается развития русской культуры в эпоху Московского государства, то главное ее отличие от древнерусской состояло в том, что она формировалась на более широкой географической и этнокультурной основе, включавшей в себя не только Северо-Восточную Русь со славянским населением, но и народы, входившие в состав молодого государства по мере его роста: финно-угорские, тюркские, сибирские, кавказские, балтийские и т.д.

В разделе 8 (Тема 8.6) «Русская средневековая культура (XIV–XVI вв.)» автор как раз и демонстрирует становление собственно русской культуры в постмонгольский период объединения земель вокруг Московского княжества и, что особенно важно, во взаимодействии с Русско-Литовским и Золотоордынским государствами. Автор указывает на негативные последствия монгольского нашествия XIII в., надолго затормозив-

шего культурное развитие русских земель: исчезли или деградировали многие виды ремесел, была утрачена техника и прекратилось совершенствование некоторых видов живописи, резьбы по камню, керамики, перегородчатой эмали, регресс коснулся летописания и грамотности населения. Однако новый подъем культуры начался с середины XIV в., чему способствовала победа на Куликовском поле. Именно с этого момента отмечается рост национального самосознания, значения общей борьбы за независимость, за объединение страны (Ермолаев 2017: 644–645). Идея необходимости единства Руси проходит красной нитью через литературу, религию, все виды искусства и народного творчества, а во времена «Смуты» достигает своего апогея на волне общерусского патриотизма, охватившего самые дальние «уголки» земли и подтвердившего сам факт наличия единого централизованного Русского государства. Своего расцвета достигает зодчество, градостроительство, иконопись, летописание, прикладные виды искусства, появляются и развиваются книгопечатание, монастырские школы, публицистика, новые виды научных и технических знаний, общественно-политическая мысль, сформулированная предельно емко: «Москва – третий Рим» и т.д. (Ермолаев 2017: 647–659). Русская культура усложняется, становится все более общероссийской, многообразной, включающей в себе различные этнокультурные заимствования, наряду с величием и пышностью придворной культуры впервые «начинает проявлять

себя и угнетенный, классово заостренный “плебейский” элемент».

Нельзя не упомянуть о такой важной составляющей учебного издания, как приложение. Здесь привлекает внимание своей оригинальностью генеалогическое древо Рюриковичей (2 таблицы), династия Гедимина (великих князей литовских) и Чингизиды (золотоордынская ветвь плюс генеалогия казанских ханов). Все таблицы составлены сыном автора – А. И. Ермолаевым.

Настоящее издание «Полного курса университетских лекций по истории России» И. П. Ермолаева, без сомнения, стало заметным явлением в отечественной научной и учебной литературе. По уровню охвата исторического материала, его аналитическому осмыслению, оригинальности в постановке и оценке ряда дискуссионных проблем, ясному и сбалансированному изложению текста труд И. П. Ермолаева будет интересен и займет достойное место на книжной полке студента, магистранта, аспиранта и преподавателя, он будет интересен также всем любознательным читателям книг по истории Отечества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Ермолаев 2004 – Ермолаев И. П. Становление Российского самодержавия. Истоки и условия его формирования: Взгляд на проблему. Казань, 2004. 392 с.

Ермолаев 2017 – Ермолаев И. П. Полный университетский курс лекций по истории России. Том 1. Русь до воцарения Романовых (с древнейших времен до 1613г.). СПб.: Издательство Олега Абышко, 2017. 704 с.

NEW PROFESSOR'S COURSE ON THE HISTORY OF RUSSIA

Rev.: Ermolaev I. P. *Polnyi universitetskii kurs leksii po istorii Rossii. Vol. 1. Rus' do votsareniia Romanovykh (s drevneishikh vremen do 1613 g.)*. St. Petersburg: Izdatel'stvo Olega Abyshko, 2017. 704 p.

Bodrov Oleg V. — candidate of historical sciences, associate professor of the Department of the World History, Kazan (Volga region) Federal University (Kazan)

REFERENCES

Ermolaev I. P. *Polnyi universitetskii kurs leksii po istorii Rossii. Tom 1. Rus' do votsareniia Romanovykh (s drevneishikh vremen do*

1613 g.)

. St. Petersburg: Izdatel'stvo Olega Abyshko, 2017. 704 p.

Ermolaev I. P. *Stanovlenie Rossiiskogo samoderzhavii. Istoki i usloviia ego formirovaniia: Vzgliad na problemu*. Kazan', 2004. 392 p.

К. В. Роганов

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СУЩНОСТИ АРХИВОВ

Ключевые слова: Архивы, архивное дело, архивная работа, отечественные архивы, российские архивы.

Автором рассматриваются проблемы и перспективы развития отечественных архивов и архивной отрасли как субъектов информационного общества. Выделяются три неизменные составляющие архива как общественного института – информационная, источниковая и бюрократическая. Подробно рассматривается роль и значение информационной составляющей для функционирования архива.

Что такое архив? Ответ на данный вопрос определяет отношение власти и общества к архивным учреждениям. Традиционно архив рассматривается как хранилище исторической памяти. Вместе с тем даже официальное определение архива предусматривает более широкую трактовку. Законом устанавливается, что архив – это учреждение или подразделение организации, которое наряду с сохранением документов занимается их комплектованием, учетом и использованием. Указанные функции архива можно условно разделить на два блока: источниковые и информационные,

отнеся к источниковым функции по комплектованию, сохранению и учету, а к информационным – по использованию архивных документов. Кроме того, в деятельности архива, как и любого иного учреждения, можно выделить функцию бюрократическую, определяющую и регламентирующую порядок деятельности архива, механизм его взаимодействия с иными государственными и общественными институтами.

Для того чтобы всесторонне оценить место и роль архивов в современном обществе, оценить возможности и перспективы их развития, предлагается взглянуть на архивы как на систему из трех отмеченных выше составляющих:

© Роганов К. В., 2017

Роганов Кирилл Владимирович – консультант по вопросам архивного дела (Екатеринбург); kvroganov@yandex.ru

информационной, источниковой и бюрократической.

В зависимости от того, какая из составляющих в большей степени влияет на деятельность архива, предлагается выделять информационные, источниковые и бюрократические архивы.

Информационный архив предполагает открытый, свободный и удобный доступ к хранимой информации для всех заинтересованных лиц. Определяющим направлением деятельности становится использование архивных документов: подготовка публикаций, выставок, организация экскурсий, презентаций и прочих мероприятий, архив фокусируется на внедрении самых современных мультимедийных технологий. Информационный архив востребован обществом и существует для него.

Источниковый архив сосредотачивается на сохранении архивных документов. Работы по использованию архивных документов ведутся преимущественно сотрудниками архива. Заинтересованность общества в существовании такого архива и его деятельности ограничивается преимущественно кругом историков и краеведов. Можно сказать, что архив существует для архива.

Бюрократический архив ориентируется на выполнение запросов государственного или корпоративного механизма. Работы по использованию выполняются согласно идеологическим запросам, деятельность бюрократизирована и формализована. Доступ к большому

количеству документов или запрещен, или ограничен. При этом для механизма в целом архив выполняет вспомогательную техническую работу по сохранению и подбору необходимых документов, что предопределяет его второстепенное значение в соответствующей корпоративной или государственной структуре.

На заре своего существования архивы были преимущественно информационными. Люди были заинтересованы в получении и использовании информации о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, званиях и титулах и пр. Потребность в получении информации определила появление источниковой составляющей – для получения информации ее прежде необходимо сохранить. Роль бюрократической составляющей была минимальна: параллельно возникали и существовали различные центры создания и накопления документов, порядок их работы и структура особо не регламентировались.

Отечественные архивы советского периода можно определить как источниково-бюрократические. Они жестко встроены в систему, ориентированы на первоочередное удовлетворение интересов государственных и партийных органов. Архивное дело формализовано и регламентировано до мелочей. Бюрократическая составляющая подчиняет себе информационную и источниковую, что проявляется в партийном подходе к определению источников комплектования и отбору документов,

а также в использовании документов согласно принятым идеологическим установкам.

В настоящее время большинство российских архивов сохраняет сложившуюся в рамках советской системы источниково-бюрократическую конфигурацию, несмотря на многочисленные изменения архивного законодательства, структуры и подчиненности государственной архивной службы.

Вместе с тем благодаря стремительному развитию технологий информационное пространство в последние десятилетия становится значительно более широким и многообразным. Неизменно возрастает роль сети Интернет и электронных коммуникаций. В результате архивы утрачивают свое привилегированное положение монопольных хранителей информации и становятся одним из множества игроков на информационном поле. При этом они значительно проигрывают электронным ресурсам по удобству и оперативности поиска нужных сведений. В результате архивы постепенно вытесняются на периферию информационного пространства.

При этом архивы имеют огромный потенциал для того, чтобы стать драйверами развития информационного общества. В социальной среде постоянно возрастает интерес к поиску и сохранению личной истории, определению себя через свое прошлое. Интерпретация отдельных исторических событий становится поводом для ожесточенных дискуссий. В таких условиях

возможность архивов сохранить и предоставить объективные свидетельства тех или иных событий сложно переоценить.

Эффективная реализация указанного потенциала в современных условиях требует повышения роли информационной составляющей отечественных архивов. На практике это означает изменение подхода к организации работы архивов и управлению ими, а не просто поверхностное внедрение информационных технологий. Основные примеры возможных изменений будут рассмотрены ниже.

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ

Основным направлением деятельности информационного архива становится использование архивных документов с применением современных информационных технологий. Сайт из вспомогательного становится основным и неотъемлемым атрибутом архива.

Все документы архива (описи, дела, справочные материалы) переводятся в электронный вид и размещаются на сайте для открытого и свободного доступа всех заинтересованных лиц. При этом документы сканируются с распознаванием текста и размещаются в Сети как текст с гиперссылками, что позволяет обеспечить возможность сквозного полнотекстового поиска и перехода из текста документа к связанным материалам по всем фондам архива. Аналогичные принципы реализованы в таких широко известных ресурсах, как «Википедия»,

справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» и т.д.

Данный момент представляется принципиальным, поскольку в отечественной практике повсеместно распространена традиция сканирования и последующего размещения документов в электронных ресурсах как изображений без распознавания текста. Впоследствии такая коллекция изображений называется «электронным архивом». На такой «электронный архив» расходуются значительные средства, при этом он совершенно не функционален. Во-первых, формат изображения не предполагает наличия гиперссылок и возможности прямого перехода из текста одного документа к другому. Во-вторых, для изображений невозможен поиск по тексту, что затрудняет подбор документов по вопросу. В-третьих, документы зачастую сканируются в высоком разрешении, что означает большой размер файла и требует от архива постоянно расширять серверные мощности, а от пользователя – высокую скорость интернет-соединения и мощный компьютер. На практике архивом и пользователем эти требования часто не выполняются, в результате чего работа с такими «электронными архивами» становится весьма затруднительной.

Несколько слов стоит сказать о понятии «электронный документ». Данный термин определяется действующим законодательством как «документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислитель-

ных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах».

При этом, как автор неоднократно убеждался на практике, в отечественном архивном деле за электронный документ традиционно принимается носитель информации (обычно DVD или CD-диск) с записанным на него собственно электронным документом. Соответственно, при передаче в архив электронных документов речь идет о передаче дисков, которые потом хранятся в специальном шкафу.

Такая система не имеет ничего общего ни с электронными документами, ни с электронными архивами. Искажается весь смысл понятия «электронный архив», суть которого в отсутствии материального носителя.

Автору представляется логичным под электронным архивом понимать сервер, выполняющий роль архивохранилища для не имеющих материального носителя электронных документов, доступных заинтересованным пользователям через сайт архива из любой точки земного шара в любое время.

Главный аргумент, выдвигаемый противниками такой позиции, заключается в том, что отсутствие материального носителя не позволит обеспечить сохранность документов должным образом. Вместе с тем этот вопрос уже давно решен в крупных IT-компаниях. Архивистам давно стоит обратиться к их опыту создания центров обработки данных и не изобретать велосипед.

Необходимые материальные ресурсы на создание центров обработки данных можно высвободить за счет радикального сокращения площадей архивных полок и обслуживающего традиционные хранилища персонала, переведя большую часть документов, за исключением особо ценных и уникальных, в электронный вид. Бумажные же оригиналы при этом предлагается уничтожить. Такой проект успешно реализован в Финляндии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Помимо создания электронного архива в предложенном виде, повышение роли информационной составляющей предполагает, что архив будет активно следовать всем текущим трендам развития информационного общества.

В частности, предлагается активное ведение архивами страниц во всех популярных социальных сетях. К примеру, можно публиковать каждый день «документ дня» в Инстаграме, размещать цитаты из документов в Твиттере, выкладывать интервью с интересными фондообразователями архива на Ютубе и пр. В настоящий момент если страницы у архивных учреждений в социальных сетях и есть, то они содержат в основном скучную информацию официального характера и редко обновляются.

Кроме того, перспективной и интересной представляется тема сохранения в архивах материалов социальных сетей. Хотя бы в отно-

шении своих фондообразователей. Насколько автору известно, в отечественных архивах такая работа не ведется.

Стоит отметить, что такие «братья и сестры» архивов, как музеи и библиотеки, по мнению автора, смогли измениться адекватно требованиям времени и предложить обществу востребованный и интересный продукт. Во многих музеях появляются интерактивные экспонаты. Кроме того, примерами могут служить такие проекты, как «Ночь музеев», «Ночь библиотек», «Уральская индустриальная биеннале современного искусства», организуемые многими музеями квесты, фестивали и прочие мероприятия, нацеленные на пропаганду сохраняемого соответствующими учреждениями культурного наследия среди максимального количества людей разных социальных и возрастных групп.

Учет архивных документов, включая документы на бумажных носителях, представляется логичным вести в электронном виде. Основой для электронного учета бумажных дел могут стать штрих-коды, которые предлагается присваивать каждой единице учета, как это реализовано во многих библиотеках. Таким образом, можно автоматизировать очень громоздкую систему учета архивных документов, предполагающую заполнение массы всевозможных бумажных форм, по содержанию часто повторяющих друг друга.

Архивы могут и должны активно взаимодействовать с современными интернет-ресурсами. В частности, вести работу по дополнению

материалов в Википедии ссылками на реальные исторические документы, исправлять ошибки. К примеру, в штате Национального управления архивов и документации США присутствует человек, занимающийся исключительно написанием и редактированием статей для Википедии.

Одним из главных следствий внедрения информационных технологий в архивное дело является повышение доступности архивной информации и документов для широкого круга заинтересованных лиц. При этом для отечественных архивов очень распространена практика ограничения доступа к тем или иным материалам. Зачастую она не имеет четкой нормативной основы и базируется на определенных неофициальных или полуофициальных установках. Широкое внедрение информационных технологий (электронный архив, полнотекстовый поиск и пр.) представляет прямую угрозу этой практике, поскольку вынуждает или полностью отказаться от нее, открыв все документы, нормативные основы для ограничения доступа к которым отсутствуют, или выставляет ее на показ, превращая архив в объект справедливой критики и судебных разбирательств о предоставлении доступа к документам.

Кроме того, в отечественных архивах исторически сосредоточено значительное количество секретных документов, режим хранения которых определяется действующим законодательством. Для многих из них давно истекли установленные сроки ограничения доступа,

при этом в открытое пользование они не попадают. Работа по рассекречиванию ведется в инициативном порядке.

Такая практика серьезно затрудняет повышение роли информационной составляющей архивов. Зачастую на все документы и всю деятельность архива, в том числе никак не связанную с обработкой секретных сведений, по инерции распространяются сложившиеся требования определенной закрытости и обособленности от общедоступного информационного пространства.

Для решения этой проблемы представляется возможным двигаться параллельно по двум направлениям. С одной стороны, предлагается заменить практику инициативного рассекречивания документов специальной комиссией практикой открытия архивов, когда документы по истечении установленного срока секретного хранения автоматически помещаются хранящими их архивами в открытый доступ. Указанную практику предлагается дополнить возможностью сохранения режима секретности или рассекречивания отдельных документов в инициативном порядке по установленным правилам.

С другой стороны, предлагается прекратить передачу на хранение в государственные архивы секретных документов и документов с ограниченным доступом. Предусмотренный законодательством механизм депозитарного хранения вполне позволяет сохранять такие документы в соответствующих ведомственных архивах. К такому

решению подталкивает и сложившаяся в советский период практика концентрации значительных масс документов по самым разным вопросам в архивах органов госбезопасности. Автором она никак не может быть оценена положительно, вместе с тем говорить в настоящий момент об открытии архивов органов госбезопасности представляется наивным. Куда более реалистичным кажется работать над открытием остающихся секретными фондов государственных архивов, сроки засекречивания которых истекли, параллельно сосредотачивая вновь создаваемые документы с ограниченным доступом в ведомственных архивах на депозитарном хранении.

Иными словами, предлагается постепенно отказаться от практики хранения секретных документов в государственных архивах, которые предлагается сделать публичными информационными и научными центрами.

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Реализация концепции «архив – публичный информационный центр» означает ряд изменений в системе управления архивами и организации архивной работы. В качестве основного вектора можно выделить упрощение организационной структуры и сокращение промежуточных бюрократических звеньев. Далее указанный вопрос будет рассматриваться преимущественно на примере организации архивного дела в субъектах федерации. Вместе с тем предлагаемые

тезисы по своей сути справедливы и для иных уровней организации архивного дела.

С момента формирования в своем современном виде в рамках советской системы, функции и задачи архивов не претерпели особых изменений, чего нельзя сказать о системе управления ими.

К примеру, на момент распада советской системы в архивном отделе одного облисполкома работали четыре человека. В настоящий момент в управлении архивами данного субъекта Российской Федерации трудится порядка тридцати человек, что примерно равняется числу работников одного областного архива. При этом в ведении архивного отдела облисполкома помимо существующих до настоящего момента государственных архивов находились и местные архивы, которые сейчас относятся к муниципалитетам. Схожая ситуация складывается и во многих других регионах.

Всего областных архивов в данном регионе шесть. В каждом есть директор, в среднем по четыре заместителя директора, по пять начальников отделов, подразделения документационного, хозяйственного и кадрового обеспечения. У управления архивами, а также у каждого из архивов есть собственный сайт, на поддержание которого требуются ресурсы.

Между архивами постоянно идет конкуренция за особо привлекательных фондообразователей, финансовые и человеческие ресурсы.

В результате и без того скудные ресурсы, выделяемые на архивное дело, распыляются, большая их часть расходуется на содержание аппарата управления. Для подтверждения этого факта достаточно посмотреть на кратные разницы в зарплате между рядовыми архивистами и управленцами.

Кроме того, вся нормативная и методическая база архивного дела разрабатывается на федеральном уровне ВНИИДАДом и Росархивом. В результате региональные разработки не могут принести ничего содержательно нового. Таким образом, им остается только копировать положения федеральных документов или делать акцент на разработке формально-бюрократических аспектов, вводя в практику работы дополнительные формы, процедуры согласований и прочие подобные моменты.

При этом, если задуматься, все архивы имеют одинаковые функции по комплектованию, обеспечению сохранности, учету и использованию архивных документов, для выполнения которых совершают один и тот же набор стандартных, давно формализованных и весьма простых по своей сути действий. Оперативный компонент в деятельности архивов сведен к минимуму — им не нужно реагировать на изменения курса валют, закупочных цен, спроса и предложения. У архивных документов впереди вечность.

Таким образом, отсутствует какая бы то ни было реальная необходимость в столь громоздком и сложном аппарате управления — в рутин-

ной деятельности архивов не возникает такого количества проблем, чтобы для их решения требовалось столько руководителей. Равно как и нет реальных оснований для существования шести областных архивов в качестве самостоятельных структурных единиц с собственным аппаратом управления.

Сложившаяся ситуация ведет к тому, что имеющийся руководящий аппарат для оправдания своего существования максимально усложняет реализацию производственных архивных процессов. Создаются сложные системы планирования и отчетности со множеством расчетных показателей, устанавливаются неоправданно длинные цепочки согласований, ответственность распыляется, принятие решений волокитится.

В результате вся деятельность архива вместо достижения реальных и легко исчисляемых результатов в виде количества привлеченных фондообразователей, проведенных выставок, подготовленных публикаций и т.д. подчиняется удовлетворению запросов архивной бюрократии по оправданию собственного существования. Стимул достигать реальных результатов отсутствует. Кроме того, зачастую достижение реальных результатов прямо противоречит интересам бюрократического аппарата. К примеру, при условии преждевременного выполнения плана по привлечению новых фондообразователей, дальнейшая работа в этом направлении до конца планового периода в архиве не поощряется, поскольку ведет к расхождению плановых и отчетных показателей.

Помимо трудностей для практической архивной работы, организационная сложность создает массу неудобств для граждан, заинтересованных в услугах архивов. В частности, много затруднений вызывает определение, в какой из областных архивов нужно обращаться для поиска тех или иных документов. Обращения граждан постоянно пересылаются из архива в архив, что ведет к удлинению сроков их рассмотрения.

Как уже отмечалось ранее, в отношении структуры и управления повышение роли информационной составляющей в сущности архива означает упрощение.

На практике это может быть реализовано путем создания Объединенного областного архива в ведении правительства региона или регионального министерства культуры путем соединения управления архивами и всех имеющихся архивов на правах архивохранилищ в единую неделимую организационную структуру.

В результате у нового Объединенного архива будет один директор, четыре заместителя по установленным направлениям деятельности архива (комплектование, обеспечение сохранности, учет и использование архивных документов), единый отдел комплектования с одним начальником, единая кадровая служба с одним начальником, единое подразделение хозяйственного обеспечения с одним начальником и т.д.

Таким образом, будет ликвидирована основа постоянного увеличения бюрократической нагрузки на архи-

вистов, а высвобожденные от сокращения ликвидированных управленческих и административных ставок средства возможно будет направить на улучшение материальной базы, внедрение информационных технологий и повышение зарплат сотрудникам.

Кроме того, в организационном смысле увеличение роли информационной составляющей должно означать предоставление архиву со стороны государства широкой организационной и финансовой автономии. Без предоставления таковой действия по переориентации на первоочередное удовлетворение потребностей общества по использованию архивных документов представляются для архива лишены практического смысла.

В качестве конечной точки указанных организационных преобразований может рассматриваться реорганизация государственного архива в некоммерческую организацию с привлечением заинтересованных частных инвесторов. Примером может служить опыт создания «Ельцин-центра» в городе Екатеринбурге.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Основные черты современного российского архивного законодательства и методической базы были сформированы и развивались исходя из традиционного существования отечественных архивов как бюрократических.

Главным трендом в таком случае является наращивание формализации

и регламентации всех производственных архивных процессов.

В результате каждому простому действию, связанному с выполнением архивом своих функций по комплектованию, обеспечению сохранности и использованию архивных документов, сопутствует масса обязательных для заполнения отчетных форм, содержание которых часто дублируется.

Особенно легко убедиться в справедливости данного утверждения на примере учета архивных документов, когда одна и та же единица хранения многократно учитывается в разных журналах и формах: в архивохранилище, у главного хранителя и т.д. Заполнение и выверка этих форм составляют значительную часть рабочего времени многих специалистов, ответственных за учет и обеспечение сохранности документов.

Автор прекрасно понимает, что смысл такого подхода заключается в минимизации влияния человеческого фактора и риска потери ценных документов. Вместе с тем, с учетом современного развития информационных технологий, такой способ решения проблемы представляется архаичным и легко может быть заменен электронной системой учета.

Любое действие с архивными документами, будь то их прием в архив, проверка наличия и сохранности, предоставление в читальный зал, требует заполнения массы документов, проставления отметок в тех или иных установленных формах.

В результате действие считается успешно совершенным не по факту своего совершения на практике, а по факту оформления соответствующей документации.

Для примера, чтобы принять документы от физического лица, требуется получить от него заявление о приеме документов, подписать с ним договор, каждый раз оформлять акт приема-передачи документов. Каждый из этих документов, помимо подписания, требует ряда согласований и утверждения, некоторые требуют представления на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии.

Принятые документы могут обрабатываться и быть поставлены на государственный учет только при наличии подписанного и утвержденного акта приема-передачи документов. При этом в акте необходимо указывать номер фонда, количество документов и прочие данные, которые можно узнать только после обработки документов.

Кроме того, своевременному оформлению всего массива документации часто мешает необходимость выполнения плановых показателей в том или ином периоде. К примеру, если к моменту нахождения потенциального фондообразователя, готового к передаче документов, плановые показатели на соответствующий период уже выполнены или же запланирован прием документов у иных фондообразователей, зачастую фондообразователю предлагается обратиться в архив в следующем отчетном периоде или же документы принимаются без своевременного

оформления необходимой документации.

На практике часто документы передаются или при ликвидации организаций, или дальними родственниками или коллегами фондообразователей, к которым случайно после смерти соответствующего лица попадает архив. Часто фондообразователь — физическое лицо уезжает в другой город. Таким образом, подчас спустя определенное время поиск владельца документов для подписания акта и прочей документации или не представляется возможным, или требует неоправданных временных затрат.

В итоге часто получается парадоксальная ситуация, когда на практике документы приняты в архив, но толка в этом никакого нет: они не могут быть обработаны и представлены пользователям, поскольку их прием не был оформлен должным образом.

Одним из краеугольных камней нормативной базы в сфере архивного дела являются перечни типовых архивных документов с указанием сроков их хранения.

Теорией архивного дела в зависимости от специфики рассматриваемых документов предусматриваются и допускаются различные принципы систематизации и группировки документов в дела: тематический, хронологический, номинальный, алфавитный, корреспондентский и многие другие.

При этом в основе всех перечней лежит номинальный принцип груп-

пировки документов. Предлагается формировать дела и определять сроки их хранения исходя в первую очередь из вида документа.

В результате на практике это ведет к тому, что разные документы по одному и тому же вопросу сосредотачиваются в разных делах и зачастую имеют разные сроки хранения.

Возьмем для примера некий государственный орган, взаимодействующий с коммерческими организациями и проверяющий их на предмет соответствия законодательству в той или иной сфере.

В результате проверки организации государственным органом формируется целый ряд различных документов: переписка, приказы о проведении проверки, акты о результатах, протоколы разногласий, значительный массив истребованных в ходе проверки документов и многие иные материалы. Согласно типовым перечням все эти документы распределяются по разным делам: приказы о проведении проверки отдельно, акты отдельно, переписка отдельно, истребованные материалы отдельно и так далее. Часто эти документы накапливаются в разных отделах: приказы в приемной руководителя, переписка в канцелярии, докладные записки и предоставленные организацией при проверке материалы у исполнителей в соответствующем отделе.

Через год или несколько государственному органу требуется представить в суд или прокуратуру документы о проверке той или иной коммерческой организации. При

этом запрашивается не отдельный вид документов, как то приказы, переписка, акты и так далее, а все имеющиеся материалы и документы по вопросу, что позволяет оценить действия государственного органа. В результате государственному органу необходимые документы приходится искать по различным делам и подразделениям, зачастую в суматохе какие-то документы не удастся обнаружить. Затрачивается масса времени и сил, при этом отнюдь не всегда удается достичь желаемого результата.

Спустя определенное время документы государственного органа попадают на хранение в государственный архив, и с той же проблемой сталкивается пришедший в архив исследователь. Можно допустить, что его интересует история делопроизводства и он хочет изучать оформление приказов или актов в государственном органе. Тогда у него не будет проблем, он закажет дело, озаглавленное «Акты проверок за такой-то период», и получит желаемое. Но скорее всего, его интересует какая-то тема, связанная с определенными аспектами деятельности данного государственного органа. В этом случае для оценки и интерпретации исследователю будут интересны все виды документов по соответствующему вопросу. Для их поиска ему придется изучать массу дел с соответствующими видами документов за интересующий его период, каждый раз в поисках фактически одного или нескольких документов по его вопросу.

Всех вышеописанных проблем можно было бы легко избежать, если из-

начально формировать дела не по номинальному, а по тематическому принципу. Для этого необходимо помещать в одно дело все документы (приказы, акты, протоколы, переписка и т.д.) по тому или иному вопросу, в нашем примере – о проверке организации.

Такой принцип группировки предусматривается теорией архивного дела, но на практике очень редко реализуется, поскольку противоречит логике построения типовых перечней, предлагающих группировать отдельно документы разных видов.

Кроме того, согласно логике перечней и традициям отечественного архивного дела, внутренняя и внешняя переписка зачастую относится к документам кратковременного срока хранения, считается малоценной и на государственное хранение не передается.

При этом, как автор имел возможность неоднократно убедиться на практике, зачастую именно в переписке, докладных и служебных записках содержится бесценная информация о скрытых мотивах и особенностях действия организации, отдельных должностных лиц, которая представляет для исследователя огромный интерес. Акты, приказы, протоколы и прочие официальные распорядительные документы, традиционно считающиеся с точки зрения архивного дела наиболее ценными и подлежащими первоочередному сохранению, содержат выхолощенную официальную информацию, порой весьма далекую от реального положения дел.

В результате типовые перечни, призванные способствовать удобной группировке документов в дела и сохранению для истории наиболее ценных документов, на практике часто играют противоположную роль.

Этому способствует также их слишком детализированный и объемный характер, претендующий на учет и перечисление всех возможных документов всех возможных организаций. Вместе с тем в современных условиях постоянных изменений социально-экономической среды достижение данной цели представляется утопией. Попытка ее реализации ведет лишь к наращиванию объемов формально-бюрократической работы, неоправданному усложнению и дроблению структуры документального массива организаций.

Рассмотренные выше видовой группировка документов, пренебрежительное отношение к переписке как виду документов, чрезмерно детализированный и объемный характер типовых перечней прямо противоречат логике перехода к информационному архиву.

Сообразно логике информационного архива статьи перечня предлагается строить по шаблону «Документы по такому-то вопросу», вместо принятого сейчас шаблона «Документы такого-то вида». В результате, с одной стороны, будет обеспечено накопление всех видов документов по тому или иному вопросу (приказы, протоколы, акты, переписка и т.д.) в одном деле, с другой — сокращение объема пе-

речня и повышение его функциональности.

К примеру, допустим, что для рассмотренного выше государственного органа проверки коммерческих организаций являются одним из основных направлений деятельности, закрепленных в уставных документах. Соответственно, для него дела вида «Документы проверки организации такой-то» (в том числе переписка с организацией, докладные записки и т.д.) подлежат постоянному хранению. В то же время, к примеру, этот государственный орган не специализируется на защите прав граждан или контроле других прав граждан государственных органов. Тогда для него дела вида «Документы по рассмотрению обращений граждан», «Документы взаимодействия с государственным органом таким-то» (в том числе приказы, протоколы и прочие подобные документы, если они возникали) будут храниться временно.

Иными словами, предлагается устанавливать срок хранения документов в перечне исходя из важности для соответствующей организации тематики документов, а не их вида.

В контексте разговора о принципах формирования и определения сроков хранения дел уместным представляется остановиться на деятельности экспертно-проверочных комиссий, поскольку данные вопросы относятся в первую очередь к их прерогативе.

В практике отечественного архивного дела основным занятием экспертно-проверочных комиссий

при органах управления архивным делом в субъектах Российской Федерации является рассмотрение и утверждение описей дел постоянного срока хранения. Часто к ним добавляются и сдаточные описи принимаемых в архив документов.

При этом, чтобы опись была утверждена на экспертно-проверочной комиссии, она предварительно рассматривается экспертом. В целях объективности эксперт зачастую представляет иное архивное учреждение. Таким образом, он чаще всего не имеет доступа к включенным в опись документам. На заседание экспертно-проверочной комиссии сами документы также не предоставляются по вполне объективной причине: включенные в ту или иную опись документы могут занимать весьма большой объем, и их транспортировка на заседание и обратно весьма проблематична.

В итоге решение по описи принимается людьми, которые не видели и не держали в руках сами документы.

При вдумчивом осмыслении такая практика представляется верхом бюрократического формализма, не имеющим никакого практического смысла и, более того, весьма опасным.

Опасность в данном случае заключается в том, что такой подход подталкивает архивистов к штамповке типовых шаблонных описей, которые не вызывают никаких вопросов у членов экспертно-проверочной комиссии, вместо добросовестного

и скрупулезного разбора документов с учетом их специфики в каждом отдельно взятом случае.

При этом даже самый ответственный эксперт, не видя документы, никак не может оценить, насколько качественно составлена опись с точки зрения ее соответствия реальному составу документов в отдельно взятом случае. Выполнена ли работа добросовестно, или успех состряпана очередная проходная поделка.

Эксперту остается только оценивать опись по формальным критериям, не имеющим никакого практического значения для последующей работы с данной описью и включенными в нее документами. В результате создается дополнительная бюрократическая процедура, оттягивающая как у архивистов, так и у экспертов массу времени и не имеющая никакого практического смысла.

Как уже отмечалось ранее, наличие таких процедур логично для бюрократического архива, но не совместимо с архивом информационным.

Переход к информационному архиву означает сокращение нормативной регламентации как таковой, предоставление архивистам, архивам и фондообразователям широких возможностей для самостоятельного определения механизма и порядка реализации возложенных на них задач в сфере архивного дела.

В качестве одного из вариантов достижения заявленной цели может

рассматриваться внедрение в деятельность архивов принципов управления документацией, преду-

смотренных системой менеджмента качества и зафиксированных в стандартах ИСО.

ON THE INFORMATION SUBSTANCE OF THE ARCHIVES

Roganov Kirill V. – consultant on archival matters (Yekaterinburg)

Key words: Archives, archive work, records management, russian archives.

The author analyzes problems and prospects related to the development of Russian archives and archival industry as the subjects of the information society. There are three constant components of the archive as a public institution – informational, storing and bureaucratic. The informational component is highlighted as the most important for the modern archive functioning.

«ТЕХ, КТО ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ СТАЛИНА, ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЛ БЫ СВОИМ ДЕТЯМ ЖИТЬ ПРИ СТАЛИНЕ».

Интервью с О. В. Хлевнюком

Беседовал С. Эрлих

С.Э. Почему Вы решили стать историком, где Вы учились, кто были Ваши учителя?

О.Х. Достаточно сложно сказать, почему я решил стать историком. Просто как-то увлекался историей, много читал художественную литературу на исторические темы, всегда прочитывал на каникулах учебники по истории, которые предстояло изучать, в то время было много книг для чтения по истории — я это все очень любил. Поэтому я определенно решил, что после завершения школы пойду на истфак. Вопрос был в том, на какой истфак. Так получилось, что по семейным обстоятельствам я в то время,

когда нужно было поступать, жил на Украине, в Виннице. Я решил не усложнять ситуацию и поступать в местный педагогический институт, он тогда бурно развивался. Там был энергичный ректор, он пригласил много хороших историков из разных украинских университетов, и, в общем, я туда и поступил и отучился там без особых проблем и с большим удовольствием. У меня были хорошие учителя, прежде всего профессор Илья Гаврилович Шульга. Его пригласили в то время из Ужгорода в Винницу, дали кафедру. Это был университетский профессор, очень преданный науке, с большим жизненным опытом. В детстве пережил голод 1932–1933 годов на востоке Украины, откуда он был родом. Кое-что рассказывал об этом даже в те «застойные годы». На меня он оказал большое

влияние. Я много работал под его руководством, занимался в студенческом научном обществе, писал первые работы, какие-то дипломы на научных конкурсах получил. Занимался я тогда концом XVIII — первой половиной XIX века, очень этим интересовался, много работал в архивах. Илья Гаврилович поощрял студентов к работе в архивах, я работал и в Киеве, и в Ленинграде, и в местных архивах. С тех пор и сформировалась привычка к архивной работе.

В общем, когда я окончил институт, то решил продолжать учебу в аспирантуре. На этот раз решил уехать в Москву, в Институт истории СССР АН СССР, сейчас это Институт российской истории РАН. Был существенный конкурс, правда, но я поступил в аспирантуру. Однако мне пришлось, к тогдашнему моему сожалению, поменять специализацию. В силу определенных причин мне пришлось поменять тематику с XIX на XX век, советский период. Честно говоря, первоначально я расстроился, потому что у нас в то время отношение к истории советского периода было, мягко говоря, неодобрительным, мы считали — и правильно считали, — что она слишком политизирована. Заниматься историей XVIII–XIX веков было интересней, да и архивы были открыты. Но в конечном счете я ни о чем не пожалел, потому что сначала я попал в очень хороший коллектив — это был сектор истории советской культуры. Он был наименее политизированным из всех секторов советского периода, возглавлял его тогда Максим Павлович Ким, академик, человек очень достойный, доб-

рожелательный ко всем, включая аспирантов. Потом его возглавил Юрий Степанович Борисов. Там работали такие ученые, как мой научный руководитель Виталий Семенович Лельчук, Альберт Павлович Ненароков, Владимир Дмитриевич Есаков, Людмила Васильевна Иванова, Сергей Алексеевич Федюкин. Я подружился с Владимиром Александровичем Козловым, тогда молодым ученым, теперь автором известных исследований. Мы много лет сотрудничали с ним. В общем, в секторе была прекрасная обстановка, очень доброжелательная, творческая, и я считаю, что в этом смысле мне очень повезло.

Когда я завершил учебу в аспирантуре, наступили уже новые времена, началась перестройка, потом открылись архивы, и, как оказалось, советским периодом стало заниматься не только свободней, но и интересней, потому что появилось гораздо больше новых архивных документов, чем по другим периодам. Там-то они изучались давно, постепенно вводились в оборот, а здесь все появилось впервые, все было такое новое, необычное. Перестройка развивалась, у партийного начальства возникла идея, что надо омолаживать кадровый состав партийных учреждений, и меня пригласили (нужно сказать, неожиданно для меня самого) работать в журнал «Коммунист». Я согласился — тоже немного неожиданно для себя. Коллебался я, потому что это резкий был поворот — из науки в журналистику, хотя у меня была должность «научный консультант». Но я тоже не пожалел, так как и там был прекрасный коллектив, в который в то

время пришло много людей из Академии наук. Достаточно сказать, что мы работали вместе с Егором Гайдаром (я в отделе истории, а он в отделе экономики), с Отто Рудольфовичем Лацисом, с Игорем Александровичем Дедковым, выдающимся нашим литературным критиком, он пришел как политический обозреватель, писал на темы культуры.

Все было по-новому. Впервые печатались тексты Бухарина, Троцкого, появлялись статьи на основании архивных документов. Это тоже был очень важный опыт, потому что все, кто занимается журнальной работой, знают, что редактирование чужих текстов очень способствует развитию собственных писательских навыков. Я очень многое получил от этой работы. Работая в редакции, я хорошо познакомился со многими нашими историками, потому что почти все они были так или иначе авторами журнала «Коммунист» перестроечного периода. Можно назвать Виктора Петровича Данилова, Авенира Павловича Корелина, Станислава Васильевича Тютюкина, Валентина Валентиновича Шелохаева, Валерия Васильевича Журавлева, нынешнего директора Института российской истории — Юрия Александровича Петрова. Всех трудно перечислить. В общем, это был важный опыт и научного, и литературного развития, и человеческих отношений — я наблюдал за людьми, видел, как они работают, и это было очень интересно.

Потом, когда мой журналистский этап закончился, в середине девяностых годов...

С.Э. А журнал все еще существовал к тому времени?

О.Х. Он и до сих пор существует, только он называется теперь «Свободная мысль». Много изменилось, кадры поменялись. Я в нем проработал до середины девяностых годов. Одновременно я занимался большим количеством разного рода проектов, чисто научных. В конце концов мне сделали предложение мои бывшие коллеги по Институту истории, позвав меня на работу в Государственный архив Российской Федерации для участия в нескольких больших проектах. Я как раз тогда защитил докторскую диссертацию. И с 1997 года до недавнего времени я проработал в ГАРФе и сейчас с ним сотрудничаю. Потом так получилось, что я стал преподавать в Московском государственном университете на истфаке. А позднее меня позвали в Высшую школу экономики, в Международный центр истории и социологии Второй мировой войны. Я работаю там, преподаю как профессор Школы исторических наук Гуманитарного факультета. Должен сказать, что и тут мне очень сильно повезло: у нас отличный коллектив, творческий, доброжелательный, у меня хорошие студенты и в МГУ, и в Высшей школе экономики, есть способные аспиранты. Все эти годы я, естественно, много писал, занимался публикационной работой, издавал статьи, монографии, множество сборников документов. Такой вот творческий путь, оказалось, можно его очень коротко описать.

С.Э. Вы начали писать диссертацию еще до 1985 года?

О. Х. Кандидатскую я закончил как раз в 1985-м, но защитился только в начале 1987 года. А докторскую я писал уже в 1990-е годы. Я очень заинтересовался проблемами деятельности Политбюро, принятием решений в Политбюро, а в это время как раз открылись многие архивы Политбюро, появилось очень много личных фондов — и на основании этого я написал книгу «Политбюро: механизмы политической власти в 1930-е годы». Ее очень неплохо приняли коллеги, и мне предложили на эту тему защитить докторскую диссертацию. В общем, докторскую я защищал в максимально благоприятных условиях открытости архивов и отсутствия цензуры, а кандидатскую не так...

С. Э. Вы писали кандидатскую еще до прихода Горбачева. Мне интересно: каким образом вы понимали, о чем можно писать, о чем нельзя, как проходило «самоцензурирование». То есть как шла работа над историей советского периода в советское время?

О. Х. Ну, мы все понимали, что можно писать, чего нельзя. Нынешние разговоры о том, как там все было хорошо — это совершеннейшая неправда, я прекрасно помню, как это было. Существовала жесткая политическая цензура. Конечно, в Институте истории СССР, именно в Москве, она ощущалась не в такой степени (мне было с чем сравнивать, ведь я заканчивал провинциальный вуз). Говорили обо всем достаточно открыто, все понимали, где мы говорим правду, где просто умалчиваем. Откровенного вранья не было по той простой причине,

что сектор у нас был не слишком сильно политизирован — все-таки мы занимались историей культуры, образования. Конечно, знали мы гораздо больше, чем могли написать, но не нужно было откровенно придумывать, как, например, по отношению к событиям Октябрьской революции. Просто можно было о чем-то не написать. Тема у меня была тоже достаточно нейтральная — культурный уровень городских рабочих в СССР в конце 1920-х — 1930-е годы. Эта работа была в значительной степени построена на сравнении двух переписей, 1926 и 1939 года — развитие городов, городского рабочего класса, изменение численности населения городов, уровня грамотности... Большое место было посвящено новым горожанам, людям, которые во время индустриализации приходили в города. Это бывшие крестьяне, которые приносили в города часть своей культуры, которая смешивалась с городской культурой. Это тоже был один из предметов моей диссертации.

В целом были некоторые возможности написать «объективистскую» работу без особых искажений. Хотя определенная идеологическая риторика и цитирование «классиков», конечно, были необходимой частью всех работ. Однако самое неприятное заключалось в том, что полноценно работать в архивах было невозможно. Они были закрыты. Нужно было бы посмотреть демографическую статистику, цифры о бюджетах, сводки настроений — но тогда об этом даже думать было невозможно. Единственное, с чем я мог реально работать — это

с профсоюзными фондами, материалами местных партийных комитетов, где рассматривались какие-то несекретные вопросы культурного развития и т.д. Это было полезно, но, конечно, слишком мало. Поэтому главным источником и для меня, и для других в то время была периодика. Журналы, очень много газет. Особенно для меня были полезны молодежные газеты типа «Комсомольской правды», т.к. там очень часто обсуждались проблемы быта, образа жизни, проведения досуга — из этого какую-то информацию удавалось извлечь, это был самый важный источник. Несмотря на цензуру и архивные ограничения, это был определенный опыт. Сейчас есть другой перегиб: все идут в архивы и не работают всерьез с периодикой, что, с моей точки зрения, тоже неправильно. Это очень важные самостоятельные источники. Часто в архивах не найдешь ту информацию, которая есть в газетах.

В целом, оглядываясь в то время, я бы сказал так: несмотря на то, что по советским меркам у меня все благополучно складывалось, я защитил диссертацию, но я ни минуты не пожалел, когда вся эта система цензуры и мелочных придинок рухнула. Я думаю, именно историки и вообще люди гуманитарных профессий в наибольшей степени чувствовали унижительность своего положения (конечно, те, кто хотел по-настоящему работать и заниматься наукой, а не воспроизводить какие-то штампы, получать хорошие деньги за прославление стоящих у руля лидеров коммунистической партии). Поэтому, когда все это ослабло в годы перестройки, а потом исчезло,

когда коммунистическую партию отстранили от власти и открылись архивы, то, думаю, среди людей моей профессии немногие пожалели о том, что не стало цензуры.

С.Э. А если вы находили в архиве что-то такое, что, как вы понимаете, не удастся опубликовать, вы между собой это обсуждали, или это было опасно?

О.Х. Мы ничего такого не находили в архивах, потому что прежде чем нам дать какие-то дела, их специальные люди просматривали. Я помню свои тетради, превращенные, так сказать, в вермишель — система была очень тщательная, нужно было завести определенную тетрадь, потом ее просматривал сотрудник архива и совершенно безобидные вещи (а других-то мы и не получали!) очень часто вырезались. Но в целом в общении в своем коллективе мы говорили открыто, откровенно. На наших заседаниях никто не говорил на птичьем языке, говорили: «Этого расстреляли, это было так-то». По крайней мере в нашем секторе было крайне негативное отношение к Сталину. К Ленину относились по-разному, но что касается Сталина — здесь было однозначно негативное отношение. Этого никто не скрывал, об этом говорили совершенно открыто, и никто не боялся. Именно в аспирантуре я прочитал Солженицына, получив от одной из наших сотрудниц в виде фотокопий «Архипелаг ГУЛАГ», Лидию Чуковскую, Роберта Конквекста о Большом терроре и так далее. Все это читалось. Об этом не нужно было говорить вне своего круга или читать в метро (*смеется*) —

это просто было категорически запрещено, за это просто... вряд ли бы посадили, тогда уже не сажали, но «профилактировали», как это называлось. У нас в секторе, кстати, были люди, которых «профилактировали», вызывали на Лубянку и грозили им пальцем. Мы знали коллег, которые подверглись такому запугиванию. Им перекрывали кислород до определенной степени, но все-таки они могли работать. Если бы обо мне кто-то узнал — ну, наверное, было бы отчисление из аспирантуры, но ничего подобного не случилось.

С.Э. То есть была такая договоренность, что между собой вы можете говорить, а дальше — нельзя?

О.Х. Я бы не назвал это договоренностью, это просто была естественная жизнь. Мы говорили то, что считали нужным, в своем кругу и не стеснялись друг друга. Иногда даже трудно как-то передать это ощущение: мы прекрасно понимали, что плохо, что цензура, что это все марш — но сказать, что мы были совсем запуганными, нельзя. Но мы, конечно, понимали, что можно обсуждать, где и с кем — это тоже очень важно.

С.Э. Я спрашиваю, потому что молодые историки не совсем понимают, «как это было на самом деле» в Советском Союзе...

О.Х. Да. Конечно, это было государство, подавлявшее творчество и свободу выражения мысли, но все-таки существовало уже определенное профессиональное сооб-

щество — особенно в московских научных кругах. Если бы кто-нибудь начал в этой среде нам рассказывать, что не было сталинских репрессий (как сейчас делают некоторые из моих коллег, имеющих ученые степени), то с этим человеком никто, думаю, всерьез не стал бы разговаривать и общаться. Такие люди тоже были, но мы считали их, так скажем, непорядочными. Мы понимали, что правду они знают, но говорят это, потому что это выгодно говорить.

С.Э. Вы сейчас работаете в центре истории Второй мировой войны. Есть какие-то вопросы, которые для многих остаются загадочными. Трудно понять, когда началась война, Советский Союз имел большое преимущество в военной технике, но при этом шло отступление, бросали всю эту технику. И вдруг все это изменилось — стали сопротивляться, стали защищаться и потом наступать. Почему вначале был такой провал и почему потом удалось создать боевой настрой?

О.Х. На эту тему сейчас есть определенные работы, рассуждения, если собрать их вместе, то можно получить определенную картину. Речь идет о том, что страна была не подготовлена к войне по разным причинам: и из-за того, что высшее руководство допустило многочисленные ошибки, и потому, что армия была еще неопытная и ее только перед войной лихорадочно создавали, она в несколько раз увеличилась, но численность не подразумевает улучшения качества. Были проблемы, вызванные репрессиями. Есть,

конечно, сейчас такая точка зрения, мол, не так уж много было репрессированных командиров — да, относительно общей численности, конечно, немного. Но надо понимать, что репрессии — это не просто аресты конкретных людей, это еще и создание определенной обстановки в армии, создание определенных настроений у тех, кто не был арестован. Это играло важную отрицательную роль, это не подлежит сомнению.

Конечно, было построено очень много танков, самолетов, другой техники. Но техника без человека мертва. В начале войны страна переживала такую же ситуацию, как в начале индустриализации, когда закупили огромное количество станков, но освоить их удалось далеко не сразу. Идеи о том, что главное — иметь хороший станок, а все остальное приложится, оказались в корне неверными. То же самое произошло на начальном этапе войны, когда высшее руководство страны, командование и рядовой состав армии были недостаточно готовы к войне, вермахт просто был гораздо сильнее. Немецкая армия имела важный опыт победоносных кампаний, а Красная армия, наоборот, терпела поражения, а любое поражение, знаете, имеет длительное эхо. Не только для человека, но и для армии в целом — оно формирует своего рода комплекс неполноценности, который преодолевается трудно и не сразу.

Это была, конечно, сложная проблема. А потом, когда удалось выстоять... Тут многие факторы сыграли свою роль. Это, несомненно,

то, что очень много людей и на фронте, и в тылу вели себя героически. И фактор наличия больших резервов, людских и ресурсных, и фактор расстояний сыграл свою роль. Одно дело Франция, которую можно в считанные недели пройти, а другое дело — Советский Союз с его расстояниями. Здесь трудно было одержать окончательную победу. Можно было одерживать отдельные победы, но окончательно сломить армию, которая к тому же подпитывалась постоянно новыми силами и техникой — это было сложно, многие считают, что просто невозможно, что Гитлер с самого начала был обречен. Иной вопрос, сколько предстояло заплатить за эту неизбежную победу над нацизмом.

Когда удалось выстоять на первом этапе, стали играть роль и другие факторы. Появился опыт. Появилась уверенность. Появилась злость. Армия стала другой во всех своих звеньях. Это, в конце концов, кардинально изменило ситуацию. Промышленность продолжала работать и выпускать военную технику — это тоже было важно. Не нужно игнорировать в полемическом порыве и фактор антигитлеровской коалиции. Союзники оттягивали на себя часть сил, шла война на многих фронтах. Конечно, ленд-лиз не сыграл *определяющей* роли, но он сыграл *важную* роль, мы это знаем, на эту тему есть немало исследований. То, что мы воевали не одни, мы воевали в союзе с другими державами, такими крупными, как США и Великобритания, имело большое значение, и материальное, и психологическое.

В рамках Центра мы занимаемся, конечно, более узкими, специализированными проблемами. Я, например, сейчас много работаю над проблемами управления в годы войны. Как осуществлялась мобилизация — экономическая, социальная? Каково было соотношение между централизацией и децентрализацией? Есть тезис, что это было время жесткой централизации. Это правда, но не вся. Если внимательно читать документы, они свидетельствуют о том, что централизация очень существенно дополнялась заметной децентрализацией, когда на местах, на уровне предприятий, была возможность решать многие вопросы самостоятельно. Она была легальной, полуправильной, часто нелегальной, но на эту деятельность закрывали глаза, так как она была в интересах дела. Децентрализация системы в годы войны тоже сыграла важную роль в том, что экономика оказалась сначала жизнеспособной, несмотря на катастрофические условия, а затем все более эффективной. Тут есть, что изучать.

С.Э. Я еще задам один общий вопрос по поводу войны, он часто всплывает в социальных сетях накануне 9 мая. Как сегодняшняя наука оценивает потери Советского Союза во время войны и каково соотношение боевых потерь советских и немецких?

О.Х. Я не специалист по этой проблеме, но могу отметить, что общий уровень потерь сейчас никто не оспаривает, это известно из демографических расчетов — называют цифру в 26,6 миллионов. Это цифра, полученная путем сопостав-

ления довоенной и послевоенной численности населения, тех военнопленных и репатриантов, которые не вернулись, — получается такая цифра. По потерям военнослужащих у нас есть данные Генштаба. У военных историков получилось, что безвозвратные потери военнослужащих (убитые, умершие от ран и болезней, расстрелянные по приговорам военных трибуналов, не вернувшиеся из плена) составляли около 9 миллионов человек. Вероятно, они будут уточняться, так как в них есть определенный недоучет, как в любых цифрах такого рода. Думаю, что главная проблема заключается в том, что мы не знаем точно, каким образом формировались отчетные данные Генерального штаба, что и с какой полнотой на разных этапах в них включалось. Потери Красной армии были больше, чем германской армии, по многим причинам. Во-первых, она несла значительные поражения в начале войны. Во-вторых, многие военнопленные погибли в германском плену. На первом этапе войны германская военная машина показала свое преимущество, она воевала более эффективно и с меньшими затратами человеческих жизней, чем Красная армия. Другое дело, что постепенно ситуация улучшалась, воевали все более осмысленно, более профессионально, с меньшими затратами человеческих жизней и техники.

С.Э. И еще вопрос в связи с потерями: если боевые потери — порядка девяти миллионов, еще евреев, как считается, от двух до трех миллионов. А остальные — это кто?

О.Х. По разным оценкам, от семисот тысяч до миллиона — это Ленинград. Это очень существенно. Потом, помимо евреев расстреливали и других. Были целые сожженные деревни. Помимо холокоста было массовое уничтожение мирных граждан, не евреев. Высокой была смертность в целом, вызываемая разными причинами — тяжелым трудом, неблагоприятными условиями жизни, голодом. Голод был очень распространен. Мы много говорим о голоде 1946–1947 года, но был голод и во время войны. Эта проблема постепенно изучается, на эту тему появляются работы. В документах очень много упоминаний о голоде во время войны. Кроме того, были разного рода болезни. ГУЛАГ дал большую смертность. По официальным данным более миллиона человек только в лагерях и колониях умерли за годы войны. В годы войны была самая высокая смертность в ГУЛАГе, даже выше, чем в 1932–1933, когда был массовый голод. Но тут тоже есть сложность в подсчетах: проводились массовые освобождения заключенных (по разным причинам, кого-то в армию забирали), и довольно большую категорию освобожденных составляли инвалиды и заключенные, находившиеся в предсмертном состоянии. Они умирали, условно говоря, выйдя за зону и пройдя несколько шагов, но формально они не числились умершими в ГУЛАГе, хотя фактически они, конечно, умерли в ГУЛАГе. Трудно сказать, сколько их точно было, но их было очень много, вероятно, не меньше миллиона. Еще одно — это смертность в Германии на принудительных работах. Если все это собрать, то вот и получается...

С.Э. Я хотел спросить у вас, как у специалиста по сталинскому периоду истории, как вы можете объяснить, что уже со второй половины 1990-х годов начинают расти и до самых последних лет продолжают нарастать просталинские настроения?

О.Х. Это сложный вопрос для историка. Социологи или социальные психологи могли бы, возможно, об этом более убедительно рассказать, но мое объяснение следующее. Тут несколько составляющих. Первая — это историческое невежество. У нас плохо знают историю, часто вместо знаний используют штампы, слухи, чьи-то рассказы, легкомысленную публицистику, которая не имеет никакого отношения к науке. Когда люди считают, что в годы большого террора сажали только чиновников, начальников, и делают из этого выводы, мол, «так и надо» — то нужно знать, что этих начальников был ничтожный процент из тех, кто пострадал. А основная масса жертв террора — это как раз рядовые граждане, такие, как те, кто рассуждают сегодня об этом терроре. Это существенно меняет логику этих событий. Люди об этом не знают или не хотят знать. Это первая причина.

Второе — всегда существует какой-то образ, который используется как выражение некоего протеста по отношению к современности. Это может быть для кого-то образ Сталина или для кого-то образ Николая II. Люди чем-то недовольны сегодня и один из способов протеста — это поднимать на щит каких-то руководителей, которые были у нас

в прошлом, независимо от того, что на самом деле эти руководители сделали. Если говорить всерьез, то, я думаю, достоинства Сталина как руководителя страны очень преувеличены. Но это в данном случае неважно, это предмет веры. Люди поднимают на щит «эффективного менеджера», мол, при нем все жили хорошо, при нем не было коррупции (что абсолютная неправда), а нынешние — они не такие. То есть это форма критики современной ситуации.

Третье — определенную роль играет пропагандистская машина, которая очень сильно работала на построение скорее светлого образа вождя, чем объективного.

С.Э. Фильмы, сериалы...

О.Х. Да, сериалы. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности и создает ложный образ. Есть определенная ностальгия у некоторых по советскому времени, что тоже играет свою роль. Это все важные факторы, которые работают на Сталина. Однако в целом данные опросов об отношении к Сталину нужно анализировать. В этих настроениях все более сложно. Например, когда задаются два вопроса в связке — «Как вы относитесь к Сталину?» и «Хотели бы вы жить при Сталине?», — то тут возникает разрыв. Тех, кто высоко оценивает Сталина, гораздо больше, чем тех, кто желал бы жить при Сталине, что свидетельствует о том, что в глубине души люди прекрасно понимают, что все было не так, и не желают ни себе, ни своим детям такой судьбы.

С.Э. Я тоже обратил внимание на это расхождение. У меня возникло впечатление, что вот этот «народный сталинизм» — это то, как проявляется травма девяностых, это показатель того, что травма была серьезная. В Москве, Петербурге мы ее так не ощутили, но она есть. Но у людей нет языка, чтобы ее выразить, и они формулируют ее в этом сталинизме. Это моя гипотеза.

О.Х. Это играет свою роль и вписывается в общую концепцию недовольства настоящим. Многие не ожидают благоприятного будущего и поэтому смотрят в какое-то выдуманное «светлое» прошлое. Возможно, это соединяется с нынешним трендом — стремлением к «сильной руке», что, мол, нужна сильная рука и Сталин был хорош. Но нельзя забывать, что, как свидетельствует опыт истории, «сильная рука» и единовластие приносят народам неисчислимые беды. Колоссальные демографические утраты, которые мы имеем в результате сталинского правления (не только по причине войны), — это свидетельство того, что страна не переживет второго Сталина, просто народа не останется. Для «Сталина» нужно очень много людей, чтобы после того, как их миллионами перебьют, что-то осталось. Надо осознавать такие вещи.

С.Э. Интересно ваше наблюдение, что страх перед будущим рождает оптимизм по отношению к прошлому...

О.Х. Да, он рождает мифологизацию прошлого, некое наивное

стремление повторить что-то. Это в принципе невозможно. И даже что-то подобное повторять сегодня опасно.

С.Э. Сталинсты утверждают, что для подготовки к неизбежной войне с «буржуазными империалистами» стране нужна была ускоренная индустриализация. Для закупки промышленного оборудования существовал один источник — продажа зерна за границу. Для эффективного изъятия зерна у крестьян и были созданы колхозы. С такой точки зрения получается, что жестокие репрессии «раскулачивания» и вызванный коллективизацией голод с многомиллионными жертвами были неизбежным следствием создания военной промышленности и победы в войне с германскими нацистами. По этому поводу возникают два вопроса: была ли реальна опасность зарубежного вторжения в конце 1920-х — начале 1930-х, когда проводилась коллективизация, т.е. действительно нельзя было обойтись без форсированной индустриализации? Были ли другие способы изыскать средства на ускоренную индустриализацию, кроме безжалостного ограбления крестьянства?

О.Х. Действительно, среди поклонников Сталина распространено слишком простое объяснение нашей истории: все произошло так, как только и могло произойти, сталинские методы были оптимальными. Историки не могут и не должны позволять себе такие упрощения. Проблемы вариантов развития индустриализации, причин и послед-

ствий скачка первой пятилетки, изменения курса, вопросы последствий и результатов избранного под руководством Сталина способа действий — все это требует анализа. Какими инструментами в этом случае пользуются историки? Есть работы, основанные на математическом моделировании: тенденции развития на основе нэповской модели без коллективизации распространяются на последующие годы. Эти авторы приходят к выводу, что были бы достигнуты примерно такие же результаты, но без столь значительных жертв. Историки обращают внимание на обсуждения вариантов политического курса на рубеже 1920–1930-х годов. По поводу моделей коллективизации, как свидетельствуют архивы, были разные мнения. Сталин продавил самое радикальное решение — быстро и с массовыми репрессиями против крестьян. Его политика, как известно, привела к кризису и голоду, что заставило самого Сталина несколько изменить экономический курс в годы второй пятилетки. Это тоже предмет изучения. Сама история показала, что даже в рамках сталинской модели были разные способы решения задач индустриализации. Так что никак у нас не получается единственно возможной неизбежности. Это штамп, а история всегда богаче штампов.

С.Э. И вопрос о Ваших творческих планах?

О.Х. Я занимаюсь историей войны, проблемой механизмов управления, которые были реализованы в годы войны, пытаюсь исследовать реальные механизмы, не на уровне

постановлений, а на уровне практик. Это первое направление. Надеюсь, года через два выйдет книга о региональных руководителях в период от Сталина до Брежнева. Эта важная и интересная проблема, учитывая то, какую значительную роль взаимодействие центра и ре-

гионов играло в нашей истории. Много других идей, которые вряд ли реализуются в полной мере, потому что времени совсем не хватает. К числу творческих планов отнес бы и преподавательскую работу. Буду читать новые курсы, работать со студентами и аспирантами.

«THOSE WHO APPRECIATE STALIN, MUCH MORE NUMEROUS THAN THOSE WHO WISH THEIR CHILDREN TO LIVE UNDER STALIN»

Interview with O. V. Khlevniuk

Khlevniuk Oleg V. — doctor of historical sciences, professor of Moscow State University and HSE (Moscow)

Полный текст интервью размещен на сайте журнала «Историческая экспертиза»
www: istorex.ru

«Я ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК БЛАГОДАРЯ ЗАПУСКУ СОВЕТСКОГО СПУТНИКА».

Интервью с Кэтлин Е. Смит

Беседовал С. Эрлих

С.Э. Русский язык не является самым популярным в мире. Чем обусловлен ваш выбор в пользу русского языка и русской истории? Может быть, существуют какие-то семейные предпосылки для этого?

К.С. Никаких русских корней и предков в России у меня нет, и если мой выбор изучать русский язык действительно связан с семьей, то дело лишь в том, что моя старшая сестра (на год старше меня) выбрала в школе для изучения французский язык, а мне хотелось как-то отличаться и выбрать что-то свое, поэтому я начала учить русский.

С каждым годом мне становилось все интереснее учить русский. У меня была замечательная учительница. Я жила в маленьком городке, но у нас была эта возможность. Можно сказать, что я получила возможность изучать русский язык благодаря запуску советского спутника в 1957 году. После запуска спутника все наши политики были в шоке, им было страшно, что в Советском

Союзе живут какие-то сверхумные люди, а мы тут ничего не делаем. Решили начать в качестве эксперимента изучение русского языка в школах. В моем городке в штате Коннектикут одна школа участвовала в этом эксперименте. Там до сих пор дети учат русский язык.

С.Э. Это интересно, потому что, когда я брал интервью у Кевина Платта, он тоже сказал, что они в школе учили русский язык. То есть это было распространено во многих школах?

К.С. Нельзя сказать, что во многих, даже после спутника, когда решили расширять круг таких школ, все равно их было явное меньшинство. Ведь чтобы поддерживать такую программу, нужно было находить хороших учителей, находить финансирование...

С.Э. А учительница была у вас русская?

К.С. Да, она была беженкой, она не любила рассказывать о своей истории. Но однажды она все-таки нам рассказала, как после войны они попали в лагерь для беженцев.

С. Э. Они оказались в Германии?

К. С. Она не очень точно все рассказывала. Я помню, что она говорила, как пришли представители Советского Союза и велели всем заполнить анкеты, в которых человек должен был указать, куда он хотел попасть после этого лагеря. Может быть, думали, что если вы из Харькова, то захотите написать «Харьков». Она же написала: Буэнос-Айрес (*смеется*). Ее мама была уверена, что решение вернуться в Союз испортит им жизнь, они бежали из лагеря дальше на Запад и каким-то неизвестным путем попали в наш штат.

С. Э. Вы решили после школы поступать на отделение славянских исследований? Или как это называлось?

К. С. В наших колледжах не нужно сразу выбирать специальность, у меня в конце концов было две специальности: политическая наука и так называемые Russian studies, изучение всего, что связано с Россией. А вот когда я занялась диссертацией, нужно было выбрать какую-то дисциплину, я выбрала политологию.

С. Э. Вы можете рассказать, были ли у вас какие-то интересные преподаватели, которые занимались русской тематикой, может быть, какие-то русские эмигранты? Кто оказал на вас влияние?

К. С. Ну, самое большое влияние, наверно, оказал профессор Уильям Таубман (William Chase Taubman), который написал блестящую био-

графию Хрущева. Когда я была его студенткой, он только начинал это исследование, но он создал спецкурс, где мы изучали именно Никиту Сергеевича и все, что связано с ним. Хотя впоследствии я не очень много занималась хрущевским периодом, но влияние, несомненно, было. Вообще вопрос о том, как люди пережили сталинские репрессии, как после этого страна смогла повернуться в другую сторону – все это связано с Хрущевым. Наверно, в том, что Хрущев стал для меня одной из ключевых фигур в советской истории, проявилось и влияние Таубмана.

И еще по поводу эмигрантов: я училась в восьмидесятые годы, у нас не было много эмигрантов, но помню Викторию Швейцер, которая участвовала в диссидентском движении в Советском Союзе. Она тоже не любила рассказывать свою личную историю. Наверное, думала, что мы все-таки не поймем тонкостей советской жизни.

С. Э. Это уже была третья волны эмиграции, семидесятых годов?

К. С. Да, естественно. В аспирантуру я поступила в Беркли в 1987 году, у нас было два года обязательной учебы, один год экзаменов, и только после этого можно было взяться за диссертацию. Я начала работать над ней в 1990–1991 годах, очень интересное было время для политологов.

С. Э. Тогдашний интерес к Советскому Союзу, к перестройке тоже повлиял на ваш выбор специализации в 1980-е годы?

К. С. Да, конечно. Когда началась перестройка, я много думала: а было бы мне интересно изучать Россию в семидесятых годах, во время застоя, когда не было больших возможностей что-нибудь сделать? Мне просто повезло, что как раз тогда, когда я оказалась готова работать с этим материалом, сильно изменилась политика Советского Союза — появилась возможность путешествовать, по-другому вести исследования. Ведь мои профессора что делали? Они читали «Правду», «Известия», беседовали с официальными лицами... Исследовать что-то на уровне опросов, интервью с людьми — не было возможности. Она появилась как раз тогда, когда я начинала свою работу.

С. Э. А в каком году вы впервые посетили Россию?

К. С. В 1986 году.

С. Э. И что вас больше всего поразило?

К. С. Меня поразило, что на улице лежал мусор, бумаги от мороженого (*смеется*). Я думала, что в таком тоталитарном государстве никто не будет бросать мусор на улице. Еще я научилась двум новым словам, которых не было в наших учебниках: *перерыв* и *ремонт*.

С. Э. Перерыв на обед в магазине?

К. С. Да. У нас заканчивались какие-то занятия и мы, проголодавшись, бежали в магазин, а там в это время всегда был перерыв. Слово «ремонт» я видела везде: ремонт обуви, еще что-то. А что это? Я думала, что это какой-то товар.

С. Э. То есть в Америке не принято обувь ремонтировать, просто выбрасывают?

К. С. Ну, не совсем, но такого количества мест, где большим шрифтом написано «Ремонт...», наверно, нет. В наших учебниках русского языка были разные маленькие сюжеты для пересказа. Например, поход в кино. Никаких перерывов и ремонтов там не было.

С. Э. А какая у вас была тема диссертации?

К. С. «Переосмысление сталинских репрессий во время Хрущева и Горбачева».

С. Э. То есть были Хрущев и Горбачев, а Брежнева пропускали?

К. С. Да, поскольку я сосредоточилась именно на моменте политических реформ. На основе диссертации была издана моя первая книга в 1996 году.

С. Э. Действительно, во время Горбачева «сталинская тема», которая при Брежневе замалчивалась, всплыла наверх. Скажите, к каким вы пришли выводам: почему эта тема возникла, как восприняли эту книгу коллеги?

К. С. Надо прежде всего сказать, что я не историк, то есть у меня не было задачи узнать какие-то новые детали о репрессиях. Мне было интересно именно то, почему эта тема стала столь важна (а во время перестройки она находила отражение в каждой газете). Я использовала два теоретических подхода.

Один был связан с демократизацией. Когда начинаются реформы и расширяются возможности для свободы слова, то всем понятно, что прямо критиковать правительство — невыгодно. А как заставить эти реформы идти дальше? Один способ — это понять и объяснить, почему нужны такие перемены. Это требует какого-то переосмысления. Было ясно, что самые мрачные моменты в истории советской власти связаны с репрессиями. Мне было интересно еще и то, что в обществе проявилось стремление увековечивать память о репрессиях, создавать общественные движения, занимающиеся этой темой. Поэтому второй подход был связан с гражданским обществом — с тем, как формируются общественные движения. Естественно, я изучала «Мемориал» и похожие движения, которые были в Белоруссии, Казахстане, Украине. То есть там присутствовал еще и социологический аспект народной памяти.

С.Э. Каковы были характерные черты, «параметры» этой памяти о репрессиях во время перестройки? Они формировались исключительно газетами, или что-то шло из семьи? Какие были тенденции?

К.С. Естественно, я искала причины этой активности. Первая моя гипотеза — что люди, у которых в семье были жертвы репрессий, больше всего занимаются этой темой. Но когда я начала встречаться с ними, то оказалось, что это далеко не всегда было так. Чаще этим начинали заниматься люди с обостренной совестью, которые осознавали, что это были невинные жерт-

вы, просто исчезнувшие из памяти. Было важно об этом сказать. Вставал вопрос, как восстановить эту память и как помогать тем людям, которые все-таки пережили все это. В основном они жили довольно бедно, например, им не засчитывалось в пенсионный стаж время, когда они были в лагере. В отличие от ветеранов войны они не получали никаких льгот.

С.Э. То есть тут был еще момент сострадания — помочь тем, кто выжил, тем, кто еще жив?

К.С. Да. И были еще люди, которые не были профессиональными историками, например Дмитрий Юрасов, который был в то время студентом-заочником и работал на технической должности в архиве с целью найти данные о жертвах репрессий. Внутри «Мемориала» были разные направления: была помощь жертвам, была исследовательская работа, была правозащитная. И «Мемориал» стал большой частью моего исследования.

С.Э. Вы работали с воспоминаниями этих людей?

К.С. Да, но я, как уже говорила, не старалась найти какие-то новые детали о тридцатых годах, мне были интереснее именно политические действия по отношению к памяти о репрессиях на тот момент. В 1991 году многие люди, с которыми я встречалась, говорили: «Ой, да зачем вам “Мемориал”, у нас сейчас есть политические партии, это куда важнее и интереснее» — и мне приходилось каждый раз защищать свою тему.

С. Э. У меня такой, можно сказать, провокационный вопрос. Я часто хожу в «Мемориал», там бывают интересные мероприятия. Как-то раз я поговорил с Александром Даниэлем, сыном Юлия Даниэля. Он сказал, что у демократических сил, условно говоря, ельцинских, был интерес к «Мемориалу» до тех пор, пока нужно было скинуть Горбачева и прийти к власти. Как только они пришли к власти, интерес к «Мемориалу» сразу пропал. Вы как политолог анализировали этот момент? После смерти Сталин был, пусть непоследовательно и уклончиво, но осужден решением КПСС. Какой-то уровень репрессий все равно оставался, но он упал, наверное, в тысячу раз по сравнению со сталинскими временами. Но в годы перестройки тема сталинских репрессий поднималась как обвинение Коммунистической партии. То есть коммунистов 80-х критиковали за то, что они сами уже не делали. Это делали их предшественники. Как вы можете прокомментировать гипотезу, что те люди, которые рвались к власти, не столько думали о нравственности, сколько искали в теме репрессий «политический таран»?

К. С. Мы уже переходим к теме второй моей книги. Сначала я должна сказать, что с Даниэлем на 100 % согласна. Это был некий инструмент, рычаг. Это был инструмент, который использовали для того, чтобы Ельцин стал более популярен, чем Горбачев. Первая моя книга заканчивается как раз 1991 годом, я не продолжала этот анализ, решив, что это будет хорошей точкой. По-

сле этого я видела, что в Восточной Европе идет процесс декоммунизации, люстрации — я думала, что и в России будет что-то похожее, и я смогу продолжить заниматься этой темой. Но как вы хорошо знаете, никакой люстрации в России не было, да и тема декоммунизации почти сразу пропала. Но это не значило, что люди перестали тогда интересоваться историей. Просто был другой политический контекст. Поэтому я решила изучать, какие исторические темы и споры возникли в первые годы того, что мы тогда оптимистично называли «русской демократией». При работе над второй книгой, «Мифотворчество в Новой России: политика и память в эпоху Ельцина» (*Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during the Yeltsin Era*), меня интересовал вопрос, какие предметы стали важны для новой политики. Там содержатся разные case studies о том, почему нет общенационального праздника, связанного с окончанием августовского путча. О том, почему это не стало для новой власти важной символической датой. В Конституционном суде прошел «суд над Коммунистической партией», который, по-моему, неправильно так называть: ведь это именно коммунисты требовали суда над Ельциным за то, что он пытался запретить их деятельность, и только потом группа депутатов подала встречный иск против КПСС. Так что это был нетипичный суд. Еще была у меня такая тема, как трофейное искусство. Сначала Ельцин был готов отдать все обратно в Германию, Венгрию и другие страны, а потом передумал. Еще я изучала предвыборную

кампанию 1996 года, когда перед Ельциным возникла угроза потерять власть.

С.Э. То есть в 1996 году он вновь использовал антикоммунизм как политическое оружие?

К.С. Да, да. Реклама, грубые антикоммунистические рекламные ролики... Нельзя сказать, что Ельцин сильно интересовался темой сталинских репрессий. Я согласна с Даниэлем: не то чтобы ельцинские «демократы» были против «Мемориала», но у них были другие приоритеты.

С.Э. Получается, что после 1991 года антисталинская волна была свернута и возникла опять в узкий момент выборов 1996 года?

К.С. Да. Но я бы добавила еще один момент: это было время самой большой свободы слова, было очень много газет. Так что антисталинская тема не совсем исчезла.

С.Э. Но по сравнению с перестройкой внимание к ней заметно снизилось?

К.С. Это так. Я думаю, люди устали каждый день читать страшные, мрачные истории. Это везде бывает — усталость от трагедии.

С.Э. Социологические опросы показывают, что в обществе с середины 1990-х годов опять начинает расти популярность Сталина. Чем вы это объясняете?

К.С. Я это объясняю тем, что люди в России чувствовали меньшее

уважение к своей стране со стороны Запада. И хотели вспомнить то время, когда Советский Союз был великой державой. Было время, когда и Ельцин пытался проводить примерно такую линию: да, во времена Сталина мы победили в войне, и это показывает, насколько сильна была страна и народ — но если бы Сталина не было, возможно, мы победили бы с меньшими потерями. Однако не было четкой политики в этой области.

Я делала исследование о Дне Победы и помню, что ветераны задавали вопрос, в том числе и Ельцину: как может быть, что мы, победители, живем настолько хуже, чем немцы? Такого рода вопросы могли кого-то подтолкнуть к мысли, что в сталинские времена было лучше.

С.Э. Есть такой фактор, как ухудшение материального положения людей. Но вы считаете, что нематериальный фактор — уязвленная гордость по поводу своей страны — оказался сильнее, чем материальное положение?

К.С. Я думаю, эти вещи связаны. Какие сравнения человек делает, когда оценивает свое материальное положение? В сталинские времена люди думали: как жили наши родители, дедушки, бабушки? Они были очень бедны, у них не было образования — значит, у нас теперь жизнь хорошая. А в девяностых годах все было открыто, можно было увидеть, как живут люди на Западе, и становилось понятно, что в России они живут намного хуже. И они уже не сравнивали своих родителей, они меняли фокус этого

сравнения. То есть это все взаимосвязанные вещи.

С.Э. Вопрос к вам как к политологу. Двигателем реформ, перемен была интеллигенция. Почему в России в роли лидера в борьбе с коммунизмом оказался секретарь ЦК КПСС, а не условный Лех Валенса?

К.С. Это действительно трудный вопрос, у меня нет однозначного ответа. Но я бы сказала, что Россия — страна большая, и чтобы привлечь внимание большого количества избирателей, нужно, чтобы человек был какой-то известной политической фигурой. Понятно, что это может быть только кто-то из старой элиты.

С.Э. Как вы объясняете перемены, которые произошли в отношении памяти о войне и о Сталине по сравнению с девяностыми годами? Вы еще не написали книгу на эту тему, но когда вы приезжаете, вы видите их?

К.С. Да. Вывод моей книги о мифотворчестве заключался в том, что так называемые демократы упустили шанс создать себе солидную историческую легитимность. Ельцин и его круг думали, что большие праздники и тому подобное — это пропаганда, которой занимались коммунистические режимы и которой они сами не будут заниматься. Из-за этого образовалась пустая зона, которую начинали заполнять другие люди. Например, Зюганов, который знал, что для людей очень важен День Победы, и он готов был использовать этот праздник в своих

целях. Ельцин, если вы помните, в конце концов сказал: нам нужна национальная идея для России. Была такая инициатива, но было уже поздно. Собрали что-то абстрактное... Сейчас в России, как мне кажется, память о войне, о разных национальных подвигах — очень важная часть политической системы. Современная власть уже не делает эту ошибку, она понимает, что если она не станет контролировать историческую память и влиять на нее, то может получиться не то, чего бы она хотела. То есть нынешняя власть грамотнее в работе с памятью.

С.Э. Не так давно у вас вышла книга о 1956 году, то есть вы начали с Хрущева и вновь к нему вернулись. Чему посвящена эта книга?

К.С. Мне хотелось обратиться к не очень современному, классическому сюжету, не зависящему от постоянных сегодняшних изменений. Я знала, что в восприятии россиян 1956 год, как правило, нес положительную окраску, это был «хороший год». Иное дело на Западе: там он ассоциируется прежде всего с вторжением в Венгрию. Я решила показать западной публике трудность процесса реформ и противоречивость этого года — моменты споров, оптимизм и более трагические итоги этого года.

С.Э. Что вам открылось, когда вы стали работать над книгой? Нам очень интересно — это взгляд со стороны на нашу историю.

К.С. Когда я начинала эту книгу, мне не было еще ясно, какой будет структура. Я знала, что там будет

двенадцать глав, по одной на месяц, и каждый месяц будет как маленькое case study. Я столкнулась с некоторыми фамилиями, которые мне были знакомы, но я мало знала об этих людях. Например, Ольга Шатуновская, Алексей Снегов. Это очень интересно — как бывшие зеки вернулись и стали на какое-то время близки к власти. Они помогли Хрущеву изменить эту карательную систему, и он в какой-то мере доверял им. Я думаю, даже наши специалисты не очень хорошо знают эту часть хрущевских реформ. Поэтому одна глава посвящена как раз старым большевикам, которые помогали с реабилитацией.

Я написала еще о судьбах киносценаристов Юлия Дунского и Валерия Фрида. Они прошли через репрессии, вернулись в 1956 году в Москву, создали первый успешный сценарий — фильма «Случай на шахте восемь». В целом этот фильм достаточно типичен для того времени: молодой инженер едет работать на север, там он сталкивается с разными проблемами, директор шахты — «маленький Сталин», возникают конфликты. Но вот итоговая сцена. Партийное собрание. Директор опаздывает. Он входит в зал и сразу идет в президиум. В этот момент один из рабочих, сидящих в зале, встает и говорит: «Мы же вас не выбирали в президиум». Директор понимает, что что-то меняется в его городе.

С.Э. Вы говорили, что сейчас начали работу над книгой о советских писателях, о Переделкино. Почему вы решили за эту тему взяться?

К.С. Я была политологом и историком, теперь, получается, я стану литературоведом (*смеется*). Дело в том, что в книге «Москва, 1956 год» были очень маленькие временные рамки — всего один год, а место событий очень широкое — не просто Москва, а весь Советский Союз. Сейчас я решила, что хочу взять более крупный хронологический отрезок на меньшем пространстве. Как раз Переделкино меня очень устраивает. Там есть моя любимая тема: как люди относятся к власти, как они общаются друг с другом. Важно и то, что я могу довести эту тему до современного периода. Поселок писателей изменился с началом процесса приватизации, все это будет интересно проследить... А начну я с 1934 года, когда решили, что там будет писательский городок.

С.Э. То есть это история писательского поселка в Переделкино от возникновения до сегодняшнего дня? Сейчас там вроде писателей уже почти не осталось...

К.С. Остались некоторые, но они уже не доминируют. Еще там появилось много высоких заборов, так что трудно понять, как оно раньше выглядело. Но это еще и место музеев: есть музей Пастернака, Чуковского, Окуджавы, скоро, вероятно, будет музей, связанный с Евтушенко. То есть это тоже место памяти. Интересно посмотреть, как история советского времени будет здесь показана.

С.Э. Состав жильцов Переделкино, наверно, тоже обновлялся в ходе Большого террора?

К. С. Да, например, Бабель был арестован на даче в Переделкино. Еще интересно, что в семидесятые годы этот поселок стал пристанищем и для диссидентов. Например, альманах «Метрополь» частично писался и составлялся именно там. Лидия Чуковская разрешила Солженицыну жить у нее на даче, когда у него возникли проблемы. Так что, я думаю, это будет интересная тема. Но я только начинаю, до выводов еще не дошла.

С. Э. Сейчас перевели на русский язык воспоминания Карла Проффера, основателя легендарного «Ардиса». Меня потряс факт, который он приводит со слов вдовы Всеволода Иванова. Когда объявили о вручении Нобелевской премии Пастернаку, вначале прибежал поздравлять его Иванов, а потом Чуковский. А когда дело приняло «антисоветский» оборот, то Чуковский пришел к Ивановым и сказал: «Давайте мы вместе напишем заявление, осуждающее Пастернака». Я читал дневники Чуковского, у меня нет каких-то иллюзий по его поводу, но ведь это уже не 1937 год. Все понимали, что ни сажать, ни расстреливать не будут. Ну, в худшем случае отберут эту дачу. И за дачу он был готов на такие подлости? У меня давно поменялось отношение к институту советского писательства, это, как я думаю, была прежде всего нравственная катастрофа.

К. С. Это было что-то типа золотой клетки, из которой очень трудно выйти. Это было действительно райское место, но за него приходилось платить — не только деньгами,

но и какими-то политическими высказываниями. Писатели там все больше становились чиновниками. И даже утрачивали свой талант.

С. Э. Тогда люди очень много читали, и в этом плане советская власть действовала грамотно. Она понимала, что писатель — это важный элемент пропаганды. Им создавали эти райские условия, но за это они должны были отрабатывать. А вот доступны ли писательские архивы, в том числе какие-то доносы, ведь многие писали друг на друга доносы. Это все доступно?

К. С. Трудно ответить на этот вопрос. Как я понимаю, работать с архивами КГБ позволено только родственникам этих людей. Был момент, во время перестройки, когда не были ясны правила, тогда вышли книги Виталия Шенталинского. Он получил доступ ко многим писательским архивам через Союз писателей, но, думаю, этот доступ уже закрыт. Но есть большой пласт мемуаров, дневников в РГАЛИ, там можно найти немало интересных источников. Правда, о полноте говорить не приходится. Даже стенограммы заседаний Союза писателей сохранены только за некоторые годы. Есть еще личные досье на членов Союза писателей, но там имеются ограничения, потому что в них содержатся личные данные, которые можно будет использовать только через 75 лет.

С. Э. Желаю Вам поскорее написать эту книгу. Не сомневаюсь, что это будет очень интересный труд.

Интервью с Кэтрин Е. Смит

“I GOT THE OPPORTUNITY TO STUDY RUSSIAN LANGUAGE THANKS TO THE LAUNCH
OF THE SOVIET SPUTNIK”

Interview with Kathleen E. Smith

Smith, Kathleen E. — historian, professor, Georgetown University (USA)

Полный текст интервью размещен на сайте журнала «Историческая экспертиза»
[www: istorex.ru](http://www.istorex.ru)

«ПАМЯТЬ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ИМЕЛО МЕСТО В ПРОШЛОМ, ВИСИТ НАД ОБЩЕСТВОМ КАК ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕХАНИЗМ».

Интервью с Кевином М. Ф. Платтом

Беседовал С. Эрлих

С. Э. Почему Вы стали изучать русскую историю, русскую культуру?

К. П. Это сложный вопрос. По образованию я все же литературовед. Но иногда я смотрю на себя как на историка. Я очень горжусь тем, что был удостоен самой престижной премии, которую только можно получить в американском академическом пространстве именно историку. Это стипендия имени Саймона Гуггенхайма.

Я 14 лет преподаю в университете Пенсильвании. Там я числюсь на истфаке в аспирантском отделе. Правда, у нас в университете очень странные порядки, поскольку и студенческий департамент, и аспирантская программа — это отдельные административные единицы. С тех пор как я приехал в Филадельфию, я числюсь в аспирантской группе по истории и в аспирантской группе по сравнительной литературе, а также в группах по английской ли-

тературе и искусствоведению. Это специфика моего университета: у нас действует принцип открытых границ. Если ты пишешь на тему искусства, то искусствоведение решает, что тебя следует привлечь к преподаванию по этой теме. Я даже вел семинарские занятия совместно с искусствоведами.

С. Э. Расскажите, где Вы учились.

К. П. Я учился в государственной школе, которая располагалась в маленьком пригороде Бостона. У меня были очень хорошие учителя, и это было время и место прогрессивной трансформации американского начального образования. У нас была открытая аудитория с передвижными столиками, творческий подход к преподаванию. Я считаю, что я получил хорошее образование.

Многое в моей биографии объясняется тем, что я рос во время холодной войны. Наше поколение было обеспокоено вероятностью применения ядерного оружия, и я состоял в кругах активистов, выступавших за ядерное разоружение. С хором

от моего города, который назывался «Делимся новой песней / Sharinga New Song», мы поехали в Советский Союз. Это был 1982 год, то есть еще до перестройки. Мы пели русские и американские песни, встречались с комсомольцами. Это было мое первое знакомство с Россией, оно произвело на меня глубокое впечатление.

Параллельно с этим у меня возник интерес к России совсем иной, к ее интеллектуальной жизни. У нас была очень вольная школа по преподаванию литературы. После девятого класса мы могли выбирать курсы более или менее по своему желанию. В десятом классе я выбрал курс, который вел один замечательный, совсем необычный преподаватель, Томас Пучалски. Он был бывшим монахом польского происхождения. Его курс назывался «Роман». На его лекциях мы читали Достоевского, Булгакова, а также Томаса Харди – его известный роман «Джуд незаметный» (возможно, самый «русский» из английских романов). Помню, из Достоевского мы читали «Бесы», «Записки из подполья». На меня это тоже произвело огромное впечатление. Правда, я не помню, в каком порядке произошли эти события: посещал ли я этот курс до или после возвращения из Союза.

В любом случае после этого Россия стала все больше и больше интересоваться меня. У нас в школе были курсы по русскому языку. Это тоже, кстати, отражение государственных программ эпохи холодной войны. К сожалению, таких школьных программ по изучению русского теперь очень мало. Итак, я в школе

начал изучать русский язык. Потом я поступил в Амхерстколледж, который закончил в 1989 году. Я точно знал, что хочу заниматься русской литературой и русским языком, и выбрал этот колледж из-за его отличных программ в этой области. Там я изучал Советский Союз и Россию в перестроечное время. Можно представить себе, как интересно было заниматься этой темой именно в тот период. Быстрое развитие событий в СССР сильно нас мотивировало. После окончания колледжа, в год падения Берлинской стены, я, естественно, поступил в аспирантуру в Стэнфордском университете по этому направлению.

Я намерен был в начале аспирантуры стать специалистом по поэзии Серебряного века. Отсюда и начинается мой рассказ о том, почему я стал заниматься русской историей. Я думал так: поэзия Серебряного века, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, о которой я писал дипломную работу в Амхерсте. Но это были 1989, 1990, 1991 годы и ощущалось, что великие события истории происходили вокруг нас. Холодная война заканчивается, Советский Союз исчезает. Поэтому, в конце концов, я написал диссертацию не на сугубо поэтическую тему, а на тему «Литература и периоды быстрого общественного и политического изменения».

На самом деле это была слишком амбициозная тема. Теперь я бы ни одному своему аспиранту не позволил бы ее выбрать. Я писал, обращаясь в основном к русскоязычным источникам. В работе я описывал литературу времен петровской эпохи,

эпохи великих реформ послереволюционного и современного периода. В итоге все получилось довольно схематично. Я считаю, что книга, которая в конце концов получилась, «History in a Grotesque Key: Russian Literature and the Idea of Revolution» (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1997), неплохой труд, но страдает от очевидных недостатков — в основном от слишком типологического подхода к литературным и культурным процессам. Наверное, такие амбициозные работы как раз следует писать в конце карьеры, а не в ее начале.

После завершения этой книги я стал серьезно задумываться над тем, как функционируют исторические традиции восприятия и инсценировки исторических процессов в России, о том, что существует историческая связь между политической культурой разных периодов и унаследованными *топосами* для исторических событий. История принимает определенную форму отчасти потому, что исторические деятели, наследники определенной культурной традиции, знают, что она может и должна происходить именно так, а не иначе, принимая форму, которая диктуется формами прошлых событий.

Моя первая книга была посвящена повторениям фабулы революции в разные эпохи. Потом я начал размышлять о повторяющихся персонажах исторической и политической культуры в России. Так я начал писать об Иване Грозном и Петре I. В моих представлениях они являются прообразами некоторого традиционного типа историко-политиче-

ского поведения. Каждый русский царь непременно в какой-то момент сравнивается с этими двумя историческими личностями, и некоторые из них очень сильно моделируются по образу этих царей. Можно вспомнить, что Николай I часто сравнивался в риторике двора с Петром Великим. Но что происходит, когда дальнейшие поколения и правители пользуются этими же фигурами для их собственной мифологии? Александра I тоже сравнивали с Петром: например, в знаменитых публичных лекциях Соловьева о Петре — только с другим понятием Петра. Каждый интерпретирующий находит в этом образе что-то свое. Но намного позже, когда Сталина сравнивали с Петром, значит ли это, что он также становится двойником Николая I или Александра I? Когда сравнивали Бориса Ельцина с Петром, значит ли это, что он похож на Сталина?

В общем, мне было интересно наблюдать за тем, как эти модели эволюционируют во времени и пространстве. Так я стал заниматься изображением истории. Моя вторая книга об Иване и о Петре I, которая должна скоро выйти на русском, называется «Террор и величие: Иван и Петр как русские мифы». Перевод уже готов, его осталось только доработать. Когда я стал заниматься этой тематикой, я начал думать о себе как об историке, а не о литературоведе. В середине работы над книгой об Иване и Петре я, совместно с историком Дэвидом Бранденбергером, подготовил сборник «Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda» (Madison: University of Wisconsin

Press, 2006). В этом томе мы с группой соавторов изучаем самые разные случаи реабилитации царской истории, царских исторических фигур и авторов в эпоху правления Сталина. В работе есть отдельные главы, посвященные Ивану Грозному, Александру Невскому, а также Пушкину, Толстому, Лермонтову. Есть прекрасная глава, посвященная Демьяну Бедному и скандалу вокруг его произведения «Эпические герои».

Но сейчас я заканчиваю работу еще над одной книгой. Она совсем не историческая, а скорее написана под влиянием культурной антропологии. Довольно долго я думал, что я все же должен был родиться историком, и полагал, что я только по ошибке судьбы стал литературоведом. Хотя также нужно сказать, что я всегда дорожил своей внешней позицией по отношению к этой дисциплине, своим умением смотреть на историю из другой научной среды, как бы со стороны. Мне часто кажется, что историки страдают комплексом дисциплинарного эмпиризма. К счастью, у меня нет этой проблемы. У историков также есть дисциплинарные жанровые проблемы. В Америке историки всегда существуют между двумя аудиториями: научной и популярной. Всегда есть соблазн писать для большой публики. Но эта промежуточная позиция создает серьезные методологические проблемы, поскольку если ты пишешь для большой публики, то тебе лучше все-таки писать «занимательные, но правдивые рассказы», которые публика очень любит читать. Научные историки, наоборот, выискивают аргументы на основе

фактов и возможных трактовок. Большая публика с большим трудом выходит из модуса классической историографии, она всегда желает получить правду в форме изящного повествования. Первый урок настоящего историка состоит в том, что чем больше историк старается написать правдивую историю, тем больше он отдаляется от истины. Единственной правды нет, но мы ее ищем. Наши взгляды — это всегда неокончателная истина.

С. Э. О чем Ваша новая книга?

К. П. Я в этом году заканчиваю писать книгу о Латвии. Как я сказал, эта книга больше относится к культурной антропологии, чем к историографии. Я начал писать об этой стране не случайно. Моя супруга родом оттуда. Она выросла в Риге, потом эмигрировала. Когда у нас появились дети, мы стали много времени проводить в Юрмале. Я стал замечать, что в Латвии с русскими происходит что-то интересное. Меня сильно заинтересовал вопрос о положении русских в этой стране, я написал много статей на эту тему и, наконец, пришел к книге.

Эта книга раскрывает этнографию русской культуры в Риге. Я стараюсь показать, что значит быть русским и развивать русскую культуру в современной Латвии, как культурные единства образуют идентичность и политические единства. Вспомним закон о соотечественниках. Очень сложно определить, что такое «русский человек». Согласно общему пониманию, «русский человек» — это тот, кто говорит на русском языке и считает себя русским.

Но такое понимание «русского человека» не освобождает нас от главного вопроса: как нам следует различать соотечественника? По какому признаку? В современной Латвии довольно много людей, которые говорят на русском языке и считают себя русскими, но никак не готовы признать себя соотечественниками. На мой взгляд, соотечественник — это довольно непонятный термин. Тут сразу возникает уточняющий вопрос: соотечественник какого отечества? Советского Союза? Российской империи? Путин неоднократно говорил о «моменте, когда миллионы наших соотечественников оказались вне России». Но российских людей не существовало в Советском Союзе, это были советские люди. Советские латыши тоже были соотечественниками в этом смысле, не так ли?

В законе о соотечественниках есть положение, в котором говорится, что «русский человек» — это человек, который духовно и культурно связывает себя с Россией. В конце концов, это становится вопросом о культуре и культурном самопонимании, которые решают, кто русский и кто не русский, кто соотечественник и кто нет. Значит, нужно ориентироваться на культуру прежде всего, чтобы понять, как люди собираются в этом культурном пространстве, как они себя в нем чувствуют. Но даже здесь не все ясно. Например, если ты пишешь стихи на русском языке, можно ли прийти к выводу, что ты русский, что ты соотечественник? На самом деле не всегда. В общем, «соотечественник» в моем понимании — это очень странная категория. Есть Конгресс

соотечественников. Но кто в нем решает, кого следует считать соотечественником, а кого нет? Кто обладает правом голоса в этом конгрессе?

В своей полевой работе я курирую несколько сайтов, которые направлены на воспроизводство «русскости» в Прибалтике. В Латвии люди, считающие себя русскими, предпринимают усилия по развитию русского языка, русской культуры. Есть маленькие частные библиотеки, созданные стариками, которые стараются защищать русскую книгу в Латвии. Есть поэты, которые пишут на русском языке, которые связаны пониманием того, что Латвия может быть многоязычным пространством. Также есть российские проекты воспроизводства «русскости»: например, международный фестиваль молодых исполнителей «Новая волна», который ежегодно проводился в Юрмале до недавнего времени. Есть меценаты, которые строят и перестраивают русские объекты, в том числе исторические памятники.

С.Э. Вы занимаетесь проблемой исторической памяти в России. Поделитесь Вашим восприятием этой проблемы.

К.П. Я считаю, что для современной России это очень важная тема. Я уже написал несколько статей на тему памяти о сталинизме и о распаде Советского Союза. Следующая моя книга будет исключительно на тему истории и памяти. Я буду писать о восприятии сталинизма с 1956 года до нашего времени. В моей недавней статье, вышедшей

в журнале «Critical Inquiry» на эту тему, я стараюсь понять модели интерпретации последствий массового насилия по сравнению с памятью холокоста. Холокост — массовое насилие гигантских размеров. Но после этих событий государство, которое несло ответственность за них, исчезает. После окончания войны никто не защищает ни виновных, ни нацистский режим. В Германии, конечно, молчали об этой истории целых двадцать лет. Но даже немцы знали, что это было преступлением против человечества. В Советском Союзе совсем другая ситуация. Нельзя холокост проецировать на ГУЛАГ напрямую. Александр Эткин очень много интересного написал на эту тему. Я во многом с ним согласен. У него очень интересные выводы.

С.Э. Вы заметили, что в музее истории ГУЛАГа есть зал «Затмение. Большой террор», «Дело врачей», но коллективизации там почти нет. Такое ощущение, что на наших глазах воспроизводится модель «шестидесятников», согласно которой «Ленин — хороший, а плохой Сталин уничтожил ленинскую гвардию». Но «ленинская гвардия» как раз и состояла из палачей, которым не повезло в годы Большого террора. Я, например, до сих пор не могу понять это невнимание к крестьянам. Погибли самые трудолюбивые люди в стране.

К.П. Верно. Самая массовая смертность была в ходе коллективизации. Это очень похоже на схему Хрущева о том, что Ленин — хороший, а Сталин — то плохой, то хороший. А хо-

рошим он был до 1932 года. У этого насилия довольно неясные начало и конец. ГУЛАГ, по сути, существует с самого начала до конца советской эпохи. Но после смерти Сталина, конечно, террор нельзя назвать массовым.

Также нужно иметь в виду, что в случае холокоста было четкое разделение между жертвами и палачами. В так называемом «секретном» докладе Хрущева приводится много статистических фактов о терроре. Но там есть только несколько персонажей. Это и довольно нормальные советские люди, такие как партийный деятель Ян Рудзутак. Но одной из самых главных «жертв сталинского террора» в докладе назван Роберт Эйхе. Это известный палач. Он собственноручно убивал если не сотни, то по крайней мере десятки людей. Он был прокурором, членом «чрезвычайной тройки». Эйхе был наделен правом единолично выносить смертные приговоры. Он ходил с автоматом и убивал. Конечно, в секретном докладе об этом ничего не говорится. Но самое интересное то, что даже в научных комментариях к секретному докладу никто не говорит о том, что одно из главных лиц жертв — то, что они сами были палачи. И Хрущев был кровавым палачом. Он тоже подписывал расстрельные списки.

Я думаю, что нельзя сравнивать ситуацию в Германии после войны с хрущевским Советским Союзом. В книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» есть хорошие пассажи, в которых он сравнивает ситуацию в Советском Союзе с ситуацией в Германии. Он пишет: «...тут

кричат, что мало посадили этих немцев». А в Германии были открытые процессы, там сажали, а в России это было сделано очень тихо. В России любят говорить: «Зачем об этом говорить, не будем обнажать наши раны».

Согласно моему анализу, память о сталинизме в позднесоветскую эпоху имела дисциплинарную функцию. Нужно было всем помнить, что массовое насилие было в истории. Многие знали об этом, но говорить об этом не разрешалось. Если ты начинал говорить об этом, то ты немедленно подвергался дисциплинарному взысканию. Как пишет Солженицын: «И если кто только икнет: “а как же те, кто...” — ему со всех сторон укоризненно, на первых порах дружелюбно: “ну что-о вы, товарищи! ну зачем же старые раны тревожить?” А потом и дубинкой: “Цыц, недобитые! Нареабилитировали вас!”»

Память о насилии, которое имело место в прошлом, висит над обществом как дисциплинарный механизм, поддерживаемый постоянной возможностью повторения этого насилия. Человек в позднесоветском контексте окружен насилием прошлого. Если он выходит за границы условно «правильного» поведения, то нет гарантий, что это насилие не может повториться. Но если он остается в зоне «правильного» поведения, тогда насилие не повторяется, тогда мы имеем дело с самым прекрасным обществом. И самое главное — не говорить о насилии прошлого, о его повторениях. Крикуны не нужны.

С.Э. Примечательно, что Вы заметили это со стороны. Анатолий Хазанов в своей статье «О ком скорбеть и кого забыть? (Ре)конструкция коллективной памяти в современной России»¹, которая вначале вышла на английском, как раз рассуждает о том, в чем заключался ужас сталинского режима. Человек элементарно не знал, за что его сажают. Это было не дисциплинарное наказание, а некоторое безумие. А в постсталинское время он знал, за что. Люди до конца своей жизни были напуганы Сталиным.

К.П. Я как раз разрабатываю эту тему. Сейчас я пишу о функции молчания, дезавуирования. Я заметил, что функция молчания довольно сложно работает в позднесоветском обществе. Все были приучены к тому, что нужно знать и молчать. Каждый что-то знал о своей семейной истории, но в общественном пространстве нужно было сохранять молчание. Об этом можно было говорить на кухне либо писать в дневнике, при условии, что ты не собираешься его показывать другим. Это и есть функция дисциплинирования публичного пространства, которая приводит к замкнутости частного пространства в позднесоветском обществе. Если говорить о послесоветском периоде, то тут меня больше интересует, почему все перестали молчать насчет преступлений сталинизма. Безусловно, они получили разрешение. Но мне интересно показать, как все

¹ Историческая Экспертиза. № 1. 2017. С. 30–66. URL: istorex.ru/page/hazanov_am_o_kom_skorbet_i_kogo_zabit_rekonstruktsiya_kollektivnoy_pamyati_v_sovremennoy_rossii.

это развивалось. Вспомним знаменитое письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Она как раз не понимала, зачем все начали чернить прошлое в публичном дискурсе.

Фактически вопрос будущего русского общества превращается в вопрос о его прошлом. Сейчас я размышляю над тем, почему в середине 90-х годов перестали говорить об этом? Это наступило не сразу после распада Союза. Во время предвыборной кампании Ельцина 1996 года говорили о преступлениях коммунизма, ГУЛАГе. После 1996 года это начинает исчезать из центрального пространства и сознания. В 1995 году выходит передача «Старые песни о главном». Я помню, как ко мне в то время приехал один мой друг из Москвы и привез с собой советские патриотические песни, которые вдруг стали очень популярны. Я тогда вначале подумал, что это замечательно, что эти песни стали доступны широкой публике, что можно наслаждаться ими, смеяться. Но, как оказалось, было не до смеха.

В словосочетании «историческая память» заключена метафора «индивидуальной памяти». На мой взгляд, это один из главных методологических капканов, поскольку общество никогда ничего не забывает. Всегда остаются книги, в которых написано о прошлом, есть те, кто постоянно об этом говорит. До тех пор пока есть общество, архивы, базы данных, нельзя говорить о забвении. Поэтому я предпочитаю оперировать другими терминами. Нужно очень осторожно обращаться

с такими понятиями, как «репрессии», «травма». Первоначальное значение слова «травма» — это рана. Но если вернуться к Солженицыну, то рана, которая может быть в твоём теле, — это твой личный опыт. Но это также может быть и рана в общественном теле. Хрущев в своем докладе тоже вспоминает о ранах. Он говорит: «Мы не должны обнажать наши раны перед всеми». Но тут имеется в виду история государственного насилия. Позорное прошлое коллектива — это и есть раны, о которых нельзя говорить.

Эта метафора очень скользкая вещь — она обладает свойством переходить от тела отдельного индивида к большому телу. Но в процессе переноса она приобретает совсем другое значение. Когда мы говорим о наших ранах, на самом деле мы говорим о насилии, которому мы были подвергнуты. Но когда Хрущев говорит о «наших ранах», он «национализирует» рану индивида и превращает ее в символ позора советского общества. Переход от индивида к коллективу — это довольно тонкий момент. Молчание — это полицейский режим. Не нужно молчать о насильственном характере режима, потому что этот страх передается «по наследству».

С. Э. Интересно, что тот, кто не испытал это насилие, транслирует ту же модель поведения. Можно сказать, что страх в России передается «по наследству».

К. П. Это часть темы моей следующей книги. Я до сих пор думаю над ее заглавием. Я почти закончил работу над статьей о Юрии

Трифонове, его повести «Дом на набережной». Это очень глубокое произведение как раз о памяти. Многие неправильно его понимают, думая, что самое важное в этой книге — это то, что случилось в 30-е годы. Но книга о другом — она о психике повествователя, о том, как он управляет памятью прошлого.

Наконец, надо сказать, что проблема образцового характера холокоста в историографии релевантна и для других контекстов. Параллельно с памятью о сталинизме я занимаюсь проблематикой памяти Франсиско Франко. В Испании наблюдаются явления, весьма похожие на советские процессы касательно памяти о государственном насилии. После смерти Франко долгие годы действительно не говорили о фашизме и гражданской войне. Приблизительно двадцать лет не говорили. В отличие от ситуации в послевоенной Германии, испанская политическая история непрерывна. Там много франкистов осталось у власти и надо было найти политически приемлемый путь к демократизации страны. Конечно, нельзя говорить о массовом насилии в Испании в 1960–1970-х годах — вопрос об истории не был таким острым, как это было после смерти Сталина в СССР. И сегодня этот вопрос в Испании — не такая большая проблема, как, например, в России. Кстати, их вождь до сих пор покоится в мавзолее. Мавзолей называется «Долина Павших» и находится около Мадрида, в горах Гвадаррамы. Это памятник погибшим в гражданской войне. У Франко была собственная версия примирения. Согласно ей, гражданская вой-

на, к сожалению, была, но после нее нужно было научиться жить вместе дружно. Там тоже нужно было молчать. Но можно было вернуться на родину. Так, республиканцы, которые эмигрировали, сбежали, смогли вернуться в Испанию еще при Франко. В мавзолее Франко похоронил своих жертв и своих соратников. Но там похоронены также республиканцы. До сих пор в памятные дни франкисты собираются у этого комплекса, чтобы почтить память погибших во время гражданской войны. В конце концов этот комплекс так и не смог стать символом примирения. Социалисты постоянно говорят о том, что его нужно по-настоящему превратить в такой символ. Это значило бы вынести оттуда Франко и захоронить его в другом месте. Однако Франко считал, что всем нужно лежать вместе, в одной могиле, где главная могила — его. При том что тысячи республиканцев продолжают лежать по всей стране в доселе неизвестных массовых могилах.

Я думаю, что этот пример наглядно показывает разницу между советским и испанским контекстами. В Советском Союзе мы более и менее знаем, где захоронены жертвы войны, но в Испании все сложнее, несмотря на то, что масштабы этой войны были гораздо меньше. Да и размеры страны тоже, их нельзя сравнить с советскими.

С.Э. А сейчас в Испании есть сторонники Франко, которые его восхваляют?

К.П. Их очень мало. Там даже есть молодые франкисты, которые

собираются и салютами восхваляют своего вождя. Но это маргинальное явление. Нет никаких оснований говорить о том, что это массовое явление.

Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» вышла большая статья о правых партиях в Европе. Показано, как ультраправые партии проявляют себя в разных странах за последние 10 лет. Показан пример Франции, Австрии, Германии. Но в Испании мы практически не видим ультраправых партий. Нужно также сказать, что у них нет проблем с «левизной». В Испании невозможная безработица, но между тем население ведет себя совершенно спокойно. Нет массовых беспорядков, как в Греции. К удивлению, выходит, что спустя 50 лет после смерти Франко Испания стала одной из немногих стран Европы, где нет ультраправой политики.

С.Э. То, что сопоставление России именно с Испанией, очень уместно. Между этими странами

действительно есть очень много общего. Например, есть постимперская травма. Очень хорошо, что Вы проводите такое сравнение, поскольку наши местные исследования страдают изоляционизмом. Они описывают ситуацию с нашей современной памятью как что-то ужасное и уникальное. Но если мы выходим уже на широкий контекст, мы видим, что это действительно ужасное явление в истории нашей страны, но оно не уникальное. Многие вещи в сравнительном аспекте раскрываются по-другому. Вы правы, когда говорите, что нельзя, например, напрямую сравнивать ГУЛАГ с холокостом, поскольку это совершенно разные виды террора. Евреев, хотя они были гражданами Германии, нацисты считали «чужими», а в ГУЛАГе были «свои». В этом плане Испания как раз ближе для сравнения. Будет очень интересно ознакомиться с Вашей будущей книгой. Большое спасибо за содержательное интервью.

“THE MEMORY OF THE VIOLENCE IN THE PAST, IS HANGING OVER SOCIETY
AS A DISCIPLINARY MECHANISM”

Interview with Kevin M. F. Platt

Platt Kevin M. F. — historian of culture, Professor of the University of Pennsylvania (USA)

Полный текст интервью размещен на сайте журнала «Историческая экспертиза»
[www: istorex.ru](http://www.istorex.ru)

«ИСТОРИЮ Я ПОЛЮБИЛ ОДНОМОМЕНТНО...»

Интервью с М. А. Давыдовым

Беседовал С. Эрлих

С. Эрлих. 15 ноября Ваша монография «20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-Столыпина» удостоена Премии Егора Гайдара за 2017 в номинации «За выдающийся вклад в области истории». Поздравляем Вас!

М. Давыдов. Спасибо!

С. Э. Почему Вы решили стать историком, как повлияли на это решение семья или школа? Где Вы учились, кто были Ваши учителя?

М. Д. Я родился в офицерской семье. Мой отец был инженером в дальней авиации. Поэтому города детства у меня не было: четыре года в Полтаве, четыре года в Благовещенске на Амуре, потом Винница, Узин в Киевской области, Днепрпетровск, откуда отец уходил в 1941 году на фронт. За десять лет я поменял шесть школ.

Историю я полюбил одномоментно. На мое счастье, на экраны вышли одновременно два фильма: «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, это к 150-летию войны 1812 года,

и легендарный французский фильм «Три мушкетера» с Жераром Баррэ в роли д'Артаньяна (лидер советского проката в 1962–1963 годах). С этого момента литература о войне 1812 года, потом о Суворове и вообще все об истории стало для меня самым привлекательным чтением. Через год-два к этому добавилась археология, потому что появилась книга Курта Керрама «Боги, гробницы, ученые». Я лично знаю не менее десятка людей, которые, прочитав эту книгу, стали археологами, — хороший пример влияния увлекательно написанной популярной книжки.

Я очень много читал. Спасибо отцу, у нас была достойная домашняя библиотека. Да и в военных городках тоже были хорошие библиотеки. Конечно, я читал и про животных, про путешествия, все как положено... Однако больше всего любил читать исторические книги. Но я никогда не думал, что история может быть основным занятием в жизни. В моей инженерной семье считалось, что, дескать, хорошо, что мальчик читает, но никто не рассматривал историю как профессию.

На мое счастье, случилось следующее: мы переехали в Жуковский, и через Московскую областную детскую экскурсионно-туристскую станцию,

© Историческая Экспертиза, 2017
Давыдов Михаил Абрамович — доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук Высшей школы экономики (Москва); mdhist@gmail.com

при которой был археологический кружок, после девятого класса я впервые поехал в экспедицию Института археологии. Тогда академик Рыбаков стал раскапывать Александровскую слободу, все думали, что он хотел найти библиотеку Ивана Грозного.

И все, с этого момента я понял: только истфак МГУ, только археология. При этом никакие другие варианты поступления мной не рассматривались, потому что в этих институтах не было археологии.

Надо сказать, что в Жуковской школе № 2 я встретил своего первого *настоящего* учителя, Валентину Михайловну Ермолаеву, дай Бог ей сто лет здоровья, мы общаемся до сих пор. Удивительный человек!

У нас был филологический класс, и она 10 уроков в неделю преподавала нам литературу. Мы «Войну и мир» изучали всю 3-ю четверть!

До знакомства с ней я, прочувшись в пяти местах, и не подозревал, что в школе может быть *так*. Не знаю, с чем сравнить свои ощущения, когда началось это общение, может быть с первым прыжком с парашютом в армии.

Она потрясающе вела уроки, мне и сейчас до нее далеко, хотя я стараюсь вести семинары в том же ключе. Но куда там! Она не просто давала нам говорить, она раскрывала в нас личности, пробуждала полемический задор, мы спорили до хрипоты о героях, которых изучали, и, естественно, о жизни в целом. Ей было искренне интересно, что мы думаем. Не могу сказать, что в советской

школе такой подход был, мягко говоря, уж очень популярен. Совсем наоборот. При этом она всегда была достаточно строгим учителем.

Я, как и все мои одноклассники, ей очень многим обязан. Не зря свою работу о всероссийском рынке я ей подарил со словами «Дорогой и любимой Валентине Михайловне, которая когда-то раскупорила автора этой книги, почему она в конечном счете и появилась», кажется так.

Я закончил школу, поступал и недобрал на дневной двух баллов, причем абсолютно объективно. Однако я получил пятерку по истории, причем у Петра Андреевича Зайончковского, чем горжусь до сих пор, поскольку мне известно, что это было непросто. Хочу сказать: слава Богу, что я не знал тогда, что есть вечерний факультет, заочное отделение, куда я мог бы со своими баллами попасть. Хорошо, что я этого не знал: я бы туда прошел, потом перевелся бы на дневное отделение, как многие мои знакомые, но, убежден, дальше ничего бы из меня не получилось.

Очень правильно получилось, что я поступил в МГУ после армии. Я один из тех относительно немногих, кто не считает эти два года потерянными и вспоминает их с благодарностью. Потому что я провел их с широко открытыми глазами.

Мне повезло, и во время срочной службы я летал воздушным стрелком-радистом на бомбардировщике Ту-16. Домой я вернулся с мозгами, вставшими на место, с появившейся системой ценностей и жизненных приоритетов, то есть всем тем, чего

мне не хватало раньше. От родителей я зависеть не хотел, и в моем городе Жуковском, центре советской авиации, меня взяли бортрадистом-испытателем в «Гризодубовскую фирму», то есть НПО «Взлет»; она, по-моему, и сейчас существует. Эту летно-испытательную фирму называли так потому, что ее первым руководителем была Валентина Степановна Гризодубова, легендарный человек, великая личность. Я даже успел получить третий класс бортрадиста-испытателя.

Поэтому я поступил на заочное отделение истфака МГУ.

Моим вторым учителем была Наталья Александровна Куканова, преподаватель филфака МГУ, которая готовила меня по русскому языку и литературе. Я считаю, что это она научила меня думать; уверен, что не меня одного. Навыки анализа текстов, которые она заложила (а я писал не менее 5–6 сочинений в неделю!), работают, надеюсь, до сих пор. Безумно жаль, что она не занималась наукой, филология потеряла крупного ученого, но так сложилась ее жизнь. Мы дружили пока она была жива.

Я отучился на «заочке» два года, и меня перевели на дневное отделение без потери года, так как я был отличником. К слову, надо сказать, что уже на первом курсе я познакомился с Иваном Дмитриевичем Ковальченко. Я рассказал ему, что меня жутко интересуют идея использования количественных методов в истории. Иван Дмитриевич давал мне различные задания по учебнику Елены Вентцель «Теория вероятности», в которой я,

естественно, ничего не понимал. Помогал брат-математик. После перевода на дневное отделение я выбрал кафедру источниковедения и историографии истории СССР, а археология осталась моим хобби, вплоть до нынешнего времени.

Это было лучшее время для кафедры источниковедения — так считаю не только я. И группа у нас была очень сильная. Моими сокурсниками были, в частности, Антон Горский, Татьяна Лаврентьева, Екатерина Лазарева, Аркадий Мурашев, Елена Осокина, Татьяна Селина, Тамара Эйдельман. Бывало очень интересно.

Возглавлял кафедру Иван Дмитриевич, его правой рукой и ведущим профессором был Леонид Васильевич Милов. Мы его обожали! Это был тонкий, ироничный, артистичный и очень умный человек! Я твердо знаю — тому, что называется «ремеслом историка», я обязан Леониду Васильевичу. Я не написал у него ни строчки, но на третьем курсе, когда я перевелся, он читал у нас курс источниковедения и вел для нашей кафедральной группы семинарские занятия. Я также прослушал два его спецкурса и, разумеется, читал его работы. И тогда я понял: вот та планка, о которой я мечтал и ниже которой я работать не буду, чего бы это ни стоило. В этом плане я Леониду Васильевичу безумно благодарен.

А с Валерием Ивановичем Бовыкиным, моим научным руководителем, я стал общаться позже, на четвертом курсе, через год. Валерий Иванович предложил мне на выбор целый ряд тем, но, сказать по правде, ни одна

из них меня особо не увлекла. Тогда он сказал, что есть еще одна тема, которую якобы никто из его студентов и аспирантов пока осилить не может: это железнодорожная статистика. Меня это заинтересовало, и я на ней остановился.

К этому моменту я не раз и не три облетел всю нашу страну — и по периметру, так сказать, и по диагоналям, и понимал, что СССР — это не просто окрашенное в розоватый цвет пространство на карте мира. Я представлял, что такое моя страна и, соответственно, чем была — хотя бы точки зрения географии — Российская империя. Поэтому анализ «Сводной статистики перевозок по русским железным дорогам» меня увлек. Например, мы знаем более-менее: в этом году того-то и того-то столько-то произвели, а в этом столько-то. Но что было дальше? Как это дальше-то все распределялось по стране?

Я понял, что данный источник реально дает новое знание, и этого было достаточно.

Вообще, «Сводную статистику» создал С. Ю. Витте. Он писал о ее необходимости еще в «Принципах железнодорожных тарифов», еще когда был частным служащим, а когда он получил власть, став директором департамента железнодорожных дел Министерства финансов в 1889 году, он начал организовывать эту статистику — за что ему вечная благодарность историков. Потому что этот источник позволяет разложить и понять если не все, то многое из происходившего в народнохозяйственном организме страны.

При этом источник подразумевал громадный масштаб черновой работы. Во-первых, станции не разнесены по губерниям, и на установление губернской принадлежности станций уходило немало времени (в «Статистических сборниках МПС» она дается, но нередко с ошибками). Во-вторых, тогда не было не то что компьютеров, но и, страшно вспомнить, калькулятор считался редкостью. Его можно было купить либо за границей, либо за приличные деньги в комиссионном магазине. Кто сейчас поверит, что тогда, в конце 70-х — начале 80-х годов тысячи авиационных штурманов в самолетах считали логарифмической линейкой? Боюсь, и про эту логарифмическую линейку не знают.

Огромное позитивное значение для меня имело то, что вторым руководителем моего диплома был Леонид Иосифович Бородкин. Я очень хотел применять математику, а Бовыкин как бы не хотел нести ответственность за то, что я там насчитаю. Поэтому Бородкин стал вторым руководителем диплома. Год наши отношения с ним были в рамках «преподаватель — студент», но с первого года аспирантуры мы с Леонидом Иосифовичем, который для меня теперь, конечно, просто Леонид, стали близкими друзьями. А позже и с его очаровательной женой Ириной Марковной Гарсковой, которая вела у нас математические методы.

Ирина заканчивала мехмат МГУ, а Леонид заканчивал МФТИ. Ковальченко нашел их и уговорил прийти в историю и помочь ему начать новый этап в развитии

исторической науки. Ни больше ни меньше! Леонид и Ирина своей демократической манерой общения вносили очаровательный диссонанс в довольно замшелую и местами по-советски барствленную истфаковскую среду, хотя тогда было получше, чем стало в 1990-е годы и «нулевые». Общение с Леонидом Бородкиным сыграло важную роль в становлении меня как исследователя. Вообще, его присутствие в нашей науке — это факт очень позитивный. Об этом я много могу говорить.

Из наших преподавателей с теплотой вспоминаю также Андрея Константиновича Соколова и Наталью Борисовну Селунскую, прекрасных историков, которые, в отличие от многих, всегда видели в студентах младших товарищей, а не объект компенсации своих комплексов.

Мой рассказ об учителях будет не полным, если я не упомяну Натана Яковлевича Эйдельмана и Виктора Борисовича Шкловского, с которыми мне посчастливилось встретиться и общаться.

С Натаном Яковлевичем и его женой, своей мамой, известным историком Элеонорой Александровной Павлюченко, меня познакомила Тамара. Что сказать? С 7-го класса я зачитывался книгой «Ищу предка», на обложке которой был портрет обаятельного, заразительно смеющегося человека. В аннотации говорилось, что он работал школьным учителем, и это было аргументом для моих родителей, которые три года капали мне на мозги, что

из-за «пятого пункта» я никогда не поступлю в МГУ и должен идти в пединститут, а потом заниматься наукой.

О чудесной семье Эйдельманов я могу говорить долго. Кроме прочего, я всегда помню, что они, люди, которых я очень уважал, первые в меня поверили как в историка. Важность этого для меня, довольно провинциального по мироощущению «парубка», переоценить невозможно.

Общение с Натаном Яковлевичем — отдельная огромная тема. Поразительный человек. О знаниях и громадной эрудиции, которые позволяли ему одинаково квалифицированно говорить об Олдувайском ущелье, Марии Тюдор и Никоновской летописи, не говоря о «своих» XVIII и XIX веках, даже не упоминаю. Кстати, в советской историографии такой «разброс» как бы не приветствовался.

Общался он со всей молодежью абсолютно на равных. Неизменная доброжелательность и приветливость, неподдельный интерес к тому, что мы, салаги, писали в своих курсовых и дипломах (ему *вся история* была интересна), — это дорогого стоило.

Он был безусловным генератором энергии, которую щедро раздавал окружающим. Его рокочущий баритон даже по телефону заряжал позитивными эмоциями. Я считаю, что, в частности, он открыл важнейшую вещь — об истории можно писать не на той смеси «Устава гарнизонной и караульной службы» с «Поваренной книгой», которая

в советской историографии считалась единственно возможным научным стилем. Оказалось, что можно писать увлекательно о том, что тебе интересно самому, и делать читателя своим «товарищем по раскопу», сообщником, если угодно. Думаю, что в немалой степени благодаря этим человеческим, личностным интонациям, которые являются одним из его фирменных знаков, его работы, раздвинувшие рамки отечественной науки, что называется, остались, сохранились.

Его книги были событиями, и люди ждали их. Кстати говоря, именно он получил, на мой взгляд, самую высшую награду, которую историк может получить. Я своими глазами видел, как в ЦДЛ ему подарили его книгу «Герцен против самодержавия», *переписанную от руки!* Представьте себе! На дворе была перестройка, год, кажется, 1987-й.

Его внезапная смерть в 1989 году, в самом расцвете сил, была первой в моей жизни *невосполнимой* потерей. Эта пробоина не заросла до сих пор.

Моим последним учителем был знаменитый Виктор Борисович Шкловский, одна из легенд советской литературы и кино. Я совершенно случайно стал его литературным секретарем и работал с ним весь первый год аспирантуры. Повезло, что говорить!

Ему нужен был помощник-историк для работы над задуманной книгой о Кутузове и Барклае-де-Толли, но в итоге он написал книгу «О теории прозы».

Общение с гением — особый подарок Судьбы. Тут с головой что-то происходит — как будто сразу поднимаешься на другой этаж и стараешься, с одной стороны, впитать как можно больше от человека, писавшего в молодости работы со скромными названиями вроде «Искусство как прием» или «Как сделан Дон-Кихот» и ставшего *реальным классиком* в 30 лет, а с другой — хоть как-то соответствовать своим обязанностям.

Непосредственно наблюдать этот блестящий, неповторимый ум, этот фейерверк интеллекта (не знаю, как еще сказать) — об этом нельзя было и мечтать. А ведь ему было 88 лет! Дай Бог каждому достойному человеку такую старость!

Благодаря Шкловскому я, естественно, узнал много очень важного и интересного, в том числе и о дореволюционной России. Он действительно был олицетворенной историей, если так можно выразиться. Его «Сентиментальное путешествие», бесспорно, входит в число лучших мемуаров о Гражданской войне. По известной «теории рукопожатия», благодаря знакомству с Виктором Борисовичем, меня от генерала Корнилова, вручившего ему в 1917 году Георгиевский крест за храбрость, и почти всех классиков XX века, включая Тынянова, Эйхенбаума, Мандельштама, Горького, Маяковского, отделяет одно рукопожатие. Значит, моих друзей и студентов — всего два.

Стоит ли говорить, скольким я ему обязан?

Словом, мне фантастически повезло с учителями, я о них всегда помню и часто рассказываю.

Возвращаясь к учебе в МГУ — так или иначе, я написал диплом «Железнодорожная статистика как источник для исследования рынка России в начале XX века» и защитил его.

Нельзя не отметить — что-то, а некоторую привычку к масштабу и, в частности, к масштабу Империи кафедра источниковедения под руководством Ковальченко умела студентам прививать.

С. Э. Какой это год был?

М. Д. Это был 1981 год. Я окончил университет с отличием, и это мне здорово помогло. С Валерием Ивановичем у нас было джентльменское соглашение — если будет нормальный диплом, то можно будет говорить о заочной аспирантуре. Дело в том, что дневная аспирантура тогда была только целевая. Например, ты поступаешь на кафедру источниковедения, но обязательно с заявкой, например, от Института истории СССР АН СССР или Главархива СССР и т.д. Потом ты получаешь степень и направляешься на работу в Институт истории или Главархив. То есть дневная аспирантура сразу после окончания была практически не реальна, если ты не имел соответствующих знакомств, чтобы получить заявку.

И здесь мне помогло то, что я хорошо окончил. Помимо меня было еще два таких человека с «российских» кафедр. Мы окончили с красными

дипломами, но у нас не было связей, чтобы поступить в «целевку». Поэтому нам дали необычное распределение — возможность поступления в дневную аспирантуру Института истории СССР АН СССР, но жестко — на историю советского периода. Я подал заявление на поступление, но за неделю до экзаменов я переписал его, сказав, что по семейным обстоятельствам должен учиться в заочной аспирантуре. Я спокойно поступил и продолжил заниматься дореволюционным периодом.

Но, к сожалению, тему кандидатской мы с Валерием Ивановичем Бовыкиным выбрали не так чтобы безумно удачно. У меня в дипломе было пять содержательных глав. Мы выбрали одну — «Перевозки сахара», в которой мне удалось установить, что отдельные рафинадные заводы в 1909–1913 годах имели вполне определенные географически рынки сбыта, и решили, что я на ее основе буду писать диссертацию «Монополия и конкуренция в сахарной промышленности России начала XX в.».

Реально пришлось начать с нуля, потому что как работала рафинадная отрасль — представления ни у кого не было (а 70–75% сахара потреблялось в виде рафинада). Однако благодаря еженедельнику «Вестник сахарной промышленности» я понял, как работал рынок. И мне повезло с архивами. В Киеве я нашел уникальные материалы, открывающие механику торговли сахаром, ее повседневность. В ЦГИА СССР (РГИА), благодаря помощи сотрудников этого легендарного архива,

посчастливилось найти документы личного происхождения, которые раскрывали тему в необычном для советской историографии ракурсе и т.д.

Работу я защитил, но продолжать эту тему я не стал.

Дело в том, что, закончив истфак, я начал исполнять, что называется, мечту детства и стал параллельно погружаться в другую эпоху: конец XVIII — начало XIX века, время героев 1812 года. Меня всегда к этому тянуло, я всегда знал, что об этом что-то напишу. Так, весь первый год аспирантуры фактически у меня ушел на изучение опубликованного наследия А. П. Ермолова, то есть я начал вживаться в эту эпоху.

Тогда в Институте истории была очередь на защиту — нужно было ждать полтора года. Я решил, что не буду публиковать книгу по диссертации, а начал писать работу «Оппозиция его Величества», посвященную моим героям: генералам А. П. Ермолову, М. С. Воронцову, Д. В. Давыдову, А. А. Закревскому, П. Д. Киселеву, И. В. Сабанееву.

Н. Я. Эйдельман поощрял эти мои штудии, в сущности, он и заказал мне текст «листа на три печатных», из которых потом выросла книга. И думаю, что его влияние в ней вполне ощутимо.

С. Э. Вы в советское время написали ее?

М. Д. Да, и в некотором смысле это — продукт перестройки, хотя, когда я начинал писать, в обиходе

было еще слово «ускорение» и уже начался «сухой закон». Во многом «Оппозиция» — абсолютно перестроечный текст, который я позже намеренно не менял и не дополнял. Дух перестройки, мне кажется, там отразился в чистом виде. Она должна была выйти, спасибо Сергею Мироненко, в издательстве «Наука» в 1990 году, а вышла в 1994 году в Германии, в серии «Десять новых учебников для России», за что спасибо Леониду Бородину. В этой книге воплотились мои перестроечные надежды на способность России к переменам. У Александра Каменского есть, на мой взгляд, похожая в смысле надежд книжка — «Под сенью Екатерины», вышедшая в то же время.

С. Э. А когда Вы защитили кандидатскую?

М. Д. Кандидатскую защитил в 1986 году. А то, какую докторскую я буду писать, я придумал еще будучи студентом, в Ленинке. Она должна была быть посвящена железнодорожной статистике. Конечно, это потребовало, как принято выражаться, очень мощных, многолетних черновых усилий. Было очень много черновой работы, громадные массивы перелопаченных данных.

Слава Богу, на завершающем этапе появились персональные компьютеры. Это был другой мир, другая жизнь. Сейчас я за пару часов могу сделать больше, чем раньше за недели, если не месяцы.

Я эти 20 лет, когда считал на калькуляторе, загнал на периферию памяти, но ведь фактически у меня

годы ушли впустую, ну, не впустую, но крайне непродуктивно проведены были! Я имею в виду то, когда ты считаешь столбиком, к примеру, 87 губерний, по которым идут железные дороги. Да хоть бы и 50 губерний! И каждый из множества показателей их надо просчитать с калькулятором без ошибки, потом проверить надо, чтобы сошлось. Ужас! Все эти «портянки» мои, склейки, метры испанной миллиметровки, которую еще не всегда купить было можно, и сейчас лежат в моем архиве. Такой памятник эпохе.

Итак, целью моей докторской было ввести в научный оборот «Сводную статистику перевозок». Увы, так сложилось, что с Валерием Ивановичем в последние годы его жизни мы не очень часто общались. Но он одобрил мой план докторской, но, к сожалению, буквально через несколько месяцев его не стало. Он умер в Барселоне после исторического конгресса. Обидно! Страшно!

Кандидатскую я защищал будучи школьным учителем, а с 1988 года стал работать в Историко-архивном институте. Я пережил и лучшие, и худшие его времена. Когда я стал там преподавателем, наука ушла на какое-то время в тень, потому что мне надо было достичь такого уровня преподавания, который я считал для себя приемлемым. На нашей кафедре тогда читали лекции «от Адама» и до 1917 года. Три года я в основном просто сидел и читал литературу по Древней Руси, по феодализму, по Средневековью, по XVIII веку, чтобы задавать таким, например, коллегам, как

В. Я. Петрухин, И. Н. Данилевский, О. Е. Кошелева, не совсем уж глупые вопросы. То есть осваивал все, что для моей научной деятельности, скажем так, было не очень нужно.

Докторскую «Рынок и рыночные связи России в конце XIX — начале XX в. (источниковедческое исследование)» я защитил в 2004 году. С этого момента вся моя многолетняя черновая работа стала давать плоды. У меня появились данные, которые науке не были известны.

Мне, в частности, удалось доказать несостоятельность идеи о «голодном экспорте» хлеба из Империи, потому что это был такой пропагандистский миф, вроде того, что, вот, у нас батареи не топят, а они гонят газ в Европу. Как будто батареи плохо топят от того, что газ куда-то идет. Вы свой ЖЭК проверьте!

Конечно, пока я писал докторскую, очень многое изменилось в моем видении страны, в моем видении русской истории. Оно продолжает меняться до сих пор, и сейчас я бы написал немного иначе книгу, которую я написал год назад.

Важным моментом в докторской было то, что она начала нынешний виток полемики о достоверности урожайной статистики ЦСК МВД. Она (полемика) заставила меня искать в архиве новые аргументы в пользу ее недостоверности, и они представлены в моей последней книге.

Я считаю, что любая корректная полемика идет на пользу делу. Мне интересно любой ценой доказывать свою правоту. Нет, мне интересно

понять, что было на самом деле. Мой девиз — и я его поставил эпиграфом в книге — это мысль гениального Фазиля Искандера: «У нас в стране наука настолько политизирована, что люди как-то забывают, что истина и сама по себе интересна». Поэтому, кстати, я долго сравнительно мало публиковался — мне важнее было понять проблему, «развить» ее, а доводить до печати — в общем-то, было скучно.

Еще в дипломе у меня была глава о перевозках сельхозтехники в 1910 и 1913 годах. Рост ее потребления, причем не только в Сибири, был таким внушительным, что я как-то стал сомневаться в «провале» Столыпинской аграрной реформы. В докторской я проанализировал на уровне губерний перевозки сельхозмашин и орудий за 1900–1913 годы, и стало ясно, что все это время относительно исхода этих преобразований нас банально обманывали.

Поэтому параллельно с написанием докторской я стал изучать официальную статистику столыпинского землеустройства на губернском, естественно, уровне. В плане обработки она настолько же легче железнодорожной статистики, насколько звонок с мобильного проще поездки из деревни в райцентр, чтобы поговорить по телефону. Однако никто этого за сто лет (!) не удосужился сделать.

И статистика землеустройства подтвердила то, что показала статистика железнодорожных перевозок сельхозмашин и орудий, — реформа успешно развивалась, не было никакого «краха»! Первый текст я напи-

сал еще в 1999 году. Но тогда Юрий Петров, тоже ученик Бовыкина и нынешний директор ИРИ РАН, сказал, что как минимум два члена редколлегии категорически против печати статьи. К сожалению, тогда ее опубликовать не удалось, ее текст я потом включил в монографию «Очерки аграрной истории».

Дальнейшее изучение Столыпинской реформы, истории крестьянства требовало расширения поля исследований, и в 2010 году я издал свою докторскую в существенно дополненном виде. Это монография «Всероссийский рынок в конце XIX — начале XX в. и железнодорожная статистика». Новации как раз были связаны с историей реформы, вообще с историей крестьянского вопроса, продовольственной помощью и так далее. В дальнейшем привлечение новых источников привело к появлению книги «Двадцать лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-Столыпина». Там поднимается ряд важных проблем, которые либо решались некорректно, либо просто не ставились.

С.Э. Когда я читал эту книгу, то я обратил внимание, что накопления в сберкассах в результате Столыпинских реформ стали увеличиваться. Какими темпами росли сбережения крестьян?

М.Д. Так и есть. Сбережения всех категорий вкладчиков увеличивались, но крестьянские росли быстрее остальных, исключая общественных и частных служащих, темпы роста сбережений которых сопоставимы с крестьянскими;

отчасти это тоже показатель успеха модернизации.

И здесь есть очень интересные сюжеты.

Сопоставимая статистика сберегательного дела появляется в 1896 году, после реформы государственных сберегательных касс, проведенной С. Ю. Витте. Так вот, если население Империи за 1896–1913 годы увеличилось в 1,4 раза, а число сберегательных касс – в 2,2 раза, то число книжек и сумма вкладов на них – в 4,3 раза (в 1896 году имелось 1991,8 млн сберкнижек, на которых хранилось 358,9 млн руб., а в 1913 году – 8608,7 млн книжек с 1549,8 млн руб. Это не считая вкладов в процентные бумаги, я их не рассматривал в этой работе).

А вот численность сельского населения выросла за тот же период в 1,3 раза, число же крестьянских книжек – в 6,9 раза, а сумма вкладов – в 7,2 раза. При этом больше всего их было в Центрально-Промышленном районе.

Если же суммировать показатели тех категорий вкладчиков, которые безусловно обнимают понятие «простой народ», то есть «земледелие и сельские промыслы», «городские промыслы», «фабрики, заводы, рудники», «услужение» и «нижние чины», то в 1896 году представители этих «родов занятий» в сумме имели 977,0 тыс. книжек со 150,1 млн руб., а в 1913 году – соответственно 5173,6 тыс. и 867,7 млн руб. То есть число принадлежащих им книжек выросло в 5,3 раза, а сумма вкладов – в 5,8 раз. Если сберкнижки вклад-

чиков этих категорий в 1897 году составляли 49,0 % всех книжек, то в 1913 году – уже 60,1 %, а доля их вкладов повысилась с 41,8 до 56,0 %.

В книге я оперирую данными за 1897–1913 годы, потому что в 1897 году прошла первая всероссийская перепись населения, и это позволяет достаточно корректно вычислять ряд относительных показателей, таких как число книжек и сумма вкладов на 1000 жителей губернии и т.д.

Вообще, самые преуспевающие категории населения за эти 18 лет (с 1896 по 1913) – это сельские жители, а также «общественные и частные служащие», в том числе работники частного бизнеса.

Естественно, мне стало интересно, а что изменилось именно за годы Столыпинской аграрной реформы?

В целом за годы реформы благосостояние населения страны значительно выросло. Число всех сберкнижек в государственных сберегательных кассах выросло на 60,5 % – с 5,4 до 8,6 млн, а сумма вкладов на них – на 63,9 % – с 945,4 до 1549,8 млн руб. При этом количество крестьянских книжек увеличилось на 82,3 % – с 1,4 до 2,5 млн, а вкладов на них стало больше на 83,4 % – 480,2 млн руб. вместо 261,9.

Однако погубернский анализ, как всегда, позволяет увидеть то, что скрывается за общеимперскими показателями.

Если за годы реформы сумма крестьянских вкладов в Тверской губернии возрастает на 15,8 млн руб.

(стоимость лучшего броненосца), в Московской — на 12,4, во Владимирской — на 9,7, в Смоленской (из которой Энгельгардт писал свои «12 писем из деревни») и Ярославской — на 8,5 млн руб. в каждой (это два крейсера «Варяг»!), в Новгородской, Калужской, Костромской, Пермской, Рязанской губерниях — на 5–6 млн руб., то в Бессарабской они уменьшились на 111 тыс. руб., в Таврической и в Херсонской — на 770 тыс. руб. И вообще в губерниях южной половины Европейской России темпы прогресса сберегательного дела явно отставали от того, что наблюдается в Нечерноземье.

Оказалось, что крестьяне ряда губерний Центрально-Черноземного района, Малороссии, Юго-Запада, Новороссии и Предкавказья предпочитали вкладывать сбережения в кредитные кооперативы, которые за счет более высоких процентов по вкладам и отсутствия ограничений по их сумме с началом реформы Столыпина успешно конкурировали со сберегательными кассами.

Так вот, если расположить мои данные на карте, то мы увидим, что сберегательное дело нарастает с юга на север. То есть наивысшие показатели мы видим в Нечерноземье. Я говорил, что и в 1890-х, и в 1913 году больше всего книжек и вкладов было у крестьян Центрально-Промышленного района. А мощь кредитных кооперативов, наоборот, увеличивается по мере движения с севера на юг. Самые богатые кооперативы еще в 1890-х годах были на юге, не считая Прибалтики и Польши, которые вообще в этом плане были безусловными лидерами. И вот крестьяне

южных губерний и областей предпочитали нести деньги в кооперативы, а не в сберкассы. В кооперативах, повторюсь, был выше процент по вкладам и не было ограничения по величине вкладов (в сберегательных кассах — не более 1000 руб.).

Вообще, когда мы касаемся проблемы сбережений, надо иметь в виду, что степень развития сберегательного дела, выражаемая прежде всего числом книжек и — в меньшей степени — суммой вкладов, является не только, а иногда и не столько показателем уровня достатка крестьян (и не только!) данной губернии (региона), сколько индексом уровня модерности сознания его жителей. Напомню мысль Б. Н. Чичерина о том, что крепостничество не учило людей делать сбережения, что «работладельческое хозяйство не могло развить привычки к сбережениям ни в помещиках, ни в крестьянах».

Помещики, понятно, все имели «на халяву». Вот, к примеру, как можно представить сберегательную книжку на имя Пушкина? Хотя, может быть, на имя Пестеля можно представить...

С. Э. Хорошо сказано! (смех)

М. Д. Так вот, также этой привычки не было и у большинства крестьян, по крайней мере сразу после 1861 года. То есть денег на руках у населения в реальности было больше, чем они хранили в сберегательных кассах и кооперативах. Рост показателей сберегательного дела — это свидетельство не только роста благосостояния, но и размывания патриархальной психологии населения.

Меня, конечно, сильно удивили некоторые полученные цифры, например количество крестьянских семей, имевших сберкнижки.

С.Э. А сколько процентов семей имели накопления?

М.Д. В 1897 году, если считать, что семья состояла из шести человек, как по переписи, то, грубо говоря, два с лишним процента в целом на Россию. В 1913 году – в среднем 10 % на Россию (имею в виду крестьян). Это с большим региональным разбросом.

Вычисляю я их так же, как это делали в то время – численность сельского населения в данном году делится на 6 (средняя численность семьи по переписи 1897 года) и получается *примерное* количество крестьянских семей в данной губернии и данном году. А потом, исходя из тезиса о том, что в одной семье была одна сберкнижка, определяется процент семей, имевших книжки.

По моим подсчетам, в 1913 году более чем в 30 губерниях Империи доля крестьянских семей, имевших сберкнижки, превышала 10 %, в 14 – 20 %, а в Ярославской, Тверской, Московской, Эстляндской, Костромской и Владимирской – была выше 30 %, в Ярославской губернии она составила 68,1 %, в Тверской – 47,4 %.

Я честно говорю в своей книге, что меня самого эти данные крайне удивили, и я к ним пока привыкнуть не могу.

Возможно, следует отдельно исследовать гендерный фактор. Потому

что статистика сберкасс считает, что в семье был один вкладчик. Небольшое число людей, 3 %, имели по две сберкнижки. Например, сберкнижка до совершеннолетия внука или на похороны, но это не очень значимые цифры. Может быть, крестьянские жены могли иметь вклады. Из источников мы знаем, что они нередко имели свой бюджет, отдельный от мужа. Я не могу сказать, что это было в 100 % случаях, но источники говорят, что доходы от продажи птицы и яиц в ряде местностей считались «женскими» деньгами. То есть вполне вероятно, что и женщины могли там участвовать.

Даже если уменьшить вычисленные мной проценты, допустим, с 68 до 30 %, то это все равно переворачивает наше понимание крестьянского благосостояния в совершенно другой ракурс, в другую плоскость. Это практически революция. Но я готов к любой конструктивной поправке к своим данным, к новому знанию.

Тем не менее я признаю, что мне самому некоторые цифры кажутся завышенными.

С.Э. Но тут, как я понимаю, главное – не столько количество, сколько динамика? То, что за короткий срок, за 18 лет, в семь раз увеличилось количество сберкнижек?

М.Д. Да. Я уже говорил, что крестьянские вклады на сберкнижках росли быстрее, чем по Империи в целом.

С.Э. То есть это говорит о том, что эти люди не голодали, раз они могли откладывать деньги...

М. Д. Конечно! И вот здесь мы подходим к очень важной проблеме, которую я поднимаю и рассматриваю в книге, — к проблеме семантической инфляции. Под ней я подразумеваю тот факт, что смысловое наполнение множества терминов, в том числе и самых простых, меняется с течением времени, потому что другой стала сама жизнь.

Не подлежит сомнению, что жители Российской империи в конце XIX — начале XX века в понятия «голод», «нужда», «непосильные платежи», «насилие», «произвол» и т.п., которые для традиционной историографии являются ключевыми при описании дореволюционной России, вкладывали, мягко говоря, не совсем тот смысл, который вкладываем мы сейчас.

Особенно показателен в этом плане термин «голод».

До революции 1917 года он служил для обозначения любого крупного неурожая хлебов в нескольких губерниях (в том числе и считающегося смертным голода в 1891–1892 годов, совпавшего с эпидемией холеры, которая и унесла основную часть жертв), при котором автоматически начинал действовать «Продовольственный устав» и жители пострадавших районов получали от государства продовольственную помощь.

У каждого времени свой «среднестатистический» уровень страданий. Многие тысячи страниц, опубликованных до 1917 года, изображали «тяжелое», «бедственное» положение российского народа. Хотя в этой ли-

тературе и публицистике было немало явных спекуляций, вместе с тем, думаю, значительная часть писавших об этом была искренна. Невозможно поверить, например, что кривил душой В. Г. Короленко, когда в 1891–1892 годах писал свой «Голодный год», или Л. Н. Толстой, постоянно и активно участвовавший в помощи пострадавшему населению, и многие другие достойные люди, наблюдавшие народную нужду. Разумеется, никто не оспаривает факт этой нужды. Однако людям в начале XXI века хорошо бы помнить, что, по неполным данным, в 1891–1908 годах казначейство ассигновало на продовольственную помощь нуждающимся жителям страны около 500 млн руб. «Большая флотская программа» стоила, напому, 430 млн. руб.

В более широком контексте термин «голод» широко употреблялся для характеристики *любого* дефицита. В литературе, в публицистике и в аналитике можно встретить такие словосочетания, как «сахарный голод», «металлический голод», «хлопковый голод», «нефтяной голод», «дровяной голод», «мясной голод» и т.д.

Показательна ситуация лета 1910 года, когда после распада Соглашения рафинеров цена рафинада резко упала, а песок оказался в дефиците. Сложилась удивительная ситуация. С одной стороны, в ряде городов проблемой было найти «какой-нибудь вагон песка», а с другой — рынок был буквально завален рафинадом, который падал в цене с каждым днем. В итоге в Варшаве в конце июля потребители, видя, что песок крупного и среднего кристалла сравнился в цене с кусковым

рафинадом, стали покупать дешевые сорта последнего и толочь его в песок, чтобы сварить варенье. И вот это положение в тогдашней прессе абсолютно серьезно именовалось «сахарным голодом»!

Старая дореволюционная система ценностей рухнула в 1917–1922 годах вместе со старыми представлениями о среднестатистическом уровне страданий. Возникла новая и куда более страшные точки отсчета народных бедствий и страданий, в частности людоедство.

Но термин «голод» как их мерило остался. В русском языке, к сожалению, очень мало слов, которые выражают градации понятий «голод» и «недоедание».

Отчасти поэтому у нас дореволюционный неурожай, при котором правительство выделяло на помощь пострадавшим суммы, сопоставимые с оборонным бюджетом Империи, как, например, в 1891–1892, 1906–1907 годах, и голод с людоедством, как было в 1921–1922, 1932–1933 годах, в блокаду Ленинграда, в 1946–1947 годах, именуется одинаково — «голод».

С другой стороны, некоторые «историки» делают это намеренно — в унисон с интернет-фальшивками, сообщающими о миллионах якобы умерших от голода при Столыпине, которые потом с энтузиазмом повторяются на центральных телеканалах.

Отсюда во многом — мозги набекрень и «разруха в головах» как у историков, так и у «читающей публики».

Кстати, Лев Толстой, как человек, владеющий словом, подобные вещи понимал. Чтобы точнее описать ситуации с неурожаями в 1890-х годах, он прибегал к уточнению — «индийский» голод, то есть смертный: «Если разумеешь под словом “голод” такое недоедание, вследствие которого непосредственно за недоеданием людей постигают болезни и смерть, как это, судя по описаниям, было недавно в Индии, то такого голода не было ни в 1891 году, нет и в нынешнем», то есть в 1897 году.

Невозможно, чтобы дореволюционные неурожай и «голодомор» с блокадным голодом Ленинграда именовались одинаково.

То же относится и к другим словам негативного спектра. Если Столыпинская аграрная реформа была насилием, то как тогда именовать коллективизацию?

Если дореволюционная деревня была разорена, то какие слова в русском языке должны обозначать «колхозную деревню» с законом о трех колосках?

Короче говоря, если мы не начнем всерьез учитывать фактор «семантической инфляции», то нам не понять адекватно Россию после 1861 года.

С.Э. Я хотел спросить Вас еще про кооперативное движение...

М.Д. Это очень интересная тема. Ведь почти все сельхозмашины, о которых я говорил, и многое другое покупалось на кооперативные деньги. То есть кредитные

кооперативы стали приводным ремнем Столыпинской реформы. Если бы не политика Коковцова, их роль была бы еще более важной.

С.Э. А когда стали возникать первые кооперативы?

М.Д. Вообще — еще после реформы 1861 года, но тот опыт был не слишком удачным. Я начинаю анализ кредитной кооперации с 1905 года. К 1916 году фиксируется громадный рост всех показателей, иногда на порядок — в десять и более раз!

Достаточно сказать, что только кредитные кооперативы за 1906–1913 годы выдали крестьянам ссуд на 1912,3 млн руб. (без Польши и Прибалтики). Это два военных бюджета Империи в предвоенном 1913 году! «Большая флотская программа» стоила 430 млн руб. С учетом Польши и Прибалтики, которые в плане кооперации значительно превосходили остальные губернии, эта сумма возрастает до 2,5 млрд руб. Это безумные деньги.

С началом аграрной реформы Столыпина выяснилось, что целый ряд предрассудков в отношении кооперации оказался несостоятельным. Кредитная кооперация, которую затевали в 1860–1880-х годах люди типа князя Васильчикова, наталкивалась на непонимание крестьян. Крестьяне нередко считали, что им просто дают деньги без возврата (мол, господа сошли с ума, дают — что ж не взять).

А в 1906–1914 годах ситуация была уже другой. Например, в 1913 году

убытки кредитных кооперативов были ничтожны — в сумме всего 685 тыс. руб. Тысяч! И в происхождении убытков видную роль играли злоупотребления и растраты. То есть мы видим, что в массе крестьяне уже возвращали ссуды вовремя. Пока чиновники спорили об обеспечении ссуд, как пишет Я. Коцонис, на местах люди жили и работали. Работала сама система!

Но главное — это доказывает, что у крестьян активно менялась психология.

С.Э. То есть основная форма кооперации была кредитная?

М.Д. Нет, это я в книге уделяю ей главное внимание, поскольку важно было понять, за счет чего поднималось в годы реформы сельское хозяйство. Были и другие виды кооперации — потребительская, бытовая, производственная, но я пока не занимался этой темой.

Кооперация в годы реформы пробудила к жизни огромное количество образованных деятельных людей. Они могли плохо относиться к режиму, но с удовольствием работать в кооперации. Например, брат Ариадны Тырковой-Вильямс, народоволец, вернувшийся с глубоким разочарованием в идеях молодости. Когда-то их отец создал сельскохозяйственное общество, а после его смерти сын принял на себя обязанность руководителя. Причем дефицит грамотных руководителей был огромным. Оказалось, что в стране было много людей, которые не знали, чем заняться, и они нашли в кооперации

настоящее дело. Они изменили свои жизненные сценарии.

Думаю, не случайно в романе Алданова «Самоубийство» есть героиня, социал-демократка, участница II съезда РСДРП. Постепенно она разочаровывается в революции. На ее глазах происходят теракты 1906 года в Петербурге, взрыв на Аптекарском острове. Она уже не понимает, что происходит. Полное опустошение. Погибшие невинные люди... Так вот, она приезжает в Москву и друзья ее устраивают в кооперацию — после этого она просто преобразуется! Алданов как историк от Бога, просто так он бы этот момент там не поместил.

У крестьян менялась психология. Патриархальность, конечно, оставалась, ее носителями были еще миллионы людей, но она постепенно размывалась. Настало время перемен, причем зримых. Прекрасные зарисовки этих изменений есть у той же Тырковой, есть и у Федора Степуна, есть у Чайнова, есть и у других современников. Степун перед войной много ездил по стране как юрист и видел, как меняется Россия.

Полученные мной результаты не означают, что все было прекрасно — конечно, нет! В стране было очень много проблем. Но эти проблемы решались. И для того, чтобы их решить, абсолютно не нужно было строить «социализм в одной отдельно взятой стране».

С.Э. То есть на следующем шаге крестьяне могли перейти и к производственной кооперации, про-

сто война и революция не позволили?

М.Д. Они уже были до 1914 году — маслодельные, молочные кооперативы, картофелетерочные, крахмальные — все это уже было.

На зерновое хозяйство Столыпинская реформа за эти считанные годы априори не могла оказать сильного воздействия. Перестройка зернового хозяйства — тяжелейшая вещь. Только большевики могли думать, что это делается легко и быстро. На деле эффект проявился бы через много лет, может быть, через десять — но не в 1913 году.

А вот что касается таких отраслей, как молочное дело, овощеводство, птицеводство, свиноводство, — там ситуация в годы реформы определенно начала меняться

Вот мы все знаем, что главным предметом нашего экспорта в то время был хлеб. Давайте посмотрим на статистику: всего хлебов в 1913 году вывезено на 561 млн рублей. Масла — на 72 млн. А яиц — на 90 млн, и еще на 15 — птицы (живой и битой), а всего — на 105 млн рублей. То есть птицеводство — вторая после хлеба отрасль вывоза! Главные губернии, откуда шел вывоз, — Центрально-Черноземный район. Я в РГИА нашел документ из Тамбовской губернии про одного англичанина, который там построил холодильники и начал скупать яйца, птицу, дичь и отправлять в Англию. И моя старинная приятельница, которая из тамбовских дворян, вспомнила рассказы бабушки, как к ним в имение приезжали

англичане, — теперь ей стало ясно, что это были за англичане.

С. Э. Когда Столыпинская реформа началась, часть крестьян вышла из общины, но большая часть ведь осталась. А они входили в кооперативы?

М. Д. Конечно, входили! Когда говорят о том, что община тормозила сельскохозяйственный прогресс, то речь идет о том, что крестьян может сдвинуть лишь убедительный живой пример. Столыпинская реформа и давала такие примеры. Воздействие реформы не ограничивалось теми, кто вышел из общины, полутора миллионами хуторских и отрубных хозяйств, которые были к 1917 году.

Однако, согласно закону 1910 года, крестьяне беспередельных общин — а это треть всех общин — стали потенциальными собственниками, то есть, грубо говоря, получили право на приватизацию. То, что они не сразу стали это делать, — это их дело. Они могли это сделать через пять или десять лет. «Декрет о земле», конечно, все это уничтожил.

С. Э. Еще хотел спросить: в советское время нам внушали, что Столыпинская реформа ничего не решила и надо было забрать землю у помещиков. Но в недавних работах я встречал, что у помещиков и так оставалось очень мало земли. Как было на самом деле, сколько земли оставалось у помещиков к 1917 году?

М. Д. Согласно переписи 1916 года, крестьянские посевы составляли

89,3 %, конечно, с учетом арендованной земли, 94–95 % учтенного скота также принадлежало крестьянам. Достаточно сказать о результатах «черного передела», чтобы получить представление об этом сюжете. Такой яростный борец за землю, как Н. П. Огановский, писал в 1923 году, что даже по официальным данным в 29 губерниях Европейской России эта прирезка увеличила в среднем земельный надел одного едока с 1,87 дес. до 2,26 дес., то есть всего на 0,39 дес. А поскольку в прирезанную землю явно входила арендованная, то в действительности средняя прибавка вряд ли превысила 0,2 дес. на едока. И, писал Огановский, главный положительный эффект революции для крестьян заключался, конечно, не в этой микроскопической прибавке, а в уничтожении экономической зависимости крестьян от помещиков. За такую точку зрения он получил, ясное дело, пинка от властей, но мне его не жалко — он призывал к «черному переделу» всю жизнь.

Н. Л. Рогалина со ссылкой на Першина и Месяцева повторяет эти цифры, добавляя, что в расчете на одно хозяйство прибавка составила 0,4 дес., а на душу сельского населения — 0,08 дес.

То есть с точки зрения экономической овчинка явно не стоила выделки, о чем задолго до революции предупреждали вменяемые экономисты. Более того, крушение помещичьих хозяйств отбросило аграрный сектор России назад — по факту. Уровень агрикультуры не мог не понизиться. И добро бы крестья-

яне получили землю действительно в свою собственность!

Но ведь собственность отменили! И не нужно думать — как нас всех учили и как до сих пор считают многие, — что речь идет только о собственности помещиков.

«Декрет о земле» аннулировал частную собственность на землю не только помещиков, но и всех остальных социальных категорий населения, в том числе и крестьян. Во-первых, речь идет о 2,5 млн укрепленцев, затем о 1,5 млн хуторян и отрубников. Во-вторых, еще до 1905 года крестьяне имели в частной собственности 23 млн дес., а после реформы они купили у Крестьянского банка или через него вкладчину еще 10 млн дес. (территория Болгарии). То есть все они копили деньги на эту землю и покупали ее — впустую.

В-третьих, согласно закону 1910 года миллионы крестьян в непеределявшихся общинах (треть всех общин, напомним) стали собственниками своей земли и де-факто могли реализовывать свое право, когда им заблагорассудится.

Но и это не все.

Ведь все 123,6 млн дес. наделной крестьянской земли на 1 января 1907 года были выкуплены. Да, большая часть земли оставалась в общине и ею пользовались на общинном праве. Но потенциально эта земля *уже* была крестьянской собственностью.

Нам как-то не сразу приходит в голову, что «Декрет о земле» просто-

напросто уничтожил результаты всей выкупной операции по реформе 1861 года. Оказалось, что три поколения крестьян выкупали землю, нередко с большим напряжением, напрасно.

Да, множество крестьян были в 1906–1916 годах против частной собственности и боролись со Столыпинской аграрной реформой. Но это отнюдь не означало, что с течением времени они не изменили бы своей позиции — например, вернувшись с фронта после знакомства с сельским хозяйством польских, австро-венгерских или румынских крестьян.

Это не означало также, что их дети принимали на себя моральное обязательство отвергать частную собственность и т.д.

Теперь этот путь был закрыт — только потому, что кучка — в сравнении с численностью населения страны — недоучек, подобравших власть, которая валялась на мостовой, мечтала о мировой революции и начала строить социализм.

Конечно, масса крестьян, в силу ряда причин и прежде всего низкой правовой культуры, не осознавала всего этого. Позже они вникли в эту проблему предметно — помогли и продовольственная диктатура, и продразверстка, и страшная Гражданская война, закончившаяся голодом 1921–1922 годов с 5,5 млн жертв.

Что могла изменить в строе крестьянского хозяйства эта ничтожная прирезка в 0,4 дес.?

И в конечном счете вехи (этапы) решения аграрного вопроса в России выглядят так — поначалу все крестьянство дружно ограбило всех помещиков, потом бедные и средние крестьяне ограбили зажиточных, кулаков, используя советскую терминологию (а иногда и средних), а потом Советская власть в 1930 году ограбила всех, загнав в колхозы.

Ну и где тут помещичье землевладение, которое якобы не давало крестьянам дышать? Надо думать, что с этого времени крестьяне начали дышать полной грудью?

С.Э. Фактически Ленин занимался демагогией? Он понимал, что то, что они заберут у помещиков землю, ничего не решит?

М.Д. Конечно, понимал. Но понимал и то, чего не понимает или делает вид, что не понимает традиционная историография, а именно: психологический момент в проблеме помещичьего землевладения был зачастую куда важнее экономического. Достаточно вспомнить Чехова, Бунина и других писателей того времени, чтобы не сомневаться в этом. Множество крестьян просто мечтали убрать помещиков, чтобы «горизонт не застили».

Есть еще одна очень важная проблема, которую почти никто не поднимает. Дело в том, что сам по себе размер надела большей частью не определял уровень жизни крестьянина, исключая отдельные случаи *реального* малоземелья. В Самарской губернии были наделы до 15 десятин на двор. И что, всегда крестьяне там жили лучше, чем

в Тульской или в Калужской губернии, где размер надела был намного ниже? Алексей Сергеевич Ермолов выпустил в 1906 году отличную книгу «Наш земельный вопрос», по которой я всех студентов заставляю делать реферат. Ермолов говорит: предположим, вся земля перешла крестьянам и даже бесплатно, и строит то, что называется сейчас контрфактической моделью. Он доказывает, что крестьяне на этом ничего не выиграют, а только потеряют. Почему? В первую очередь потому, что они лишатся заработка у помещика. Этот заработок играл очень важную роль в их хозяйстве. При том что не все крестьяне были в состоянии эффективно хозяйствовать самостоятельно. Далеко не все и не всегда! Это объективная вещь. Уровень жизненной активности людей неодинаков.

С.Э. То есть это был пропагандистский прием, чтобы дорваться до власти. Но ведь крестьяне стали забирать землю сразу после февраля 1917 года. Почему же работала эта пропаганда большевиков?

М.Д. А большевики тут вообще были ни при чем.

Отречение Николая II дало миллионам крестьян моральную санкцию на реализацию своей вековой мечты — «черного передела», то есть захвата всех некрестьянских земель (помещичьих прежде всего) и последующего равного их раздела. Как известно, эта идея — один из главных архетипов сознания крестьян, сформировавшийся задолго до отмены крепостного права.

Века принудительного труда формировали в русском крестьянстве твердое убеждение в том, что, с одной стороны, право на землю имеет только тот, кто ее непосредственно обрабатывает, а с другой — что земля является необходимым, естественным источником пропитания для каждого человека. Понятно, что помещичья собственность на землю в эти воззрения не вписывалась, а правительство за почти полвека после реформы ничего не сделало для того, чтобы изменить эти подходы.

Получив в 1861 году только часть помещичьей земли, крестьяне повсеместно ждали следующей прирезки, и императоры Александр II и Александр III безуспешно пытались официально опровергать эти слухи. Гарин-Михайловский, например, пишет, что крестьяне его имения к каждому Новому году предвкушали, что им отдадут барскую землю.

Федор Степун пишет: как только солдаты его батареи услышали, что царь отрекся, — все, они стали говорить: «Поехали домой, делить землю». Им объяснили, что если они побегут делить землю, то за ними германцы побегут — и кто первый добежит, еще неизвестно.

Ленин во многом и победил потому, что бросил им эту кость. Большевики были единственными, кто сразу поощрял аграрные погромы! Все же партии говорили крестьянам: подождите Учредительного собрания, все будет разрешено в вашу пользу. А Ленин говорил: не ждите!

С. Э. Ваши творческие планы?

М. Д. Моя книга о модернизации Витте-Столыпина, условно говоря, лишь открыла дверь. Поэтому я продолжу разработку ряда проблем, поставленных в этой работе. Возможно, пора собрать воедино все написанное об аграрной реформе Столыпина, в том числе и неопубликованное пока.

Вместе с тем хочется донести результаты своих исследований до более широкой аудитории, а для этого надо сократить книгу с 1075 страниц хотя бы до 250–300 и написать текст в другой стилистической манере, минимизировав табличный материал.

И, конечно, очень хочется вернуться к Ермолову и Воронцову. Иногда я пишу статьи о своих героях. Может быть, получится...

Как-то так.

“I FELL IN LOVE WITH HISTORY INSTANTLY...”

Interview with M. A. Davidov

Davydov Mikhail A. — doctor of historical sciences, professor of the School of History, HSE (Moscow)

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Принимаются к рассмотрению оригинальные, ранее не публиковавшиеся тексты на русском и английском языках, объемом не более 1 а. л. Объем публикуемых рецензий не должен превышать 0,5 а. л. Тексты представляются в электронном виде (шрифт текста Times New Roman, 12 кеглем, сноски – 10 кеглем).

Обязательным является указание фамилии, имени и отчества (на русском и английском языках), места работы или учебы в аспирантуре/докторантуре, ученого звания и степени, адреса электронной почты и номера контактного телефона.

Тексты статей должны быть снабжены аннотацией на русском и английском языках (не менее 150–200 слов), перечнем ключевых слов (10–15), указанием индекса УДК (универсальной десятичной класси-

фикации), который приводится над фамилией автора слева.

Сноски к тексту – постраничные, нумерация сквозная по всему тексту. Текст не должен быть форматирован, нельзя использовать автоматические переносы слов.

Библиографический аппарат разделяется на три списка:

- 1) Источники и материалы
- 2) Научная литература
- 3) References

Ссылки на литературу в тексте даются посредством указания фамилии автора и года работы в скобках, при этом номер страницы отделяется двоеточием, а фамилия автора выделяется курсивом (*Петров* 1998: 25). Подробно о правилах оформления библиографии и внутритекстовых ссылок см.: <http://istorex.ru/rules.html>